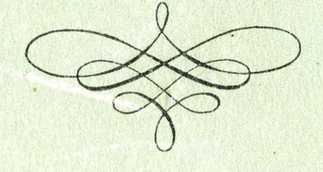
Л.М. ЖЕМЧУЖНИКОВ ❀ МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

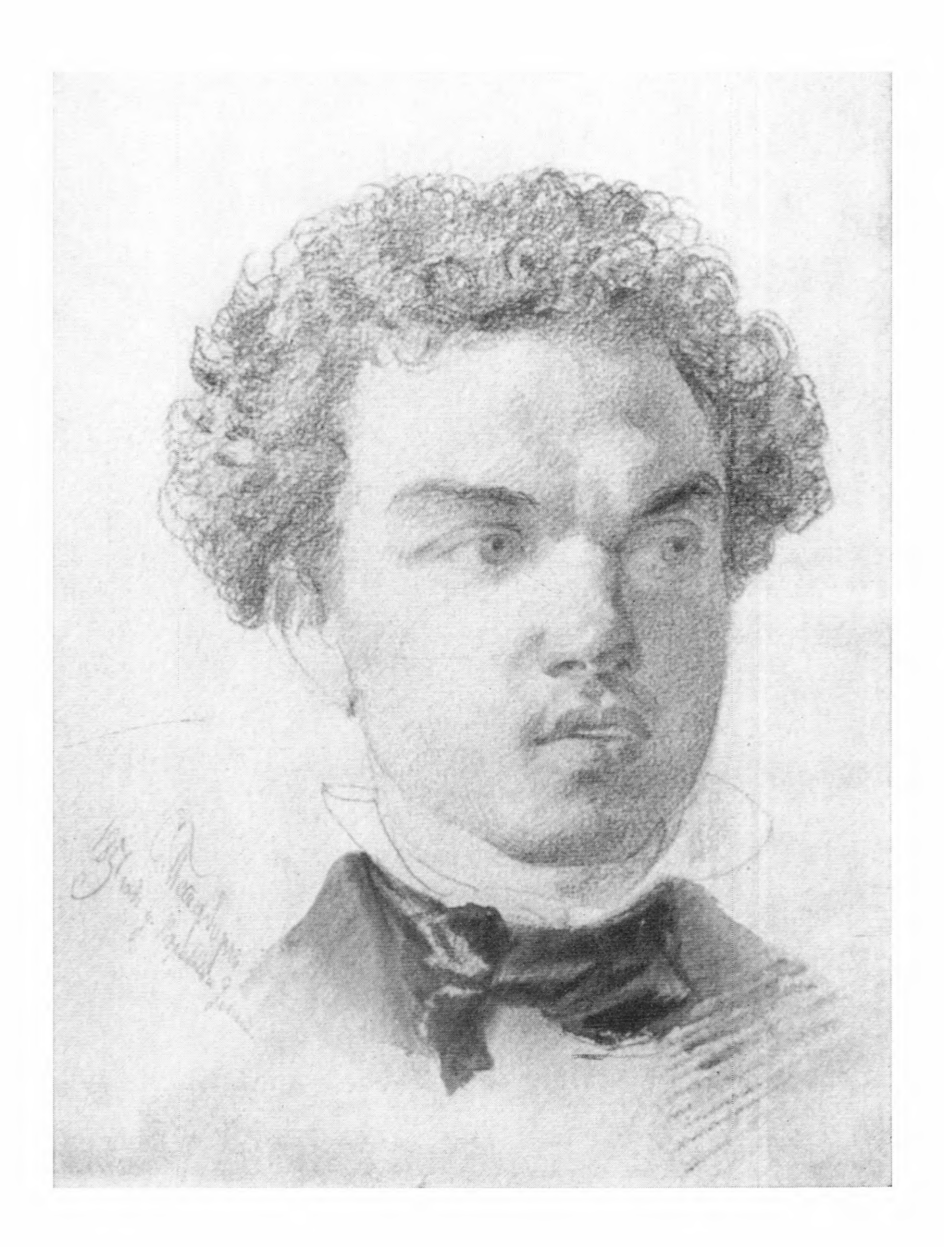
Л.М. Жемчужников

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО



Л. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ · МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Издательство «Искусство» · Ленинградское отделение · 1971



Л. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Составление
Ю. Н. Подкопаевой

Комментарии
А. Г. Верещагиной и М. Н. Шумовой

Вступительная статья и общая редакция
А. Г. Верещагиной

7 / Ж 53 — 8—1—2 / 265—70

Л. М. Жемчужников — художник, принадлежавший к талантливой семье: его родные братья, поэты Алексей, Александр и Владимир, вместе с двоюродным братом А. К. Толстым известны как создатели знаменитого «Козьмы Пруткова».

В «Моих воспоминаниях из прошлого», написанных ярко и живо, предстает художественная жизнь России середины XIX века. Автор рассказывает о К. П. Брюллове, П. А. Федотове, А. Е Бейдемане, А. А. Агине, Т. Г. Шевченко и многих других.

Первые четыре части «Воспоминаний» публиковались в 1926 году. Книга давно стала библиографической редкостью. Новое издание впервые включает все шесть частей.

Автор «Моих воспоминаний из прошлого» Лев Михайлович Жемчужников (1828—1912) — художник, график и живописец. В пестрой сумятице жизни судьба сталкивала его со множеством интереснейших людей. Он был учеником А. Е. Егорова и К. П. Брюллова, почитателем и другом П. А. Федотова и А. А. Агина, товарищем А. Е. Бейдемана, верным другом Т. Г. Шевченко. Л. М. Жемчужников принадлежал к талантливой семье: его родные братья, поэты Алексей, Александр и Владимир, вместе с двоюродным братом А. К. Толстым известны как создатели знаменитого «Козьмы Пруткова».

Жемчужников с удивительной непринужденностью вращался в, казалось бы, несовместимых кругах: от высшей придворно-чиновничьей аристократии до крепостного крестьянства. По своему происхождению он относился к родовитому российскому дворянству, но женат был на беглой крепостной. Мир его родных по матери (потомков гетмана К. Г. Разумовского), министров и придворных, и мир его жены, неграмотных украинских крестьян,— сталкиваются на страницах мемуаров.

А рядом с ними течет совсем особая жизнь: перед читателем проходят люди из кругов творческой интеллигенции. Братья Алексей, Владимир и Александр и двоюродный брат А. К. Толстой связывают Л. Жемчужникова с миром писателей и поэтов. Личные симпатии и профессиональные интересы влекут его к художникам. Брюллов и приверженцы отжившего академизма, профессора Академии художеств, с одной стороны, Федотов и недовольные, ищущие новые пути молодые художники, друзья Жемчужникова, с другой — вот те полюсы. с которыми столкнулся автор мемуаров, оказавшись в мире изобразительного искусства.

В воспоминаниях Жемчужникова оживают люди сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов прошлого века: в их характеристике, в том, что сумел увидеть и подметить художник, сказались, естественно, его личные вкусы. Но они, в свою очередь, да, в сущности, самое «я» Жемчужникова,

есть, по его справедливому замечанию, «продукт родословной и среды, то есть почвы и окружающей нас духовной жизни». Это понимание органической связи человека с эпохой, в которой он жил, ощущение в личной жизни каждого «пульса» его времени придает объективную ценность воспоминаниям Жемчужникова.

Все шесть частей его мемуаров можно разбить на два раздела в соответствии с двумя исторически различными периодами в жизни России XIX века. Первый — сороковые и начало пятидесятых годов, эпоха «николаевского безвременья», благонамеренности, утвержденной розгами, и логический финал ее — разгром под Севастополем. Второй — знаменитые шестидесятые годы, время общественного подъема, общих иллюзий накануне отмены крепостного права, и время жестоких разочарований пореформенной поры.

В каждом из этих разделов отражена своеобразная нравственная атмосфера эпохи, жизнь тех общественных групп, о которых уже говорилось выше: дворянства, крепостного народа и художественной интеллигенции.

На первый период, на сороковые годы, приходятся отроческие и юношеские годы автора «Воспоминаний». Кроме нескольких страниц, посвященных совсем раннему детству, все остальное воссоздает жуткую картину жизни в военных училищах николаевского времени.

Менялись предметы, которые читали кадетам, менялись преподаватели, но неизменной оставалась жестокая, грубая система подавления личности. Пороли за все, пороли всех... Неизменным оставалось стремление «воспитателей» вбить в юные головы кадетов верноподданническое восхищение личностью царя, умиленность перед «совершенством» отечества голубых мундиров. «Настоящее России более чем великолепно»,— писал шеф жандармов Бенкендорф.

Сам царь всячески поддерживал свою «популярность» среди кадетов. Ведь военное дело было его любимым занятием, а они — будущей опорой армии. Отсюда — особое пристрастие Николая I к корпусной жизни и та, несколько наигранная, «отеческая забота», с которой он относился к кадетам (Жемчужников кратко и правдиво описывает игры во дворце). Но все это не улучшало положения будущих офицеров, их секли беспощадно, наказывали безжалостно.

Позднее, подводя итог своей жизни в корпусах, Жемчужников с горечью скажет: «Сколько лет, сколько детских и юных лет я был в заключении, сомневаясь,что когда-нибудь окончится для меня эта нравственная и физическая каторга».

В сущности, воспоминания Жемчужникова о трех военных корпусах, как в миниатюре, отражают жизнь в николаевской России с ее казенщиной и угнетением личности. Подобное испытали на себе все люди в эпоху безвременья. В этой части мемуары Жемчужникова объективны и точны.

Но еще бо́льшую ценность им придает то, что в них отражен на

примере собственного «я» постепенный нравственный переворот, зреющий, сначала подспудно, протест против произвола и тупости.

Подобный процесс вообще характерен для формирования сознания лучших среди молодых людей сороковых годов, когда привычный уклад жизни крепко держал их, но беспокойный дух уже требовал иной жизни. Аналогичное нравственное состояние испытал современник и ровесник Жемчужникова, будущий великий художник Н. Н. Ге. «Я жил по-старому,— вспоминал он,— но только более определенно. Моя жизнь раскололась надвое. Одна половина — это был мой внутренний мир, моя вера в добро, любовь, правду, знание, сюда же я относил и искусство [. . .] другая — исполнение каких-то обязанностей, навязанных мне и мне непонятных».

Так же раскололся и внутренний мир Жемчужникова. Он, воспитанный в корпусах, где все должно было превратить его в образцового Скалозуба, «разлюбил, мало сказать, возненавидел все военное». Жемчужникова все более привлекал другой мир — мир искусства. «Только в нем я нашел себе выход»,— говорил он.

Первое серьезное напутствие в мир творчества он получил от К. П. Брюллова, и нравственное влияние его было исключительно велико. Жемчужников впервые увидел столь знаменитого художника. Слава его вскружила не одну юную голову.

Однако, пожалуй, еще более важным было другое (на это обычно мало обращают внимания). Брюллов, недовольный существующими в Академии порядками, осмелился, почти единственный из художников, вслух выразить свое недовольство, он даже иногда противоречил самому царю. Можно представить, как это должно было поразить воображение дисциплинированного пажа, выросшего в атмосфере восхищения личностью императора. Это фрондирование Брюллова, очевидно, также было одной из причин того обожания, с которым относилась к нему молодежь. Не случайно с таким восторгом пишет Жемчужников о независимом характере Брюллова. С этих встреч с Брюлловым начался не только путь Жемчужникова к художественному творчеству, но и его перерождение из ограниченного кадета в свободомыслящего человека.

«Удивительное время: наружного рабства и внутреннего освобождения»,— так характеризовал Герцен эти годы. Жемчужников, человек своей эпохи, также пережил медленное, но неотвратимое «внутреннее освобождение».

После отставки перед ним открылся новый путь. Он вел его в то величественное здание на берегу Невы, над входом которого еще со времен Екатерины II красовалась надпись: «Свободным художествам». «Свободные»— и это в николаевской России! В таких словах была удивительная притягательная сила.

Здесь Жемчужникову довелось встретиться со старым опальным профессором, сорок два года учившим молодых художников и по приказу

Николая I выгнанным из Академии,— с А. Е. Егоровым. Воспоминания Жемчужникова в этой части очень интересны, оттого что он пишет о некогда знаменитом, но, к сожалению, в наши дни мало известном широкой публике блестящем рисовальщике. Привлекают воспоминания и тем, что автор их дает краткую, но интересную характеристику системы этого выдающегося педагога, который с удивительной последовательностью и логической ясностью продолжал традиции классицистической системы обучения.

Начиналась она с копирования «оригиналов», то есть рисунков и эстампов, сделанных знаменитыми мастерами прошлого. Затем учащиеся переходили к срисовыванию античных гипсовых голов и статуй и только тогда, уже изучив пропорции идеально сложенных людей, приступали к рисованию натурщиков. Эта система должна была воспитать умение увидеть и передать в рисунке лучшие, идеальные черты физического строения человека.

Но, пожалуй, Жемчужникову повезло в том, что он недолго был учеником Егорова, что вовремя сумел уйти от штудирования античных статуй к работе над непосредственным изучением натуры.

Любопытно проследить, как на страницах «Воспоминаний» говорится об этом процессе. Сначала верный ученик Егорова Жемчужников старательно рисовал с антиков и в Академии, а вечерами, дома,— с эстампов и «своих» гипсов. Он не мыслил себе иного пути, а когда родные предложили ему в 1849 году поехать в деревню, впал в отчаяние: «Что я буду делать без гипсов?... рисовать каких-то мужиков или баб, деревья! Отстану я от товарищей». Но это типичное для позднего классицизма убеждение, что вне подражания памятникам прошлого не может быть пути в искусство, дало сильную трещину, когда молодой человек столкнулся с непосредственной работой с натуры. «Я зачерчивал все с бьющимся усиленно сердцем, торопясь уловить, что мог...»

Впрочем, по возвращении из деревни все пошло по-старому: Жемчужников копировал «оригиналы», сочинял «аллегорические и мифологические эскизы». Однако прежнего доверия к академической системе обучения уже не было, все больше крепло разочарование в профессорах Академии, подогреваемое разговорами о некогда бывшем в тех же стенах «гениальном учителе» Брюллове.

Жемчужникову не удалось заниматься у него (в 1849 году тот уехал в Италию), но рассказами о Брюллове были полны академические мастерские. Говорили, что Брюллов не требовал «исправления натурщика», как все остальные профессора. «Он первый из русских художников поставил выше всего натуру... Изучая непрестанно натуру, он уничтожал единую манеру»,— так писал о Брюллове-учителе восторженный его почитатель Н. Н. Ге.

Жемчужников посещал классы Академии в то мрачное семилетие ее истории, которое падает на последние годы правления Николая I.

Никого из выдающихся художников, тех, кто составил славу отечественной живописи, не было в Академии: Брюллов уехал в Италию, где и умер, Федотов погиб в сумасшедшем доме, А. А. Иванов жил далеко, в Риме. Из императорской Академии, находившейся в подчинении Министерства императорского двора, царь выгнал всех, кто хоть чем-либо его не устраивал (А. Е. Егорова, А. И. Иванова — отца А. А. Иванова и др.). В это последнее, перед очистительной бурей шестидесятых годов, семилетие в Академии художеств процветали благонамеренные посредственности, художники по ремеслу, чиновники по призванию.

Таким образом, попытка Жемчужникова найти «выход» в Академии и избавиться там «от рабов тупоумных и бездушных» потерпела неудачу. Это могло бы обернуться трагедией, жестоким разочарованием в художнической деятельности вообще, если бы он не нашел среди товарищей по Академии людей, ищущих новые пути в искусстве.

Почти все друзья Жемчужникова в той или иной степени были связаны с самой передовой, революционно настроенной частью русского общества. К. А. Горбунов был близко знаком с В. Г. Белинским, и тот очень трогательно опекал молодого художника. Двое из приятелей Жемчужникова были вхожи к Герцену: К. А. Горбунов, который неоднократно гостил у Герцена и сделал несколько его портретов, и П. А. Захарьин, родственник писателя, брат его жены.

Среди друзей и знакомых Жемчужникова оказались люди, причастные к кружку Петрашевского. Это известный ксилограф Е. Е. Бернардский, арестованный по делу Петрашевского, и ближайший приятель Жемчужникова К. А. Трутовский, с юности знакомый и бывший даже в приятельских отношениях с петрашевцем Ф. М. Достоевским. И, наконец, один из осужденных по этому же делу, А. П. Баласогло, называя людей, на сочувствие которых он мог бы рассчитывать, указал не только на К. А. Трутовского, но и на А. Е. Бейдемана.

Очевидно, как бы ни был жесток контроль над мыслями и делами подданных, невозможно было запретить людям думать. Вот почему во второй половине 1840-х годов, в период некоторого оживления общественной жизни (в канун революций 1848 года в Европе), проявился в изобразительном искусстве характерный для всей русской культуры критический реализм. Сильнее всего он сказался в эти годы в графике: в серии «Нравственно-критических сцен из обыденной жизни» П. А. Федотова и других его рисунках, в иллюстрациях А. А. Агина к «Мертвым душам» Гоголя и т. п. Из живописцев первым и почти единственным можно назвать того же П. А. Федотова.

Жемчужников оказался среди его единомышленников, был хорошо знаком с А. А. Агиным и его младшим братом В. А. Агиным, дружен с А. Е. Бейдеманом, с Е. Е. Бернардским, К. А. Горбуновым, К. А. Трутовским и др.

Федотов вообще сыграл огромную роль в жизни Жемчужникова, который считал его для себя «примером» и был «одушевлен стремлением идти к той же цели, к которой шел Федотов». Впоследствии у Жемчужникова не хватило ни выдержки, ни таланта, он не стал прямым продолжателем дела Федотова, но некоторые отголоски влияния этого мастера можно найти в работах Жемчужникова: в отдельных графических листах, где звучит характерная и для позднего Федотова, и для всей натуральной школы тема трагедии «маленького человека» (например, «За штатом»).

Жемчужников мало говорит о своем творчестве в конце сороковых годов, да, в сущности, до него еще далеко: ведь будущий художник делает только первые шаги в искусстве, понимая необходимость «вернуть то, что было упущено в течение пятнадцати лет военной жизни».

Зато о жизни друзей он говорит подробно (к мемуарам присоединены специально написанные воспоминания о Федотове и Бейдемане). Жемчужников рассказывает об их судьбе, их творческих исканиях, о том, как они, каждый по-своему, стремились порвать с академическими шаблонами и как почти все, когда-то талантливые и многообещающие, стали неудачниками. Судьба их, как и Федотова, оказалась трагической.

Жуткую силу приобретают «Воспоминания» в разделе, посвященном последним страшным дням жизни Федотова. Эти страницы давно уже известны всем, кто интересуется русским искусством первой половины века. Но здесь, в связи с другими частями книги, они приобретают особый, почти символический смысл и становятся как бы отражением многих судеб: «Да, тяжелое было время! Не было света, не было тепла. Тяжелый гнет обложил свинцовым покровом все молодое, свободное и кипучее, унес в могилу не одного Федотова, но и многих его современников, разбил, уничтожил их жизнь. Одни стрелялись, другие изнывали в глуши, в ссылке, в тюрьмах, бежали за границу, спивались, сходили с ума...» Эти слова Жемчужникова относятся и к сосланным петрашевцам, и к ссыльному Шевченко, и к Брюллову и А. Иванову, и ко многим другим.

Нужно сказать, что вообще заслуга Жемчужникова и объективная ценность его мемуаров заключается не только в том, что в них содержатся сведения о знаменитых живописцах первой половины века, но и в том, что автор сумел собрать материал о жизни и творчестве многих, в его время основательно забытых, «не модных» художников (А. А. Агине, В. А. Агине, А. Е. Бейдемане, К. А. Макарове и др.). Конечно, в истории русского искусства им отводится место менее значительное, чем Иванову, Брюллову, Федотову и Венецианову. Однако нельзя свести всю эту историю к деятельности одних лишь четырех ведущих живописцев. Жемчужников помог нам воссоздать более полную картину художественной жизни его времени, сохранил имена тех, кто в сумеречные, неблагоприятные для творчества дни, в дни торжествующей реакции пытался противостоять ей, мучительно и трудно шел к демократизации искусства.

Подобный путь был проделан и Жемчужниковым. К началу пятидесятых годов разрыв его с тем, чему учили профессора Академии художеств, обозначился со всей определенностью в его работах, в рисунках, сделанных во время поездок по Украине в 1852—1855 годах. Во многом они еще робкие, неумелые, но привлекает в них (что вряд ли могло бы понравиться Егорову) стремление художника быть предельно конкретным. Его натурщики некрасивы, но характерны. Они откровенно, несколько наивно, позируют. Зато в них нет условной красивости, напоминающей классицистических героев. Рисунки еще во многом аналитичны: в них чувствуется, что художник изучает внешний вид своих моделей, приглядывается к ним и даже прислушивается (он любил беседовать с крестьянами, записывал их рассказы, их биографии).

Основная часть наследия Жемчужникова пятидесятых годов — рисунки, изображающие крестьян. Особая его демократичность должна быть подчеркнута потому, что мы не найдем среди его современников другого художника со столь ярко выраженной крестьянской тематикой. Разумеется, не следует преувеличивать степень художественной ценности этих рисунков Жемчужникова: уровень его акварелей не очень высок, но не следует и преуменьшать его заслуги.

Особая симпатия к простому народу вообще характерна для Жемчужникова. Она проявилась и в мелочах (он любил ходить в простонародной одежде, шокируя своих высокопоставленных родных), и в важном деле (он нашел жену не в своем кругу, а опять-таки — среди крестьян). Жемчужников вообще мечтал, как он говорил, «слиться» с народом и страдал от того, что никогда ему это полностью не удавалось. Демократичность отражается и в его художественном творчестве, и в литературном труде. Большая часть «Воспоминаний» посвящена описанию жизни крестьян: украинских (в третьей части), русских (в четвертой и шестой частях).

Жемчужников так подробно записывал рассказы крестьян, их песни, их сказки, как будто он считал своим долгом донести до будущих времен тот богатый фольклорный материал, который он нашел. В его работах видна та же тенденция: «Зачерчивая и записывая все, я обращал внимание на шитье рубах и полотенец, на резьбу наличников у окон, форму и резьбу на воротах, на крыльце. . .»

Жемчужников — один из энтузиастов изучения народного искусства. «Когда-нибудь и мы начнем отыскивать нашу народность,— писал он,— когда время занесет ее песком и пеплом. Тогда будут платить деньги и трудиться, лишь бы добиться пол ноты от народной песни, найти обломок старой мельницы, лоскут полотенца или кусок божницы».

Все страницы «Воспоминаний», посвященные народу, исполнены открытой антикрепостнической тенденции. Ею пронизаны главы, относящиеся к деревне до 1861 года. Эта же тенденция звучит как лейтмотив в последней, шестой части, отражающей жизнь «свободного» крестьянства, «когда

уже было уничтожено крепостное право, но отрава его еще гнездилась в общественном организме». Крепостничество и его пережитки — вот враг Жемчужникова, с которым он воевал и в жизни, и на страницах своих воспоминаний. История женитьбы самого Жемчужникова — это тоже своего рода вызов крепостному праву. Он многим рисковал, когда выкрал крепостную (свою будущую жену). Смелость и безрассудство молодости сочетаются здесь с глубочайшей порядочностью и человечностью.

В активном неприятии крепостного права Жемчужников — сын своей эпохи, а точнее — характерный представитель антикрепостнически мыслящей русской интеллигенции.

Огромное значение в формировании его «я» имело поражение России в Крымской войне. Первоначально, в первые ее месяцы, Жемчужников искренне полагает, что враги одушевлены «сатанинскою силою», а на стороне русских «правда», их «охраняет сила господня».

Однако когда Жемчужников оказался в Крыму и увидел, что делалось в Севастополе и на подступах к нему, прежние представления о войне рассеялись, его охватила «жалость и досада». «Дух мой был возмущен до крайности, и меня взяло отвращение от войны»,— вспоминал он.

Дальше — больше. Это отвращение перерастает в критику всего: порядков и в армии, и в деревне, и в столице. От прежних иллюзий и юношеской веры в мощь России не остается и следа. С горьким разочарованием пишет он: «Мы, русские,— хвастуны ужасные и воображаем, что у нас все лучше, а на деле изнуренные лошаденки и войско, словом все,— от стесненной жизни безграмотного крестьянина до художника и науки, все не то, что следует...» Автор становится все более гневным. Его отношение к царю все более нетерпимым. Отныне он с издевкой называет его «незабвенным» и в специальной части «Воспоминаний» безжалостно развенчивает Николая I.

В своем отношении к действительности Жемчужников пережил тот же нравственный перелом, который испытали почти все его современники. «Россия точно проснулась от летаргического сна... После Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело «критическое настроение»,— писал Н. В. Шелгунов.

Оказавшись за границей, Жемчужников упивается жизнью республиканской Швейцарии. Его, человека, вырвавшегося из самодержавной, деспотической страны, пьянил воздух республики, ведь совсем недавно у себя на родине он жил среди людей, которые имели не права, а одни лишь обязанности верноподданных. Народное самоуправление, свобода граждан представлялись ему в Швейцарии в самом идеальном виде.

Зато, когда Жемчужников попал в монархическую Францию, где «господствовала единоличная власть тирана», он не жалеет слов негодования для характеристики ее порядков: «Другой воздух, другие впечатления; чувствовались уже не свобода и равенство, а жандармская лапа и

полицейский взгляд негодяев, преданных негодяю и клятвопреступнику». Запальчивость, с какой это сказано, связана, очевидно, с тем, что в памяти Жемчужникова еще слишком свежи и «жандармская лапа», и «полицейский взгляд». Они слишком напоминают ему николаевскую Россию.

Горячность, с какой Жемчужников восхищался республиканской Швейцарией и негодовал против монархической Франции, вряд ли дает нам право говорить о полной его объективности в характеристике этих двух буржуазных стран. С этой точки зрения заграничные мемуары его никак нельзя назвать обычными обстоятельными путевыми заметками, хотя они и страдают заметными длиннотами и обилием подробностей личной жизни автора. И все же их нельзя отнести к тому типу воспоминаний путешественников, которые и в XIX веке, и в наши дни стремятся познакомить любознательного читателя со спецификой разных стран. Конечно, экзотика и необычность чужой жизни не могли не заинтересовать Жемчужникова, и он, часто подробно, рассказывал о том, что видел, но никогда он не ставил перед собой задачу создать обстоятельную картину всего замеченного им. Воспоминания построены по другому принципу. Их переполняют рассуждения о смысле увиденного, все время автор сопоставляет заграницу с Россией.

Не случайно ему везде видится сходство с родиной: дорога из Парижа в Вену напоминает «поля России», Богемия и Моравия — Украину. «Везде та же бедность»,— пишет он. Однако в республиканской Швейцарии он почти не замечал ее, но зато в землях под деспотической властью Австрии или Турции нищета становится вопиющей. Снова автор сталкивается с вопросами общественного устройства.

Так, среди обилия заграничных впечатлений он, русский человек, в канун антикрепостнических реформ особенно остро реагирует на самые актуальные для его родины стороны жизни других народов. С этим связана и явная антиклерикальная направленность всей пятой части мемуаров.

Почти все страницы, посвященные путешествию по австрийским землям и в турецких владениях, заняты рассуждениями о знаменитом «славянском вопросе». Тревога Жемчужникова за судьбу славян во владениях Австрии и Турции вполне актуальна в пятидесятые годы прошлого века. Автор много рассуждает о необходимости единения славян. В отличие от славянофилов, он против создания общего государства. «Пока о политическом объединении думать рано»,— развивает он ту же мысль и излагает далее свою программу: «Но следует позаботиться о духовном единении. Оно уже есть в нашей крови, и необходимо его упрочить. Филологам надо составить словари родных наречий... художники должны отстаивать народность». «Что могла бы сделать наша русская песня, раздававшаяся хором, с запевалой, в землях славянских!» — мечтает Жемчужников. Таким образом, его программа укрепления культурных связей (говоря

современным языком) прогрессивна, а разумный характер ее подтвердился всей практикой русско-славянских связей в XIX веке.

На тех же страницах, посвященных славянам, у Жемчужникова проскальзывают мысли о далеком будущем, о более тесном содружестве славян. Он полагает, что общая религия народов, объединяющая их, сделает единство еще более тесным, а «поэты и ученые со временем образуют один язык». Эти утопические планы раскрывают ограниченность и полную наивность автора в вопросах развития национальных культур.

Те же черты мировоззрения Жемчужникова определили и его программу личного нравственного совершенствования, которую он довольно обстоятельно излагает, прерывая ею свои описания заграничных впечатлений: «Чем мы отличаемся от животного? Обыкновенно отвечают: разумом. Да, но этого мало. Кроме разума, нужны еще: сила воли над собой, благородство чувств, отсутствие эгоизма, любовь к ближнему до самопожертвования, чистота телесная и духовная, стыдливость, стремление к благу всего человечества, и для этого твердая готовность принести себя в жертву». В возвышенной, однако несколько туманной фразе «о благе всего человечества» представляется ему выражение идей свободы, равенства, широкого взгляда на жизнь и «терпимости». Как ясно сказалась в этих словах реакция на деспотизм и нетерпимость ко всякому свободомыслию, столь типичные для николаевского времени! Таким образом, вся положительная программа Жемчужникова есть лишь отрицание того самодержавно-феодального подавления личности, в условиях которого он вырос. Для установления свободы и равенства Жемчужников не видел иного пути, кроме личного нравственного совершенствования. «Я верю,— пишет он,— что наш удел завещать миру правду и свободу, равенство, широкий взгляд; утвердить христианство своею жизнью, а с ним и терпимость, которым удивим мир». Следует заметить, что под христианством Жемчужников подразумевает не ту официальную церковную религиозность, которую ему внушали с детства. Став взрослым, он отбросил ее (под влиянием Герцена, как пишет Жемчужников в пятой части мемуаров). Однако идеи нравственной ответственности за свои поступки, которые содержатся в этом учении, нашли отклик в душе художника.

Для того чтобы составить себе цельную картину жизни Жемчужникова за границей, читателю необходимо соединить его воспоминания, разделенные по двум частям: в пятой, специально посвященной заграничному путешествию автора, и в монографическом очерке — приложении, рассказывающем о жизни и творчестве художника Бейдемана.

Первоначально у Жемчужникова была обширная программа занятий искусством: «Я намерен прожить за границей долго. Буду работать в Париже, изучать французскую школу. Буду работать в Бельгии, в Дюссельдорфе, Мюнхене, Берлине, Лондоне, в Испании и Италии. Везде буду

учиться как школьник...» — писал Жемчужников в 1857 году. Но сравнительно скоро он остановился на одной Франции. «Здесь было богатое собрание искусства всех времен и всех народов; ...художественный пульс бил в то время в Париже...»

В этом же городе оказались и друзья Жемчужникова: А. Е. Бейдеман, Л. Ф. Лагорио, А. П. Боголюбов, А. Ф. Чернышев и др. «Бесконечные беседы», «Горячие споры» — вот слова, какими Жемчужников характеризует досуги своих друзей. Обсуждается и «направление русской школы», и «французская Академия» — в этих разговорах слышатся отзвуки жарких дебатов, какие велись в те же годы на родине в кругах петербургской интеллигенции.

Очевидно, в Париже окончательно оформились художественные взгляды Жемчужникова — непримиримого врага реакционного академизма. Во всяком случае, сразу же по возвращении из-за границы эти взгляды нашли свое выражение в ясной и четкой статье Л. М. Жемчужникова «Несколько замечаний по поводу последней выставки в С.-Петербургской Академии художеств».

К сожалению, в «Воспоминаниях» слишком мало говорится об этой статье. Автор констатирует лишь: «Авторитет Академии художеств был поколеблен в умах молодых ее питомцев напечатанной в феврале 1861 года статьей «По поводу выставки в Академии».

Слова эти нуждаются в разъяснении, последнее тем интереснее, что откроет еще одну, в наши дни как-то совсем забытую сторону деятельности Жемчужникова: его роль как художественного критика. Предварительно следует напомнить, в какое горячее время появилась его статья, оказавшаяся как нельзя более кстати.

С конца пятидесятых годов всеобщее недовольство и «переоценка ценностей» коснулись и учащейся молодежи в Академии художеств. Ее отношение к существующей классицистической системе обучения и вообще ко всему отжившему академизму становится резко отрицательным. Открытый конфликт между старым и новым, назревавший в эти годы, как известно, разразится несколько позже, в 1863 году, когда четырнадцать молодых художников демонстративно порвут с Академией.

Тем больший резонанс должна была иметь статья Жемчужникова, посвященная критике идейных позиций Академии художеств и утверждению нового, служащего народу реалистического искусства.

Статья увидела свет в феврале 1861 года, и тогда, пожалуй, впервые в истории русской периодики вопрос о реакционной роли Академии художеств был поставлен столь остро. Ведь ни у кого из ранее выступавших авторов критика устаревшей академической живописи не была столь профессионально обоснованной, а потому — убеждающей (речь идет только о статьях в печати конца пятидесятых годов, посвященных изобразительному искусству).

Статья Жемчужникова была очень своевременной. Аналогичные, столь же резкие выпады в адрес Академии появились сразу же вслед за работой Жемчужникова (Д. Д. Минаева «Несколько слов о художественной академической выставке 1861 года»; В. В. Стасова «По поводу выставки в Академии художеств» и др.).

Причина особой в данном вопросе чуткости Жемчужникова лежит на поверхности: во-первых, он сам прошел школу академического воспитания и испытал на себе калечащее влияние ее системы; во-вторых, он видел, как принципиально ничто не изменилось в ее стенах. Разве только чуть «либеральнее» стали речи профессоров. Но они не могли ввести в заблуждение Жемчужникова.

В своей статье Жемчужников, как человек, не раз лично слышавший доводы ревнителей классицизма, опровергает их. При этом он, в отличие, скажем, от В. В. Стасова, критиковал классицистическую живопись не только с идейной, но и, что особенно интересно, с формальной ее стороны. Последнее тем более было нужно, что их противники (например, Ф. А. Бруни) презрительно отзывались о критиках «неспециалистах» в области художественного творчества. Жемчужникову Бруни такой упрек не смог бы сделать. Разговор шел на специфическом «художническом языке».

Жемчужников отрицал академизм как художник-профессионал. «Академисты наши обыкновенно восхваляют русское художество за рисунок. Но ведь дело в том, что называть *рисунком*? Если рисунок есть знание *пропорций*, как учат академисты, и притом пропорций *условных*, которые принимались академиями за аксиому,— то в чем же тут достоинство?.. Знание этих правил не дает права называться рисовальщиком, и подобные понятия доказывают совершенное непонимание рисунка».

За те же черты условной регламентации критикует Жемчужников и «сочинения академические», то есть законченные картины и статуи.

Но, может быть, более всего интересны его рассуждения о живописи. Известно, что классицизм утверждал локальный, присущий окраске самого предмета цвет как неизменный. Это очень условное правило, так как в зависимости от освещения, присутствия рядом других окрашенных предметов цвета меняются, обогащаются рефлексами. «Академии... не дали в мир художества ни рисунка, ни сочинения, ни красок... Вывод и доказательство — *на нашей выставке*... Этих желтых и красных красок, как ножом, обрезанных безвоздушных контуров — забыть нет сил!..» — писал Жемчужников.

Очень интересно, что он приходит к пониманию эмоциональной роли цвета в живописи: «Живопись — важнейший отдел картины. Кто силен чертой — тот может выражать свою мысль рисунком, картоном; кто силен светом — пиши однотонные картины, но оба эти художника еще не будут живописцами. Взяв в руки краски, должно изливать ими свое чувство к цвету, как чертой передают чувство формы; надо добиваться красками

до волшебного впечатления и передать поэзию, прелесть цветов, а не удовлетворяться раскраскою или приблизительно верными тонами. Нам нужна не верность — да никто до нее и не дойдет: всякий видит по-своему. . .»

Совершенно очевидно, что причина самого пристального внимания Жемчужникова к вопросам колорита таится не в какой-то особой его одаренности или в способности особенно тонко воспринимать цвет в живописи. Его картины середины пятидесятых годов (например, «Кобзарь на шляху») не блещут живописными достоинствами. А позднее, во времена написания статьи, он и вообще почти оставил масляные краски и работал преимущественно в графике.

Дело, очевидно, в том, что статья была написана сразу же по возвращении из-за границы. Жемчужников, насмотревшись в Париже работ французских колористов (достаточно хотя бы указать на Делакруа, которым Жемчужников искренне восхищался), особенно остро должен был бы почувствовать по возвращении на родину рутинный характер классицистической живописи. А поскольку молодая русская реалистическая школа еще только становилась на ноги, еще только складывалась новая живописная система, приемы традиционного письма уходили не сразу.

Заслуга Л. М. Жемчужникова в том, что он еще в начале шестидесятых годов, в эпоху, переломную для национальной школы живописи, обратил внимание русских художников и публики на собственно самую живопись.

Статья Жемчужникова интересна еще и тем, что ее автор стремится, подобно своим современникам-критикам, найти черты нового в искусстве сегодняшнего дня: «Нельзя не порадоваться, что художники начали обращаться к народной жизни, которая более знакома и близка как им самим, так и публике,— такими словами начинает он свою статью.— Душевно радуемся этому пробуждению: тут пахнет весной, обновлением. . .»

В России, когда туда вернулся Жемчужников после своего заграничного путешествия, обстановка была накалена: и верхи (к которым принадлежал он) не могли, и низы (к которым он всегда прислушивался) не хотели жить по-старому. В стране создалась революционная ситуация. Четко обозначились размежевания классовых интересов в общем, казалось бы, потоке единодушного недовольства. Жемчужников остался верен своим чисто просветительским планам. Он искренне считал, что отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ вполне достаточны для всеобщего блага. Он, например, и не предполагал, что крестьяне могут быть недовольны: «Рабы при своем освобождении не станут отстаивать старых порядков и бунтами накликать на себя новых бед»,— рассуждал он.

Но, как известно, «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 173). Стихийными бунтами ответили крестьяне на реформу.

Жемчужников знал об этом (Пензенская губерния, где находилось имение отца, была одной из самых «красных»), но понять истинную причину не сумел. Позднее он даже полагал, что виноваты «темные личности», которые, «разъезжая по селам и деревням, разбрасывали фальшивые манифесты, смущая народ и подводя его под страшную ответственность». Эти неизвестные Жемчужникову люди, вынужденные скрываться от преследований жандармов, судя по всему, были представители революционного подполья.

Жемчужников был весьма далек от революционного движения тех лет. Поэтому в его записках, в записках человека, лично знакомого с Чернышевским, свидетеля сближения Шевченко с революционной демократией, об этой стороне их деятельности не пишется.

Жемчужников равно далек и от революционной молодежи 1870-х годов. Впрочем, несколько слов, сказанных в связи с судьбой одного из обаятельнейших и мужественных представителей революционного народничества Д. А. Лизогуба, некогда, в детстве, знакомого Жемчужникова, дают нам основание утверждать, что, будучи далеким от народнического движения, Жемчужников никогда не был на стороне его врагов. Ведь не случайно же с такой болью пишет он о казни Д. А. Лизогуба: «Это был не суд праведный и милосердный, а скорый и жестокий — немилосердное убийство».

В этих словах Жемчужникова слышатся те же, уже знакомые нам ноты осуждения деспотизма и жестокости самодержавия, которые звучали в частях «Воспоминаний», посвященных сороковым годам. Он и впоследствии остается верным идеалам своей юности. К Жемчужникову этого времени можно с полным правом отнести слова Блока (сказанные об одном из героев поэмы «Возмездие»):

...он поныне
В числе людей передовых
Хранит гражданские святыни,
Он с николаевских времен
Стоит на страже просвещенья,
Но в буднях нового движенья
Немного заплутался он...

В сущности, Жемчужников должен быть причислен к той довольно значительной части либеральной интеллигенции, которая, искренне сочувствуя реформам начала царствования Александра II, не могла и не хотела мириться с его все более консервативной внутренней политикой и с открыто реакционным курсом Александра III. К числу этих людей, усвоивших довольно надолго критическое отношение к устройству современной жизни, можно отнести очень многих русских писателей и художников.

В этом смысле мемуары Жемчужникова отражают типичное явление своего времени.

С осени 1860 года по весну 1862 года Жемчужников деятельно сотрудничает во вновь созданном группой украинских интеллигентов журнале «Основа». Здесь, кроме уже названной статьи о выставке в Академии художеств, увидели свет и другие сочинения Жемчужникова: очерк «Полтавщина», статья «О народных песнях», «Воспоминания о Шевченко. Его смерть и погребение» и др. Помимо этого, Жемчужников участвовал в частичной публикации «Дневника» Шевченко в том же журнале.

Тогда же автор мемуаров задумал и осуществил приложение к «Основе» — альбом гравюр «Живописная Украина».

«Живописная Украина» состояла из офортов, сделанных чаще всего самим Жемчужниковым по его собственным наброскам или по рисункам друзей — А. Е. Бейдемана, И. И. Соколова, К. А. Трутовского и др. Как правило, это были портретные зарисовки, пейзажи или изображения отдельных предметов народного быта. Всем им сопутствовал необходимый пояснительный текст, напечатанный в той же «Основе».

Интересно отметить, что Жемчужников, вопреки сложившейся в его время традиции, требующей полной оконченности каждого листа, придающей ему вид маленькой станковой картины, стремился сохранить в гравюрах ту непосредственность наброска с натуры, которая свойственна этюду, отчасти эскизу, и составляет притягательную прелесть рисунка. «Есть такого рода очерки,— писал он,— которые *должны навсегда остаться очерками*, это те черты, которые были сняты с натуры, особенно — изображающие народ. В них малейшее дополнение без натуры есть преступление. Путешествуя, нет возможности чертить окончательно, а потому у меня в издании много рисунков неоконченных,— я берег эту неоконченность».

В начале 1860 года Жемчужников очень увлекался гравированием: он сам, вместе со слугой, сделал все листы к «Живописной Украине». В его мастерской познакомились с этой техникой и В. В. Верещагин, и А. Е. Бейдеман, и В. Е. Маковский, и другие художники.

В эти годы Жемчужников работает преимущественно как график. К числу его лучших произведений относится офорт «Покинутая» (по поэме Шевченко «Катерина»). «Рисунок мой «Покинутая» — в эскизе и в гравюре — чрезвычайно понравился Шевченко, и он за этот рисунок назвал меня Шекспиром; страшная похвала в устах Тараса Шевченко, который никогда не кривил душою»,— вспоминал Жемчужников.

Кроме работ в «Живописной Украине», явно этнографических, Жемчужников всегда тяготел к сюжетам драматическим и даже трагическим. Таковы «Посещение Федотова в сумасшедшем доме», более поздний рисунок и гравюра «За штатом», уже упомянутая «Покинутая». Это, наконец, и несколько эскизов, относящихся к восьмидесятым годам, изображающих

нищего, спившегося художника, напоминающего А. К. Саврасова. Всем работам присущи не только общие трагические черты (звучащие уже в самом сюжете), но и некое формальное единство. Эти однофигурные композиции, как правило, на сравнительно нейтральном фоне. Все листы подчеркнуто графичны.

К сожалению, в «Моих воспоминаниях» и об этом, как и об издательской деятельности Жемчужникова, нет почти ничего. Даже «Живописная Украина» прошла как бы где-то в стороне, за страницами мемуаров. Отчего так случилось — трудно сказать. Для нас сегодня эта сторона деятельности Жемчужникова, несомненно, очень важна и интересна.

Впрочем, то главное, что определяло его жизнь в эти годы, отражено в «Воспоминаниях»: все, что он делал, было направлено на развитие украинской культуры. Жемчужников, коренной русский человек, превратился в горячего патриота Украины. Он знал ее лучше, чем свои родные русские края (за это его, кстати, даже упрекнул однажды А. Н. Пыпин в «Современнике», рецензируя книгу Кулиша «Записки о Южной Руси»).

В чем же причина такого особого увлечения Украиной? Ведь не только же потому Жемчужников пленился ею, что в ее народе, в его песнях, во всех народных обычаях много жизнерадостности, очаровательной непосредственности и истинной красоты. Существовали, вне сомнения, и другие причины, сугубо личные и общеисторические, свойственные целому поколению деятелей русской культуры.

Первые — связаны с тем ощущением совсем иной, благожелательной нравственной среды, которое испытал Жемчужников, когда он совсем еще юным впервые приехал на Украину. На него, с детства лишенного семьи, питомца казенных корпусов, пахнуло уютом старинных дворянских гнезд, неповторимым очарованием дружных интеллигентных семей, умным доброжелательством и радушием. Жемчужников вошел в круг украинской дворянской интеллигенции, людей умных и достаточно тонких. Это прежде всего — семья Лизогубов, особенно благороднейшего и честнейшего человека, верного друга Шевченко А. И. Лизогуба. Это — и семейство Галаганов. «Это вы заставили меня полюбить людей и жизнь»,— говорил Жемчужников, обращаясь к памяти своих украинских друзей и из дворянских особняков, и из простых хат.

Кроме дружбы, Украина принесла Жемчужникову любовь — первое большое настоящее чувство.

И еще одной огромной радостью обязан он Украине: радостью творческого обновления. Именно здесь он много работал с натуры, нащупывая тот единственно верный для него (как и для всего русского искусства) путь к реалистическому методу, который соответствовал новому искусству критического реализма.

Наконец, Жемчужников узнал и полюбил поэзию Украины, ее национального гения Т. Г. Шевченко. Поэт, судя по его «Дневнику» и письмам,

был признателен Жемчужникову и даже восхищался им, особенно его бескорыстным служением любимой Украине. Дружба их была недолгой, ее оборвала смерть поэта...

Сегодня, объективности ради, нужно сказать, что, при всей дружбе, которая связывала этих людей, Жемчужников не увидел (очевидно, и Шевченко не дал ему повод заметить) большого нравственного перелома, который произошел в душе вернувшегося из ссылки поэта. Он все дальше отходил от бывших приятелей своей юности, ставших буржуазными украинофилами (П. А. Кулиша и др.), и все больше становился близок к лагерю революционной демократии. Жемчужников увидел лишь внешнюю сторону этого конфликта (например, Кулиша и Шевченко), а внутренний конфликт между революционером-поэтом и буржуазно-либеральной редакцией «Основы» оказался вне поля зрения автора «Воспоминаний». Оттого и разделу, посвященному Шевченко, не хватает глубины анализа последних месяцев жизни великого поэта.

Жемчужников и не претендовал на выполнение подобной задачи. Он хотел лишь донести до потомков свои впечатления: заставить их почувствовать горе современников, потерявших большого поэта и художника, горе человека, лишившегося друга.

Думается, что и здесь Жемчужников остался верен себе. Ибо его всегда привлекала мысль сохранить в своих записках своего рода «этюдность» фактов, передать неповторимую конкретность событий прошлого. Отсюда, очевидно, и происходит та особенность его «Воспоминаний», которая как бы переносит читателя в другую, ушедшую жизнь с ее неторопливым темпом (некоторая замедленность событий, с современной точки зрения, характерна почти для всех частей «Воспоминаний»).

Кроме уже названных, сугубо личных причин особого пристрастия Жемчужникова к Украине, имелись еще объективные исторические причины, которые влияли на него.

В самом деле, среди деятелей русской культуры он не стоит особняком. Достаточно вспомнить хотя бы журнал «Современник» (лучшей поры его существования, когда в редакции были Чернышевский и Добролюбов). В журнале все время встречаются статьи, посвященные украинскому народу. В борьбе демократических сил против великодержавного снобизма принял участие и Жемчужников. Так, объективно он, с его стремлением способствовать развитию культуры и просвещения украинского народа, оказался истинным представителем передовой русской интеллигенции, всегда чуждой какого бы то ни было национализма.

Бурная художественная и общественная деятельность Жемчужникова была приостановлена, когда он в 1862 году уехал в деревню.

Позднее Жемчужников ненадолго вернулся в Петербург, но вскоре переехал в Москву и поступил на службу в Правление Московско-Рязанской железной дороги. С 1875 по 1892 год он был секретарем Московского

художественного общества и одно время — инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В это время он, вне сомнения, встречался со многими художниками. Приходится сожалеть, что Жемчужников не продолжил свои мемуары (как он одно время предполагал) и оборвал их на событиях 1870 года.

Последующие годы находят свое отражение лишь на нескольких страницах в «Отголосках прошлого». Краткие рассуждения о внешней и внутренней политике трех последних Романовых выдержаны в том же ироническом тоне, что и воспоминания об их предшественнике, «незабвенном» Николае I. Однако здесь сквозь насмешливые фразы просвечивает искренняя забота автора о будущем родины и понимание того, что ее правители оказались не на высоте.

Глава «Отголоски прошлого» помещена в середине третьей части, и в следующих главах печальные раздумья о начале XX века исчезают, автор снова возвращается к середине XIX века, продолжая свое неторопливое повествование. Волнующей историей своей любви и женитьбы заканчивает он эту часть.

В подобном авторском приеме есть, очевидно, своя закономерность. От тревожащего настоящего Жемчужников уходит в прошлое: «Старость живет воспоминаниями». Память старого художника хочет оживить далекие дни молодости, когда он, решительный и бескомпромиссный, видел, где добро, где зло, когда он боролся против несправедливости.

Последняя, шестая часть воспоминаний посвящена деятельности его в земстве в Чембарском уезде Пензенской губернии. Жемчужников очень подробно, обстоятельно описывает свою жизнь в деревне, свои отношения с крестьянами, множественные случаи произвола и насилия властей. Везде и всегда стремился он помочь крестьянам. «По совести могу сказать, что я работал по мере сил и возможности на пользу общества. Я не считал ни дел, ни дней, ни чисел, шел напролом, не останавливаясь перед какими бы то ни было препятствиями».

Этот раздел «Воспоминаний» интересен не только сам по себе, но еще и потому, что в тех же краях с 1865 по 1866 год, то есть одновременно с Жемчужниковым, находился М. Е. Салтыков-Щедрин. Несомненно, что те же самые люди, помпадуры и помпадурши, окружали их в Пензе, послужившей Щедрину материалом для «очерков города Брюхова», а позднее — «Истории одного города». «О Пензе могу сказать одно: не похвалю,— писал М. Е. Салтыков П. В. Анненкову 2 марта 1865 года.— Это до того пошлый, отвратительный городишко, что мне делается тошно от одной мысли, что придется пробыть в нем долго... тут, кроме навоза, ничего нет. И так плотно скучился этот навоз — просто любо. Ничем не разобьешь».

Жемчужникову много пришлось воевать с власть имущими города Брюхова, с «темными силами уезда, губернии и администрации». Он счи-

тал свою земскую деятельность очень важной, так как видел в ней борьбу с той, по его словам, «отравой крепостного права», которая и после его отмены «гнездилась в общественном организме». Он настолько высоко ценил этот личный вклад в борьбу против остатков крепостничества, что посвятил ему последние, заключительные (и очень подробно написанные) главы своих воспоминаний. Он даже здесь, подводя итог всей жизни, словно бы и забыл, что он был художником, что многое сделал для развития русского и украинского искусства.

«Мои воспоминания из прошлого» Жемчужников писал в конце жизни, но включил в них и некоторые свои ранее опубликованные работы. Первая по времени написания — очерк «Сказки и сказочницы», еще в 1857 году напечатанный в книге П. А. Кулиша «Записки о Южной Руси». В «Воспоминания» вошла не вся статья, а лишь вступление к ней. В мемуары вошли и статьи Жемчужникова, подготовленные для журнала «Основа» 1861 года: «Воспоминания о Т. Г. Шевченко. Его смерть и погребение» и «Полтавщина (из записной книжки 1856 года)». Статью о Шевченко, в 1861 году «приглаженную» цензурой, Жемчужников восстановил в первоначальном ее виде и напечатал в первой главе шестой части. Все эти статьи, подобно письмам и выдержкам из записных книжек, вошли в текст воспоминаний как своего рода первоисточники.

Над самими «Воспоминаниями» Жемчужников работал в девяностые годы и даже успел кое-что опубликовать. Первые две части (с небольшими купюрами) увидели свет в «Вестнике Европы» (1900, № 11 и 12). Там же, в двенадцатом номере, было напечатано и начало — две первые главы — третьей части. За год до этого еще несколько глав этой части (XIII, XIV, XVIII—XXI и XXII, также с сокращениями) под названием «Отрывки из воспоминаний о пятидесятых годах» появились в том же журнале (1899, № 11).

Над следующими тремя частями Жемчужников работал, вероятно, в самом начале нового века и кончил шестую часть, судя по надписи на ней, в Ялте в 1904 году. Тогда же был написан и очерк о Бейдемане.

Автор продолжал редактировать, а может быть, и вносить какие-то добавления и после 1904 года. Совершенно очевидно, например, что «Воспоминания о художнике Бейдемане», хотя и датированы «18 января 1904», переделывались позже, так как в самом тексте встречается указание на смерть В. В. Верещагина. Известно, что он погиб 12 апреля 1904 года.

Первую публикацию «Моих воспоминаний» в виде отдельного издания осуществил С. А. Бахрушин в 1926 и 1927 годах. Текст Жемчужникова (четыре первые части) был напечатан полностью, купюры, по цензурным соображениям встречавшиеся в «Вестнике Европы», были восстановлены. При этом Бахрушин опирался на переписанный на машинке текст, находившийся в его распоряжении. Экземпляр имел авторскую надпись и дату —

17 октября 1910 года, судя по всему, означавшую окончание работы над «Моими воспоминаниями». Издание Бахрушина было дополнено краткой вступительной статьей, немногочисленными примечаниями и аннотированным указателем (в настоящее издание не включены). Бахрушину же принадлежит мысль присоединить к «Моим воспоминаниям» очерк о П. А. Федотове, написанный Жемчужниковым в девяностые годы и в основной части опубликованный в журнале «Артист» (1893, март).

Ныне впервые публикуются все шесть частей воспоминаний Жемчужникова, а также два приложения к ним: воспоминания о П. А. Федотове и А. Е. Бейдемане. В основу положен авторский машинописный экземпляр текста, ныне хранящийся в Государственном Русском музее, недостающие в нем главы пятой части взяты в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве. «Воспоминаний о П. А. Федотове» нет в экземплярах ГРМ и ЦГАЛИ, поэтому они перепечатаны из бахрушинского издания.

Готовя «Мои воспоминания» к печати, составитель и редактор сделали значительные сокращения. Они коснулись в основном частных, сугубо личных подробностей, излишне растянутых описаний и религиозных рассуждений автора, подробно записанных рассказов крестьян.

В первых двух частях, отредактированных Жемчужниковым, таких сокращений не очень много. Опущены лишь страницы растянутых описаний жизни Первого кадетского корпуса. Купюры в тексте и в названиях глав обозначены отточиями в квадратных скобках. Это относится ко всем шести частям. В первой части целиком сокращены девятая и десятая главы.

Из третьей и четвертой части исключены многочисленные, чрезвычайно обстоятельные рассказы крестьян и помещиков о порядках и нравах в крепостной деревне. Остались только наиболее яркие из них. Этот же принцип соблюден и в дальнейшем, так как «Воспоминания» вообще несколько перегружены рассказами, которые Жемчужников любил записывать дословно. В третьей части опущена глава шестнадцатая, в четвертой — со второй по шестую включительно. Более всего подверглись сокращению пятая и шестая части. Сделано это было потому, что обе они отличаются заметной рыхлостью, порою ненужными мелкими подробностями. Им не хватает четкости и лаконизма, присущих первым частям. Очевидно, Жемчужников редактировал их менее тщательно, чем предыдущие разделы. В настоящее издание не вошли главы X—XIII пятой части, II, IV, VII, IX, XI, XIV, XV, XVII—XIX, XXIV, XXVI — шестой части. Приложение, посвященное А. Е. Бейдеману, в варианте текста ГРМ довольно механически присоединенное к шестой части, оказалось целесообразным поместить ради бо́льшей цельности «Воспоминаний» несколько раньше, в конце четвертой части. При всех сокращениях тщательно сохранено все, что хоть в какой-либо степени относилось к характеристике культурной жизни России сороковых — шестидесятых годов XIX века.

Молодость живет надеждами,
а старость — воспоминаниями


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1828—1848



I

Не знаю, как приступить к делу и с чего начать? Желательно вспомнить всю свою жизнь; и, полагаю, воспоминания эти будут мне приятны и не бесполезны для других, так как в них отразятся: детство, молодость и старость, любовь к жизни, надежды и охлаждение, — отразится жизнь человека своего времени.

Почти всегда воспоминания начинаются с родословной; казалось бы, зачем? Подумав, я пришел к такому же решению. Родословная — почва, на которой мы выросли; мы — продукт родословной и среды, то есть почвы и окружающей нас духовной жизни.

Но так как брат мой Владимир в своих «Записках» * говорит о нашей родословной, то я не вижу надобности повторять сказанное и перехожу к своим личным воспоминаниям.

Я родился в 1828 году, 2 ноября, в Орловской губернии, в деревне Павловке, принадлежавшей отцу моему Михаилу Николаевичу Жемчужникову.[2] Жили мы в деревянном с мезонином дубовом доме, к одной стороне которого примыкал луг, обсаженный местами кустами и деревьями, или так называемый нами «Английский сад». Сколько я помню из рассказов отца, сад был разбит и насажен довольно наивным способом: отец сел на палочку и поехал, а мать говорила, идя следом за ним: «Направо, налево, сюда, прямо» и т. д. По следам этой палочки были разбиты аллеи и дорожки [...]

* См.: «Вестник Европы», 1899, февраль.[1]

Я был ребенок болезненный, и ухаживала за мной добрая тетушка Катерина Николаевна, сестра отца, моя крестная мать, любившая меня более других, она же учила меня азбуке. Я не мог выговорить «Екатерина Николаевна» и называл ее «Тикована» — так она прозвалась нами, так буду ее звать и я в своих воспоминаниях. Вечером иногда я гулял с нею в саду, по широкой дорожке, и любовался на луну, которая чрезвычайно меня интересовала своим светом и видом. Всякий вечер, перед сном, я молился перед киотом и очень любил образ богоматери и св. Митрофания. Молитвы были простые: «Помилуй, господи, папеньку, маменьку, братьев и сестрицу. Упокой, господи, души усопших сестер моих Сони и Лизы». Молились мы с братом Владимиром рядом, и затем, сделав мне перевязку, тетя укладывала меня спать.

Несмотря на свою болезненность, я был весел, резв, любил рисовать и с особенным удовольствием рассматривал альбом, в котором были, между прочим, нарисованы барашки моей матерью. Одно из самых неприятных чувств, которые я испытывал, это когда мне надевали через голову рубашку: как-то было темно, жутко; и няня Надежда задевала меня за нос, и я капризничал. На святках приходили дворовые, наряженные козой, медведем и т. п., и танцевали под окнами. Мы тоже наряжались; я был наряжен доктором, ходил, пробовал у всех пульс и был уверен, что меня действительно принимают за приехавшего доктора; тогда мне было не более трех-четырех лет. Мы гадали на святках, отливая воск, и, рассматривая его потом на тени стены, были уверены, что видим ясно отца, лежащего под деревом. Гадали о нем, потому что он в это время был на войне. *

У Тикованы была дочь Саша и взятая для нее воспитанница сирота Таня; ту и другую я очень любил. Во время игры в прятки мое любимое место было под кацавейкой моей матери, которая укрывала меня, лежа на кушетке, и я к ней прижимался; особенно мне нравилась та теплота, которую я ощущал около ее груди. Я ее любил до чрезвычайности. Она хорошо пела, была весела и приветлива. Из игрушек мне особенно нравился ящик, в котором были мужики и работали: кто пилил, кто стругал, кто рубил, — механизм приводился в движение вертящейся сзади ящика ручкой; спереди ящик был закрыт стеклом от пыли. Что касается моего отца,

* В 1830—1831 годах в польской кампании. [3]

то мои воспоминания о нем в этом возрасте довольно смутные. Помню только, как я сидел на диване с ним и братом Владимиром, как он вырезал козлов из сырой репы ножом (очень дурно, а нам казалось, что они похожи) и как однажды он взял брата Владимира из окна детской и увез на беговых дрожках, оставив меня дома за леность. Но в памяти отчетливо остался кабинет отца и его оружие, висевшее в коридоре около кабинета.

Однажды я случайно вбежал в гостиную и увидел там доктора и лоханку с кровью. Мне сказали, что это ставили кому-то пьявки. Но, увы... вероятно, их ставили или пускали кровь моей матери. Через день или два меня позвали к ней. Она лежала в постели, поцеловала меня, и я горячо целовал ее, плакал, не хотел с ней расстаться, предчувствуя что-то тревожное. Затем я увидел мать в столовой на столе в лиловом нарядном платье, дворню, крестьян... Помню, как ее уже не стало в столовой, как сердце мое болело и как еще сильнее прильнуло к моей доброй Тиковане. Моя мать, как я узнал много лет спустя, умерла в отсутствие отца, после непродолжительной болезни, получив воспаление в мозгу от простуды при поездке на бал зимою к соседям, где были плохо протоплены комнаты для ее ночлега. Схоронили ее тридцати трех лет, в двадцати пяти верстах от Павловки, в селе Долгом, возле умерших сестер моих Сони и Лизы.

Что сказать еще об этом времени... Помню безграничную, глубокую любовь мою к Тиковане и разлуку с нею, когда меня и брата Владимира увезли, в сопровождении другой тетушки, Варвары Николаевны, в Петербург, к отцу. Грустно до боли в сердце мне было ехать; Варвара Николаевна постоянно ворчала на меня за то, что раскидываюсь в экипаже, и охраняла Володеньку; и я всю дорогу был в огорчении, а мною всю дорогу были недовольны. Глубоко врезались в моей памяти песни, которыми я заслушивался по ночам, когда все спали; пели это ямщики и форейторы. Особенно помню двух певцов и их заунывные мелодии. [...]

[II]

Выйдя из военной службы, по окончании польской кампании, отец мой в 1832 году был назначен губернатором в Кострому, где, получив известие о болезни жены, прискакал

в Павловку; но матери в живых не застал — она была схоронена. Отец отправился в Петербург со старшими братьями: Алексеем, Михаилом и Николаем, для определения их в казенные заведения по желанию государя; затем привезли брата Александра и, наконец, меня и Владимира. Самую младшую из нас, сестру Анну взяли к себе тетушка, графиня Толстая Анна Алексеевна, и брат ее Алексей Алексеевич Перовский.*

В Петербурге мы остановились у отца в гостинице, в отдаленной части города. Старшие братья уже были помещены в учебные заведения, а мы, младшие, гуляли и резвились дома. Наконец, в 1835 году, я и Владимир с отцом отправились в Царское Село для определения нас обоих в корпус.[4] Не стану описывать лестницы и входа, которые поразили меня своими размерами, ни коридоров, тянувшихся по всему зданию, — все это наводило на меня какой-то страх, и я весь дрожал. Куда водил нас отец — я не помню; только одно врезалось в моей голове — это освидетельствование, то есть когда нас раздели и осматривали. Потом мы очутились у старушки Бониот (классной дамы) в комнате, где было множество детей в одинаковых платьях.[5] Они шумели, кричали и щипали нас; расспросы посыпались отовсюду. [. . .]

Раздался какой-то стук по коридору — это был барабан.

Старушка Бониот построила свою команду, и мы пошли лавировать из коридора в коридор, с лестницы на лестницу. Чем более приближались мы к нижнему этажу, тем яснее слышался какой-то странный шум: он был подобен жужжанию целых миллионов пчел, заключенных в огромный стеклянный сосуд. Наконец, растворились двери, и мы вошли в огромную и, как казалось, бесконечную залу, более похожую на сарай; окна были полукруглые и отстояли сажени на полторы от пола. Посреди зала, на большом расстоянии, висели лампы, тускло горящие; вдали огонь был едва виден от пыли и чада.** Появилась какая-то длинная фигура в серых, грубого сукна штанах и такой же куртке; над одной из медных пуговиц куртки висела склянка со скипидаром, и из нее торчала палочка. Это был ламповщик. Он держал рукой одну сторону лестницы, а другая лежала у него на плече, и длинными, тонкими и грязными ногами, сильно сгибая колени, отмеривал огромные шаги. Когда он прошел

---

* Сестра и брат моей матери.

** Тогда лампы заправлялись маслом.

мимо меня, утирая рукавом измаранную физиономию, то я еще долго чувствовал какой-то скверный гнилой запах.

Оглушительный звук барабана повторился, и все построились вдоль четырех стен необъятной залы — в две шеренги. По команде все повернулись в одну сторону, по команде все пошли нога в ногу, и я удивлялся мерному топоту шагов; топот мало-помалу делался тише, и однообразная масса стройно исчезала, удаляясь в соседнюю комнату. Мы отправились за ними и вошли в столовую, которая была несколько меньше залы, и здесь стоял бесконечный ряд длинных столов, уставленных приборами. Все выстроились перед своими местами, и над моими ушами протрещал опять барабан; и все запели молитву. Все было для меня ново и странно; по барабану сели, и опять началось жужжание, аккомпанируемое стуком ножей, стаканов и ложек. Около меня стояли отец и директор — седой генерал Хатов (Иван Ильич), они, смеясь, уговаривали меня есть гречневую кашу, которая мне чрезвычайно не понравилась.

По барабану кадеты встали из-за стола и тем же порядком, нога в ногу, отправились в прежнюю залу. Нас распустили из строя поиграть; и меня обступило бесчисленное множество детей, с одинаковыми лицами, в одинаковом платье; но у некоторых куртки были похожи не на сукно а на гнилую ветошь, пропитанную салом всю в пятнах и испещренную различного цвета заплатами. Кадеты кричали, шумели, толкали нас, спрашивали фамилию и щипали. Скоро, по команде, всех построили и повели из залы. Навстречу нам опять зашагал серый человек с лестницей, склянкой и длинными, гнущимися ногами. Он подходил к лампам, от которых мы удалялись, ставил около них лестницу, взлезал по ней и лампа тухла. Я и брат, держась за руки, долго поднимались по лестницам, шли еще дольше по коридорам и, наконец, пришли в спальню. Все одинаковые кровати — их было очень много, и у каждой в головах, на железной палке торчала доска с надписью фамилии; расставлены были кровати симметрично вдоль и поперек всей комнаты, оставляя между рядами своими довольно широкие проходы. Меня раздели и положили в постель. Неприятное чувство овладело мной, когда я лежал на кровати и кругом на меня смотрело множество лиц, друг на друга похожих. Отец мой сидел у старушки Бониот и, когда все утихло, пришел к нам, сел около брата Владимира, говорил с ним и успокаивал его, затем, перекрестив его и меня, ушел. Мы помолились богу на кресты

которые были у нас на груди, простились друг с другом, перевесившись через кровати, поцеловались и легли под одеяло. Я долго плакал и боялся, чтобы кто-либо не увидел. Настала полная тишина и полумрак, я видел, как опять вошел отец, наклонился к брату, сказал ему несколько слов и подошел ко мне. Я притворился спящим, но чувствовал, как он на меня глядит, как ушел, и с разбитым сердцем мало-помалу забылся и уснул.

Нет надобности описывать все подробности. День за днем проходили, и я не чувствовал около себя сердечного участия; все, все было чуждо, кроме брата Владимира. Мне было лет около шести, а брату пятый год, и потому нас еще не разместили по классам, а в числе других шести кадет одели, по распоряжению императора, в красные русские рубашки. Только старушка мадам Бониот за нами наблюдала, изредка заставляя читать по складам и считать до десяти, и ей часто помогала дочь ее «мамзель Бониот», классная дама 1-го отделения 3-й роты. Мне было странно слышать, идя по классным коридорам, громкое, нескладное и протяжное пение то на русском, то на французском, то на немецком языках, точно так же нараспев считали числа до десяти и обратно. Когда камышовая палка в руках учителя била сильнее и чаще по столу, то и счет становился быстрее.*

Пришло время и мне вместе с моими сверстниками идти в классы. Рубашку с меня сняли и надели курточку.

В одних предметах я делал успехи, в других — нет.

В рисовании я быстро подвигался вперед, чертил с моделей по методе Сапожникова[7] и скоро занял третье место в классе. Что касается учителей, то учитель закона божия Барсов (священник нашего корпуса) был добр, меня любил и брал иногда к себе, где было мне очень приятно. Его уютная квартира и обращение со мной напоминало мне Павловку. Рисованию учил Кокорев,[8] имевший свою дачу против нашего сада и у которого мы с братом Владимиром иногда гостили летом. Арифметике учил Кох.** Он был небольшого роста и сильного сложения, мускулистый, с длинным носом,

* Такова была тогда метода Эртеля, введенная в военно-учебных заведениях.[6]

** Кох умел рисовать и сделал для отца портрет брата Владимира акварелью, в куртке Александровского кадетского корпуса, держащего одну руку у сердца, а другую у пьедестала, на котором стоит бюст императора Николая Павловича. Портрет этот отец хранил, но по смерти отца я бюст императора закрасил, в таком виде он находится у меня.

голова лысая, покрытая редкими рыжими волосами, голос грубый. У него в классе мы обыкновенно сидели вытянувшись и держа руки за спиною, за этим постоянно наблюдала сидевшая тут классная дама. От скуки я начал, подобно другим, делать из бумаги петушков, кораблики и коробочки, заложа руки назад. Кох поймал одного кадета за этим занятием, схватил его за руку, приподнял и поставил на стол, отнял золотого петушка, расправил его, намуслил бумажку и прилепил ему на лоб, слюни потекли по лицу, и он должен был простоять на столе до окончания урока.

Учитель естественной истории имел обыкновение с криком и ругательством толкать в живот камышовой палкой подходящих к нему кадет.* Фамилия его была Хорошилов. Рост у него был большой, лицо усеянное ямочками от оспы. Голова круглая, грубая с вьющимися и торчащими во все стороны рыжими волосами. Когда ему подносили альбом для подписи (что было в обычае), он четко и кругло выписывал, вкось листка, одну за другой гласные буквы своей фамилии и от последней буквы проводил толстую черту.

Учитель чистописания Корзин тех, которые дурно писали, ругал и, при дежурной даме, говорил во всеуслышание: «Так надо исписать тебе ж. . .» Не выкидываю этого слова, как не выкидывают слова из песни, как преподаватель не выкинул этого слова при даме и как не выкинули этого грубого невежу за это из корпуса. Такая его поговорка повторялась не раз, точно так же, как и Кох не раз налеплял кораблики и петушков на лицо, и умолчать о таких скверных и грубых фактах было бы с моей стороны смягчением фактов нашего отвратительного воспитания. Достаточно и того, что умалчивается и чего рука не решается писать. [. . .]

III

Из малолетнего отделения я уже перешел в 3-ю роту, в 1-е отделение (их было три). [. . .]

Классной дамой нашего отделения была «мамзель Бониот», дочь старушки Бониот. Она была немолода, гораздо взыскательнее своей матери, и мне скоро начало от нее до-

---

* Палки камышовые лежали в каждом классе на кафедре для учителей.

ставаться. У нее был любимец, граф Гауке (Иосиф, впоследствии я с ним сошелся в Пажеском корпусе);[9] она баловала его, не позволяла до него дотрагиваться и подходить. Меня взяла досада, и я его однажды толкнул изо всех сил обеими руками. Он упал с криком и плачем.

На другой день утром мамзель Бониот пожаловалась директору, который каждое утро обходил всех выстроившихся кадет. Когда мы напились в столовой молока и все ушли в классы, я один, дрожа и бледнея, остался в огромной зале по приказанию директора, который ходил взад и вперед. По команде его: «розог» — солдаты засуетились, а я заплакал во все горло. Меня повели в просторный чулан, раздели, растянули между двух стульев и дали четыре удара розгами, рукою солдата-ламповщика Кондрата.

Я вернулся в класс с директором; когда он ушел, сидевшие возле меня кадеты шепотом спрашивали: сколько ударов и больно ли? Я отвечал, а сам едва сидел на жесткой деревянной скамейке и чувствовал, что подо мною как будто горела пачка спичек. Во время перемены уроков, когда я вышел из классной комнаты, кадеты начали приставать, чтобы я показал рубцы; я не хотел, но, наконец, согласился.

Так, мало-помалу, я грубел и свыкался с обычаями и порядками корпуса, но очень часто вспоминал свою крестную мать Тиковану, Павловку и украдкою плакал...

В этой же роте я сдружился с Китаевым, который был слабее и несколько моложе меня. Часто мы говорили с ним о путешествиях, хотели странствовать, ходили вдвоем, во время гуляния, к забору и там выкапывали глину, из которой лепили кирпичики; затем я начал делать скамеечки и пр. и этому учил Китаева. Успехи в рисовании и наклонность к лепке уже в то время доказывали мое влечение к искусству, более чем ко всему другому. Следовало бы в этом возрасте дать мне возможность заняться в этом направлении.

Скоро я прослыл силачом и отважнейшим в роте. Такие кадеты были и в других ротах и пользовались общим уважением; они были неопрятнее всех. Мамзель Бониот не любила меня, часто наказывала и секла; секла собственноручно или приказывала сечь девушкам в ее присутствии. Сек меня реже, но больнее, директор, а еще больнее инспектор. Удары его давались на лету: держали меня два солдата за руки и ноги, полураздетого на воздухе, а третий солдат хлестал пучком розог (запас которых стоял в углу), пока Мец не скажет: «довольно». Число ударов доходило до тридцати и

сорока. После экзекуции я уже сам показывал товарищам рубцы от розог и щеголял ими. Брат Владимир часто обо мне плакал; он был благонравнее, прилежнее меня, и его любило начальство. Нередко я был прощаем и избавлялся от розог слезами и неотступными просьбами брата. Его часто брали к себе Хатов и Мец, а я во все мое пребывание в корпусе был позван к Хатову два раза, и, вероятно, по просьбе брата, да к инспектору раз.

Кроме Китаева, с которым я был приятель, еще я сдружился с кадетами Березицким и Якубовским. Часто я ходил с ними по зале, когда все играли и шумели, и рассуждал бог знает о чем. Они рассказывали о своей родине и описывали жизнь свою до поступления в корпус; я наслаждался, слушая их.

В каждой роте Александровского корпуса находилось по два и по три дядьки. Это были отставные, заслуженные солдаты различных полков гвардии. Я с ними сдружился, слушал их сказки и рассказы о походах, менялся с ними булкою на черный хлеб, и нередко, после рассказов, видел во сне войну и сражения.

Александровский кадетский корпус (где держали до десяти лет) имел на меня влияние — худое и хорошее. Я считаю хорошим то, что я выучился, порядочно для своего возраста, говорить по-французски и отчасти по-немецки; науки мне давались легко. Дурно было то, что я огрубел, очерствел и развил слишком силы физические.

Старик директор был добр, классная моя дама не зла, но тот и другая постоянно бранили меня за то, что хмуро смотрю, наказывали меня часто розгами, и, как я полагаю, вследствие существовавшей тогда системы. Что касается инспектора, то он мне всегда казался странным; он никогда не прощал и вместе с тем как будто и жалел. Во время экзекуции стоит, бывало, опершись спиной или плечом о стену, закроет себе лицо рукой или даже платком и после целует; слезы текут непритворно, а иногда задаривал чем-нибудь или брал к себе.

Нравственность воспитанников была чрезвычайно чиста; даже тогда, когда они ссорились между собою, не слышно было грубых бранных слов, что объясняется хорошим домашним воспитанием большинства, а отчасти и присмотром.

Однажды случилось необыкновенное происшествие, наделавшее много шуму. В одном из старших классов, при осмотре классных книг (что делалось инспектором очень

часто, и за помарки и рванье строго наказывалось), на листках книг нашли надписи фамилий двух кадет с самыми неприличными бранными словами.

Начались допросы — никто не признавался. Допросы продолжались несколько дней, но без успеха. Мец роздал всему классу бумагу и перья и заставил писать по своей диктовке. Рукописи отобрали и начали сличать почерки с надписями на книгах. Пять или шесть кадет были отобраны. Мец решился пересечь весь класс, дав по два удара каждому, и крепко высечь тех, на кого было подозрение; с них он и начал. Высек больно шестерых и, готовясь сечь весь класс, дал день на размышление. В рекреационное время кадеты сидели в классах под строгим присмотром. Розги были приготовлены в большом количестве, и Мец, растрепанный* и нахмуренный, вошел в класс, встал посредине, велел всем встать на колени и молиться; сам он с чувством молился шепотом, и слезы текли по его щекам. Кто, глядя на него, расчувствовавшись, плакал, а кто от страха. Троих уже высекли, как один из кадет, К., признался; он был уже высечен прежде, как подозреваемый, но теперь вновь, и кричал ужасно. Мец плакал и просил извинения у высеченных напрасно, опять стал посреди класса и молился, позвал К., заставил его повторять за собою слова молитвы, а затем простил.

Все это расстраивало мои нервы и действовало на воображение, так что стоило мне задуматься, устремив глаза в одну точку, например под скамью противоположной стены залы, и тут среди шума, крика и беготни нескольких сот детей я видел, смотря по желанию, карлика или что другое. [...]

Нередко во сне я представлял себя зодчим, и мне являлся черт, который со мной сдружился и учил меня строить дома; вскоре я сделался его соперником в искусстве. Он учил меня прыгать по лестницам здания, и я действительно на другой день, наяву, прыгал через восемь или девять ступеней и спускался по перилам лестницы с верхнего этажа в нижний. Однажды во сне я играл с антихристом в карты и заставил его провалиться сквозь землю, показав ему козырями кресты (трефи). Но он опять явился за моей спиной, схватил меня за плечи и так сжал, вдавив большой палец между ключицей и плечевой костью, что на другой день мне казалось, что я не могу без боли пошевелить плечами. Под влиянием этого

---

* По растрепанной прическе мы узнавали расположение его духа.

сна я научился так давить плечи моим товарищам, что никто из них не выдерживал без крика.

Мы все верили в черта, колдовство, домовых и ведьм, и эти верования вселялись в нас нашими дядьками; мы даже одну из классных дам наших, м-ме Эссенберг, считали ведьмой, и некоторые из кадет уверяли, что видели у нее хвост — признак ведьм.

IV

Однажды в число кадет поступил к нам мальчик, не в урочное время и уже одиннадцати лет, следовательно, в возрасте старшем, чем полагалось для приема, вследствие такого случая. На Кавказе, из какой-то казачьей станицы, отправились все в поход против горцев; в это время черкесы напали на станицу и разграбили, забрав пленных, и только один мальчуган куда-то спрятался со своей сестренкой-крошкой. По удалении черкесов он питался чем попало, а сестренку кормил молоком ощенившейся собаки. Узнав об этом, государь приказал поместить мальчика к нам в корпус и дал ему медаль за спасение погибавшей, которую он и носил на груди. Приезжая к нам с гостями своими, государь показывал им этого находчивого и доброго мальчика.

Кроме наук, гимнастики и танцев, нас учили петь. Лучшие голоса отбирались в певчие, куда были отобраны я и брат Владимир. Учил нас вахмистр лейб-гвардии гусарского полка Постников, или господин Постников, как мы его называли (мы величали так и наших солдат дядек). У Постникова были черные приглаженные волосы, черные нафабренные усы, и особенно в нем был соблазнителен гусарский мундир. Под его наигрыванья на скрипке мы пели военные сигналы, заучивали легко слова не только пехотных, но артиллерийских и кавалерийских сигналов. Он же учил нас и церковному пению, так что мы под его управлением пели обедню, молебен и великопостную службу, хорошо справляясь и с концертами.

Когда император Николай Павлович в Пензенской губернии выпал из коляски и сломал себе ключицу, а потом, по выздоровлении, приехал к нам в корпус, то мы должны были приветствовать его пением и криками «ура», стоя вдоль громадной нашей залы, в строю по ротам и отделениям. В голове

каждой роты и отделений стояли наши классные дамы, почти все украшенные орденами, а за фронтом — наши старики дядьки. Для этого случая нас, певчих, собрали к одному месту, и при появлении Николая Павловича мы запели следующее:

Что так рано солнце встало,
Порассыпался туман,
Ретивое заиграло,
Солнце — веще, не обман,
Други, други, весть несется!
Как роса, от неба льется,
Ах! и веры нам неймется,
Прибыл к нам наш царь-отец.
Царь — отрада наш, о, слава!
Наш, о, слава! Царь сердец! (*2 раза*)
О, товарищи, о, братья!
Полетим его встречать!
Что за чудо — надивиться!
Бог ему здоровья дал!
Бог царем его поставил,
Чтоб Россию он прославил,
Чтоб вселенную избавил,
Чтоб источник был добра.
Грянем все: ура! ура!
Грянем все: ура! ура!..

Император дослушал до конца и похвалил нас. Кто сочинил эти строки, кто положил их на музыку — не знаю, но вскоре солдата-гусара господина Постникова мы увидели в офицерском мундире.

Николай Павлович остался нами доволен, был весел и пожелал попробовать силу выздоровевшей своей руки, и для того поставил нас, кадет, в шеренгу, велел держаться на ногах крепко, потом толкнул ближайшего больной рукой, и вся шеренга повалилась. Так делали мы со своими оловянными или бумажными солдатиками, когда играли в сражение.

В летнее время нас водили классные дамы в Царскосельский дворцовый сад, и довольно часто некоторых кадет отправляли во дворец для игры с детьми государя; брата моего Владимира посылали постоянно, а меня никогда. Но случалось, что гуляющие команды зазывались государем, и тут уже были не отборные, а кто случится; мы бегали и играли

без всякого стеснения; лазали по гимнастическим лестницам и шестам, прыгали по натянутой под гимнастикой сетке и катались с деревянной горки, устроенной в одной из комнат дворца. Государь играл с нами; в расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух. Любовь к себе он умел вселять в детях; был внимателен к служащим и знал всех классных дам и дядек, которых звал по именам и фамилиям.[10]

Подходило время перевода моего в Первый кадетский корпус. Мы знали, что ехать придется с инспектором Мецом и ехать без шалостей, так как бывали случаи, что за шалости кадет секли на дороге.

V

В 1839 году, августа 19-го, я был привезен из Царского Села в Петербург и переведен из Александровского малолетнего в Первый кадетский корпус. Нас привели в неранжированную роту[11] к командиру капитану Михаэлю.

Мне уже было известно, что капитан этот чрезвычайно сердит и больно сечет. Поговорив с нами, Михаэль спросил, знаем ли мы его. Я сказал, что слышал о нем. Он спросил: «Что же вы слышали?» — «Я слышал, что вы злы, сердиты, вас все боятся, и что вы очень больно сечете». На лице Михаэля появилась недовольная улыбка. Однако я ему понравился; он меня позвал к себе и угостил огромным стаканом кофе.

Пришло время нашего экзамена, чтобы по знаниям разместить в классы, но экзамена не сделали и рассадили, кажется, по росту. Я попал в класс, где все уже знал, так как проходил те же предметы в прошлом году. Я был доволен, что отличаюсь знанием от прочих; но мало-помалу забывал пройденное и разленивался.

Учил нас французскому языку Миранд, весьма оригинальная фигура. Большой полный старик с морщинистым лицом, крючковатым носом, бритый, с огромными черными крашеными бровями и черным, как вороново крыло, париком, с невозможно сделанным хохлом в виде крючка и с широкими завитками на висках и затылке. Говорили, что он из оставшихся в России барабанщиков наполеоновской армии.

Крайне грубый, он стучал неистово в классе камышовой палкой (палками и тут, как в Александровском корпусе, снабжали учителей в классах). Однажды он явился очень серьезный и подпивши, вынул из кармана кошелек, высыпал монеты на кафедру, отсчитал сколько-то и по числу их выставил в классном журнале для отметок столько же нулей, ни у кого не спрашивая урока; подремал, походил по классу и ушел. Кадет нашего класса Нотбек 4-й нарисовал карикатуру Миранда грифелем на аспидной доске, которая попала в руки начальства, и бедного Нотбека больно высекли перед всем классом, с расстановкой и наставлениями; ему было дано более пятидесяти ударов. Карикатура лежала в головах.

Учитель русского языка Орешников был рыженький, в коротких штанах с пятнами, из кантонистов. Каждый почти раз приходил он в класс подпивши и, бывало, уговаривал нас сидеть тише, когда слышал, что вдали на галерее скрипит дверь, из боязни, чтобы инспектор, услышав шум, не вошел. Он таинственно произносил, указывая на дверь: «Господа, дверь скрипит; инспектор идет», — и при этом облизывался, потирая себе штаны спереди, где было желтое пятно.

Я совсем предался маршировке, которой нас учили в неранжированной роте, и ружейным приемам, и скоро перещеголял почти всех. Это меня довольно часто спасало от наказаний и доставляло различные выгоды. Целый день и вечером, когда все занимались уроками, я обучался маршировке у солдата, приготовляясь быть посланным ординарцем к государю. Михаэль, при моей маршировке, любовался мною, как я шел держа ружье, и у меня не шевелился штык, несмотря на кивер и тесак, надетые на мне, и говорил, указывая товарищам: «Земчужников идеть, как стрела летить» (он был из евреев).

Каждый понедельник в нашей роте происходила экзекуция: кого за дурной балл, кого за шалости или непослушание. Тех, которым предстояли розги, отпускали в воскресенье к родителям; при этом над ними посмеивались, как и над теми, которым предстояли те же розги, но почему-либо они оставались в корпусе. Эти пользовались до понедельника особым снисхождением, и их не лишали лакомого блюда, а, напротив, часто дежурный офицер сам отдавал им свой пирог, булку или говядину, гладя по голове.

Секли целыми десятками или по восьми человек, выкликивая первую, вторую и т. д. смену, в последовательном порядке; при этом нас выстраивали попарно, и по команде

нога в ногу мы шли в залу. У Михаэля в карманах, за галстуком, в руках был запас рукописных записок, с каждыми мелочами, замеченными в течение недели. Рекреационная зала была громадная, холодная и по середине ее в понедельник утром стояли восемь или десять скамеек (без спинок), по количеству лиц в смене. Скамейки были покрыты байковыми одеялами; тут же стояли ушаты с горячей соленой водой, и в ней аршина в полтора розги, перевязанные пучками. Кадеты выстраивались шеренгой, их раздевали или они раздевались, клали или они ложились из молодечества сами на скамью; один солдат садился на ноги, другой на шею, и начиналась порка с двух сторон; у каждого из этих двух солдат были под мышкой запасы пучков, чтобы менять обившиеся розги на свежие. Розги свистели по воздуху, и Михаэль иногда приговаривал: «Реже! крепче!» ... Свист, стон — нельзя забыть... Помню неприятный до тошноты запах сидевшего у меня на шее солдата, и как я просил, чтобы он меня не держал, и как судорожно прижимался к скамье. Маленькие кадеты и новички изнемогали от страха и боли, мочились, марались, и их продолжали сечь, пока не отсчитают назначенного числа ударов. Потом лежавшего на скамье выносили по холодной галерее в отхожее место и обмывали. Нередко лица и платье секущих солдат были измараны и обрызганы этими вонючими нечистотами. Случалось, что высеченного выносили на скамье в лазарет. Крепкие и так называемые старые кадеты хвастались друг перед другом, что его не держали, а тот не кричал, показывали друг другу следы розог, и один у другого вынимали из тела прутики; рубашки и нижнее белье всегда были в крови и рубцы долго не заживали. *

Понедельники наводили на всех ужас. Бывали и счастливые случайности... Однажды привели меня в залу, в числе прочих, во время экзекуции, что делалось тогда для устрашения. Под крик бедняков и плач новой приведенной смены, однажды я незаметно все подвигался к выходу и убежал в дверь; пустившись по галереям, мимо квартиры Михаэля, вниз по лестнице, за ворота в сад и через луг к пруду, через который был мост, и спрятался под мостом. По галерее я слышал за собой сначала погоню, но потом — никого. Сижу

---

* Такая же частая, но еще более жестокая порка производилась над служащими у нас солдатами, как нам было известно из их же рассказов. Битье солдат по лицу считалось пустяком. Михаэль был роста небольшого, подпрыгивал, ударяя кулаком солдата в зубы и окровавливая ему лицо.

под мостом и жду, что будет. Спустя непродолжительное время, слышу, меня зовут, громко выкрикивая фамилию, — я молчу; ходили через мост у меня над головой, еще звали... наконец все стихло. Прошло еще время, и я рассчитал по звукам отдаленных барабанов, что первые часы урока кончились и начались вторые; я вылез и пошел... куда? — отправился прямо на квартиру Михаэля. В передней я встретил его жену и попросил, чтобы она за меня заступилась, — и успешно, так как меня избавили от наказания.

Между нами упорно держались рассказы, что наши офицеры, Михаэль и Черкасов (оба жестокие), сильно пострадали во время бунта новгородских военных поселений, где они тогда служили. Дух ли жестокой аракчеевщины сидел в них или жестокая система воспитания, введенная прежним директором, философом Клингером, пустила такие глубокие корни — судить не берусь.* [12]

VI

До крайности тяжело было мне в корпусе; в семействе своем я также не находил той сердечности, участия и любви к себе, которых требовала душа; моя лень, загрубелость, скрытность или, вернее, отсутствие откровенности не были симпатичны моему отцу и братьям. Я задумал бежать из корпуса и сделаться разбойником; рассказы товарищей-черкесов, чтение романов — «Кузьма Рощин», «Ган Исландец», «Дубровский» [13] — меня воспламеняли. К нам поступил новичок, и для исполнения задуманного побега я взял у него ночью платье, оделся, запасся веревкой и рассчитывал, что убегу через форточку, спустясь по веревке. Брат мой Владимир в это время был тоже в неранжированной роте. Он вышел меня проводить. Я с ним поцеловался, прощаясь, но он горячо меня упрашивал остаться, плакал, обнимал и... — тронул: я решил остаться [...]

Директор нашего корпуса, в это время, был Годейн. Личность оригинальная. Он обходил классы и роты раза два в год, хотя жил в самом корпусе; приходил в ермолке,

* Клингер в 1780 году вступил в русскую службу и был назначен директором Первого кадетского корпуса. См. о нем «Вестник Европы», 1899, февраль.

с сигарой, в туфлях. Он был добродушный человек. Однажды, когда меня не отпускали домой, а ехать хотелось, я убежал к нему на квартиру и попросил отпустить; он дал записку к ротному командиру, чтобы меня отпустили, но заставил предварительно промаршировать с ружьем перед собою. Нередко бывали случаи, что кадеты старших рот приходили на его квартиру и покупали у его жены масло за 50 копеек, и, как теперь, помню форму этого масла с клеймом «Лисино». При подобных покупках нередко, по ходатайству его жены, кадеты избавлялись от наказания...

«Что у тебя за обедом»? — спросил однажды Годейна великий князь Михаил Павлович, тогда начальник всех военно-учебных заведений. Годейн, поглаживая свой большой животик, насчитал ему несколько хороших блюд. Пришел великий князь в столовую, где по заведенному порядку подали ему на пробу наш обед, состоящий из габер-супа и чего-то еще. На вопрос великого князя, Годейн объяснил, что полагал, что великий князь интересовался узнать об обеде, который будет у него дома. С тех пор мы всегда передразнивали его, хлопали себя по животу и говорили: габер-суп и соль, когда кто-либо любопытствовал узнать, что будет к обеду.

Что же касается нравственности в неранжированной роте, где кадеты были только до двенадцати лет, то она была уже не та, что в Александровском корпусе. От кадет старших рот доходили до нас неприличные стихи, которые передавались от одного к другому, заучивались наизусть и переписывались, и случались пороки, свойственные закрытым заведениям [...]

VII

[...] Зимою, во время больших праздников, отец брал для нас очень часто ложи в театры, и я с малых лет с большим интересом смотрел пьесы Шекспира, которые более других врезывались в мою память. По возвращении из театра отец всегда расспрашивал меня, что я видел, и я обязан был передать ему свои впечатления. Мой старший брат Алексей перед театром объяснял нам содержание пьесы, и я с большим вниманием слушал его. Он же иногда писал пьесы для домаш-

него театра,[14] и мы все с двоюродным братом Петром Курбатовым разыгрывали их в присутствии отца и некоторых знакомых. Было это в помещении губернаторского дома в Коломне. Губернаторская квартира была большая, и приходилось часто из кабинета, по приказанию отца, идти за чем-нибудь в столовую через две неосвещенные комнаты; я шел всегда с биением сердца мимо зеркал; даже днем зеркала наводили на меня какое-то странное впечатление. Днем в большой гостиной я любил смотреть на портрет дяди моего Вас[илия] Алексеевича Перовского, изображенного во весь рост в атаманском казачьем мундире, в степи, на его серую лошадь и казака. Портрет этот написан К. Брюлловым. *

[VIII]

[. . .] Однажды император Николай Павлович приехал к нам в корпус (что бывало нередко) и вошел в спальню, где мы были выстроены при своих кроватях и с ним по форме поздоровались, прокричав: «Здравия желаем, ваше императорское величество». Он сказал: «Поздравьте меня, я — дедушка, и нет надобности дедушке этого носить». При этом он снял с головы своей накладку, подбросил ее ногой и с этого дня накладки не носил.

Я упоминал уже, что сильно огрубел в корпусе, и в этом отношении становился все хуже. В отпуск домой идти мне не было охоты, и под предлогом, будто бы я наказан или что мне следует приготовить уроки, оставался в корпусе. Розги меня только озлобляли, и не так против начальников, как против отца, который отдал меня в корпус. По какому-то случаю приехал из Павловки Кирилл Алексеевич Зубов, женившийся на моей двоюродной сестре Саше (дочери Тикованы), и привез мне ее письмо с припиской моей дорогой тетушки; они просили меня учиться и вести себя хорошо. Ласковые их слова воскресили в моей душе далекое прошлое; я долго ходил с Зубовым по галерее и плакал (чего давно уже не было), обещал исправиться; и действительно, некоторое время учился и вел себя безукоризненно. . . Письма

* Василий Алексеевич Перовский, тот самый, который делал в 1839 году неудачный поход в Хиву. См.: И. К. Захарьин (Якунин). Гр. В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву.[15]

тикованы, и только ее письма, бесконечно добрые, размягчали мое сердце; однако это продолжалось недолго; пришло известие о смерти тетушки, а затем и ее дочери Саши. С ними исчезло все для меня дорогое... Я не знал, как мне избавиться от корпусной тюрьмы и тиранства, и для этого растравлял себе на ноге рану: скоблил ножичком над костью кожу и мясо, подсыпая соли. Но так как подобные проделки жестоко наказывали, то я должен был приостановиться; потом начал сыпать себе в один глаз соли, но и тут едва не был уличен фельдшером; бросил и это средство.

Перейдя из неранжированной роты в следующую, я стал вполне старым кадетом и силачом, что придавало мне вес и уважение среди товарищей. Нравы и порядки были те же, что и в младшем классе; и розги были на первом плане. Михаэля заменил другой солдафон, жестокий Аргамаков, а Черкасова — Поморский, которого могу помянуть добром, хотя и им был сечен, но, вероятно, по приказанию инспектора или директора, барона Шлиппенбаха.* [...]

Личность Шлиппенбаха была мне весьма несимпатична; он меня звал Левушкой, говоря: «Мальчик со способностями должен получить лучший балл, надо высечь» — и сек. Его экзекуции тоже были еженедельными, но по субботам и в классах, которые он обходил один за другим. Классы были расположены в два этажа, один около другого, обращенные одною стороною на площадь и сад, а другою — в коридор или крытую галерею. Его шествие нам заранее было известно, так как мы посматривали через окна в галерею, и там начиналась суматоха, а затем слышались крики секомых. Чем ближе он приближался, тем громче становилась его брань, плач кадет, стоны и свист розог. Кроме дверей, выходящих в галерею, были еще внутренние двери, из класса в класс, которые открывались настежь при входе процессии. Прежде всего появлялась скамья, которую несли солдаты; за нею шли четыре солдата с розгами; скамья ставилась около кафедры (и при учителях — урок в это время останавливался); в соседнем классе еще слышны были наставления Шлиппенбаха. Затем появлялась его высокая и плотная фигура, с судорожным подергиванием усов; за ним следовали иногда инспектор** в белом галстухе, с орденом на шее,

* Шлиппенбах заменил Годейна.
** Кушакевич Александр Яковлевич.

в виц-мундире и всегда засученным правым рукавом, или его помощник и дежурный офицер.

— Здравствуйте.

— Здравия желаем, ваше превосходительство,— вставая со своих мест, кричали кадеты.

— А ну, Левушка, пойди-ка сюда, надо тебя высечь, плохо учился, мальчик со способностями; другого прощу,— тебя не могу; люблю,— любя секу.

Раскладывали меня и секли; никакие просьбы и обещания не могли разжалобить.

— Да и батюшка твой просил тебя держать строже,— продолжал Шлиппенбах.

Горько, больно и обидно было мне выслушивать это публично в классе, перед товарищами, учителями, начальством и солдатами. Было тем больнее, что хотя дома строго держал меня отец, но я говорил товарищам иное. Такое указание на строгость и требование отца моего, высказанное начальством, было единственным в корпусе; других кадет, напротив, попрекали баловством маменек и папенек.

XI

Вскоре брат мой Михаил, который был очень талантлив, хорошо учился, рисовал, писал стихи, отличался остроумием,* неожиданно, перед самым выпуском, заболел и умер чахоткою. Он кончил курс едва ли не первым, и его, вместо отправки в полк, отправили на Смоленское кладбище. Провожала его гренадерская рота кадет, в которой он был старшим унтер-офицером или фельдфебелем — не помню. Музыка играла похоронный марш, шло начальство, отец умершего и все братья. За этим горем следовало для меня другое: моих братьев, Николая, Александра и Владимира, взяли из корпуса, и я остался один.

Мое пребывание в кадетских корпусах казалось мне бесконечным; я решительно не мог себе представить, что когда-нибудь выйду на волю. Не было никого, кто бы согрел мою душу и сказал ласковое слово. Я впадал в отчаяние: ни

* Он записывал лекции истории, рисуя карикатуры на рассказываемое преподавателем, и по таким тетрадям готовил уроки; а также сочинил стихи, с описанием действующих лиц в корпусе, под заглавием «зверинец».

молитвы, ни колдовство мне не помогали, и, наконец, с большой боязнью я решился продать свою душу черту, лишь бы избавиться от того гнета, в котором находился. Я нарвал бумажек, разрезал себе палец и написал на бумажке кровью: «черт, черт, возьми мою душу»,— и бумажки пустил во время ветра в форточку. Но и это не помогло; когда секли, было больно по-прежнему; участь моя продолжала быть тою же.

Держали нас в прохладе, кормили дурно. В столовую нас водили в одних курточках по открытым галереям из отдаленной части бесконечного здания, несмотря ни на какую погоду. Мы сами чистили себе платье, сапоги, ружья и делали постели. Зала неранжированной роты была огромная и холодная. При входе в нее, из холодной галереи, была голландская печь в три топки; но она грела только около себя, хотя бы ее топили по два раза в день. Постройка корпуса была времен князя А. Д. Меншикова и составляла часть его дворца. Стены были очень толсты, но ветхи; пар шел клубом изо рта при разговоре; окна, стены, гвозди на полу были зимой покрыты инеем и льдом, который мы откалывали с оконных стекол и ели или оттаивали свечкой, чтобы в этот оттаявший кружок посмотреть на двор. Иногда раздавали нам шинели и заставляли бегать или маршировать скорым шагом, с частыми поворотами то туда, то сюда. Домой нас отпускали зимой в шинелях, подбитых парусиной до тальи от шеи; на голове был кивер, до крайности неудобный, который придерживался ремнями, покрытыми медью; через плечо, на широком, твердом и толстом ремне, висел тесак и бил по ногам. Галош не было не только у кадет, но и во всем войске, начиная с государя и великого князя. В лагерь мы ходили пешком за тридцать верст — в Петергоф, выходя днем, и на другой день приходили на место. На половине дороги ночевали в деревнях колонистов, в сараях на соломе; и за головой из хлева слышалось через плетень или переборку хрюканье, блеяние, мычание. Лагерь мы любили; здесь было свободнее; соблазняли нас разносчики, нравилось нам гулянье в царских садах, купание в море, несмотря на продолжительные учения и маневры. Однажды было замечено Шлиппенбахом, что рота Первого корпуса выбирала дорогу посуше во время учения, и, в наказание, он поставил ее под ружье в канаву, сделанную за лагерем, куда стекала в нее вода и нечистоты. Продержали там долго кадет и заставили маршировать, хотя ног марширующих и не было видно, и вода была выше колен.

Перед лагерем было поле, прилегающее к городской улице с дачами; позади лагеря было другое громадное поле, сырое, кочковатое, на котором производились отрядные учения с кавалерией и артиллерией. На этом поле и государь делал нам смотры. Однажды во время смотра мы едва вытащили ноги из липкой грязи, в которой стояли, и я оставил там правый сапог и так промаршировал весь смотр, за что тоже был наказан, хотя и не сечен. Случалось, что на царском смотру мы преследовали неприятеля до канавы, о которой сейчас я упоминал, и туда многие падали, когда запаздывал отбой.*

Лагерная столовая стояла далеко; это был навес на деревянных столбах, вдоль которого тянулись столы, покрытые черной клеенкой, и на них расставлены были деревянные миски, ложки, кружки с квасом и черный хлеб. К каждой миске садилось пять, шесть человек, составляющих артель. Спали мы в больших, хороших палатках, но в сильный дождь они промокали до того, что одеяло и постель были мокры, и только оставалось сухое то место, на котором лежишь. Тюфяки и подушки были парусиновые, набитые соломой. Ружья стояли посреди палатки. Умывались в поле, далеко от палаток, на открытом воздухе. Кормили нас в лагерях лучше, чем в городе, из боязни, что приедет царь и попробует, что он делал нередко. В городе же, где контроля почти не бывало, кормили хуже, а случалось, что совсем плохо, и однажды весь корпус не ел супа, потому что он был с салом; когда пришел полковник, мы закричали: «Сало! сало! сало!» — а в 1-й роте ** вылили суп на скатерти, соскоблили и сделали свечку. [. . .]

Начались холода, подходило время выступления из лагеря. Царь сделал нам тревогу ночью; каждый брал свою амуницию, кивер, ружье, ранец и спешил в строй, а при этой суете кадет Павлов в проходе из палатки наткнулся на свой штык и проколол себе язык. Его послали в лазарет, место выбывшего сомкнули, и мы, поздоровавшись с государем, отправились на маневры. Нас повели по Петербургскому шоссе; пройдя верст девять, мы повернули направо; и та же шоссейная дорога потянулась, прямая, скучная, в Ропшу, от-

---

* То есть сигнал приостановиться в преследовании неприятеля.

** 1-я рота состояла из кадет старшего возраста, как и гренадерская, но худшего поведения.

стоявшую от поворота верст семнадцать. Шли мы обыкновенно с песнями; между нами были уже выпускные кадеты, и им дозволялось петь несколько песен таких, которые младший возраст не должен был знать вполне,— так, например:

Лишь только занялась заря,
И солнце осветило земной круг,
Пошла пастушка со стадом на луг,
К потоку чистых вод.
Там виден был на дне песок,
Понравился ей струй тех ток;
Раздевшись, стала мыться в нем;
Нага, невидима никем, плескалася водой.
Вдруг в сторону простерла взор —
Идет пастух с высоких гор,
Который ею был пленен
И часто духом возмущен.
Она не знала, что начать,
Казаться или утопать! ..

При этих строках капитан Аргамаков или полковник Вишняков махали песенникам рукой и говорили: «Дальше не надо! Перестать!»— а нас, младшие роты, очень интересовало: что же далее? ..

Куда нас вели — мы не знали; когда делали привал, тогда мы снимали ранцы, ставили ружье в козлы и, улегшись на землю, задирали ноги вверх, на плетни и куда попало, по-суворовски, чтобы кровь отошла от ног. У кого были деньги, тот покупал всякую всячину у следовавших за нами разносчиков, а затем, по барабану, вставали и шли далее. Пришли мы в Ропшу с дождем, который, застав нас в дороге, все усиливался и не переставал двое суток. Мы ели с дождем, спали на мокрой земле, дежурили под дождем в цепи, на аванпостах. На нас все время была полная походная форма. Мы промокли до костей. Государь послал нам из Ропшинского дворца чай и дрова для костров. На третьи сутки солнце осветило и пригрело нас; мы переоделись в мундиры и явились на парад, который сошел благополучно. После смотра мы опять оделись в походную форму и отправились с Преображенским полком маневрами в Петербург. Нельзя сказать, чтобы нас баловали. Один из кадет нашей роты, Москвин, чуть не утонул в канаве, уснув около нее и подмытый туда водой. Мне тогда было тринадцать лет.

XII

Я наконец перешел в первую старшую роту, к капитану Бекману, которого мы звали Сивуч. Он был среднего роста, ходил напряженно, вприпрыжку, твердо ступая на каблуки; от него издали пахло духами, и он картавил, не выговаривая буквы «р». Врал он без совести; например, обращаясь ко мне, говорил: «Я играл вчера с графом Орловым в карты, где был и твой батюшка; спрашивал о тебе, и я ничего хорошего не мог сказать», и т. п. Он так же, как Поморский и Аргамаков, готовил меня в ординарцы и был уморителен, когда, в ожидании государя, делал нам репетиции, чтобы мы хорошо отвечали, весело смотрели и имели надлежащую выправку. В этих случаях он подходил, твердо ступая на каблуки, к тому, другому, задавал вопросы, и мы обязаны были отвечать ему, как государю. Уйдет, бывало, в холодную галерею, и вестовой с ним; постоят, постоят, и вдруг вестовой открывает настежь двери, и Бекман, входя бойко и смело, в подражание государю, прокричит тенором: «Здорово, ребята!» и мы отвечаем: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» — «Не хорошо! Не хорошо! потише, басы! тенора, погромче, альты!» — закричит он и опять уйдет; и такая репетиция повторяется несколько раз.

Бекман был жесток. Кадет Новиков 1-й, которого я любил за его смелость, силу, ловкость, стойкость и неустрашимость, назвал в лицо Бекмана «Сивучем» и толкнул его. Последовала экзекуция. Новиков оттолкнул солдат, хотевших его раздеть, сам разделся, лег на одеяло и не крикнул, пока стегали большими, мочеными в соленой воде розгами, под команду Бекмана: «Реже! крепче!» Ему отсчитали сто пять ударов. Рота стояла в строю, и много раз слышался ропот все громче и громче: «Довольно! довольно!..» Если бы еще продолжалась экзекуция, то рота могла бы взбунтоваться — на это было похоже.

Но и у этого скверного и жестокого Сивуча бывали расстроены нервы. Когда это случалось, во время его дежурства по корпусу, то командовал он едва слышно, и барабанщик клал платок на барабан и бил на молитву тихонько, и нам сказано было, чтобы пели застольную молитву вполголоса.

Кадеты 1-й роты, на выпуске, щеголяли цинизмом. Они ходили в грязных, заплатанных куртках, пели громко неприличные песни, нюхали табак, курили, старались говорить

басом, дурно учились, сидели в классах среднего возраста годами и не кончали курса наук, грубили начальству, под розгами не кричали и пр. Они в шутку били маленьких по голове и жестоко расправлялись с теми, кто пожалуется или не подчиняется кадетским законам; не позволяли говорить по-французски или по-немецки и за это били. От них нецензурные песни передавались по остальным ротам. По преданию, одна такая песня о тяжелой судьбе офицера, из которой помню последние три стиха, приписывалась К. Рылееву:

Оторвали ногу, ступай жить домой!
А где же этот домик, которого нет?..
Вот тебе награда за двадцать пять лет...

Мотив этой песни, как и мотивы некоторых других песен, остался у меня в памяти. Пелось и про нюхательный табак церковным напевом; слов песни не помню, за исключением того, что держать табак:

В тавлинке не благородно,
А в бумажке скоро сохнет,
Но зато крепче!.. [...]

Были у меня в 1-й роте товарищи — два брата Церпинские, завзятые католики и поляки. К католикам * приходил раз в неделю ксендз для уроков. Церпинский мне сильно расхваливал католичество и папу; рассказывал о ксендзе-доминиканце, да я и сам верил, что этот ксендз умеет отгадывать: высекут или простят, какой поставят балл и т. п. Еженедельно я приходил к ксендзу с Церпинским, перед его уроком, и до того находился под его влиянием, что тайком в воскресенье и праздники, оставаясь в корпусе, уходил в корпусный костел, слушал службу, исповедовался и даже приобщался. Под конец службы обыкновенно пели все присутствующие, в том числе и я вместе с ксендзом. Я бывал также у ксендза в доме католической церкви, на Невском проспекте, в его квартире, и слушал его игру на комнатном органе, гимны и казачка.

Учение мое шло дурно, поведения я был скверного, говорил всем дерзости, и меня стращали, что переведут в кантонисты,[16] что и случалось. Теперь, вспоминая время своего пребывания в 1-й роте, я удивляюсь, какой был у меня в голове и сердце сумбур. Моление искреннее и прямое отношение

* К католикам, так же как к лютеранам и магометанам, приходили свои законоучители.

к богу, увлечение католичеством и папой совмещались с безверием, и я любил спорить с товарищами, доказывая отсутствие божества; а побеждая их в споре, был в то же время рад, когда встречал сильное противоречие. Моя кровать тогда была около старшего унтер-офицера Ключарева, не «старого кадета», читавшего украдкой по-французски. Он был умен, старался развить меня, и помню, как я заинтересовался, когда по ночам, со свечой, среди спящих, он читал мне по-французски Декарта, переводил и объяснял сказанное им о существовании бога. Потом мы вместе по ночам начали читать «Juif Errant» Евгения Сю,[17] но не успели мы окончить этого романа, как пришло распоряжение о переводе меня в Пажеский корпус.

XIII

С переходом моим в Пажеский корпус,[18] в 1845 году, во мне воскресли добрые чувства, и я переменился к лучшему. Не помню, кто меня привез в корпус, но очень хорошо помню, что исправлявший должность директора Николай Васильевич Зиновьев (по случаю отпуска за границу директора Павла Николаевича Игнатьева) встретил меня очень немилостиво.

— Вы не можете быть приняты,— сказал он.— Аттестация ваша самая дурная, и вас надо было бы перевести не сюда, а в кантонисты. У вас четыре балла за поведение:* вы аттестуетесь скрытным, злым, упрямым, грубым и дерзким, лентяем и шалуном.

— Это неправда.

— Как неправда?

— Там все могли написать, но это неверно. Я совершенно не скрытен и не зол; а ежели был упрям и дерзок, так потому, что со мной были несправедливы, грубы и напрасно наказывали.

— Ну, хорошо, посмотрим.

Зиновьев ушел в классы, а я остался в спальнях с ротным командиром,[19] полковником Карлом Карловичем Жирардотом. Он меня обнял одной рукой и сказал:

— Ну, мой милый, с вами здесь грубо обращаться не будут; даете ли слово измениться, быть вежливым и вести себя хорошо?

* Из двенадцати, а за три балла переводили в кантонисты.

— Ежели со мной будут обходиться хорошо, то и я даю слово вести себя хорошо.

— Вот так-то, милый, и надо. Я уверен, что мы проживем хорошо...

Жирардот мне понравился, у меня заговорило сердце, и во всю мою бытность в Пажеском корпусе я был с ним в самых хороших отношениях.[20] Он всегда был ласков, офицеры тоже; розог и в помине не было. Инспектор, полковник Иван Федорович Ортенберг, был также добрый, шутил с нами;[21] и никогда я не слышал брани ни от кого. Учителя были хорошие.

Приехал Игнатьев из-за границы и на всех нашумел, меня постращал за дурную аттестацию Первого корпуса; но этим дело и кончилось. В бытность его случилась при мне однажды экзекуция за неприличную шалость в классе во время отсутствия учителя. Игнатьев всех бранил, хотел было сечь и меня, совершенно невинного, но оставил в покое, а главного виновника, А. Г., высек крепко перед классом на манер порки Первого корпуса, и исключил из Пажеского корпуса.

По наукам меня посадили в 4-й класс, а на следующий год я перешел в 3-й класс.[22] В это время из корпуса выбыл Игнатьев, и место его занял Н. В. Зиновьев, о котором я и говорил. Его директорство было покойнее и мягче, нежели Игнатьева.

В это время у меня пробудилась любовь к рисованию, и я проводил все свободное время в рисовании. Дома познакомился я с отставным полковником Александром Васильевичем Устиновым, очень образованным, умным человеком, который своими рассказами об Италии, о виденных им картинах, статуях и зданиях имел на меня очень большое влияние, и я мало-помалу охладел к Суворову и Наполеону I, которыми был прежде увлечен. Каждую субботу, приходя из корпуса домой, я проводил время в комнате брата моего Николая, которого очень полюбил и который постоянно переводил мне из иностранных книг о художниках и их произведениях. Глубоко я был ему благодарен и до сего времени вспоминаю его доброе участие, желание помочь мне и удовлетворить мою любознательность. По воскресеньям и в праздники я постоянно ходил в Академию, в мастерскую барона П. К. Клодта, лепившего в то время лошадь на Аничков мост.[23] Брат Николай познакомил меня со своим товарищем князем Александром Голицыным, через которого я имел доступ в галерею графа Строганова (в его доме у Полицейского моста).[24] С моим братом и без него я часто посещал Эрмитаж.

XIV

Рисование мое подвигалось. Я усердно работал в корпусе в свободное время, а дома, во время праздников, рисовал целый день и вечер. Я горячо полюбил искусство, читал все, что только мог достать, и, читая Евангелие, сочинял картины на евангельские сюжеты. Все, что было писано о художниках и что мог достать, я собирал и составлял их биографии; и таких биографий набралась целая масса, исписанных аккуратно в тетради, в лист писчей бумаги. Так же внимательно я изучал мифологию. Ученик Академии Савицкий, с которым я занимался дома по праздникам, умер, и я оставался без руководителя. В это время К. П. Брюллов был болен, и я во время отпусков всегда заходил в его квартиру (в Академии) и с трепетом сердца и благоговением спрашивал у лакея о его здоровье.

Знакомый наш Устинов сообщал мне сведения о Брюллове, носил к нему мои рисунки и передал мне, что Брюллов находит, что глаз мой и рука верны, но что он желал бы видеть мои собственные сочинения, чтобы сказать что-либо положительно. Но, увы, я еще ничего не мог сочинять или, вернее, не мог без стыда кому-либо показать свои детские наброски. Они были писаны в дневнике, который я вел откровенно и добросовестно с 1847 года, но тщательно прятал от всех.*

Однажды А. В. Устинов объявил, что говорил обо мне Брюллову и что Брюллов просил его привести меня к нему. Оказалось, что Устинов рассказал обо мне Брюллову следующее. Были в нашей семье чьи-то именины и, по обычаю, были гости и провозглашались тосты, а я предложил выпить за здоровье Брюллова, которому стало лучше, и пожелал ему полного выздоровления. За обедом были, кроме Устинова, добрые знакомые отца: два адмирала Епанчины, два адмирала Чистяковы, генерал-адъютант Юрьевич и другие старики. С радостью и страхом отправился я к Брюллову с братом Алексеем и Устиновым. Брюллов лежал в постели, окруженный учениками и некоторыми профессорами, которых я не знал, да и из учеников не знал никого. Брюллов был худ и бледен. Он поздоровался с нами, поблагодарил меня за пожелание здоровья и начал расспрашивать: почему я хочу быть

---

* Впоследствии я его уничтожил, о чем искренно сожалею.

художником, сколько времени мне осталось до выпуска из Пажеского корпуса и пр. Он начал отговаривать меня от поступления в Академию, советовал не бросать учения, так как художнику все пригодится, и нет тех данных, которые ему не нужны ... Он говорил о том, как труден путь, как упорно должен заниматься художник, садиться за работу с восходом солнца и кончать работу, ложась спать. Надо начать рисовать с младенческого возраста, чтобы приучить руку передавать мысли и чувства, подобно тому как скрипач передает пальцами на скрипке то, что чувствует. Он сам, Брюллов, рисуя с детства, не может до сего времени достигнуть того, чтобы работа его удовлетворяла,— и таких случаев в своей жизни он помнит пять или шесть. «Что же предстоит начавшему учиться так поздно? Ему предстоит всю жизнь не быть удовлетворенным и никогда не высказать того, что ему хочется». Брюллов взял карандаш и чертил сравнительную анатомию животного и человека, говоря, что «вот и Клодт не учился анатомии человека,[25] но, изучив хорошо лошадь, он легко понял и фигуру человека, и сделал ее прекрасно, не думая, что ему приведется делать голую человеческую фигуру. Надо знать все — и военные науки пригодятся. Кончайте ваше учение». При этом Брюллов, представляя мне идеал, каким художник должен быть, чтобы быть действительно художником, совершенно уничтожал самого себя и кончил вопросом: «Что ж, хотите быть художником?» — Я подумал и задумался... «Хочу» — сказал я твердо. Он протянул мне руку и благословил, конечно, словесно. После того он говорил хорошо, долго, без перерывов и отдыха, и, наконец, сказал, совершенно утомленный: «Много у меня здесь (показав рукой на грудь), да говядина не позволяет...» Попросил пить и лег. Мы ушли в мастерскую; там стояли его картины: «Анна пророчица», «Св. Сергий», модель плафона Исаакиевского собора; лежали записные книжки с чертежами и карикатурами, рисованными им на себя и на других, и тихо вышли. Брат Алексей, обратясь ко мне, сказал: «Если б я не знал, что это живописец, я бы сказал, что слушал величайшего поэта»... К сожалению, у меня пропала книга, в которую я записал тогдашний разговор Брюллова со мною,— в нем было столько поучительного для художников.

Много времени спустя, когда я был в большом огорчении, что мне невозможно будет поступить в Академию, так как предстояла венгерская война,—[26] я опять отправился к Брюллову и высказал ему свое опасение.

— Что же вы думаете делать?

— Хочу пойти к великому князю Михаилу Павловичу и просить его, чтобы избавил меня от военной службы и дозволил поступить в Академию.

— Этого он не сделает. У меня есть ученик Бабаев, бывший офицер; когда великий князь увидел его у меня, то сказал: «Вот гусь! наделал вздору! — променял мундир и шпагу на палитру» — и, отвернувшись, пошел. Он и с вами сделает то же.[27]

Я был в отчаянии.

— А скоро ли выпуск? — спросил Брюллов.

— Через год.

— Э!.. ничего не делайте и учитесь. В течение этого времени земля еще перевернется сколько раз вокруг себя. Это слишком далеко. Надумаетесь — и все устроится...— Брюллов в это время полулежал в вольтеровском кресле, и ученики его Горецкий и Карицкий перевязывали его раны, поворачивая со стороны на сторону.

— Что вы теперь сочиняете? — неожиданно спросил Брюллов, обращаясь ко мне.

— Ничего.

— Знаете вы, как мучили св. Лаврентия, как его поджаривали на железной решетке и вилами переворачивали со стороны на сторону?

— Знаю.

— Ну вот вам сюжет.

В это время его тоже ворочали, и это ворочание у больного художника вызвало сопоставление его страданий со страданиями мученика. Я собрался уйти; он дружелюбно простился со мной.

После перевязки Брюллов потребовал кисти и палитру, удалил учеников и написал свой превосходный портрет в $^3/_4$ часа,[28] сидящим в креслах, который находится в московском музее и известен публике.

XV

Надо по справедливости отдать благодарность тогдашнему директору Пажеского корпуса Н. В. Зиновьеву, который был так внимателен ко мне, что дозволил пользоваться частью директорской квартиры (где он не жил), находящейся в ниж-

нем этаже. Очень редко он заходил ко мне; здесь я рисовал, читал и, между прочим, сочинял памятник Искусству, состоящий из ряда колонн, возвышающихся одна над другой, окруженных античными статуями и барельефами, которые мне наиболее нравились. Внизу, конечно, были колонны дорические, потом ионические и затем коринфские. Сочинил я также группу Эола колоссальных размеров, окруженного ветрами, держащими в руках различные инструменты, которые во время бури должны были издавать настолько сильные звуки, чтобы шум моря не заглушал их. Группа помещалась на скале, среди моря. Одним словом, фантазия у меня была богатая, и мои наброски слабо передавали мысль. Около того же времени я в первый раз слушал музыку, погрузясь всею душой в неведомый до этого для меня мир звуков. По желанию брата моего Алексея, мы поехали в театр, где давал концерт приехавший из Парижа Берлиоз. Помню, что на меня музыка так подействовала, что захватывало дух, слезы капали из глаз, я был в другом мире и не различал публику, которой был полон театр; видел только какую-то массу и огни.

Не будь этого случая,— быть может, еще долго не пробудилось бы во мне чувство красоты, восторга и любви к музыке.

Жилось мне тогда хорошо в Пажеском корпусе. Я пользовался доверием Зиновьева и Жирардота. Зиновьев и другим позволял пользоваться его квартирой, с моего согласия и по моему выбору. Пользовались этим три пажа, занимавшиеся музыкой: тут была флейта, скрипка, еще какой-то инструмент; и я, рисуя, слушал гаммы и экзерциции.

Не помню, по какому то случаю великий князь Михаил Павлович ездил за границу — кажется, лечиться, а по возвращении готовилась ему в городе встреча. Зиновьев предложил мне сделать транспарант на балконе корпуса. Я принял предложение, но не знал, как приступить к краскам, так как еще ничего не делал красками. Попросил я брата Николая вызвать ко мне ученика Брюллова (в то время еще офицера) Корицкого. Он приехал и объяснил, что транспарант следует писать на коленкоре и хотя масляными, но особенными прозрачными красками; я сочинил вензель великого князя, окружил современной военной арматурой, а Корицкий привез краски, кисти и натянутый на раму коленкор. Транспарант был сделан, удовлетворил всех, но не меня, потому что в это время я уже совершенно разлюбил все военное, а транспа-

рант состоял весь из ружей, барабанов,* тесаков, труб, пушек, ядер и пр.

Разлюбил я также походы Суворова, Наполеона, Александра Македонского, Цезаря и Аннибала, разлюбил,— мало сказать,— возненавидел все военное; не мог видеть равнодушно военные мундиры, маршировку и пр. Между тем, пробыв с детства в корпусах, я лучше многих офицеров знал воинский устав и все экзерсисы, выделываемые на учениях, вследствие чего меня очень часто не в очередь назначали в почетный караул и всегда в крещенский парад и к пасхальной заутрене во дворец.

Отправка нас к заутрене начиналась с того, что мы должны были оставаться в корпусе, вместо того чтобы быть дома; в эту пору мне это очень не нравилось. Кроме того, нас укладывали спать днем в лазарете часу во втором дня, потом будили и начиналось наше одевание.** Рубашки надевались какие-то коротенькие или их подворачивали снизу; затем натягивались лосиные короткие по колено штаны, которые были так узки, что не лезли на тело. Нас сажали на полотенце, поставив предварительно на стол, на котором нас всегда одевали, и два солдата, ухватив с двух сторон полотенце, встряхивали нас, пока штаны не дойдут до шагу; Жирардот в это время осматривал каждого. Никакие уверения, что штаны узки, что мундир тесен, воротник жмет и трудно дышать, не могли убедить в этом Жирардота. Однажды, наскучив и измучившись одеванием, я сказал, что не могу двинуть ногой; и в доказательство сделал ногой сильное движение — штаны лопнули, и пришлось заменить их другими. Затем на нас надевали шелковые чулки и башмаки, снимали со стола, завертывали в теплые шинели и, запретив сгибать ноги, чтобы не лопнули штаны, почти укладывали в громадные придворные кареты и отвозили в Зимний дворец. Из карет вынимали, несли по лестнице и ставили каждого на указанном месте. Садиться нас учили; мало-помалу, упершись на соседний стул, мы должны были протягивать сначала ноги в сторону и потом уже прямо перед собой, располагаясь на стуле полулежа. Обыкновенно, когда нас привозили, то во дворце еще никого

* Любимый инструмент великого князя Михаила Павловича, который заявлял, что «это лучший инструмент, понятный для него: когда он издает звук — он говорит».

** Прежде всего всех завивали; и тогда с моими курчавыми волосами было немало мученья парикмахеру и Жирардоту, чтобы заставить их подчиниться прическе одинаковой с прочими.

не было, кроме лакеев, и приходилось долго ждать, пока начиналось шествие в церковь попарно государя и государыни, царской фамилии и целой вереницы мундиров и дам. Мы оставались с лакеями, камер-пажи шли в процессии, держа шлейфы. Во время службы мы могли сойти с места и гулять по комнатам, не уходя далеко. Кончалась служба, и тем же порядком возвращалась процессия. Когда все смолкало, нас вели к лестнице, одевали в шинели, по-прежнему относили и укладывали в кареты; потом увозили в корпус, раздевали и отпускали домой. В это время было уже утро. Помню, как солнце сияло, и я шел домой, счастливый, но рассерженный; грудь болела, как будто на ней сидели несколько человек, а когда снимали мундир, я не сразу мог вздохнуть. Поравнявшись с католической церковью на Невском проспекте, я поинтересовался прочесть, что было приклеено у церкви, и оказалось: запрещение папы, написанное на трех языках, читать роман Евгения Сю «Juif Errant».

Крещенский парад переносился гораздо легче. Нас также завивали; мы надевали новые мундиры, суконные штаны, ноги обворачивали проклеенной листовой ватой, чтобы не замерзли, и у нас было по две рубашки. Привозили нас во дворец к семи часам утра, и здесь еще никого не было, кроме полотеров, которые натирали полы, ставя свечи на пол.

Я всегда ждал рассвета; и так как нам дозволялось ходить везде, даже до кабинета государя и уборной государыни, то, осмотрев уже не раз комнаты, блюда, поднесенные при различных случаях и расставленные в большой зале пирамидами, я отправлялся в Эрмитаж, где ходил, смотрел, изучал, любовался и так проводил время, пока нас не собирали. Однажды, желая повольнодумничать, я в тронной зале сел на трон, пока меня в ужасе караулили товарищи.

Нас сзывали и выстраивали в портретной галерее, где был во весь рост портрет императора Александра I, а по стенам — портреты генералов отечественной войны. К одиннадцати часам являлось войско, устанавливалось вдоль стен; собирались чины, которым следовало быть на параде, и затем являлся государь. Был сильный мороз; государь, стоя перед нами, говорил: «Трите лицо, щиплите уши»,— сам поправлял себе усы, добирался незаметно до своего уха, скручивал его и опускал руку, закладывая палец между пуговиц мундира, как его изображали на портрете. В это время одно его ухо было малиновое, а другое оставалось белым. Такой же прием был проделан и с другим ухом. Мы откровенно и крепко щипали

себе уши, натирали щеки, чтобы не отморозить, и ждали команды. По распоряжению государя начиналось шествие на Иордань, то есть на Неву. Мне пришлось однажды, в паре с товарищем Башмаковым, идти впереди, открывая церемонию; при появлении нас, из одной залы в другую, раздавалась команда: «На ка-ра-ул», играла военная музыка, а позади нас пели певчие, идя с хоругвями и митрополитом. За ними следовал император и свита с высшими чинами; солдаты, держа в левой руке ружья на караул, правою крестились. Все это сливалось в какой-то хаос, и у меня ноги делали судорожные шаги и передергивались губы; музыка играла марш из «La Dame blanche»,[29] и певчие пели молитвы.

Во время службы на Иордани, у митрополита мерзли усы и борода, голос дрожал, руки, при опускании креста в воду, мерзли. Мы незаметно проделывали маневры со своими ушами. По приложении императора к кресту мы возвращались во дворец, откуда нас отвозили в корпус и отпускали домой.

XVI

Преподавание в Пажеском корпусе шло, конечно, гораздо лучше, чем в Первом кадетском; ни глупых и диких учителей, ни телесных наказаний. Инспектор, полковник Иван Федорович Ортенберг, был добрейший человек, и пажи его очень любили. Я заслужил тоже у него милость, раскрашивая по его поручению военные карты для его лекций о походах Наполеона. Однако нередко и здесь проделывались разные шалости с учителями, как, например, с Ф. Ф. Эвальдом, весьма хорошим человеком и порядочным преподавателем. Он иногда укорял нас за духи, употребляемые некоторыми пажами. Товарищ наш Мятлев принес из дому духи пачули, с очень сильным запахом. Эвальд с усмешкой это заметил. Я достал спринцовку, нацедил в нее пачули, и когда Эвальд оборачивался к нам спиной, и когда мы его окружали при физических опытах, я обрызгивал его пачулей. После Пажеского корпуса Эвальду часто приходилось отправляться на лекции в школу гвардейских подпрапорщиков. Можно себе представить, как там к нему приставали за эти духи. Эвальд, входя опять к нам на урок, говорил, что «после его лекций у пажей он никуда не может показаться, и все спрашивают, почему от

него пахнет духами, что, вероятно, он был в Пажеском корпусе . . .»

Не могу умолчать об одном преподавателе русского языка в старших классах, А. А. Комарове. Лекции его были для нас, и особенно для меня, истинным удовольствием; он умел нас заинтересовать, и при нем в классе была совершенная тишина. В лекциях своих о Пушкине, Лермонтове и других он говорил нам о значении красоты, лиризма, пластики и даже . . . свободного мышления, свободы духа.[30] Ему я обязан тем, что упивался Гегелем, и разбирал с товарищем, черногорцем Цуцой, каждый оттенок мысли почтенного философа. От лекции Комарова веяло художественностью. Читал он некоторые стихи прекрасно и иногда, быть может, не без задней мысли старался перенести нас в иной духовный мир от тяжкой тогдашней атмосферы, которую я уже тогда чувствовал. Между прочим, он прочел нам стихи, конец которых я твердо запомнил и написал на обложке своего дневника:

Но я бы не желал сей жизни без волненья,
Мне тягостно ее размерное теченье,
Я жаждал бы порой и бури, и тревог, и вольности святой,
Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежном,
И крылья распустив, орлом широкобежным,
При общем ужасе, над льдами гор витать,
Над бездной упадать и в небе утопать. . .

Едва ли это не стихи самого Комарова. Прекрасно он читал стихи Пушкина: «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Анчар» и пр.

В это время мы образовали свой литературный кружок, в котором участвовали: Маков, Фрикен, я, князь Ширинский-Шихматов и Красовский. Каждый из нас должен был написать какое-либо сочинение, и в праздник, сойдясь, мы должны были читать написанное и делать критический разбор. Эти вечера были очень приятны. Куда-то теперь делись эти товарищи? . . Маков, достигнув высокого места, застрелился; Фрикен — если не ошибаюсь — написал «Римские катакомбы»; где и жив ли богомольный Шихматов? Где театрал, беспечный Красовский? . .

Однажды у меня возникла ссора с Жирардотом. Он наряжал меня не в очередь в почетный караул. Мне это надоело, хотя другие считали для себя такой наряд отличием. Меня звали на репетицию, я не пошел. За мною прислали дежурного камер-пажа Левашева; я не пошел. Послали еще дежур-

ного офицера; я не иду и просил сказать, что «не пойду». Поднялась суматоха, общее смущение; и меня приказано было отвести под арест и посадить на хлеб и воду. Я не горевал и отправился под арест, взяв с собою книги для чтения, карандаш и бумагу; и начал рисовать свой портрет, смотрясь в графин вместо зеркала. Пришел ко мне Жирардот, и я ему объявил, что «по очереди в караул ходить буду, но не в очередь никогда не пойду, что с его стороны обман государя — представлять одних и тех же на парад»... Я просидел на хлебе и воде трое суток, спал на полу; но потом меня простили и уже не в очередь в караул не назначали.

Едва ли не в 1847 году император Николай Павлович делал в лагерях смотр перед выпуском воспитанников военно-учебных заведений в офицеры. Он велел удалиться ротным и отделенным офицерам, а всем выпускным заменить их; сам он командовал отрядом.* Находясь на фланге своего взвода или роты, не помню, я очутился близ государя. Николай Павлович был верхом, и я внимательно его наблюдал из-под козырька своей каски, которую мы тогда носили вместо прежних киверов. Вдруг, вижу я, лицо государя омрачается, становится гневным; он бросил поводья, сжал кулаки и громко воскликнул: «Боже мой! Боже мой! что это из меня делают!» — схватил поводья, дал шпоры коню и понесся... Что же случилось?.. Один из выпускных кадет Дворянского полка ошибся и вел свой взвод не так, как бы следовало по уставу. После этого смотра государь, опять чем-то недовольный, уехал, приказав нас учить; и нас учили, учили, учили.

Наконец, приехал начальник штаба всех военно-учебных заведений Яков Иванович Ростовцев. Сделано было учение при нем; после учения Ростовцев скомандовал составить каре, но лицом внутрь, чтобы передать нам поручение государя. Наш батальон (школа подпрапорщиков, пажи и инженеры) стоял на месте, а другие корпуса подходили к нам с боков.

Я был в первой шеренге, следовательно, на виду перед Ростовцевым, и вдруг ... мне захотелось высморкаться, что я и сделал. О, ужас!.. на меня налетел Ростовцев, назвал меня «вольнодумцем», «невежей»... «Да знаешь ли ты,— крикнул он,— какое расстояние между мною и тобой?..» Он

* Отряд наш состоял из школы гвардейских юнкеров, конных и пеших, Пажеского корпуса, инженеров, артиллерийского училища и корпусов кадетских: Дворянского полка, Первого корпуса, Второго и Павловского.

заикался и при этом сложил на груди руки и отступил на несколько шагов: «Неизмеримость!!! Вон из фронта! Посадить его на две недели на хлеб и воду под арест!»

За фронт[31] я ушел рассерженный в лагерь, и там меня заперли в темный чулан из теса, без постели, с одной лишь скамейкой. На другой день пришло распоряжение о сокращении мне ареста с двух на одну неделю и все-таки на хлеб и воду. Книги товарищи передавали мне под дверь, и я читал их, стоя на скамье, приставив ее к двери, над которой было маленькое окно. Жирардот, однако, делал мне льготы, раза два призывал к себе и давал мне чаю.

Следует заметить, что Жирардот, несмотря на мою ссору с ним, продолжал иметь ко мне доброе расположение и доверие, которое доказывалось тем, что, отпуская во время праздников нас гулять из лагеря, он доверял мне нескольких пажей на мою ответственность.

XVII

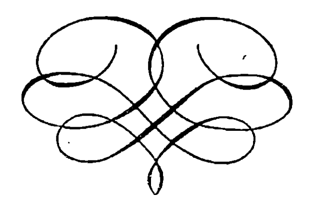
Мои занятия рисованием продолжались добросовестно, и я пользовался для работы каждым свободным временем.

Наступил 1848 год. Во Франции возникла республика, восстали немцы, итальянцы, венгерцы, и русский император, не сочувствуя этому движению, принял сторону австрийцев. Был объявлен венгерский поход и выпуск из военно-учебных заведений офицеров раньше срока. Переход мой из военного заведения в штатские был тем затруднительнее, что отец мой, бывший военный, не одобрял моего намерения, а директор Зиновьев прямо говорил: «художник — то же, что сапожник», и удивлялся, как можно предстоящую мне благородную карьеру менять на ремесло. Дома поддерживали и понимали меня братья и Виктор Арцимович (впоследствии муж моей сестры), живший в то время вместе с братьями Алексеем и Николаем. Я твердо решился не поступать на военную службу и писал письма отцу, излагая свое горячее желание посвятить себя художеству. Я с полным убеждением и решимостью говорил, что ежели меня отправят против венгров, то я перед всеми перейду к ним,— пусть меня расстреляют,— я скорее пойду на защиту их, чем буду сражаться против них.

Мало-помалу дело повернулось в мою пользу, но для этого следовало иметь формальное согласие отца, которое и было

получено; но выпустить меня в штатские могли не иначе, как по причине слабого здоровья.[32] Все на бумагах было оформлено, но все могло разрушиться при моем представлении великому князю Михаилу Павловичу. Чтобы придать себе больной вид, я в течение одиннадцати дней перед представлением ел по три сухаря в день и выпивал по две небольших чашки чая. Мне казалось, что я слабел, но никто из товарищей, начальства и родных не замечал во мне перемены; посмотрел я в зеркало,— только глаза немного потускнели. Наступил день и час, когда всех выпускных привели во дворец великого князя. По его распоряжению, выстроили нас в саду, проверили, осмотрели и вскоре начался обход, начиная с правого фланга довольно длинной шеренги. Михаил Павлович осматривал каждого; Ростовцев, по списку, говорил фамилии; директор каждого корпуса сопровождал великого князя. Мы, выходящие в штатские, стояли по корпусам в конце вереииц. Михаил Павлович был уже не далеко, а товарищество было верное; я сказал стоявшим возле меня, чтобы они сомкнулись, так как я ухожу, потому что пошла кровь носом. Так я и сделал; так сделали и товарищи. Перекличка дошла до меня (так говорили потом товарищи), Ростовцев, заикаясь, хотел было назвать мою фамилию, но, видя, что меня нет, а задерживать великого князя нельзя, фамилию мою пропустил, продолжая перекличку далее. Тем осмотр окончился; приказ был подписан, и я освобожден. Напустился на меня потом Зиновьев, но уже было поздно.

По выходе из Пажеского корпуса, в июне 1848 года, отец нанял для меня две лишние комнаты, соединенные коридором с помещением братьев, Алексея и Николая, и Виктора Арцимовича. Я не верил своему счастью, что наконец вышел на волю. Действительно, сколько лет, сколько детских и юных лет я был в заключении, сомневаясь, что когда-нибудь окончится для меня эта нравственная и физическая каторга.




ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1848—1852



I

Лето 1848 года я провел в С.-Петербурге и охотно посещал Академию художеств, где в то время не было классных занятий. Художники, рассыпавшись по всей России, упражнялись в рисовании и писании с натуры. Скульптурный класс, куда я приходил, был не что иное, как большая зала, наполненная гипсовыми слепками с античных статуй, торсов и бюстов. В конце залы было забрано досками довольно пространное отделение, отведенное в виде мастерской скульптору Беляеву, работавшему в натуральную величину статую на звание академика. Он приходил на работу ежедневно с утра и уходил с наступлением вечера. Кроме Беляева и меня, случалось приходить двум-трем ученикам, и то ненадолго.

Сижу я и рисую; Беляев проходит мимо, всматриваясь в меня. Желательно было мне, чтобы этот прилежный художник дал свой совет. Вот, вижу, он выходит из мастерской и подходит ко мне.

— Не согласитесь ли вы зайти на минутку ко мне в мастерскую? — спросил он.

— Очень рад . . .

При входе в мастерскую Беляева я увидел глиняную фигуру в рост какого-то юноши. Беляев попросил меня стать перед окном.

— Позвольте, голубчик, воспользоваться вашими глазами, которые имеют такое хорошее очертание.

Я согласился; и с этого началось мое знакомство с Беляевым. Он лепил с меня глаза, шею и верхнюю часть груди.

Статуя изображала Давида с головою Голиафа, за которую он получил звание академика.*

В этом же 1848 году в Петербурге была холера, по случаю которой произошли беспорядки, между прочим, на Васильевском острову, близ Андреевского рынка.**

Узнал я, что К. П. Брюллов заболел холерой и, захватив лекарство, поспешил к нему на помощь; нашел его в постели и в судорогах. Я посоветовал ему тотчас же принять принесенное мною лекарство и согреть ноги; но Брюллов лекарство принять не решился, и ученики его меня не поддержали. Огорченный, я отправился к доктору Канцлеру, лечившему Брюллова. Доктора дома не оказалось; в приемной сидели больные, в ожидании его; сел и я тут же. По приезде своем Канцлер по очереди спрашивал каждого; я с нетерпением ждал, когда он обратится ко мне, и тогда объяснил, что Брюллов болен, что я хотел дать ему лекарство, рекомендованное доктором Смельским,*** но что Брюллов лекарства не принимает без его, Канцлера, разрешения.

Канцлер нетерпеливо выслушал и сказал: «Лечите вы или я — кто-нибудь из нас двух; если больной будет принимать ваши лекарства, то лечить его я отказываюсь. . .»

Это было началом моего знакомства с Канцлером, весьма почтенным и знающим свое дело врачом, с которым впоследствии я был довольно близок. Он был главным доктором больницы св. Марии Магдалины, находившейся под попечительством моего отца. Н. И. Пирогов ценил знания Канцлера и говорил, что нет надобности вскрывать умершего, которого выслушивал Канцлер, так как он определял болезнь безошибочно. Кроме знания и добросовестности Канцлера, следует упомянуть о нем с признательностью за его бескорыстие. С бедных он не брал деньги, что было мне хорошо известно.

Холерические припадки Брюллова были прекращены искусством доктора Канцлера; но Брюллов страдал давно другою серьезною болезнью и не вставал с постели. Имея дозволение посещать его мастерскую, находившуюся в академическом дворе (куда Брюллов почти никого не допускал), я нередко пользовался этим и оставался часами в мастерской, рассматривая начатую картину «Осада Пскова».[2] В стороне от картины были видны гипсовые слепки лошадиных частей

* В настоящее время эта статуя перенесена из Академии в Музей Александра III и значится в каталоге под № 1543.[1]

** И тут же, на рынке, были наказаны кнутом через палача двое.

*** Старший доктор Пажеского корпуса.

в натуральную величину, сделанные для Брюллова профессором П. К. Клодтом. Мастерская освещалась большим окном, свет которого ударял в полотно. На некотором расстоянии от картины помещался турецкий диван, на котором свободно можно было рассматривать начатую работу, углубясь в мысль художника.

Чистое небо освещало сцену битвы, но оно местами закрывалось дымом от взрыва городской стены. Пролом был сделан, и из него духовенство, одушевленное религией, в праздничных ризах, с хоругвями и образами шло навстречу неприятелю. Русские воины, под предводительством князя Шуйского, гонят ляхов. В середине картины монах на пегой деревенской лошади, с крестом в руке, несется на врага, а за ним, с топорами и вилами, ломится народ. Под Шуйским пала серая лошадь, в богатой сбруе, повернув голову на своего седока, который, соскочив с нее, бежит к войску. Направо — жестокое единоборство русского воина с поляком. На польском знамени, с надписью «Rex Polonia» ветер сделал складку, скрыв букву «R», так что вышла надпись «ex Polonia»,[3] древко знамени надломилось.

Вся картина дышит религиозным воодушевлением, патриотизмом и национальной ненавистью. Русская дружина, идущая на врага, совершенно отвечает духу картины.[4] Нет сомнения, что это общее воодушевление и ненависть будут иметь решительное действие; врагов погонят, разобьют — и этот момент сейчас наступит. Картина осталась неоконченной.

Как часто в академической зале, в полной тишине и одиночестве я восхищался другой дивной и грозной картиной Брюллова: «Последний день Помпеи». Здоровье К. П. Брюллова плохо поправлялось; он отправлялся на остров Мадеру, потом в Италию, где в 1852 году скончался. Мир праху твоему, дорогой и гениальный наш учитель!

Хотя я прилежно занимался живописью, но отец мой не оставлял мысли определить меня на службу, предполагая, что, рано или поздно, мне могут пригодиться в русской жизни чины, которые дадут мне возможность более независимого существования, особенно в случае моего охлаждения к художеству. Переговорив с директором почт Ф. И. Прянишниковым, он предложил мне зачислиться у него на службе, с тем, чтобы жалованье, которое причиталось мне, шло чиновнику, исполняющему мою обязанность. Я вознегодовал на отца за такое предложение, означавшее, во-первых, неуверенность в моем желании всецело отдаться художеству, а, во-вторых, я нахо-

дил нечестным получать чины чужим трудом. Отец не возражал, и дело замолкло.

В отдельной от отца квартире, у Малой Невы, на Среднем проспекте Васильевского острова, где жили братья Алексей и Николай с Виктором Арцимовичем, наняли и для меня комнату в два окна, служившую мне мастерской; за альковом помещался мой письменный стол и кровать. Мастерскую я выкрасил мумией;[5] стены убрал гипсовыми статуэтками, слепками с антиков и торсом Лаокоона; окна завесил снизу серым солдатским сукном — свет был приятный и покойный. Кроме дивана, табурета и зеркала,* не было ничего. В этой келье я был счастлив; любил запираться на ключ, рисовал и громко читал «Илиаду» в переводе Гнедича.

Брат Алексей служил тогда в канцелярии Государственного Совета, Николай — в таможне. В университете он был в восточном факультете; по окончании курса поступил в таможню; оттуда в институт восточных языков; потом в министерство иностранных дел, внутренних дел, народного просвещения и, нигде не найдя себе удовлетворения, бросил службу, уехал за границу, и, прожив много лет в Англии, живет теперь в Красном Рогу. Арцимович — в сенате. Стол его вечно был завален бумагами; бумаги лежали на этажерке, на стульях, на полу, и он до поздней ночи сидел и писал или вполголоса читал дела. Нередко случалось ему, от утомления, засыпать над работой, и тогда мы тихонько тушили у него свечи; пойманный на месте преступления, он, с досады, выбранит нас школярами и опять примется за работу.

Брат Алексей, в свободное от службы время, занимался литературным трудом[6] и много говорил со мной об искусстве во время наших прогулок по отдаленным линиям острова. Братья Александр и Владимир были тогда студентами и жили с отцом. Собирались мы почти ежедневно; и тогда бывали горячие молодые разговоры и веселье — без попоек, о которых я тогда не имел понятия.[7]

Иногда посещал нас старик — учитель рисования Пажеского корпуса — Рыбин, маленький, рябенький, нюхавший табак. Воспитывался он в Академии художеств, одновременно с Брюлловым, и рассказывал, что Карл Павлович (в то время Брылло) еще мальчиком отличался своим талантом, и все считали его гением; за булки и разное съестное он помогал товарищам получать хорошие номера за эскизы и рисунки.

---

* Для проверки своих работ.

Старик Рыбин любил искусство и радовался, глядя на мои успехи, прилежание и перерождение из пажа в художника.

Брат мой Александр — большой шутник, предупредив нас, чтобы мы его не выдали, переодетый вошел в комнату, где с нами беседовал Рыбин, вмешался в разговор, свернул на художество и резко презрительно отзывался об искусстве, упрекал меня, что я променял блестящую военную карьеру на ремесло. При сценическом таланте брата, в парике, с измененным голосом, странными манерами и надменным выражением лица он не был узнан Рыбиным. Разговор становился задорнее; брат напал на Рыбина и до того взволновал бедного старика, что стало его жаль; но вместе с тем нельзя было не любоваться, как этот скромный человек смело отражал удары и горячился все более и более, особенно когда брат резко сравнивал художника с сапожником. Рыбин изменился в лице, готов был ответить дерзостью, но в это время... спорщика не стало. Он мгновенно снял парик, с шеи — орден, принял свое обычное лицо и сочувственно тронул колено Рыбина, который уже, взяв из табакерки щепотку, приготовился возражать. Старик разинул рот и замер в удивлении. Он долго не мог успокоиться и прийти в себя. Чай, добавленный значительным количеством рома, уладил дело.

В это время посещали нас товарищи — по училищу правоведения — брата Алексея и Виктора Арцимовича: князь Дмитрий Оболенский, Варенд, князь Багратион, Егор Барановский и др. Тогда же мы слушали чтение Ивана Сергеевича Аксакова, только что написавшего «Бродягу».[8] Обедали мы ежедневно у отца, куда приходил два раза в неделю обедать А. В. Устинов,* и беседа шла о заграничной жизни, художественных произведениях и исторических событиях. [...]

II

Посещая ежедневно отца, я, по дороге, заходил в две квартиры: в одной из них жил академик портретной живописи Будкин, а в другой — старик профессор Алексей Егорович Егоров.

---

* Александр Васильевич Устинов, бывший кадет Первого корпуса, отставной полковник, бывший директор виленской гимназии и руководитель детей князя Кочубея, получая пенсию в тысячу рублей, исходил пешком почти всю Европу, а затем приютился на Васильевском острове, в скромной квартире, которая была наполнена книгами и эстампами.

О Будкине сказать нечего; он, как масса других художников, жил заказами образов и царских портретов. Что касается Егорова, то этот человек своим знанием и талантом составил себе имя, и в истории русского искусства не должен быть забыт.

Император Николай Павлович уволил его от службы, находя плохою его работу в церкви Измайловского полка. Об этой работе мне распространяться нечего, но могу засвидетельствовать, что все художники жалели Егорова и высоко ценили его.[9]

Почтенный заслуженный профессор А. Е. Егоров был личностью оригинальной и заслуживает полного уважения, как художник и добрый человек. Слава его распространилась по всей России, а во время его пребывания за границей знали его Италия и Франция как превосходного рисовальщика. Увольнение Егорова из Академии не лишило его в глазах художников звания заслуженного профессора, полученного им по приговору Академического Совета, как не возвысило пожалование в профессора Зарянку.*

Не имея намерения писать биографию или оценку произведений и значения Егорова в истории русского искусства, я ограничусь личными воспоминаниями.

Егоров жил на Васильевском острову, в 1 линии. Фигура его, образ мыслей, одежда — все в Егорове было своеобразно. Добро и ласково я был принят им при моем первом посещении. Он повел меня по комнатам, увешанным картинами его работы, и познакомил со своей женой Верой Ивановной — почтенной старушкой, с сыном Евдокимушкой, со своей дочерью и ее мужем, офицером, который жил тут же,— фамилии его не помню.

Егоров был менее чем среднего роста, пухленький, седой; глаза черные, большие, умные и добрые смотрели прямо; на голове была у него всегда кожаная старая ермолка, а на нем старый халат, испачканный краской. Так он был одет дома; если же куда-либо отправлялся, что случалось очень редко,

---

* Невольно вспоминали К. П. Брюллова, приглашенного императором писать портрет его дочери. Император сел на стул и делал свои замечания. Карл Павлович перестал писать и на вопрос императора — «Почему?» ответил, что у него со страху рука дрожит и писать он не может. Умен был К[арл] П[авлович] и далеко не трус. Ответ поймут художники, а понял ли его император — не знаю.

Зарянко был пожалован в профессора Академии августейшей особой, а не по приговору Совета Академии. [10]

то надевал длинный старомодный сюртук. Жене своей он говорил: «Вы, Вера Ивановна», а она ему — «Вы, Алексей Егорович». Смеялся он искренне и добродушно. В то время, когда я познакомился с ним, ему было за семьдесят лет. Определен он был в Академию ребенком[11] и, дойдя до натурного класса, занял место помощника профессора, а затем, как лучший ученик, был отправлен за границу.

Живя в Италии, Егоров прославился как композитор и рисовальщик. Канова, Каммучини знали его и ценили; папа предлагал ему сделаться его придворным живописцем; но Егоров, как патриот и к тому же религиозный человек, не захотел изменить своему отечеству. Война Франции с Италией заставила его вернуться в Россию в начале 1807 года; а в 1812 году — за картину «Истязание Спасителя» — он был признан профессором.[12] Император Александр I дал Егорову прозвище «знаменитый», когда он в двадцать восемь дней сочинил и окончил в Царскосельском дворце огромное аллегорическое изображение «Благоденствие мира», которое заключало более девяноста фигур в натуральную величину. Егоров был учителем императрицы Елизаветы Алексеевны. Тогдашние любители живописи дорого платили за его рисунки. В моем собрании их семьдесят два, из которых особенно интересны два рисунка, сделанные в Италии, изображающие борющихся гладиаторов, а затем рисунок с натуры мужской фигуры в ракурсе.* Об этом рисунке Алексей Егорович рассказал мне следующее. Приехав в Италию, он отправился в натурный класс, где спросили его, умеет ли он рисовать, и, получив от него ответ, что умеет, допустили в класс, где все места оказались занятыми; и ему пришлось поместиться кое-как под выставленной фигурой. Егоров в полчаса набросал всю фигуру, положил в папку, встал и начал ходить по классу, посматривая на чужие рисунки. На него обратили внимание и спросили, почему он не рисует. «Да я уже кончил»,— ответил Егоров. Посмотрели рисунок — и удивились его мастерству; слава о нем как о большом мастере распространилась.

Италию и итальянцев Егоров очень полюбил и вспоминал о них с удовольствием. По его рассказам, живя в Италии, он

---

* Собрание это продано И. Н. Терещенко.[13] Рисунки были приобретены мною от самого Егорова и частью, после смерти А[лексея] Е[горовича], от его сына Евдокимушки, который впоследствии переселился в Париж, где и умер.

обыкновенно начинал сеанс натурщика с того, что клал на стол золотой, который натурщик мог получить, если прислонит Егорова спиной к стене, на расстоянии четверти аршина; и ни один натурщик никогда золотого не получил. Затем они сгибали руки, упершись локтями на стол и натурщик должен был пригнуть руку Егорова к столу, за что тоже мог получить золотой. Иногда они становились друг против друга, взявшись правыми руками, и натурщику опять предстояло получить золотой, если он сдвинет Егорова с места. Но эта проба силы кончалась тем, что натурщик отбрасывался в сторону, а Егоров клал обратно золотой в свой карман; и «русский медведь», как его прозвали итальянцы, потешался над их слабостью.

Для церкви Академии художеств Егоров написал образ «Богородица в кругу святых», с фигурами в натуральную величину. Когда картину эту, в массивной и тяжелой раме, вешали на стену, не мало пришлось возиться с ней прислуге. Наконец, Егоров не вытерпел и сказал:

— Дайте-ка мне,— и с этими словами полез по лестнице, ухватил картину за канат и повесил, посмеиваясь. Колоду карт он легко разрывал пополам.

Во время моего знакомства с Алексеем Егоровичем я был силен, мог гнуть средней толщины кочергу, и два, три человека обыкновенной силы едва могли меня побороть. Егоров со мною проделывал опыты как с натурщиками; и я не мог его старческой руки пригнуть к столу, а мою руку он легко пригибал. Мне было тогда двадцать один год, а ему — за семьдесят.

Добротою и доверчивостью Егорова и жены его нередко пользовались. Однажды прихожу я к нему утром и звоню... не отворяют; еще раз и громче ... дверь немного приотворилась; прислуга смотрит с испугом и, признав меня, проворно впускает, заперев двери.

Вдали стоит сын, из другой комнаты выглядывает жена, а далее и сам Алексей Егорович. Все с напряженным вниманием всматриваются в пришедшего.

— Что такое? Что случилось? — спрашиваю я.

— Эх, батюшка, Лев Михайлович,— говорит Вера Ивановна,— давно вы у нас не были, а тут — беда. С чердака украли люстру (полиция нам заявила),— да бог с ней, с этой люстрой... мало ли что там у нас есть, мы не жаловались; а теперь, который уже день, ходит полиция и производит следствие. Уже Алексей Егорович велел дать квартальному

красненькую, чтобы отвязался; красненькую он взял и все ходит. «Нет,— говорит,— оставить дела нельзя». Мы дали еще, а он все приходит,— покоя нет! ..

Вдруг раздался сильный звонок. Хромая старуха кухарка ворча бежит в переднюю. Звонок повторился сильнее. Я сказал, чтобы не отворяла, и пошел сам отворять дверь. Вижу — квартальный.

— Что ты тут шатаешься? — сердито крикнул я.— Я тебя, негодяя, упеку! Сейчас напишу записку министру и с тобой же к нему отправлю! .. Чтоб твоя нога здесь не была! .. Вон! .. Кто я? узнай! ..

Захлопнув дверь ему под носом, взволнованный возвратился я к старикам. Перепугались они и горячо благодарили за избавление от назойливой полиции. В следующие дни я нарочно приходил по утрам для успокоения стариков и в ожидании полиции; но квартальный не показывался. Водворилось спокойствие, и занятия мои у старика возобновились. Удивляясь, Егоров говорил: «Как это ты, братец, его выгнал так? .. Молодец! Спасибо! спасибо, а то бы мы от него не отделались . . .»

Обстановка Егорова была скромная. Со старостью заказы сократились, а расходы увеличились. Лишившись места в Академии, А[лексей] Е[горович] должен был платить за квартиру, покупать дрова, снабжать выросшего сына деньгами; дочери вышли замуж, и явился новый расход на них. Приходилось ограничивать себя, и милый профессор сам закупал сальные свечи, сам их заправлял в подсвечники; еда его была простая.

Случайно узнал я от сына Евдокимушки, что отец его поет и хорошо играет на гитаре и балалайке; при этом Вера Ивановна подосадовала на Евдокимушку, что тот выдал забаву отца на таком неблагородном инструменте. Я стал упрашивать Алексея Егоровича сыграть и спеть что-нибудь; он отнекивался, говоря, что неприлично играть на мужицком инструменте. Однако мне удалось уговорить старика, и он, взяв балалайку, сел у растворенного окна и взял несколько аккордов. Вечернее солнце садилось и окрашивало осеннее небо . . . Взяв еще несколько аккордов, он, шутя, запел, подыгрывая:

Алексей, Егоров сын,
Всероссийский дворянин *и пр.*

Как жалею я, что не в силах написать его портрет именно в таком виде. . . Черные, блестящие умные глаза. . . довольно

длинные седые волосы; голова, повязанная синим клетчатым платком; старый, в краске, халат; крупные черты лица, освещенные осенним заходящим солнцем ... Много высказалось и чувствовалось грустного в его шутливой игре... Это — заслуженный профессор!.. знаменитый рисовальщик, уволенный из Академии за неумение рисовать! .. «Знаменитый» при одном императоре и униженный, оскорбленный при другом*.

Свои академические рисунки я приносил на просмотр к Егорову, и он знающей рукой поправлял ошибки. В настоящее время художники так не знают антики, и им покажется невероятным, что Егоров каждую голову антика и каждую статую, с любой точки, мог нарисовать наизусть.

В 1849 году или 1850-м открылась в Академии выставка редких вещей в пользу бедных. Явилось много редкостей, картин и статуй, скрытых для публики в собраниях любителей. Я уговорил Алексея Егоровича пойти со мной на выставку. Когда мы вошли в залу, молодые художники встретили его с почтительными поклонами, и между ними были его прежние ученики академики и профессора: Завьялов, Марков и пр. Я пожелал купить каталог выставки, но Егоров нашел эту трату лишней, уверяя, что и без каталога «все знает». Однако каталог был мною куплен, и я имел возможность убедиться, до чего безошибочно Егоров определял все, указывая и на то, что такая-то картина приписывается такому-то мастеру, но она не его, или такая-то — «копия, а не оригинал». Около нас собралась порядочная толпа; и все с вниманием слушали отзывы и суждения опытного знатока. Каталог действительно оказался ненужным.

---

* Увольнению Егорова из Академии художеств способствовал президент ее Оленин, не терпящий противоречий. Егоров ценил звание профессора, привык к уважению и в простоте своей не стеснялся сказать правду. Так, например, в заседании Академического Совета президентом Олениным было предложено поднести почетное звание члена Академии художеств всесильному Аракчееву. Егоров спросил: «За что?» — «Ведь он так близок к императору,— ответил президент,— что следует ему оказать почет».

— В таком случае надо поднести звание почетного академика и кучеру императора, который к нему еще ближе,— ответил Егоров. [14]

Однажды пришел во дворец Алексей Егорович к назначенному часу, для урока великим князьям. По невниманию учеников ему пришлось ждать. Алексей Егорович поручил передать кому следует, что учителя учеников не ждут, и ушел.

Подобные случаи получили своевременную оценку и послужили к избавлению президента от заслуженного профессора.

Одевался А[лексей] Е[горович] оригинально. Когда он выходил из дому, на нем был длинный, как я сказал, сюртук; всегда чистая, накрахмаленная белая рубашка с отложным воротником и синяя шинель, покроя начала нынешнего столетия, со множеством воротников. Шинель застегивалась у шеи большой металлической пряжкой с такой же цепочкой; на голове зимой и летом была у Егорова низенькая, твердая, черная пуховая шляпа с довольно большими полями и в руках трость. Я часто гулял с ним; а по дороге мы заходили в соседнюю фруктовую и мелочную лавку Тихонова. Тут Алексея Егоровича почтительно встречали; он занимал свое обычное место на лавочке, и я садился рядом с ним, и начиналась беседа. Тихонов сообщал газетные и городские новости. Наговорившись, мы отправлялись в Андреевский рынок к знакомому Алексею Егоровичу скопцу-меняле, где также отдыхали в небольшой лавочке и выслушивали новости; или шли на Тучков мост, наблюдали прохожих и проезжих. Тут, облокотясь на перила, мы долго стояли, и нас потряхивало при проездах экипажей. Егоров говорил, что «стоять здоровее, чем сидеть».

— А что, тебе не совестно со мной гулять? — спросил он раз неожиданно.

— Что вы, Алексей Егорович, почему вы это спрашиваете?

— А мой Евдокимушка со мной гулять не любит, говорит, что совестно, потому что у меня старинная шинель и шляпа. . . А разве шинель плоха? Ведь я за нее заплатил в 1812 году семьдесят рублей! Разве и ее пора в отставку? Отслужила. . . негодна. . .

Мы стояли и нас потряхивало. . .

— А великий человек император!

— А что. . . Чем же он велик?

— А мост-то какой сделал! Ведь до него моста не было; да какой мост! . .

Писать масляными красками я начал у Егорова, копируя этюды его головок с полнатуры. По вечерам он освещал свою и мою работу сальной свечой, поставленной на особо приспособленной дощечке с боковыми и задней стенкой, так что получалось освещение картины, а глаза наши были защищены от огня. Смотря по работе, мы решали, что следует делать завтра; тихо и покойно сидели и беседовали. Иногда вместо наших работ на мольберты ставились рисунки или эстампы. В этих случаях Егоров подробно разбирал рисунок каждой

фигуры, брал бумагу и набрасывал карандашом фигуру, которая казалась ему неправильной.

Довольно часто я читал старику Библию, Евангелие и другие священные книги. А. Е. Егоров был человек верующий и знал священное писание не хуже митрополита. Однажды я увлек его чтением какого-то романа. Егоров с большим вниманием слушал, беспокоился, возмущался, ждал с нетерпением моего прихода; мы продолжали чтение, запершись в мастерской, где нас никто и никогда не тревожил. Иногда А[лексей] Е[горович] рассказывал прочитанное Вере Ивановне, которая мне жаловалась, что старик после чтения очень волнуется и плохо спит ночью. Желая успокоить его, я сказал: «Ведь это только рассказ, все сочинено, а не действительно так происходило».

— Эх, батенька! .. Что же ты мне этого не сказал! ..

Однако прекратить чтение не захотел.

Алексей Егорович работал до конца своей жизни; едва ли не последняя работа его была подарена в церковь св. Марии Магдалины* — два местных образа. На свое занятие А[лексей] Е[горович] смотрел с уважением, много писал для церквей, называл себя монахом — «только без рясы и не в монастыре». Взгляд на искусство он имел своеобразный и говорил, что рисовать может выучиться всякий; что это так же наука, как и математика. Рисуя и научая других рисовать с натуры, он требовал знания анатомии и антиков, а не местного копирования натурщика, и говорил ученику:

— Что, батенька, ты нарисовал? Какой это следок?!

— Алексей Егорович, я не виноват, такой у натурщика...

— У него такой! вишь, расплывшийся, с кривыми пальцами и мозолями! Ты учился рисовать антики? должен знать красоту и облагородить следок... Вот, смотри-ка...

И он брал из рук ученика карандаш и исправлял работу.

Взгляд этот был оставлен с появлением в Академии К[арла] Брюллова, который, превосходно изучив антики, умея тоже наизусть рисовать Аполлона и группу Лаокоона, умел и облагородить уродливое колено натурщика, следок или ухо, но от ученика, рисующего с натуры, требовал ее портрета, совершенной передачи видимого. Работу, сделанную без натуры, он клеймил прозванием о т с е б я т и н ы. Нерассуждающие ученики, не понимая его требования, пренебрегали антиками, их изящной красотой и, не умея

---

* Больницы св. Марии Магдалины, где отец мой был попечителем.

уравновесить требований Егорова с требованиями Брюллова, перестали чувствовать тонкое изящество черты, линии и гармонии, и передавали рабски видимое. Брюллов ценил заслуги Егорова русскому искусству, и Егоров ценил Брюллова; иначе и быть не могло — оба понимали искусство. Достаточно вспомнить слова, вырвавшиеся у старика Егорова, смотревшего на «Распятие Христа» Брюллова: «Каждый мазок твоей кисти, Карл Павлович, есть величайшая хвала богу!» Так красота форм и духовное содержание были вполне доступны старику классику.

Егоров умер в 1851 году, и последние его слова были: «Догорела моя свеча»...

В последние годы жизни Алексея Егоровича никто не был к нему ближе меня. Это говорил он мне сам, а жена его по этому поводу выражалась так: «Евдокимушка ветрен, жена не художник, дочери и их мужья не понимают его». Горячая моя любовь к художеству, мои эскизы, успехи были дороги сердцу Егорова. С какой любовью и радостью он встречал меня почти ежедневно, и как приятно было сидеть с ним вдвоем в мастерской: работать, читать, разговаривать или отправляться с ним на прогулку.

Во время болезни и при смерти А[лексея] Е[горовича] я был в отсутствии, и когда вернулся в Петербург, то Вера Ивановна и сын ее говорили мне, что старик очень желал меня видеть. Тяжело было мне и грустно, что не имел возможности проститься с добрым и почтенным учителем.

Я сделал тогда эскиз, на котором изобразил Егорова в постели, передающего молодых художников Брюллову, и жалею, что не написал такой картины,— но для этого я был слаб. Мысль верна, и место Егорова в истории нашего искусства именно таково: мы все обязаны Брюллову, а Брюллов много обязан Егорову.

Знание старика Егорова анатомии было изумительно. Бывало, рисуя или поправляя рисунок, он называл каждый мускул, связки, косточки, чего теперь — увы! — художники не знают. Профессор анатомии Буяльский, читавший нам лекции на моделях, натурщиках и трупах, иногда водил нас в Эрмитаж и, указывая на статуях и картинах ошибки в анатомии, подходя к картине Егорова «Истязание Христа»,* говорил: «Вот единственная картина, в которой нет ни еди-

* Картина эта теперь находится в музее императора Александра III под № 139.

ной ошибки». Да, молодые люди, следует художнику знать анатомию так, как знал ее Егоров; уметь облагородить натуру, уметь и скопировать ее до точности, какой требовал Брюллов, и тогда художник, одухотворенный гением и искренностью, произведет творение, которое будет бессмертно, выдерживая критику веками.

Алексей Егорович Егоров похоронен на Смоленском кладбище. По возвращении в Петербург я посетил его могилу; со слезами простился с ним; повесил венок на деревянный крест и дерновую, свежую его могилу убрал зеленью.

III

Я совершенно втянулся в художественные занятия, сознавая, что должен вернуть то, что было упущено в течение пятнадцати лет корпусной жизни. Я помнил слова Брюллова, что учиться рисовать следует с детства так же рано, как учиться говорить, чтобы уметь высказать, что чувствуешь и сознаешь. Я рисовал с утра, рисовал вечером и часто ночью вставал, чтобы зачертить сон или представлявшиеся мне фигуры.

Летом 1849 года отец мой взял отпуск и собрался ехать с нами в деревню Павловку, мою родину. Но деревня меня не привлекала. Моей дорогой Тикованы не было в живых, дочери ее — тоже; к тому же я рассчитывал летом ходить в скульптурный класс днем, чтобы рисовать с антиков, а по вечерам — дома, с эстампов и своих гипсов, чаще посещать Эрмитаж и к осени сильно подвинуться в технике. Ехать в деревню, к которой охладел и которую забыл, мне не хотелось, и я отказывался. По этому поводу у меня были серьезные беседы с братом Алексеем, который уговаривал ехать, убеждая тем, что с гипсов я успею рисовать целую зиму, тогда как теперь представляется случай ознакомиться с живой натурой и природой. Наши прения кончились его победой; я сдался и начал собираться. Дорожные сундуки были вытащены, и прислуга занялась укладкой. Нас, отъезжающих, было много: отец, сестра, пять братьев, горничная, два лакея и повар. Оказалось, что нет достаточно места для багажа. Отец спрашивал каждого: «Нет ли чего лишнего?» — оказалось, что у всех только необходимое. Начался пересмотр вещей и... о, ужас!.. мой багаж почти весь

вытащили вон, и тогда я вновь отказался ехать. Что же вытащили? Гипсовые руки, ноги и античный бюст. Сколько с их стороны было смеха, который вызвал во мне огорчение до слез. Что я буду делать без гипсов?.. рисовать каких-то мужиков или баб, деревья! отстану я от товарищей!..

Однако меня успокоили, и я поехал со всеми. Выехали мы весело; проезжая по городу, братья дурачились, раскланиваясь с публикой; только я был хмурен. Тогда еще железных дорог не было, кроме одной Царскосельской, и езда на лошадях давала возможность знакомиться с народом и местностью. Меня начали занимать физиономии ямщиков, их молодецкая ухватка, небрежно и красиво наброшенные кафтаны; степенность манер; живописность нарядов; почтенные головы стариков; поющие нищие; дурочка, пришедшая на ярмарку за тридцать верст в одной рубашке; продавщицы бубликов и ягод; дети, красиво сгруппировавшиеся около бабушки... Я зачерчивал все с бьющимся усиленно сердцем, торопясь уловить, что мог. При этом я отмечал буквами цвета одежд. К сожалению, теперь редко встречаются одежды, сделанные собственными руками крестьян: фабрики вместе с железными дорогами вытеснили самостоятельный вкус народа, который подавляется безвкусием, а прочность заменилась гнилью.

Зачерчивая и записывая все, я обращал внимание на шитье рубах и полотенец, на резьбу наличников у окон, форму и резьбу на воротах, на крыльце, киотки... Довольства я не видел, и нередко ямщиком на козлах или форейтором бывали дворяне, нисколько не отличавшиеся от мужиков.

В Москве мы остановились в доме, где я был еще ребенком и который впоследствии принадлежал В. А. Перовскому. Я вспомнил давно прошедшее: свое детство и мать, комнаты, трюмо, двор и сад, обнесенные забором, каланчу. Дом находился на Новой Басманной.* Усадьба была просторная; на большом дворе ходил журавль и паслась лошадь со спутанными ногами; в саду был пруд. В это время в доме жила тетушка моей матери, добрейшее существо; за порядком в доме и усадьбе смотрел старик Никита Сергеевич Меркулов, который ежедневно, рано утром, шел на Мясницкую улицу сверить свои часы с часами, находящимися на доме

---

* Дом, построенный из сосновых брусьев гужевого дерева, стоял необшитый; он и теперь существует, купленный купцом Алексеевым; но испорчен устройством лавок и дровяного склада.

Бутенопа; затем сверял с часами на Спасских воротах, возвращался домой и, проверив все часы в доме, подходил к ручке старушки, которая, прочтя газеты, отдавала их Никите Сергеевичу.

Припомнилось мне детство, когда мы жили в этом доме; я увидел ту же комнату с колоннами и трюмо, перед которым неожиданно для всех, по моей просьбе, кудри мои были выстрижены и я причесан как солдат. Припомнилось и сидение у окна, разглядывание проезжающих в экипажах с форейторами; полицмейстер, сопровождаемый скачущими казаками; а также протяжный крик ночью с каланчи: «Слуш-а-а-а-ай». Слушая этот крик, и жутко было, и приятно, что кто-то меня охраняет. Теперь я уже не слышал этого крика. [. . .]

Повидавшись в Москве с родными и простившись с ними, мы отправились далее, заехали к родственникам в Тамбовскую губернию, в свою пензенскую деревню и, наконец, подъезжали к Павловке.

Сердце мое начало биться сильнее, и я просил не говорить мне, когда будем подъезжать к Павловке: хотелось проверить — могу ли узнать ее.

Утро было чудное; братья спали, ямщики ехали, весело перекликаясь; экипажи катились без стука по гладкому чернозему. В экипаж лезли колосья, и, наконец, на горе показалась помещичья усадьба с садом и рощею... «Это Павловка!» — сказал я, разбудив братьев. Действительно, это была она. Вскоре мы увидели пруд; зашумела вода, бегущая сквозь щели шлюза плотины, и мы стали подниматься по отлогой горе. Налево — избы, направо — ограда английского сада; встречает нас крестьянин Севастьян Собольков, воспитанный в петербургском земледельческом училище; он с образом бежит подле и поет какую-то молитву. Вот повернули направо, в ворота; каменная кухня, из которой когда-то в метель Федос едва дошел до дома; вот фруктовый сад с каменной оградой и липовой аллеей, по которой я гулял с Тиковaной; вдали, за домом, в дубовой роще кричат те же стаи грачей, крик которых мне так нравился в детстве. Подъехали к дому; на сердце было отрадно и грустно. Я просил пустить меня вперед, так как хорошо помнил расположение комнат; и, называя комнаты, я шел, а за мной следовали братья и отец. Вот зала, где лежала на столе в гробу, в лиловом платье, мать; вот гостиная, кресла, на ручках которых я любил натягивать нитки и слушать звуки, перебирая их пальцами,

как струны; вот ручки дивана, по которым мы с братом Владимиром спускали коровок, сделанных отцом из сырой репы. На окнах были все те же старые шторы, разрисованные клеевыми красками, с изображением швейцарских видов, с водопадами, хижинами и горами; на балконе — прежние колонны, обвитые шеврфейлем; под окнами кусты жасмина и сирени. Вот маленькая гостиная, уставленная старинной мебелью карельской березы, в углу столик — и на нем старинный самовар; тут же два окна, из которых, пробуя дождь, я и брат Владимир упали в сад и напугались подошедшей к нам коровы. Вот и спальня матери... Сердце мое сжалось, я едва переводил дыхание. Вот и две детских комнаты, в которых жил я с братом Владимиром; те же кроватки, любимая моя игрушка с работающими мужиками, киот и образа, перед которыми добрая Тикована учила меня молиться... Я не мог более говорить, сел, закрыл лицо руками и зарыдал... Меня оставили одного. Я плакал, плакал о прошлом: зачем меня увозили отсюда? Чему научили?.. Что из меня сделали... Детство, юность были отравлены. Я видел горе, гнет!.. Все доброе, все хорошее — было подавлено!..

На другой день, обойдя дом, сад, усадьбу и рощу, я взял ружье и, первый раз в жизни, вздумал поохотиться. Придя к пруду, я заметил в тростнике уток. Осторожно подкравшись, я выстрелил так удачно в стадо, что вернулся домой и послал подобрать дичь. Оказалось, что это были утки моей няни Надежды. Более я уже не стрелял, а случалось ходить на охоту за перепелами с мужиком, у которого была собака и на руке сидел ястреб. Бывало в утро мы приносили мешок перепелов; ели их часто; кроме того, солили и привозили в Петербург.

Получив от няни приготовленные для меня хлебные лепешки, я забирал их в карман и с утра до обеда бродил по соседним деревням, рисуя все, что попадалось, и все мне стало мило; все, казалось, будет пригодно, и я вспоминал К[арла] Брюллова, сказавшего мне, что «нет тех данных, которые не были бы нужны художнику». В дурную погоду и вечером я рисовал с эстампов Пуссена и Лесюэра.

Время в деревне мы проводили весело. Родных наехало много, и проживали они долго. Из Петербурга приехал старый отставной моряк, известный всем весельчак Иван Петрович Бунин с двумя дочерьми, которые были ученицами Глинки и Даргомыжского и хорошо пели. Они были товарками сестры моей по Смольному монастырю. Сестра играла

на рояле серьезные пьесы: Бетховена, Мендельсона, Шопена и Глинки. Так прошли почти два месяца с половиной, и к первому сентября отец мой должен был поспеть на службу в сенат. Выехали мы из деревни в двадцатых числах августа и вовремя поспели в Петербург.

IV

По возвращении из Павловки я продолжал посещать Академию и занялся сочинением аллегорических и мифологических эскизов.* Вообще подобные сюжеты полезны для изучения форм тела во всех поворотах, как азбука, но не как цель, к которой стремилась Академия. Для упражнения руки и глаза я пользовался гравюрами с Рафаэля, Микеланджело, Пуссена, копируя их то в величину эстампа, то более его или в уменьшенном виде. Вместе с тем во мне пробудилась любовь к совершенно противоположным художникам, например к Гаварни, с рисунков которого я копировал весьма тщательно, увеличивая их в два и три раза. Меня увлекала свободная его манера, свобода в набросках, с сохранением характера фигур... Не то я думаю теперь, по прошествии пятидесяти лет. Не так следовало учиться, теряя бесполезно время. Но увлекался Гаварни не я один, начинающий юноша. Увлекался им и такой художник, как Федотов, который говорил: «Ежели нам нравится, мы увлечены и копируем,— значит, это выше нас...»

Между тем со смертью Егорова я лишился друга и постоянного наставника. Академия мало приносила пользы. Рисуя в классах по вечерам, в темноте, при масляных лампах, производивших духоту и копоть, ученики не получали от дежурных преподавателей объяснений. Бывали и такие дежурные, как, например, Токарев, которые постоянно ставили одну и ту же голову или фигуру в свое дежурство. Некоторые преподаватели не только не брали карандаша в руки, чтобы показать ученику его ошибку, но даже целый месяц не под-

* Я показывал Егорову мои рисунки с натуры, сделанные в Павловке, но Алексей Егорович, рассматривая их, говорил подсмеиваясь: «Когда, батюшка, будешь уметь рисовать с антиков и натурщиков, сумеешь нарисовать и эти пустяки. Искусство не то требует». Ученик Брюллова Корицкий также отнесся к рисованию мужиков довольно не сочувственно.

ходили к нему. Через месяц ученик видел на своем рисунке какой-нибудь № 52 или № 15, не понимая причины, по которой ему поставили тот или другой номер. Рисуя одно и то же, ученики нередко дремали над рисунком. Утренние лекции перспективы, начинавшиеся в восемь часов, я посещал с удовольствием. Читал их умно и живо профессор М. Н. Воробьев. Во время лекций он касался искусства вообще и прекрасно объяснял его значение.

Мне очень хотелось тогда сблизиться с художниками, и я очень обрадовался, когда скульптор Александр Николаевич Беляев пригласил меня к себе. С того времени я начал посещать его часто и привязался к нему как к художнику, горячо любившему искусство; он был добрый, честный и простой человек и жил только для искусства. Квартира Беляева была у Тучкова моста, в третьем этаже. Два окна его комнаты были обращены на Малую Неву, Тучков мост и Петровский парк; отсюда свободно можно было любоваться водой, зеленью парка в отдалении, небом, закатом солнца, спокойствием реки или ее вздутыми белыми волнами. Вход в квартиру Беляева был из открытой галереи, тянувшейся вдоль всего длинного дома. Из передней направо была комната в одно окно, выходящее в упомянутую галерею. Комната эта служила... трудно определить, чем именно,— тут обедали, пили чай, вешали белье и оставляли калоши. Тут висели гипсовые слепки на стенах; на полках лежали формы бюстов и разных моделей, запас глины, маски, глиняная голова непокаявшегося разбойника, распятого около Христа, маска великой княжны Александры Николаевны (то и другое работы Витали) и стояла группа из глины (неоконченная) работы К. П. Брюллова — «Диана и Эндимион», которую я видел у Карла Павловича. В этой комнате жил и ученик Беляева, Иван Власьевич Кузнецов, впоследствии скульптор-академик. Другая дверь из прихожей вела прямо в мастерскую Беляева, которая вся была заставлена и увешана гипсовыми снимками; мебель состояла из жесткого с буграми дивана, обитого грубой клеенкой, на которой Беляев спал и усаживал гостей. Укладываясь спать, он покрывался одеялом, которое дала ему много лет назад мать при отъезде его из Москвы, перед поступлением в Академию; одеяло было коротко, и мне случалось при нездоровье Беляева прикрывать его ноги, торчавшие из-под одеяла, сюртуком, штанами или бекешей на бараньем меху. Одеяло это он очень любил и берег, тщательно укладывая его днем к одному краю дивана;

оно было вроде разноцветной мозаики из кусочков ситца и стеганное ватой.

Пища Беляева была самая простая: ел он весело и с аппетитом. Ученик его Иван Власьевич приносил от кухмистера судок, в котором были неизменные щи, каша, кусочки говядины, а в праздники пирог. Из этих судков деревянными ложками хлебал он щи с Иваном Власьевичем, а нередко и со мной; всем доставало, и все были довольны. После обеда я читал в мастерской громко Беляеву «Илиаду», «Одиссею» или что-нибудь другое. Иван Власьевич убирал несложную посуду и ставил самовар, а Беляев ходил по комнате, курил зловонную сигару, вздыхал и восклицал от удовольствия, слушая божественного Гомера.

В квартире зимой было холодно, так как ее согревала только железная печурка, приставленная к голландской печке, которую никогда не топили.

— Голубчик Левушка, тебе, кажется, холодно? — спрашивал Беляев, подкладывая по одному тощему и сырому поленцу в железную печурку.

Зимою я сиживал в калошах и шубе, а он, покуривая, ходил по комнате в старенькой бараньей бекешке. Однажды прихожу к нему и вижу новость. Около дивана стоит старинное вольтеровское кресло со всеми к нему приспособлениями для занятий: пюпитром, столиком для свечи и пр.

— Ну, что, голубчик, хорошо? — спросил меня Беляев.— Купил я все это для тебя. Теперь сидеть тебе будет покойно, да и заниматься лучше...

Когда родился и скольких лет умер Беляев — не знаю, но полагаю, что умер немолодым. Он был высокого роста, силен, неуклюж; шея длинная, высоко повязанная черным галстухом; ступни большие и плоские; руки как клещи, с огромными ладонями, на которых кожа до того огрубела, что он ощупывал и гладил тело обратной стороной. Отец Беляева был крепостным, потом сделался мещанином и вел в судах спорные дела своего бывшего барина. Он был честный и всеми уважаемый старик; у него было два сына: Федор, хорошо образованный, занимавший место библиотекаря в Московском университете, большой оригинал, приезжавший нередко в университет с Пречистенки, где он жил, на ломовом извозчике, и Александр — скульптор, о котором я говорю, не получивший образования.

Талант Александра Беляева был невелик, но страсть к искусству безгранична. Формовщик он был необыкновен-

ный, о чем свидетельствует и скульптор Рамазанов.* С помощью моего двоюродного брата графа А. К. Толстого мне удалось пристроить Беляева хранителем скульптуры в Эрмитаже. Это было самое подходящее для него место. Однажды, когда я был у него, получил он бумагу с извещением о предстоящем придворном бале, для чего ему поручалось перенести из Таврического дворца в Зимний драгоценную мраморную статую «Венеры Таврической»,** некогда полученную императором Петром I от папы. При этом была представлена ему смета расхода на перевозку статуи в пятьсот рублей. Для Беляева это было дело серьезное; ответственность за сохранение статуи в целости возлагалась на него. Посмотрев смету, он передал ее мне, и мы оба удивились такой высокой стоимости перевозки. Беляев начал ходить по комнате, пуская беспрестанно дым своей сигары. «Мошенники!.. Канальи!..» — повторял он.

— Что же ты хочешь делать? — спросил я.

Он помолчал, отыскал карандаш, посуслил его и твердой рукой, как гвоздем, зачеркнул оба нуля, так что смета оказалась вместо пятисот в пять рублей; затем подписал бумагу и передал посланному. К назначенному сроку Беляев отправился за статуей; нанял ломовых, сделал все приспособления, статую уложил на сани и прибыл к главному подъезду Эрмитажа. Но каково же было его удивление, когда ему объявили, что по этой лестнице тащить статую не дозволяется, и указали на крыльцо с набережной, по которому ходили в Эрмитаж художники. Тут была узкая винтовая лестница, по которой предстояло доставить во дворец драгоценную статую. Очевидно, это было сделано умышленно; но не таков был мой друг, честный чернорабочий, скульптор, чтобы повесить голову. Он подумал, переговорил с рабочими, устроил леса, укрепил, затем обвязал канатом закутанную статую, обещал народу ведро водки, и, с припевом «Дубинушка», «Таврическая Венера» взлетела по снастям винтовой лестницы в бельэтаж Эрмитажа без малейшего повреждения. Радость Беляева была бесконечна.

Много бывало неприятностей Беляеву за его экономию, пока узнали и оценили его неподкупную добросовестность и знание дела.

---

* «Материалы для истории художества в России», т. 1, стр. 287.

** П. А. Захарьин говорит, что это была группа Кановы «Амур и Психея».

Беляев завел себе шлюпку с парусом, но довольно плохую, вроде ореховой скорлупы, и нередко отправлялся на ней в залив. Однажды, несмотря на волны, взяв альбом и цветные карандаши и посадив к рулю своего ученика Ивана Власьевича, выехал на взморье, закрепил парус и, с сигарой во рту, начал рисовать закат солнца, восторгаясь видом. Ученик И[ван] В[ласьевич] как художник также увлекся природой. Но тут налетел сильный порыв ветра и перевернул лодку вверх дном. Оба упали в воду, и барахтаясь, ухватились за шлюпку; И[ван] В[ласьевич] с испугу начал кричать, а Беляев, выпустив сигару изо рта, стал его уговаривать:

— Да что ты, душенька, кричишь. Разве не видишь, что никого нет... Держись крепче за лодку...

Долго держались они, носимые волнами; промокшая одежда тянула их ко дну; руки коченели. Наконец, увидали с чухонского судна и спасли.

Из этого случая видно, насколько крепки были нервы у Беляева, который никогда не терял присутствия духа и, работая в Исаакиевском соборе,[15] мог твердо перейти по бревнам, положенным поперек купола. В это же время какой-то казначей бросился с купола.* Беляев тотчас же снял с его лица форму, сохранившую выражение ужаса. Это была личность добросердечная с железными нервами.

Ученик Беляева Иван Власьевич Кузнецов был прежде банщиком. Беляев брал его для натуры и, заметив в нем любовь к искусству и желание учиться, взял к себе и начал из него готовить скульптора. Он относился к своему ученику с большим участием.[16] Я живо помню выражение его лица и разговор со мной, когда он решился поместить у себя Кузнецова; помню, как показывал сделанные им рисунки в классах Академии, а также, когда, взволнованный, ходил по комнате, изливая горячее негодование на Ивана Власьевича за то, что тот пришел накануне хмельной.

— Как ты думаешь, Левушка, что мне делать? — обратился он ко мне с вопросом.— Взяв его к себе, я взял на свою совесть и ответственность за него... Я уже раз заметил за

---

* Он растратил казенные деньги. Пошел в кондитерскую, что на Адмиралтейской площади, выпил, пришел в Исаакиевский собор, вышел, опять выпил в кондитерской; пошел в купол, снял свою бобровую шинель; положил ее и бросился. После чего на четырех языках было вывешено объявление: «Вход воспрещен». Отеческая и наивная забота.

ним хмель и побил его порядочно... Он обещал не пить,— и вот опять...

— Находишь ли ты в нем действительную любовь к искусству и желание трудиться, а не прихоть ли это только и временное увлечение? — спросил я.

— Он быстро подвигается вперед, работает толково. Вот, посмотри его работу...

Рисунки были дельные.

Беляев ходил по комнате, пуская дым своей сигары.

— Ну как же, Левушка? Ведь если он начнет пить, я не могу держать его у себя; душа моя этого не вытерпит, и я его выгоню... а жаль!..

— Скажи ему то, что говоришь теперь мне, да в придачу побей хорошенько, чтобы помнил, а выгонять обожди...

Так и было сделано. Иван Власьевич, получив физическую острастку и нравственное поучение, к счастью, образумился и перестал пить. Впоследствии он получил звание художника, а затем, после смерти Беляева, занял его место при Эрмитаже и так же, как и он, реставрировал этрусские вазы. Но служить при Эрмитаже ему надоело; женившись на племяннице Беляева, он, отрекомендовав на свое место скульптора Чижова, уехал в деревню, где и поселился.

V

А. Н. Беляев был человек редкий и представлял собою тип античного скульптора, как о нем выразился В. П. Боткин. Друзья его — художники, жившие в одном доме с ним в конце сороковых и в начале пятидесятых годов,— Захарьин,* Горбунов, Лавров, Гофет, Бернардский,— говорили, что он имел большое влияние на всю их колонию, внушая безграничную любовь к искусству. Все эти милые и добрые люди зарабатывали трудом хлеб для себя, жен и детей, ограничиваясь только необходимым. Нередко лишали они

* П. А. Захарьин, брат жены Герцена. Другая сестра Захарьина была замужем за киевским профессором Селиным, который в это время жил в Петербурге для защиты своей докторской диссертации. Это была личность интересная, талантливая и несколько комичная по своей восторженности.

себя и этого необходимого, чтобы послушать музыку, пение и видеть игру знаменитых артистов: Виардо, Тамбурини, Марио, Гризи, Лаблаша и др., брали места в райке и там блаженствовали. Мы все были близки друг к другу; сердца наши соединяли любовь к искусству, взаимное уважение и полное братство.

Считаю нелишним сообщить о них, друзьях моей юности, некоторые подробности. Многого сказать не могу, так как, с годами, многое забыто, да и, правду сказать, не было с моей стороны расспросов об их прошлой жизни; какое мне было дело тогда до этого!

По соседству с квартирой Беляева жил художник Кирилл Антонович Горбунов с женой красавицей; прежде он был крепостным помещика Пензенской губернии, Чембарского уезда Владыкина.[17] Это был человек чисто русский, с открытой душой; черные волосы его были в кольцах; усы и бородка; рост средний, сложение крепкое. Горбунов прекрасно пел русские песни, сохраняя вполне народную удаль и простор звуков лихого степного певца. Голос его был молодой, звучный, громкий и приятный. Однажды И. С. Тургенев с П. В. Анненковым позвали меня и Горбунова в квартиру Тургенева и устроили состязание певцов. Горбунов пел русские, а я малороссийские народные песни. Как Тургеневу, так и Анненкову пение русских песен пришлось более по душе. Горбунов выбрал две песни: «Ох, да не одна-то во поле дороженька пролегала» и «Ох, ты степь моя, степь Моздокская»; и грустно, и лихо спел он их, переносясь душой в родную черноземную степь и крепостную неволю. Что касается меня, то я не малоросс, а потому, при всей моей любви к малороссийской песне, не мог передать ее со всеми ее своеобразными оттенками. К тому же и слушатели были русаки, душа которых с детства сочувствовала русской песне. Мотивы русские были знакомы, слова тоже, а в малороссийской песне им приходилось углубляться в незнакомый мотив и взвешивать его со словами. Я думаю, что в данном случае, если бы вместо меня пел настоящий парубок, обладающий равносильным даром пения с Горбуновым, даже выше его, то и тогда бы русский певец в их русской душе получил бы преимущество.[18]

По возвращении моем из Павловки Горбунов, увидев мои наивные наброски с натуры, так ими воодушевился, что просил их оставить у себя, и, вспоминая прошлое, написал довольно значительного размера картину «Возвращение кре-

стьян с работы» и в натуральную величину головку цыганки — по пояс.

Горбунов учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества,[19] потом в С.-Петербургской Академии, где получил звание художника, а впоследствии академика. Он писал портреты и образа, был дружески знаком с братом моим Владимиром, который давал ему заказы. Художник он был не без таланта; и при этом человек честный, чистой души и добрый... Когда у него родился сын, то он выписал из деревни свою мать, которая помогала ему в домашнем быту, облегчая жизнь своим неусыпным и умелым трудом. Все мы относились к почтенной старушке внимательно и с уважением. Кроме частных заказов, Горбунов зарабатывал себе хлеб уроками; работал он и в храме Спасителя в Москве.[20]

Подробности его знакомства с девушкой, на которой он женился, я узнал много лет спустя; мне только было известно, что она была натурщицей. Подробности эти следующие.

Наш общий приятель художник Гофет встретил в Петербурге на улице слепую нищую, которую вела девочка лет двенадцати. Всматриваясь в нее, он нашел ее чрезвычайно хорошенькой и уговорил слепую приходить к нему с дочерью для натуры. Они посещали Гофета, и девочка, позируя, зарабатывала деньги, отдавая на хранение художнику П. А. Захарьину, так что мало-помалу набралось полтораста рублей. Сложения она была прекрасного, и профессор барон П. К. Клодт снял с нее формы верхней половины тела; формы эти, отлитые из гипса, перебывали в мастерских многих художников, в том числе и моей, и отданы Клодтом в Академию, где находятся и до сих пор. П. А. Захарьин привел натурщицу к Горбунову, который с нее писал, затем оставил у себя и вскоре на ней женился; прожил долго и счастливо. Семья у него была большая; на льготных условиях он купил землю в Царском Селе и построил на ней дачу, где и скончался.

Из нашего тогдашнего кружка художников остались только Захарьин, Гофет и я; все же остальные — Беляев, Горбунов, Лавров, братья Агины, Бернардский и др.— давно померли.

Николай Андреевич Лавров, мещанин, уроженец Ярославской губернии, учился в Академии, получил звание художника, потом академика. Работал он царские портреты

и образа; живопись его приятна, портреты схожи. Женился он на сестре художника Петра Петровского, талантливого ученика Брюллова.*

В моем собрании находятся также восемь рисунков Лаврова; и между ними — под № 369 — портрет доброго отца диакона Андреевской церкви, очень схожий и искусно набросанный. Диакон был близко знаком с Лавровым, и мы часто бывали у него с братьями Агиными; время проводили за чаем, играя в дурачки и закусывая превосходно приготовленными грибами. Этот простодушный церковный служитель очень любил картины и даже сам покупал их на рынке довольно удачно.

Наш общий приятель Бернардский был добрый и простой человек из крестьян. Посвятив себя гравированию на дереве, он много работал, имел учеников и составил себе имя на своем поприще.** Семейство его было многочисленное, детки — один меньше другого. При ограниченных средствах он был хлебосол, и художники любили его, как доброго товарища.

Не имея никакого понятия о социалистических учениях и коммунизме, Бернардский бывал у Петрашевского, вследствие чего был арестован в числе его сообщников и заключен в Петропавловскую крепость. Находясь в одиночном заключении, Бернардский пришел в отчаяние и хотел лишить себя жизни; для этого, напившись горячего, он покрывался одеялом, чтобы возбудить испарину, а затем влезал к решетке раскрытого окна и вдыхал в себя холодный, сырой воздух. Но, вероятно, сильное душевное волнение производило в нем такую реакцию, что средство это осталось без последствий... Наконец Бернардского, в сопровождении солдат, привели для допроса в комиссию, назначенную по делу Петрашевского. Оробевший Бернардский стоял смиренно перед блестящим собранием генералов.

— Вы коммунист? — последовал вопрос.

---

* Петровский был отправлен за границу за свою программу на конкурс «Агарь в пустыне» и там скончался. В моем собрании, которое теперь принадлежит Терещенко, находятся четыре рисунка Петровского и эскиз его «Агари». Рисунок № 262 в альбоме № 3, изображающий летучий набросок в контуре плохого по формам натурщика Степана, превосходен; с какою быстротою схвачены и переданы все недостатки академического натурщика.

** Рисунки к «Мертвым душам» А. Агина были гравированы Бернардским.

— Нет, я Бернардский,— ответил подсудимый.

Посмотрели на него генералы, тихо переговорили между собой и приказали освободить его из заключения.[21]

Сцена эта, рассказанная самим Бернардским, нередко служила предлогом для потехи над ним со стороны его приятелей.

Художник Василий Павлович Гофет также принадлежал к кружку Беляева. Это был милый, скромный и застенчивый человек; талант его был небольшой, но своеобразный и, к сожалению, не развился. Он зарабатывал себе средства для жизни портретами, писанием икон и реставрацией картин. При ограниченных средствах он увлекся покупкой старинных предметов, картин и эстампов и втянулся в эту страсть до того, что сделался коллекционером большого собрания. Мы долго не виделись, и я знал о нем только по слухам; наконец, много лет спустя, приехав в Петербург в 1897 году, я навестил его. Он жил в том же доме, в котором я познакомился с ним в 1850 году. Стены и потолок квартиры не подновлялись, так как Гофет этого не позволял; они были покрыты пылью и паутиной. Молодой и милый художник превратился в сухого старика реставратора и собирателя всякой старины, которою он загромоздил всю квартиру до того, что до него едва можно было добраться, чтобы поздороваться. В старотеньком, поношенном халате, с кистями и палитрою в руках он реставрировал большую старую картину. Бедность была кругом: худоба и бледность лица заявляли об этом. Гофет мог бы улучшить свое положение: покупщики являлись и за малую часть собрания предлагали ему более десяти тысяч рублей; он ничего не продал.

Когда я заговорил с ним по этому поводу, то он воскликнул: «Как же я продам... как я буду жить без всего этого!..» и указал рукой на ворохи папок с эстампами, на стены с эскизами, портретами и оружием, на груды всякого добра, в котором и сам он не мог скоро отыскать то, что ему требовалось.

В 1899 году я опять был у Гофета, все в той же квартире, стены и потолок которой еще более почернели. На этот раз он работал портрет ныне царствующего императора. Одет он был в коричневом, изодранном и грязном кафтане, надетом сверх белья; куски сукна висели, а на ногах были валенки; старуха топила печь, но в квартире было холодно. Разговорившись с Гофетом, я узнал, что он родился в 1822 году, возраст почтенный, и передо мной был дряхлый

старик, руки от холода были малиновые, но, вспоминая молодость, он добродушно и конфузливо посмеивался.

Мне вздумалось купить у него или найти покупателя на висевший у него на стене рисунок карандашом, работы К. П. Брюллова: «Мальчик», с натуры в Италии.

— Не продадите ли этот рисунок?

— Нет, как можно... Ах, как я жалею, что мне пришлось однажды продать одну хорошую вещь!.. да нельзя было не продать; денег не было, задолжал много за квартиру, требовали, чтобы я очистил квартиру и выехал... Я сказал, что не выеду, умру тут. Ну, прислали бумагу от полиции — описывать; тогда я продал одну хорошую вещь, заплатил за все и остался.

VI

В 1850 году я часто бывал у художника Лаврова, где познакомился с его товарищем Василием Агиным, с которым делал прогулки и на Смоленское кладбище, по островам и в отдаленные части города. Оба брата Агины были незаконные дети конногвардейского офицера Елагина, который, откинув от своей фамилии две первые буквы, оставил за ними фамилию из остальных букв. Старший сын Александр учился в гимназии и воспитывался под руководством отца, но после его смерти оба Агины очутились сиротами, покинутыми на произвол судьбы, и забота о младшем брате Василии легла на Александра. Старший Агин поступил в Академию, где оказал большие успехи, обратил на себя внимание преподавателей как рисовальщик и композитор; но, тем не менее, он постоянно нуждался в деньгах и сам учил грамоте и рисованию своего брата. Жизнь их была тяжела. Меценаты — почт-директор Ф. И. Прянишников и А. П. Сапожников, инспектор по рисованию в военно-учебных заведениях — оба члены Общества поощрения художников — заказали Александру Агину рисунки к Ветхому завету. Агин исполнил их прекрасно, в количестве восьмидесяти трех рисунков, которые были гравированы Афанасьевым, но много хуже оригинала, и изданы в 1864 году.[22] Академия расхвалила работу Агина; издание (покупка которого была обязательна для низших и средних учебных заведений) быстро разошлось и принесло большой барыш меценатам; но Агину дорого обошелся этот заказ. Добросовестно занявшись по-

рученной ему работой, он запустил занятия живописью в классах, и товарищи его, несравненно менее даровитые, были отправлены Академией за границу, между тем как Агин остался при обещании меценатов послать его за границу на их счет, терпя голод и холод. Ни меценаты, ни Академия не вошли в положение юного, серьезного художника, который, кроме тщательного выполнения заказа, должен был содержать и воспитывать младшего брата, обнаружившего также значительный талант.

Агины жили в отдаленном углу Васильевского острова, с трудом уплачивая за квартиру, ели черный хлеб и картофель, и были рады, когда могли достать и эту пищу. Нередко сапоги у них были без подошв, вместо которых прикреплялся картон, кое-где собирались щепки и дрова; оба брата сами топили печь и ходили за водой на Малую Неву. Академия, Общество поощрения художников и меценаты ограничили свои заботы и свое поощрение платой по пяти рублей за рисунок, не сообразив, сколько труда и времени надо употребить, чтобы сочинить и нарисовать хотя бы один рисунок. Такие рисунки, какие были заказаны Агину, обдуманные, тщательно нарисованные, вмещают в себе редко одну фигуру, а если и одну, то она должна быть сделана безукоризненно,— это не виньетка. Много и внимательно надо прочесть, чтобы вполне понять сюжет; сколько приходится пересмотреть работ других художников, чтобы критически разобрать достоинства их и недостатки и составить самостоятельный рисунок. Этого мало — надо сочинить не только ясно, верно, красиво, но и втиснуть свое сочинение в данный размер и форму, определенную рамкой заказчика, и втиснуть так, чтобы, глядя на рисунок, казалось, что именно такая форма только и годна для этого сюжета,— а сюжеты были такие, которые много раз трактовались первоклассными художниками. Ведь такая задача — громадный труд! Не один год прошел, пока Агин окончил свой «Ветхий завет в картинах», получив за свои восемьдесят два рисунка на заданную тему четыреста пятнадцать рублей. При этом восемьдесят третий рисунок не был включен в счет издателями, так как он был при заглавном листе.

С младшим братом Агиным я познакомился раньше; старшего, Александра, я еще не знал лично летом 1850 года: он гостил тогда у профессора барона П. К. Клодта. Василий Агин оставался в Петербурге, поселясь в отдаленной линии Васильевского острова, в мезонине деревянного домика с са-

дом, принадлежавшего таможенному чиновнику Груздову. Василия Агина я полюбил за честность, открытый прямой характер и талант. Не сомни его судьба, был бы выдающийся человек! Рисуя для разных изданий, то на деревяшках, то на литографских камнях, он существовал этим трудом.

Семь дней я не был у Агина; прихожу, говорят: «Дома нет». Прихожу на другой день,— опять его нет дома. Странно! Прихожу в тот день вечером, чтобы застать самого домовладельца.

— Да разве вы не знаете? — ответил он на мой вопрос: — Васю взяли в солдаты...

— Как в солдаты? Художника?!

— Вася — мещанин; его отыскали, увели и, вероятно, уже забрили.

Поразило меня это известие. Больно стало за юношу. Я растерялся и не знал, что делать... Куда пойти? Где его отыскать, где узнать о нем?..

Положение Агина было ужасно. В те времена служба солдатская продолжалась двадцать пять и тридцать лет, и известно, какие тогда были строгости. Агин жил до этого хотя и в нужде, но жил вольным художником... Мое сердце болело; хотелось помочь, тем более что один я, которого он искренне любил, мог сколько-нибудь облегчить его первые несчастные дни. Не зная, с чего начать хлопоты, я обратился к своему отцу за советом и узнал от него, что надо справиться об Агине в Мещанской управе. Я отправился туда, в этот грязный, в то время, вертеп, и здесь мне сообщили, что Агин сдан в Казенную палату для осмотра. Я туда — узнаю, что Агин забрит и отправлен с прочими рекрутами в Аракчеевские казармы, откуда рекрутов, рассортировав, отправят по полкам. Это известие глубоко огорчило меня; не имея понятия об административных и военных распоряжениях,— что мог я сделать и куда, к кому обратиться?..

Я отправился в Аракчеевские казармы разыскивать Агина, нашел и увидел перед собою похудевшего, огорченного, с обритой головой рекрута. Тяжелая встреча была!.. Предстояла скорая отправка Агина, но любовь, искреннее желание оказать помощь и молодость — сила, и сила не малая! Я не мог примириться с мыслью, что нет выхода, что художник обратится в солдата, и друг погибнет.

Отец посоветовал отправиться к моему дяде, генерал-адъютанту В. А. Перовскому. Не дообедав, я отправился к нему и велел доложить о себе. Лакей заявил, что доложить

не смеет, так как Василий Алексеевич не совсем здоров и лег отдохнуть.

— Долго ли он будет спать?

— Через час пожалуйте, я доложу...

Прихожу через час, прокараулив ровно час на улице, близ дома. Лакей передает, что Василий Алексеевич занят поручением от государя и принять не может.

— Скажи, что нужно.

— Приказали спросить, очень ли вам нужно?

— Да, очень нужно!

— Приказали просить...

Застаю В. А. Перовского, обложенного бумагами за письменным столом, угрюмого и растрепанного.

— Что такое? Что тебе нужно? — обратился он ко мне с вопросом.

Я рассказываю ему о несчастии, постигшем художника, и своем участии и прошу выручить.

— Ведь его уже забрили — что же я могу сделать? Когда будут сортировать по полкам, я возьму Агина к себе и облегчу его положение.

— А теперь разве нельзя освободить его от солдатчины?

— Нельзя; он уже принят...

— Ну, прощайте. Мне надо избавить его от этой службы, а не облегчить службу!

Сухо простившись, я вышел. Отец и братья ждали моего возвращения. С горечью и негодованием я передал им ответ Перовского, а примириться с обстоятельствами мне и в голову не приходило. На другой день утром я отправился в Казенную палату для расспросов и влетел прямо в присутствие.

— Скажите, пожалуйста, какое средство избавить от солдатчины художника? — спросил я.

Мне посоветовали, во-первых, похлопотать в казармах у начальства и полкового доктора, чтобы замедлили его отправку и под предлогом болезни поместили бы в госпитале, а во-вторых, мне предложили купить рекрутскую квитанцию, внеся за нее три тысячи рублей.

Я тотчас отправился в Аракчеевские казармы и, к счастью, успел убедить начальство и доктора задержать Агина и отослать в госпиталь. Начало было сделано, и я, не задумываясь над дальнейшими действиями, в тот же день вечером отправился к Агину в госпиталь. Но что это был за госпиталь! Ужас берет, вспоминая о нем. На Выборгской сто-

роне, за Большой Невой, стояло несколько одноэтажных домов аракчеевской казенной архитектуры. Все здания были заняты больными; и Агина, за недостатком места, поместили в так называемом шестом корпусе, наполненном сумасшедшими. Я отправился туда и нашел Агина, бледного, растерянного, в больничном халате... Крики обливаемых ледяной водой больных доносились из ближайшей комнаты; бешеные крики буйных слышались из другой; сумасшедшие ходили взад и вперед, говорили сами с собой или друг с другом. Я присел с Агиным на его кровать, а лежащий возле больной уговаривал меня, чтобы я подобрал ноги, так как черт, сидящий под кроватью, стащит меня к себе. В другой раз, во время моего посещения, один из бешеных схватил меня в коридоре за спину и хотел кусать затылок, но сторожа бросились и с трудом оторвали. Из окон, выходящих во двор, виднелись массы громадных крыс всякого цвета; они играли, бегали, дрались...

Одним словом, госпиталь представлял собою ад, и сидевшему тут человеку со здравым умом, впечатлительному и еще при таком душевном потрясении, как у Агина, не мудрено было потерять рассудок. Я считал необходимым навещать его ежедневно по два раза и буквально исполнял это и, несмотря ни на какую погоду, переправлялся в ялике через Неву. Деньги, уплачиваемые мною часовым, сторожам и фельдшерам, прокладывали мне путь и открывали запоры госпиталя не в урочный час.

VII

День проходил за днем; я не мог ограничиться утешением несчастного; надо было приобрести рекрутскую квитанцию. Сумма требовалась большая, а в Казенной палате оставалась только одна непроданная квитанция. Я взял лист бумаги, сделал сверху надпись: «Жертвую в пользу художника В. А. Агина», затем на одной половине листа написал: «Безвозмездно», а на другой: «Деньги будут возвращены или отработаны», и решил сделать сбор среди знакомых. Но с кого начать? Я наметил княгиню Юсупову; сын ее был приятелем моих братьев; меня лично она не знала. Тем не менее я отправился к ней утром, в час слишком ранний для визитов, и был принят.

Меня провели в гостиную; скоро княгиня, известная своей скупостью, явилась, прихрамывая. Я начал разговор с цели своего прихода, и княгиня Юсупова подписала сто рублей, но с тем, чтобы В. Агин отработал ей на эту сумму. Ни к отцу своему и ни к кому из родных я не обращался и разъезжал с подписным листом целые дни. Мои хлопоты были так успешны, что мне удалось скоро собрать от посторонних лиц не только всю сумму на покупку рекрутской квитанции, но еще остались деньги на первую и необходимую помощь Агину. Квитанция была сдана мной, кому надлежало, и я увез моего приятеля из госпиталя. Искренне жалею, что я не сохранил подписного листа; и теперь, по прошествии многих лет, еще раз благодарю жертвователей. Все жертвовали деньги безвозмездно, кроме княгини Юсуповой; впоследствии Агин отработал ей все с избытком, украсив акварелью некоторые из ее комнат.

Так трудное дело освобождения художника от солдатчины, начатое внезапно, без знания ходов, без денег, одушевленное горячим, искренним желанием добра, кончилось благополучно.

Радость, веселье и торжество в кругу знакомых мне художников были велики. Художники устроили по этому поводу вечер складчиной, без моего вклада, и пригласили моих братьев. При скромном расходе вечер прошел радушно, душевно и оставил во мне глубокое впечатление своей искренностью с примесью комизма, в виду пламенной и напыщенной речи профессора Селина, прославлявшего меня за спасение Агина. Много было сказано и других речей. Скульптор Беляев пожелал сделать мой бюст, и к 8 ноября, дню именин моего отца, рано утром, пока он спал, принес бюст и, поставив его в кабинете, удалился. На бюсте была надпись: «Подарок отцу, в память благородного поступка сына, от художников. 1850 г., 8-го ноября». Художник, сделавший бюст, не выставил своей фамилии, стушевавшись в общем приношении.* Мир праху твоему, честный, великодушный друг, и вам, почившие друзья!

В. Агин в те времена много обещал по пейзажной части. Под руководством своего брата Александра он был отлично подготовлен по рисованию и перспективе. Рисунки его ка-

---

* Бюст этот, отлитый Шопеном из бронзы, по заказу брата моего Владимира, после его смерти передан, по его завещанию, моей замужней дочери Ольге, у которой он и находится в настоящее время.

рандашом с натуры доказывают серьезное изучение анатомии и характера каждого дерева; композиция его могла дать своеобразного художника. К сожалению, от недостатка воли он нравственно упал и разменял свой талант на мелочные заработки. Все ему опостыло; опостыл и опротивел он, наконец, и сам себе, спился и отравился.

Услуга, оказанная мною В. Агину, и спасение от солдатчины сблизили меня с его старшим братом, Александром Агиным. Это был умный, добрый человек и серьезный художник с чувством. К каждой безделице, которую ему приходилось делать, к изданиям за ничтожную цену он относился добросовестно даже тогда, когда знал, что его работа будет испорчена гравером. Это было дело гравера, а собственное чувство художника требовало безукоризненного выполнения. Рассматривая рисунки А. Агина к «Мертвым душам», вышедшие уже четвертым изданием, о которых отзываются с похвалой в течение пятидесяти лет и которые с честью выдерживают сравнение с рисунками Боклевского и Соколова, можно убедиться в его таланте. Но талант и ум Агина еще более будут оценены, когда узнают, что он никогда не бывал в провинции, и изображаемые им типы представляют собой результат его воображения и серьезного отношения к своей задаче. Боклевский и Соколов хорошо знали провинцию.

В моем собрании, проданном И. Н. Терещенко, имеются все черновые рисунки Александра Агина к «Мертвым душам», и они лучше изданных гравюр; здесь ясно видно, до какой точности художник обдумывал типы и каждую сцену. К тому же мы должны принять в соображение, что Агину дана была рамка и форма, в которую следовало поместить рисунок, тогда как Боклевский и Соколов не были стеснены в этом отношении.

Черновые рисунки Ветхого завета, составленные А. Агиным, также находятся в моем собрании; и надо удивляться, как редко встречаются в них изменения против изданных гравюр. До какой степени художник рисовал тщательно, законченно и добросовестно, можно судить по рисунку, сделанному пером, чтобы показать граверу, как следует гравировать, а равно и по его рисунку «Примирение Иосифа с братьями», сделанному сепией, хотя и неоконченному.*

* В моем собрании см. альбом № 16, рис. № 3891 и 3882. Кроме того, в этом же собрании имеется двести тридцать рисунков А. Агина разного времени и разного содержания.

Нельзя не пожалеть, и очень пожалеть, что куда-то исчезли сделанные начисто оригинальные рисунки Агина к Ветхому завету, принадлежавшие Сапожникову. Я не раз указывал П. М. Третьякову на существование их, советуя купить это сокровище, но он их не отыскал.

Александр Агин в пятидесятых годах сделал для профессора барона П. К. Клодта рисунки к памятнику И. Крылова. У меня в собрании есть эскиз этого памятника, набросанный бароном Клодтом, и та же композиция, чрезвычайно тщательно нарисованная Агиным пером для представления государю на утверждение. Кроме зверей на пьедестале, есть барельефы с сюжетами из басен; рисунки этих барельефов сочинены и нарисованы Агиным превосходно.

Барон П. К. Клодт ценил и любил Агина и, зная, что он без всяких средств, помогал ему заказами, а сын профессора Михаил Петрович первоначально учился у него.[23] Я также пользовался наставлениями Агина и, наняв ему квартиру в нижнем этаже дома по 1 линии Васильевского острова, ежедневно ходил работать под его руководством, делая эскизы и рисуя с натурщиков. Но должен сознаться, что при всем уважении к художнику и привязанности, я кончил тем, что учиться у него перестал, так как не достало у меня терпения исполнять его требования. Однажды он заставил меня переделать эскиз до тридцати раз — и он был прав в своей критике, доказав всякий раз мои недостатки и легкомыслие. Помню также, как я утомился глядеть на рисунок его на литографическом камне, приготовляемый в виде объявления «Журнала мод» к Новому году. Издатель приходил торопить, беспокоился, так как срок публикации приближался, но Агин не мог кончить небрежно и продолжал работать так же покойно, как всегда. Я, с своей стороны, объяснял Агину, что за пятнадцать рублей работать долго невозможно, и если он будет работать так, то ему никогда не достанет денег на еду, дрова и освещение.

— Что же делать, братец,— отвечал Агин,— если не могу я работать небрежно; совестно перед собою наврать что-либо...

Редактор удивлялся такой добросовестности, досадовал, а когда рисунок был окончен своевременно, он, сверх ожидания, заплатил Агину вместо условленных пятнадцати — сорок рублей.

Чтобы Агин мог посещать некоторые дома прилично одетым, я заказал ему у лучшего в то время петербургского

портного Шармера фрак, а недостаток белых рубашек Агин маскировал бумажными воротниками и манжетами, которые мастерски выкраивал и прилаживал.

Впоследствии, когда я уехал из Петербурга в Малороссию, то встретил случайно Александра Агина в Киеве, потом потерял его из виду и, много лет спустя, узнал, что он служил помощником начальника какой-то станции Курско-Киевской железной дороги и в этой должности скончался.[24]

В Александре Агине погиб большой художник; неумелое покровительство меценатов выбило его из колеи, а затем жизнь смяла и раздавила его.

VIII

В пятидесятых годах между профессорами Академии художеств были люди талантливые и интересные, но к классным занятиям учеников относились они довольно апатично.* От классного рисунка требовались не толковость и понимание, а убийственная тщательность и нелепая отделка, которую мы называли «конопаткой». Задаваемые нам ежемесячно эскизы были жеваны и пережеваны всеми академиями Европы: все те же Аяксы, Ахиллесы, Геркулесы, Андромеды или «Построение ковчега» и т. п. Я относился прежде с любовью к требованиям Академии, напрягал все силы, чтобы хорошо исполнить заданный сюжет, и, одолевая сухость и скуку задачи, получал всегда лучшие нумера. Но мало-помалу огонь потухал, рвение слабело, я начал сознавать ошибочность профессорской оценки и глубоко сожалел о потере для нас К. Брюллова.

Мой профессор Марков меня не удовлетворял; не вникая в мысль, он только указывал пальцем, куда переставить фигуры, или требовал их уничтожения без всяких пояснений. Слушая подобные советы и убедившись в их бесполезности, я стал приносить ему свои эскизы утром в день экзамена, когда он уже не мог пачкать и поправлять их. Ф. А. Бруни назвал меня за эскизы «мистиком», а В. К. Шебуев нашел в моем эскизе «Рождество Христово» — отсутствие благородства.

---

* Я говорю только о профессорах живописи, не касаясь скульпторов и архитекторов.

Марков не умел мне объяснить, в чем заключался мой мистицизм, а неблагородство состояло в том, что я поместил морды вола и осла около Христа.

— Но, Алексей Тарасович,— возразил я,— в священном писании есть указание на присутствие вола и осла; а так как в пещере было холодно, то весьма естественно, что животные были близ новорожденного, чтобы согревать его своим дыханием.

— Разве это есть в священном писании? Где?

— Пророк Исайя, укоряя иудеев в неверии, говорит им от лица бога: «Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает, не признает меня, и народ мой не разумеет».

— Жаль, что вы мне этого не сказали перед экзаменом, когда показывали свой эскиз.

Немало было других подобных случаев, которые подорвали мое доверие к Академическому Совету, и я окончательно охладел к Академии. От нее веяло затхлостью, условностью и безжизненностью. [. . .]

Воспоминания о Павле Андреевиче Федотове

Познакомился я с Федотовым через отставного генерала Аполлона Никифоровича Марина, который был знаком с отцом моим. У него был сын Александр — кадет Второго кадетского корпуса, года на три старше меня и со способностями к рисованию, вследствие чего мы и познакомились в 1846 или 1847 году. Молодой человек учился хорошо и был выпущен офицером в гвардию. Мы пошли разными дорогами и не встречались до 1880 года, когда он был уже стар, сед и генералом.

В 1892 году случилось нам разговориться с ним о нашем общем когда-то знакомом — художнике Павле Андреевиче Федотове. А. А. Марин торопился ехать к себе в имение и обещал оттуда выслать мне свои воспоминания о Федотове, которые я вскоре получил от него. Вот этими письмами я и поделюсь с читателями.

Из письма А. А. Марина. 26 февраля 1892 г.[25]

. . .Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года от очень бедных родителей. Отец его, воин Екатерининских времен, имел маленький домик в Москве, в пригороде св. Харитония в Огородниках.

Одиннадцати лет от роду (в 1826 г.), почти без всякой подготовки, П. А. Федотов был принят в число воспитанников первого Московского кадетского корпуса. Здесь не замедлил он своими блестящими способностями и успехами обратить на себя внимание начальства и наставников и опередить всех товарищей. Федотов особенно любил математику и химию, хотя изучал и прочие науки с большой охотой. Артистическая натура юноши ясно сказывалась во всех проявлениях его школьной жизни. Он участвовал как тенор-солист в хоре корпусных певчих и, познакомившись с нотами почти без всякой посторонней помощи, выучился немного играть на фортепиано. Его способности к рисованию выражались в классных рисунках и в схожих портретах учителей и товарищей, и в забавных карикатурах на них, и в чертежах всякого рода, которыми он испещрял поля ученических тетрадей.

В 1833 году он окончил курс первым по выпуску. Имя его, по заведенному порядку, было занесено на мраморную доску в актовом зале, а сам он выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Вскоре после выпуска Федотов начал усердно заниматься рисованием. Не довольствуясь черчением предметов на память в более или менее схематическом или карикатурном виде, он обратился к точному подражанию натуре. Первым опытом его в этом роде был простой вид из окна, потом карандаш его коснулся и прохожих.* Далее, он уговорил одного из товарищей посидеть смирно и срисовал его очень похоже, и вот стали говорить, что Федотов удачно рисует портреты.

Самолюбие молодого художника было задето, и он стал посещать вечерние рисовальные классы Академии художеств. В то же время он продолжал заниматься рисованием портретов, карандашом и акварелью, и дошел до такого успеха, что стали являться заказчики. Портрет великого князя Михаила Павловича, в изображении которого Федотов удивительно набил руку, приходилось ему много раз выполнять для удовлетворения требований эстампных магазинов.[26]

Летом 1837 года великий князь Михаил Павлович, ездивший лечиться за границу, возвратился в Петербург и посетил Красносельский лагерь. Федотов немедленно уселся за работу и в три месяца окончил большую, очень тщательно отделанную картину акварелью «Встреча великого князя». Затем, через своего полкового командира М. А. Офросимова и по его совету,[27] художник представил картину великому князю Михаилу Павловичу и получил за нее бриллиантовый перстень.**

Вскоре после этого учебная команда, которой заведовал Федотов, обратила особенное внимание великого князя, что и вызвало заявление

* Рисунки Федотова этого времени имеются в моем собрании, перешедшем к И. Н. Терещенко (недавно умершему).

** Картина помещена во дворце Екатерины Михайловны; наброски и эскиз этой же сцены находятся в моем собрании у И. Н. Терещенко.

начальника штаба гвардейского корпуса генерала Веймарна, что в награду за усердную службу Федотова дверь начальника штаба, в случае надобности, будет ему открыта. Федотов, приняв к сведению это заявление, на другой же день после смотра отправился с неоконченной картиной к Веймарну и просил его выхлопотать ему денежное пособие на художнические принадлежности. Генерал приказал ему явиться на следующее утро во дворец к Михаилу Павловичу и принести свою картину. Великий князь принял художника, расхвалил его картину и оставил ее у себя с тем, чтобы показать императору. Через несколько дней Федотову было объявлено, что государь удостоил вниманием художественные способности офицера и повелел предоставить ему право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по сто рублей ассигнациями в месяц и потребовать от него письменного на это ответа.

П. А. Федотов, посоветовавшись с известным художником К. П. Брюлловым, подал по начальству рапорт, в котором просил разрешения продолжать службу с тем, чтобы высочайше предоставленное ему право было сохранено в течение одного или полутора года.

8 января 1844 года * П. А. Федотов вышел в отставку капитаном с мундиром;[29] и только с этого времени он мог всецело предаться своему любимому занятию.

После усидчивой работы Федотов кончил свою картину «Свежий кавалер» или «Утро чиновника, получившего первый орден»; а еще через несколько месяцев готова была вторая картина — «Разборчивая невеста». Это было весною 1848 года. Со страхом и трепетом представил Федотов обе картины на суд Академии художеств, считая за счастье услышать от нее хотя бы снисходительный отзыв о них. Но каково же было его удивление, когда Совет Академии признал его за эти работы достойным звания академика[30] и позволил ему, по своему вкусу, выбрать программу для получения этого звания. Темою для соискания звания академика выбрал он уже начатую им картину «Сватовство майора», или «Поправка обстоятельств женитьбою». Сюжет этот давно заинтересовал художника и был уже разработан им во многих рисунках и довольно зрелом эскизе.[31]

Картина была готова к академической выставке 1849 года, явилась вместе с картинами «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста», и П. А. Федотов получил за нее звание академика. Во все продолжение выставки толпа посетителей наполняла залу, где находились его произведения, и толкалась около них, так что пробраться к ним поближе можно было лишь с большим трудом.

---

* В 1843 году, как видно из журнала Академии, по высочайшему повелению выдано ему из государственного казначейства пособие в 28 рублей 60 копеек в месяц (см. «Академия за 100 лет»).[28]

Популярности Федотова много способствовало то обстоятельство, что, почти одновременно с выставкою «Сватовство майора», стало известно стихотворение, объясняющее эту картину, написанное художником.[32] Кроме этого стихотворения, Федотов сочинил две песни:

1) Песня егерей: Ну-тко, братцы егеря,
Рать любимая царя и т. д.
2) «На дубу кукушечка куковала» и пр.

Вторую песнь с гитарой Павел Андреевич Федотов много раз певал в доме моего отца генерала А. Н. Марина, и вообще часто бывал у нас. Мой покойный отец жил тогда на Васильевском острове в 9 линии в доме Добролюбова, против церкви Благовещения. Служил он членом Государственного коннозаводства и любил проводить время у своего старого товарища и сослуживца, полкового командира генерала А. Вяткина. В молодые годы, когда отец мой еще служил в лейб-гвардии Финляндском полку и командовал ротой, вернувшись однажды из отпуска, он привез с собой молодого своего соседа А. А. Вяткина и определил его в свою роту юнкером. С той поры дружба их не прекращалась. Отец вышел из полка, а Вяткин дослужился до генеральского чина и получил в командование лейб-гвардии Финляндский полк. Отец мой познакомился в доме Вяткина со всеми офицерами Финляндского полка и, между прочим, с Павлом Андреевичем Федотовым и сблизился с ним. Каждое воскресенье я ходил к обедне в церковь Благовещения с моим отцом, и он указал мне поблизости от входных дверей с правой стороны надгробную плиту, могилу первого нашего актера Екатерининских времен Волкова. Теперь это место отдается церковью под огороды и вряд ли можно найти эту могилу. Я упоминаю об этом потому, что до сих пор неизвестно, где похоронен наш знаменитый Волков.

Павла Андреевича Федотова все офицеры полка любили и уважали. Я много видел у него эскизов и карикатур на генерала Вяткина: Вяткин на маневрах, Вяткин на смотру, перед полком, и Вяткин во всех видах; кажется, все эти наброски достались его товарищу Пашенному,[33] любил также Федотов офицера Дружинина, о котором он тоже часто говорил как о своем хорошем друге и товарище.[34]

У моего отца по пятницам собирались его друзья и хорошие знакомые. Из них я помню: Сухарева, Устинова, Н. С. Пименова, Фаддея Булгарина, Каратыгина 1-го и Ртищева.

Ртищев служил при дворе и занимал при императрице Екатерине и при Александре I видные придворные посты. Он был богатый тверской помещик. Старик сенатор Сухарев был также в дружеских отношениях с моим отцом. В преклонном возрасте, чуть ли не восьмидесяти лет, он женился на вдове Висленьевой. Булгарин воспитывался вместе с отцом

моим в Первом кадетском корпусе.* Н. Н. Сверчкова ** я часто встречал в доме А. Н. Татищева, друга и товарища моего отца. У графа Татищева было пять дочерей и три сына, он жил на Васильевском острове в своем доме. У них по четвергам бывали танцевальные вечера, и в их доме можно было встретить почти всех офицеров Финляндского полка, и в том числе Федотова.

В конце письма А. Марина есть следующая приписка:

а) Постоянное напряжение мысли и воображения Федотова, беспрерывные занятия, в особенности в вечернюю и ночную пору при свечах, не могли остаться без вредных последствий. Здоровье его пошатнулось; к тому же в последнее время он влюбился в одну девушку и хотел жениться.[35]

б) Зрение его слабело; он стал страдать частыми приливами крови к мозгу. Он умер в больнице «Всех скорбящих» и похоронен на Смоленском кладбище, близ могилы Асенковой.***

в) Если у Вас нет стихотворений П. А. Федотова и песен, то я могу со временем прислать их.

Жму вашу руку.

Преданный и готовый к услугам А. Марин.

С. Подгорное. 21 марта 1892 г.

Дорогой и многоуважаемый Лев Михайлович, получив Ваше письмо от 4 марта, я был очень утешен тем, что мог быть чем-нибудь Вам полезным. Покойный мой батюшка очень любил Павла Андреевича Федотова, и он у нас был принят, как родной. В записной книжке моего покойного отца я нашел следующую запись: «Воспоминание о друге моем Павле Андреевиче Федотове».[36]

Павел Андреевич Федотов мне был истинный друг. Мы виделись с ним каждый день. Кроме таланта живописца, он обладал прекрасным голосом и играл на гитаре. Голос у него был приятный тенор. Он сочинял стихи и песни, которые перекладывал на ноты. Любимая его песня, сочиненная им, была «Кукушечка»...

Нот у меня нет, но я помню голос, и если мне удастся переложить на ноты, то я вышлю.**** Вот слова этой песни:

На дубу кукушечка,
На дубу унылая,
Куковала; куку! куку!
Куковала.

---

* В моем собрании есть превосходно набросанные Федотовым фигуры: Булгарина, А. Н. Марина, Сухарева и Ртищева.

** Художник.

*** Известная актриса, весьма талантливая, рано умершая.

**** К сожалению, ноты мне не были высланы.

В терему красавица,
В терему унылая,
Горевала: куку! куку!
Горевала.

Ноет сердце девицы,
Что не любит молодец —
Как бывало... Куку! куку!
Как бывало...

Но долга ль грусть девицы?
Минет грусть-тоска,
И не стало! .. Куку! куку!
И не стало...

И гнездо разрушено,
И птенцы расхищены...
Все пропало! .. Куку! куку!
Все пропало..[37]

У меня было много набросков Федотова карандашом, но во время переездов при кочующей жизни все растерял. Многие рисунки П[авла] А[ндреевича] я раздарил приятелям моим.

Вот все, что я могу сообщить Вам, дорогой, многоуважаемый Лев Михайлович...

Песни Федотова посылаю Вам к светлому празднику вместо красного яичка...

А. Марин

В письме моем к Вам о Павле Андреевиче Федотове я упомянул о могиле Волкова именно по тому случаю, что Федотов и указал ее нам. Он пришел однажды к нам как-то утром до обеда в воскресенье; а так как церковь Благовещения находится в 8 линии, между Средним и Малым проспектами, против того дома, где жил мой отец, то мы втроем пошли к обедне. В это время Федотов и указал отцу моему могилу Волкова. На плите могильной я сам прочел надпись: «Тут похоронен первый придворный актер Волков».

Супруге Вашей и дочке прошу передать мой сердечный привет и пожелание встретить и провести праздники весело и в добром здоровье.

Дон разлился морем верст на десять. Из моих окон видно, как идут льдины. Под горой рощу залило; гуси, лебеди и журавли летят. Жаворонки поют. Это такая прелесть! Имение мое в семи верстах от Воронежа. Праздники думаю встретить и провести в деревне.

Вы меня очень утешите, если вышлете Вашу фотографическую карточку.

В приведенных мною двух письмах Марина, наряду с ценными биографическими сведениями, указано время рождения Федотова, пребывание его в корпусе, в полку, в Академии и пр. Теперь перейду к своим личным воспоминаниям, которые были вызваны следующим случаем.

23 января 1893 года в Москве, в Обществе любителей художеств состоялось собрание художников и членов Общества, чтобы почтить память П[авла] А[ндреевича] Федотова, скончавшегося сорок лет тому назад. Собрание было многолюдное. Быковский прочитал отрывки из биографической статьи Дружинина; две басни Федотова прочел артист Ленский; объяснение к картине «Сватовство майора» — артист Музиль. При этом были выставлены эскизы Федотова, находящиеся у П. М. Третьякова, две картины из картинной галереи К. Т. Солдатенкова и портрет Павла Андреевича. Кроме того, по просьбе некоторых лиц, мною был доставлен рисунок Бейдемана и мой: «Сумасшедший Федотов». Меня просили также передать свои воспоминания о Федотове. Тяжело было тревожить грустные воспоминания, но отказаться было нельзя.

Искренне пожалел я тогда, что многое, написанное мною сорок лет тому назад по поводу знакомства, сумасшествия и смерти Федотова, исчезло. Все, что я мог сказать, уже было не то; сорок лет потушили юный жар, холодная рука времени прошла по душе. Но не все умерло во мне; сохранились остатки воспоминаний; и я обязан поделиться ими, удовлетворить желание людей, интересующихся Павлом Андреевичем Федотовым. Быть может, осколки моих чувств и воспоминаний будут не лишними к тому труду, который, без сомнения, явится; и будет написана кем-либо полная биография талантливого художника и издана с рисунками.

Когда я в первый раз посетил Федотова, он жил на Васильевском острове, в деревянном доме на Среднем проспекте, в одной из отдаленных линий. Я его застал за работой. В комнате были гипсы: в натуральную величину Венера; головы, маски, руки и ручки, ноги и ножки; тут же стояла проволочная голова, пущенная в ход Сапожниковым.* На потолке висела люстра, взятая Федотовым на время из трактира для его картины «Сватовство майора». Работал П[авел] А[ндреевич] чрезвычайно старательно, прекрасно рисовал и

* Сапожников — инспектор художественных занятий в учебных заведениях; составил и издал курс рисования.

старательно изучал антики. При поступлении своем в Академию художеств он был учеником профессора батальной живописи Зауервейда, у которого с любовью и вниманием занимался анатомией, но вскоре он оставил Зауервейда и пошел твердо своей собственной дорогой.

Федотов охотно посещал своих друзей и знакомых, любил играть на гитаре и пел сложенные им самим песни и романсы, рисовал на листках бумаги сценки и делал под ними надписи. Между этими рисунками было много прелестных и остроумных набросков. Когда П[авел] А[ндреевич] переехал в 21 линию Васильевского острова, то я часто посещал его, пользуясь его советами и замечаниями.* В 1848 году открылась Академическая выставка.[38] Пешеходы, извозчики, щегольские экипажи стремились к парадному подъезду. При входе в залу выставки я встретил Федотова.

— А вы не видели еще моей картины «Сватовство майора»? — спросил он.

— Нет!

— Пойдемте, что народу собирается около нее! Не пройдете; я вас проведу.

И Федотов взял меня под руку и повел к своей картине; но добраться к ней было не легко. П[авел] А[ндреевич] громким голосом обратился к публике и сказал:

— Господа, позвольте пройти автору!

Публика расступилась, он подошел со мною к картине и, обращаясь к зрителям, начал, улыбаясь, объяснять ее, выкрикивая слова, как раешник:**

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим,
Даром осмотри,
Только хорошенько очи протри! . .
Начинается, починается,
О том, как люди на свете живут,
Как чужой хлеб жуют,
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся. . . и т. д.

---

* В моем собрании хранится несколько рисунков П[авла] А[ндреевича] этой поры.

** Раешники у балаганов, показывая народу картины через стекла, вделанные в маленькие домики, остроумно приговаривали объяснения картин. К сожалению, раешники, благодаря усердию полиции, исчезли.

Публика была довольна, слушала и заливалась от хохота; но многие ли поняли сущность картины, ее глубокое содержание? Конечно нет! И до настоящего времени большинство не понимает; да за это и винить публику нельзя; потому что картина выхвачена из жизни, сама жизнь!.. а многие ли понимают жизнь или вглядывались в нее, стараясь ее понять? Картина сама по себе вызывает на размышление, но, чтобы понять ее вполне, нужны пояснения, в виде стихов и прибауток, которые, сообщая все подробности, знакомили бы зрителя с внутренней жизнью каждого из действующих в картине лиц. Картина эта без стихов и стихи без картины не полны; то и другое, вместе взятое, составляют одно нераздельное целое. Прочтя со вниманием стихи и вглядевшись в картину, иной зритель, с головой и сердцем, не ограничится одним смехом; и за смехом увидит слезы автора. В этом-то, главным образом, и заключается достоинство произведения. Картина Федотова представляет типы своего времени, почву, на которой возможно было проявление этих типов. Картина и стихотворение «Майор» — анализ того времени и тогдашних пошлых типов.

Из басен Федотова я остановлюсь особенно на двух: «Пчела и цветок» и «Тень и солнце».

Сколько горькой насмешки над солнцем, не способным даже понять стона людей, взывающих к нему из мрака и тени. Оно даже слово «тень» как бессмысленное велело вычеркнуть из словаря. Как недоступно богатому человеку понять нужду бедняка!

Две эти басни полны глубокого смысла, так как в них изображена автобиография автора. Умно они задуманы и сильно прочувствованы. Личность автора и печальное время всецело отразилось в них.

Мне любопытно было, сидя около читавшего басни г. Ленского, следить за ним, и я видел, как Ленский, читая некоторые стихи, ощущал дрожь, и слезы выступали у него на глазах. Почему это?.. Потому что талантливый Ленский чувствовал в баснях Федотова что-то себе родственное.

Помню я, как сорок лет тому назад покойный Павел Андреевич читал в нашем семействе, в присутствии стариков, молодежи и меня, еще юноши, читал (конечно, наизусть) свои басни, так близко его самого касающиеся, а в басне «Пчела и цветок» не цветок, а он, П[авел] А[ндреевич] Федотов, был ясно изображен, и что же?.. нервы ему не изменяли, так он умел владеть ими! Не могу сказать этого о себе, и теперь,

спустя сорок лет, я не в состоянии прочитать эту басню при посторонних людях; и даже, когда я читаю ее один у себя в комнате, то горькие слезы прерывают чтение и спазмы схватывают горло...

Да, тяжелое было время! не было света, не было тепла. Тяжелый гнет обложил свинцовым покровом все молодое, свободное и кипучее, унес в могилу не одного Федотова, но и многих его современников, разбил, уничтожил их жизнь. Одни стрелялись, другие изнывали в глуши, в ссылке, в тюрьмах, бежали за границу, спивались, сходили с ума...

Здоров и крепок, атлетического сложения был Павел Андреевич; боролся он храбро с жизнью; но и этого героя надломила жизнь и сломила в цвете лет! Не любовь и подобный вздор свели его в могилу, а борьба с нуждой, постоянное напряжение и сознание полной невозможности выйти из этой борьбы.

Но вернемся к басне «Пчела и цветок», заключающей исповедь Федотова, в которой он говорит о своем душевном состоянии и под видом «цветка» жалуется «пчеле», что утерял свой рост, цвет и аромат, потому что стена, север и тень заслоняют ему солнце. Когда же пчела, приписав все лени, на хилого цветка посыпала, как из мешка, укоры и пени, то цветок отвечает:

Окно на север здесь, любезная! взгляни!
Насупротив стена! .. и я всю жизнь в тени,
В тени! меж тем порой изящества начало
В душе про сладкое, про что-то мне шептало,
И вместе с тем, увы! Тогда ж казалось мне,
Что что-то здесь, в моем окне,
Тот сладкий шепот заглушало!
Но я тогда еще был мал,
Неясно это понимал,
И рос, как все!.. Когда ж с явленьем почек
Все прокричали: вот цветочек!..

Тогда широкая молва
Души неясные слова
Собой мне пояснила.
Я понял, чем меня природа одарила,
Какой блестящий мне дала удел!
За ним, достичь его, желаньем полетел;
Душа лишь средств к развитию искала,
Но в них, увы! судьба мне вовсе отказала.

Я жажду солнца, но оно
В мое не жалует окно!..

Желанья жаркие «желаньями» остались,
От безнадежности, лучи их к центру сжались,
И спертый жар во мне, как яд, теперь палит
И весь состав мой пепелит!..[39]

Смысл басни «Цветок и пчела» очевиден; и невольно удивляешься, как мог Федотов, который так глубоко чувствовал свое безвыходное положение, читать эту басню таким ровным, спокойным голосом. Многим из нас, его слушателей, тогда и в голову не приходило, что басня эта есть быль, стон, слезы самого Федотова, стоящего уже накануне гибели.

Но были среди его слушателей и такие, которых пронимало морозом до мозга костей от каждого слова его басни «Пчела и цветок» и которые едва сдерживали свой вопль отчаяния.

В начале пятидесятых годов Федотов ради денег задумал картину «Посещение императором Николаем Павловичем Патриотического института». Для этого он подготовлял материал, часто бывал в институте, наблюдая детей, классных дам, начальство, эконома. Умел и в этом сюжете отыскать прелесть в разнообразии детского возраста. Он старательно сделал из картона зал института и расставил в нем, для масштаба, фигурки.[40]

Весною 1853 года[41] о Федотове между близкими его знакомыми стали ходить слухи, что он не совсем нормален. Затем мне сообщили, что Федотов пропал из города, забрав деньги, которые заработал, что он сорит деньгами, покупая всякий вздор, и щедро раздавал их направо и налево.

Я отправился разузнать что-либо о Федотове на его квартиру. Меня встретил Коршунов * и рассказал, что и он начал замечать в Павле Андреевиче что-то нехорошее. Однажды вечером, окончив свои занятия, Павел Андреевич, одетый кое-как, вышел из дому. Коршунов отправился за ним. Федотов жил тогда в 21 линии, близ Большого проспекта. Федотов пошел по направлению к Смоленскому полю; затем, выйдя на поле недалеко, сел на гранитный камень. В то время поле было завалено массой этих камней, заготовленных

---

* Его денщик, отставной солдат Финляндского полка, сослуживец Федотова.

для облицовки берега Большой Невы у Васильевского острова. Был вечер, солнце садилось. Картина знакомая. Сколько раз бывал я здесь с Федотовым, Бейдеманом и один: вдали виднелось Смоленское кладбище в виде леса, за кладбищем был известный нам курганчик над телами казненных декабристов.* Налево, к взморью — галерная гавань — городок бедняков; блестело взморье. А за спиною был город, от которого доносился гул экипажей. Федотов, по словам Коршунова, сидел долго на поле, схватил голову руками, и вдруг зарыдал.

Вот когда оборвались натянутые струны... Коршунов увел его на квартиру; Федотов плакал дорогой и навзрыд плакал на квартире, катаясь по полу.

Коршунов приложил ему на голову мокрое холодное полотенце; плач начал стихать. Но тут Павел Андреевич поспешно оделся и ушел, приказав Коршунову оставаться дома. После этого он не возвращался; и где теперь находится Павел Андреевич — Коршунов не знал и терялся в догадках.

Дня через два я зашел, по своему обыкновению, к другу моему Бейдеману. Здесь я узнал, что Федотов заходил к Бейдеману и, не застав его дома, оставил ему записку, которую мне дали прочитать. Она была написана на клочке бумаги карандашом, весьма четким и твердым почерком.** Буквально передать содержание записки не могу; но в ней заключалось весьма восторженное поучение служить искусству. Мать Бейдемана сообщила мне, что П[авел] А[ндреевич] показался ей очень странным и что к ним заходил Коршунов, который всюду ищет своего барина. Я высказал, что, по моему мнению, необходимо заявить о Федотове в Академию, чтобы начальство приняло участие в его положении и позаботилось о нем. Я лично ничего не мог сделать для него, так как наступил срок моего отъезда в Малороссию.

Сильно беспокоила меня судьба Федотова, и я часто вспоминал о нем в деревне. По возвращении своем в Петербург я узнал, что после долгих поисков Федотова нашли в Царском Селе, где он бродил по разным местам города, делал без толку покупки и разбрасывал деньги.

---

* На острове Голодае. На этом острове закапывалась павшая скотина. Теперь нет и признаков этого возвышения.

** Записка эта находится в моем собрании у Терещенко, между рисунками Федотова.

Между прочим, он заказал себе гроб и примерял его, ложась в него. Наконец, он был взят и отдан в частную больницу доктора Штейна.[12]

Я отправился к конференц-секретарю Академии Григоровичу, принимавшему всегда в Федотове сердечное участие, и узнал, что деньги в больницу платит за него наследник.* [43] Но Григорович не мог сказать мне, в каком положении больной, то есть в тихом ли помешательстве или в буйном состоянии, так как, кроме денщика Коршунова, никто из Академии и знакомых у него не был. К Федотову приезжала сестра его, но свидание это сильно взволновало его, он наговорил ей много всякого вздору и просил ее больше не бывать у него. Затем он сам отслужил по себе панихиду в своей конуре.

Я условился с Александром Егоровичем Бейдеманом (или Сашей, как мы все, близкие товарищи, называли его) навестить Федотова после вечерних академических классов.

Выйдя из классов раньше обыкновенного, мы взяли извозчика и в темную осеннюю погоду отправились в больницу. Дорогой мы купили, в виде гостинца бедному Павлу Андреевичу, три десятка яблок, которые он в то время любил.

Под мелким дождем, при тусклом и редком освещении фонарей, разговаривая о Федотове, подъехали мы к больнице, из ворот которой выезжала похоронная процессия. Прижавшись к стене, чтобы дать пройти процессии, я спросил у стоявших подле нас служащих: кого хоронят? и получил от одного из них ответ, что хоронят Н. Н., приятеля Федотова. К этому мой собеседник добавил, что Федотов тоже плох, что смерть и расследование о смерти товарища его должно доказать ужасное положение несчастных, находящихся в этой больнице.

Факельщики с огнем и дроги с гробом удалились за ворота; ворота закрылись, мы увидели денщика Коршунова, которому мы дали знать о нашем прибытии и который ждал нас. Мы пошли за ним следом по темному и грязному дворику. Вдруг, чуть не из-под ног, в полном мраке раздался страшный крик. Звук голоса несколько напоминал звук голоса Федотова, но был какой-то потрясающий, страшный. Мы остановились и спросили Коршунова: что это такое?!.

— Это Павел Андреевич! Да, так-то все кричит, сердится, что замучили его приятеля.

---

* Александр II в это время был еще наследником.

— Но где же он?

— Тут, тут, подле! вот сейчас в сенях, под лестницей... Подождите, принесу огонь и ключ.

Мы стояли в темных сенях, без огня, у раскрытой на двор двери; капли осеннего мелкого дождя стекали над дверями сеней. В ушах наших раздавался все тот же дикий страшный крик. Коршунов ушел по лестнице вверх, скоро опять появился и стал спускаться по едва освещенной лестнице, делая нам знаки, чтобы мы не шевелились. Он держал в руках подсвечник с незажженной свечой и спички. Подойдя к нам, он шепнул:

— Подождите немного здесь, я попробую войти к нему и, когда позову, идите за мной — взгляните на бедного Павла Андреевича. Таков ли он был прежде, мой голубчик!..

Замок в дверях щелкнул. Коршунов заглянул вперед и сделал нам знак войти. Мы вошли в чулан под лестницу: тут в углу сверкнули два глаза, как у кота, и мы увидели темный клубок, издававший несмолкаемый, раздирающий крик и громко, быстро сыпавшуюся площадную брань.

— Ничего, идите, не бойтесь, стойте тут, он теперь ничего не помнит! — заявил нам Коршунов; зажег свечу и вошел. Круг света едва обозначился, и из темного угла, как резиновый мяч, мигом очутилась перед нами человеческая фигура с пеною у рта, в больничном халате со связанными и одетыми в кожаные мешки руками, затянутыми ремнями, и притянутыми к спине плечами. Ноги были босы, тесемки нижнего белья волочились по полу, бритая голова, страшные глаза и безумный свирепый взгляд. Узнать Федотова было нельзя. Это был человек не человек, зверь не зверь, а хуже зверя!

Не дай бог дойти до этого! безотраднее, ужаснее и унизительнее для человека — нет ничего! Это образ и подобие божие, обратившееся в зверя! Что может быть ужаснее!.. Был я тогда молод, силен, не знал устали физической; был одушевлен стремлением идти к той же цели, к которой шел Федотов. Еще никакие душевные потрясения меня не коснулись: не понимал я и не знал, что такое нервы; думал, что все это вздор, и вдруг!.. в момент посещения бедного Федотова, которого я уважал, считал несокрушимым и который был для меня примером, я почувствовал, как все потрясено в моем организме. Неприятная дрожь пробежала по телу. «А!.. это должно быть нервы!..» подумал я и с тех пор поверил, что они есть, и их чувствую...

Крик Федотова стал стихать; но он еще продолжал урчать, как хищный зверь, пересыпая брань урчанием. Пена перестала идти изо рта, он близко подошел ко мне и стал всматриваться; лицо его мало-помалу приняло человеческий образ, сделалось осмысленным и похожим на прежнего Федотова. Он начал логично говорить, жаловаться на положение заключенных больных. В голосе слышалось негодование. Я невольно вспомнил фокусников, которые держат в руках шарик, трут его ладонями, и шарик исчезает; вы видите пустые ладони; и вдруг опять является шарик. Так исчезло перед нами лицо несчастного, разъяренного, бешеного существа и появился Федотов. Конечно, он был не тот, каким был в здоровом состоянии; но мы его узнали; дорогие черты воскресли. У нас явилась надежда, что он не потерян для искусства и своих друзей. Но мне все-таки не верилось, чтобы он действительно сознавал, с кем говорит.

— Узнаете ли вы меня, Павел Андреевич,— спросил я,— мы так давно с вами не видались?

— Как же, милый мой, тебя-то не узнать!

— Спросите, спросите его, кто вы,— шепчет мне Коршунов,— может, и узнает.

— Кто же я и кто это со мной?

— Это милый мой Саша,* а ты — Иоанн Богослов...** Ах, голубчики вы мои, как хорошо вы сделали, что меня навестили!..

Я вынул носовой платок свой, утер ему рот и лицо, еще покрытое пеной, и горячо, один за другим, мы оба с ним расцеловались. Коршунов прослезился. Федотов опять начал жаловаться на дурное с ним обращение,*** просил меня обо всем сказать отцу моему, чтобы он похлопотал о переводе его из больницы.

— Павел Андреевич, они вам гостинца привезли, яблочки,— сказал Коршунов.

Бейдеман начал подносить ко рту Федотова одно яблоко за другим, и он с жадностью ел их и съел два десятка. Как шарик в руках фокусника, начал опять исчезать Федотов. Здравые суждения мешались с поэтической фантазией; он бредил вроде, например, того, что река Нил и его дельта

---

* Так звал А. Е. Бейдемана Федотов.

** Федотов в шутку звал меня так по моим русым волосам.

*** Его били в пять кнутов пять человек, чтобы усмирить. Такая была варварская метода лечения в те трудно забываемые времена.

образовались из воды, стекавшей от мокрых лохмотьев шедшего через море нищего. При этом Федотов чертил босой ногой Нил и дельту по мягкому полу, набитому соломой и покрытому толстой клеенкой, попадая пальцем ноги в дырья клеенки. Молодой, потрясенный мозг мой, под впечатлением речи Федотова, старался уловить смысл его слов; сердце мое рвалось к нему, но иллюзия скоро исчезла.

— Подождите, сейчас, сейчас... надо напиться,— торопливо проговорил Федотов. Губы его вытянулись, он подошел к стене, также набитой соломой и обтянутой черной клеенкой, где местами виднелись его чертежи и процарапанное им изображение креста, перед которым он иногда пел заупокойную молитву. Кругом всех стен, на высоте его головы, был протертый след, оставленный им или прежними обитателями чулана. В углу было окошечко с железною решеткою без стекла, без ставни.

Федотов уперся лбом в стену, и его фигура с вытянутыми губами представляла нечто нечеловеческое. Он начал губами втягивать в себя воздух, рычал как зверь и терся лбом кругом стен, быстро двигаясь.

— Ну, опять началось! оставаться опасно! — проговорил Коршунов,— бывает и так, что начинает драться, ремни рвет, удержать не могут! надо скорее уходить...

В эту минуту Федотов подошел к окошечку и начал грызть решетку, громко скрипя зубами. Мы поспешно удалились вместе с Коршуновым; быстро задвинута была запором дверь и заперта; свеча потушена. Мы трое притаились, стоя в темных, сырых сенях, пол которых был на одном уровне с полом дощатого под лестницей чулана и двором. Федотов продолжал рычать и грызть решетку впотьмах. Мы притаились, все стихло.

— Коршунов! Коршунов! где ты?

— Здесь, Павел Андреевич, надо идти, зовут наверх.

— Врешь, где Левушка, где Саша?..

— Они уехали.

— Врешь, вон они! вижу! обманываешь! отвори дверь!

— Я не могу, Павел Андреевич, надо идти.

— Скарёжу! скарёжу!.. сейчас отвори!..

И несчастный опять начал грызть решетку и стучать в дверь, призывая нас. Видеть нас он не мог. Мы стояли за дверью в совершенном мраке, близ выхода.

С болью в сердце, потрясенными нервами и с каким-то странным ощущением в мозгу удалились мы тем же путем.

каким пришли. Ворота за нами заперли, дождь моросил, кругом не видно было ни одной живой души. Извозчичья гитара ждала нас.[44] Не имея силы сказать что-либо друг другу, мы сели и отправились в мрак пустыря, который был близ Таврического сада, за которым находилась больница.

Не долго ехали мы молча; не было возможности сидеть после такого потрясения; не доставало воздуха; организм требовал движения. Мы встали и пошли. Извозчик потащился за нами.

На окраинах города тогда еще не было таких тротуаров, какие существовали в центральных улицах города; их заменяли деревянные настилы, гнувшиеся и плясавшие под ногами; домики были маленькие, ветхие и нередко основание их было ниже мостков; мостки нередко прерывались ступенями у ворот некоторых домов или при входе в мелочные, кое-где попадавшиеся лавочки. Мы начали перебрасываться словами и вдруг, не заметив, что у меня под ногами, я упал, влетев прямо в дверь гробового мастера, и растянулся. Гробы стояли вдоль стен. Я тотчас же поднялся на ноги и продолжал идти, но эта случайность, ничтожная сама по себе и естественная в такой глуши, в потемках и на скользких неровных досках, произвела на меня неприятное впечатление. Мы опять сели на нашего извозчика и отправились в дальний путь — на Васильевский остров, где оба жили тогда: я на 2-й, а Саша на 13 линии. Переехав мост через Большую Неву, мы добрались до Большого проспекта, но дальше ехать было невозможно.

— Встанем, Саша, недалеко, отпустим извозчика, пройдемся,— предложил я.

Мы шли молча по левой стороне улицы. Ночь, пустота, никого не видно; едва светило несколько масляных фонарей с фитилями. Какое-то уныние охватило все мое существо; в ушах раздавался голос сумасшедшего Федотова; я закричал и перебежал на другую сторону улицы. Бейдеман бросился за мной.

— Что с тобой, Лева?

— Ах, как это глупо! Сам не знаю что... Но мне сделалось страшно, и я побежал невольно...

Кончилось тем, что мы, провожая друг друга, ходили молча от 2 линии на 13-ю и обратно, и уже поздно ночью разошлись по домам. Но я не мог спать и до рассвета слышал ужасный крик Федотова, который преследовал меня весь следующий день. Проведя еще одну беспокойную ночь, я отпра-

вился утром, в назначенный час, в больницу Марии Магдалины,* к старшему доктору Канцлеру.

Выслушав мое объяснение, Канцлер прописал капли, велел обливать голову водой и обтирать тело; гулять как можно больше и не думать о Федотове. Последнее было выше моих сил.

Не советую никому видеть близких ему людей в подобном положении. Такое свидание опасно: сумасшествие действует заразительно на впечатлительных людей.

Прошло около недели после моего посещения бедного Федотова. Не только ходить в классы Академии я не мог, но и не был в состоянии чем-либо заняться; постоянно видел перед собой Федотова и слышал его голос.

Наконец капли, холодная вода и прогулки сделали свое дело: я стал покойнее, и ко мне отчасти вернулось душевное равновесие.

Я занимал тогда особую комнату-мастерскую, в которой работал в уединении. Сюда ни родные, ни знакомые не ходили; кто, не желая меня беспокоить, а кто и потому, что не знал даже о существовании этой мастерской. Во дворе, во флигеле, среди полной тишины, когда слышал только биение своего сердца, я находил отдых, мне нравилось работать здесь в уверенности, что никто не потревожит меня. Пользуясь этим, я задумал сделать эскиз нашего свидания с Федотовым. Когда эскиз был набросан, я отправился к другу моему Бейдеману и встретил его на дороге, идущим ко мне с эскизом той же сцены. Мы вернулись ко мне в мастерскую.

Рассмотрев его эскиз и мой, мы решили остановиться на моем плохом, но более интересном наброске и тотчас же приступили к работе. Через несколько часов эскиз был кончен. Мало различались наши композиции, да и не могло быть иначе. У Бейдемана фигуры поставлены известным образом; у меня несколько иначе, а сущность была одна. Фигура Федотова всецело принадлежит Бейдеману, так же как моя фигура и Коршунова. Фигура Бейдемана сделана мной. Эскиз первоначальный Бейдемана находится в собрании Ив[ана] Ник[олаевича] Терещенко, между рисунками Федотова, а мой эскиз находится в том же собрании, между моими рисунками.

Окончив набросок и выразив то, что нас беспокоило, мы почувствовали себя спокойнее; от души как будто отлегло. Не знаю, чем объяснить этот любопытный физиолого-психи-

* Отец мой был попечителем больницы св. Марии Магдалины.

ческий факт. Ни я, ни Бейдеман не решились под рисунком подписать свою фамилию. Рисунок остался у меня в том виде, в котором был сорок лет тому назад.*

Слух о нашем свидании с Федотовым разошелся по Академии, хотя мы никому не рассказывали об этом, кроме самых близких людей. Рисунок наш был показан моему и Бейдемана профессору А. Т. Маркову. Разглядывая рисунок, Марков взялся за лоб, начал его тереть и заявил, что не может спокойно смотреть на него — настолько ужасно впечатление. Ни меня, ни Бейдемана не удовлетворял наш рисунок; он казался нам крайне слабым, едва напоминающим виденное. Его значение и главное достоинство заключалось в точном воспроизведении сцены.

Марков показал этот рисунок графу Ф. П. Толстому и Григоровичу, которые взялись хлопотать о переводе Федотова в казенный дом умалишенных. Двоюродный брат мой и друг граф Алексей Толстой** показал рисунок наследнику Александру Николаевичу (впоследствии император Александр II). Впечатление от рисунка было настолько сильно, что Федотов был безотлагательно переведен в казенный дом душевнобольных на 11-ю версту по Петергофской дороге.[46]

Дни шли. Я и Бейдеман стали несколько спокойнее относиться к несчастному событию, приключившемуся с Федотовым. Мы отправились к нему на 11-ю версту, но нас не пустили, и объяснили это тем, что он в бешенстве кричит и буйствует, носится с мыслями в небесном пространстве с планетами и находится в положении безнадежном.

Наконец, нас пустили к Федотову. Мы навестили его два или три раза; но он уже был совсем не тот, каким изображен нами на рисунке.*** Он весь как будто опух, шея была обвязана платком, лицо пожелтело, голос стал хриплым. Со-

---

* В 1861 году Бейдеман взял у меня этот рисунок, чтобы иметь копию, и дал сделать ее своему ученику Адамову (племяннику Коршунова); затем сам прошел копию и возвратил мне оригинал. После того, не помню в котором году, я увидел на Невском проспекте, около Пассажа, продающиеся фотографии этого рисунка; тогда же появились плохие отпечатки его в разных статьях с неверными объяснениями, где копия выдавалась за оригинал. [45]

** А. Толстой еще не был тогда известен публике, так как еще не печатал стихов, Иоанна Грозного и пр.

*** Портрет Федотова этого времени удачно сделан Бейдеманом на память для «Художественного листка». Оригинальный набросок находится теперь в собрании И. Е. Цветкова, а гравюра на дереве в брошюре А. И. Сомова «Павел Андреевич Федотов» 1878 года.

знание настолько вернулось к нему, что он тотчас узнал нас. При последнем нашем свидании, боязливо оглядываясь по сторонам, он просил меня похлопотать, чтобы его взяли из больницы, потому что здесь его отравляют:

— Посмотрите на меня, какой я стал...

Доктор, карауливший за дверьми, вошел при этих словах:

— Что вы сказали, Павел Андреевич? Мне послышалось, что вы жаловались, будто вас отравляют.

— Да!

— Нет, мы вам даем хину, а не отраву.

— Знаю я хину, это кора хинного дерева; я ее знаю, а вы даете мне совсем другое...

Поговорив еще немного, доктор оставил нас одних.

Доктор рассказывал нам после, что часто Федотов давал больным уроки рисования, рассадив их по местам; а случалось и так, что он говорил им поучения, стоя на столе, а они слушали его, стоя на коленях.

Два листа рисунков, деланных Федотовым в это время и другими сумасшедшими, мне удалось достать и сохранить. Глядеть на них со вниманием тогда я не мог, да и вообще трудно по ним составить понятие о состоянии ума и воображения рисовавших. И теперь, по прошествии сорока лет, я смотрю на эти рисунки с крайне тяжелым чувством. Тут есть и надписи, сделанные рукою Федотова, и его чертежи, но рука ему изменила: рисунок потерял всю стройность и прелесть. Всего замечательнее то, что лица, им нарисованные, как, например, император Николай Павлович, собственный портрет самого Федотова и пр., все настолько похожи, что можно сразу узнать их: но все они имеют вид сумасшедших.* [47]

14 ноября 1853 года [48] А. Е. Бейдеман зашел ко мне сообщить, что Коршуновым еще накануне был послан сторож просить нас приехать, так как Павел Андреевич плох и желает видеть нас. Но сторож пропьянствовал всю ночь и явился только 14-го утром. Сейчас же мы взяли извозчика и отправились на 11-ю версту. Но Федотова в живых не застали, его только что обмыл и одел преданный ему слуга и друг Коршунов.

По рассказам Коршунова, Павел А[ндреевич] перед смертью совсем пришел в сознание, приобщился и, сидя

---

* Рисунки эти находятся в моем собрании у И[вана] Ник[олаевича] Терещенко.

в вольтеровском кресле, поджидал кого-либо из друзей, но не дождался и умер на руках Коршунова и больничного фельдшера. Когда мы вошли, Федотов уже лежал на столе, в отставном мундире лейб-гвардии Финляндского полка. Мы поклонились ему до земли и, простившись с ним, уехали. Из знакомых его, до нас и при нас, никого не было.

Был назначен день похорон; и процессия должна была прибыть на Смоленское кладбище, где его ожидала вырытая могила. Улица, ведущая к кладбищу, была занята лавками со всевозможными памятниками. Я и Бейдеман решили встретить похоронную процессию близ кладбища, завернули в находившуюся тут кондитерскую и расположились у окна. Вслед за нами в кондитерскую вошел какой-то господин и тоже сел; через несколько времени он заговорил с нами. Оказалось, что он тоже прибыл для встречи тела покойного Федотова,— это был известный писатель, редактор «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинин, только что возвратившийся на днях из деревни. Тут состоялось мое знакомство с ним и обмен воспоминаний. Дружинин очень грустил, что лишен был возможности видеть перед смертью своего старого друга и проститься с ним.

После похорон Федотова я близко сошелся с Дружининым, любил у него бывать и гулять с ним по Большому проспекту Васильевского острова. Он показывал мне свою прежнюю квартиру с бельведером и садом против Смоленского поля, в которой у него бывал Федотов с товарищами.

Федотова схоронили скромно. Затем его сослуживцы и друзья поставили ему памятник с бронзовым бюстом, довольно похожим. Там лежит он на кладбище, городе мертвых, где покоятся юноши, старцы, родные, друзья и враги, таланты, счастливые и несчастные — мать природа ждет и нас к себе в урочный час. Отведут там каждому из нас «червивую коморку», как говорил Федотов, из которой мы не встанем.

Федотов был сложен крепко, взгляд его умных глаз был ясный и насмешливый, когда он подшучивал. Между его рисунками часто встречается его собственный портрет, более или менее схожий, но есть один портрет, помещенный в брошюре Сомова,[49] который можно назвать вполне удачным; голова Федотова подперта рукой; в этой позе он выразился весь; когда он бывал один у себя, и задумался. Но Федотов обыкновенный, каким все его знали, не имел такой физиономии. Внимательный наблюдатель мог бы заметить в выраже-

нии его лица, кроме ума и насмешки, грусть, а также юмор, который везде сказался в его произведениях. Это был художник самородный и русский; он метко бичевал недостатки, бичевал больно; и, вызывая смех над пошлостью и пороком, заставлял задумываться и скорбеть. Портрет Федотова, который совершенно схожий, был сделан С. А. Левицким[50] с натуры в пятидесятых годах, и с него же была снята фотография с головы в вершок приятелем моим П. А. Захарьиным и подарена мне. Портрет этот находится теперь у И[вана] Ник[олаевича] Терещенко при моей коллекции федотовских рисунков и набросков (в количестве 469 номеров).

Художник-мученик Федотов, я уверен, дождется биографа и критика, который сделает ему настоящую оценку. Но и мы, которые лично знали Федотова, слышали, видели его работы, должны преклониться перед ним. Мы знаем, какое серьезное значение имеет Федотов в истории отечественного искусства и какая добросовестная лепта вложена им для развития живописи. Он отдал себя всего, отказался от мирского соблазна и принес себя в жертву высокому идеалу, к которому стремился; и жизнь его — высокий пример для нас. Он показал нам, как каждый из нас должен трудиться на избранном им поприще, как исполнять свой долг, не жалея сил и времени. Жизнь его должна служить примером не для одних художников, но и для всех нас, русских. Такие люди, как Федотов, редки везде. Как молчаливо переносил он нищету и поражавшие его удары судьбы. Терпя холод и голод,* вынуждаемый крайностью, он писал копии со своих собственных произведений. Трудно представить себе что-либо безотраднее для художника, как копировать самого себя, в то время, когда душа рвется высказать назревшее в душе, сказать новое слово. Он мог бы создать произведение, которое избавило бы его от нищеты, пошлости, мелочей жизни, которые отравляли его существование. Но он был бессилен против них; никто не протянул ему руку помощи.

Мощная натура Федотова боролась молча — люди не понимали намеков, высказанных в его баснях, не поняли душевного вопля, вылившегося в них: наконец организм не выдержал и разразился горькими, кровавыми слезами на Смоленском поле. Эти слезы были предвестником охватив-

---

* Федотов тратил на еду по 25 копеек в день, вместе со своим денщиком покупая кушанье, по старому знакомству, в Финляндских казармах на солдатской кухне.

шего его безумия. Конец наступил быстро. Только тогда всем стало ясно, что не век же человек может бороться, и кого искусство потеряло в лице Федотова.

Масса рисунков и чертежей была сделана Федотовым в течение жизни; их следует собрать в одно издание, и тогда только можно судить о нем как художнике. Его добросовестное отношение к изучению антик, анатомии человека и лошади, драпировок, натуры, пейзажа, характеров людей — все проявится в таком издании. Наряду с этим наглядно предстанет тогдашнее общество. Вникните в каждую фигуру, изображенную Федотовым, и вы поймете, какое глухое и тяжелое было время. Глядя на его работы, читая со вниманием «Майора» и его басни, полные юмора, вы поймете глубокую горечь, наполнявшую душу автора, негодование и сдерживаемые рыдания.

Рисовал Федотов прекрасно. Каждая черта его рисунка была сознательная, характерная, грациозная, смеющаяся или насмешливая, всегда правдивая. Рука слушалась его мысли и чувства, он понимал вполне красоту и, при своей редкой наблюдательности, умел подметить карикатурные черты. При более благоприятных условиях жизни Федотов скоро достиг бы совершенства и стал бы мировым сатириком-юмористом.

Так закончил я свои воспоминания о Павле Андреевиче Федотове, сообщенные мною в Москве 23 января 1893 года в Обществе любителей художеств. Собрание выслушало меня внимательно и тут же постановило: почтить память Федотова каким-нибудь добрым делом. Сейчас было сделано несколько предложений и даже заявлено о необходимости открыть подписку для постановки Федотову памятника. [. . .]*

Что же... думал я, поставим и мы, русские, памятник Федотову, но не с тем, чтобы похвастать обилием своих гениев и талантов, а с тем, чтобы памятник этот напоминал о виновности нашей и равнодушии к великому художнику, нашей тупости, которая загубила столько лучших и гениальных русских людей.

После этого памятного для меня вечера в Обществе любителей художеств, на котором было выражено столько горячего сочувствия мученику П[авлу] А[ндреевичу] Федотову, прошло десять лет. Наступила пятидесятилетняя годовщина со дня его смерти. Для характеристики и оценки Общества

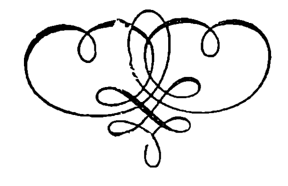
* См. газету «Новое время», 1898, 30 января.

любителей художеств любопытно знать: чем ознаменовало оно этот день? Много ли в течение десяти лет собрало оно денег на так широко задуманный памятник Федотову? Как откликнулись наши другие художественные общества обеих столиц? Как отнеслись русские художники и императорская Академия художеств к памяти умного, даровитого и несчастного академика?..

О подписке на памятник Федотову ничего не слышно. Не знаю, что сделало Московское общество любителей художеств, но мне достоверно известно, что остальные художественные общества, художники и Академия оказались глухи, немы и холодны, как мертвые или спящие в летаргии. Они не отозвались ни единым звуком в пятидесятилетнюю годовщину смерти русского художника первой величины. В этот день лишь только офицеры того полка, в котором когда-то служил Федотов, собрались, помянули товарища и по обычаю отслужили по нем панихиду. Между тем Федотов погиб не от пули, ядра или сабли, он положил душу свою и жизнь на пользу нашу, чтобы проложить новый путь нам, художникам. Честь и слава товарищам его по оружию в полку, помянувшим его! Честь и слава ему, погибшему в борьбе за правду и развитие русского искусства! Позор и стыд неизгладимый нашей Академии художеств!.. Позор всем нашим художникам и любителям! ...Следовало бы и мне почтить Федотова, послать свою лепту на его могилу, написать что-либо о нем и напечатать в котором-либо из столичных журналов или газет; но, живя за тысячу верст в провинции, я не сделал этого. Не исключаю и себя из числа оглашенных, и сердце мое болит за себя и за других...

Лев Жемчужников

14 января 1903 г.




ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



I

1852 год.
Первая моя поездка в Малороссию. Лизогубы.
Приезд в Ковалевку.

Охлаждение к Академии и ее мертвящей атмосфере наступило полное; безвозвратно прошло время, когда я любил всей душой святилище искусств и входил в него с трепетом сердца. Я оставил Академию и прилежно занимался дома. Часто посещал я тогда концерты певческой капеллы, под управлением старика Мауэра, куда доступ был весьма ограничен, а также концерты в университете и оперы. Слушал я и концерты в доме Юсупова, сын которого Николай Борисович любил музыку, иногда сам дирижировал своим домашним оркестром. Вьетан часто бывал у молодого Юсупова и учил его на скрипке; у него же можно было встретить и Антона Рубинштейна, начинавшего пользоваться известностью.

Нет сомнения, что моя поездка в Павловку, увлечение музыкой, разрыв с Академией и знакомство с талантливыми выдающимися людьми оживило меня; хотелось расширить свой кругозор, уехать куда-нибудь, и судьба мне помогла.[1]

У отца моей матери, графа А. К. Разумовского, был брат Лев, которого сын Ипполит Иванович Подчасский приходился двоюродным братом моей матери; они были в дружеских отношениях; и я считал его близким для себя человеком, так как все, что любила моя мать, любил и я. Помню, что я был уже пажом, почти на выпуске, когда увидел в первый раз Ипполита Ивановича, приехавшего к отцу моему по случаю переселения своего в Петербург. Он напомнил мне о матери моей и высказал свою любовь к ней, сохранившуюся в его сердце до сего времени, и, естественно, мое сердце привязалось к нему. Я начал его посещать и горячо полюбил его

сына Льва, в то время мальчика лет десяти. Ходить по праздникам к Подчасскому доставляло мне большое удовольствие, тем более, что была еще другая между нами связь — любовь к искусству, пробудившаяся в то время во мне, а у Ипполита Ивановича было немало прекрасных картин и рисунков, например, К. Брюллова, Штернберга, Щедрина, Орлова и Орловского. Кроме того, он еще иногда приносил для меня альбом от графини М. Г. Разумовской,* наполненный акварелями, рисунками и сепиями. Сам Ипполит Иванович также рисовал и работал акварелью с большой любовью.[2] Я хорошо помню старика, в длинном сером сюртуке, мягкой и теплой материи вроде байки, работающим у окна акварелью, и всегда радовался, что любовь его к искусству не умерла с годами и доставляет ему такое удовольствие и отдых от скучных служебных дел. То же самое скажу я и теперь — счастлив человек, любящий искусство и природу, беседуя с которым забываешь все грустное, все пошлое и скверное.

В 1852 году Левушка был уже юношей, и следовало его удалить от нежного отца, заботившегося о нем, как лучшая мать, день и ночь. Ребенок бесконечно привязался к отцу, отец к сыну до болезненности, и разлука их была необходима на некоторое время. К этому представился удобный случай: И[пполит] И[ванович] получил от графини М. Г. Разумовской имение в Полтавской губернии, село Ковалевку, куда приходилось по делам ехать ему на лето. Левушку можно было оставить в нашем семействе, а для того, чтобы не быть старику в одиночестве, решено было, что И[пполит] И[ванович] возьмет меня с собою. Мать Левушки,** мой отец и я одобрили этот план; так все и устроилось.

И вот летом 1852 года я и И. И. Подчасский выехали из Петербурга в дормезе. На мне лежала обязанность прописывать подорожную, уплачивать прогоны и давать на водку ямщикам.

С каким юношеским удовольствием я отправился в дорогу. Это удовлетворяло мою страсть и жажду к путешествию. Все меня занимало: местность, физиономии, одежда населения каждой деревни и каждой губернии, разговор, песни, склад речи и говор. Все я зачерчивал, все записывал; сердце болело за народ, и я радовался, видя доброго дядю, никогда

---

* Жена покойного графа Льва Кирилловича Разумовского, рожденная княгиня Вяземская.

** Потемкина, рожденная княжна Трубецкая.

не отказывавшего нищим, а за нищих он нередко принимал просто крестьян. Надо заметить, что народ губерний Псковской, Витебской, Могилевской и Минской, через которые мы ехали, был очень беден.

В каком месяце мы выехали из Петербурга, не помню, но знаю хорошо, что Днепр не вошел еще в берега, и переправа через него была в три с половиною версты; знаю это потому, что записал у себя в памятной книжке. Переправа была на пароме, на котором был поставлен наш дормез с лошадьми; рулем служила широкая с выемом старая барочная доска. По реке плыли барки с мачтами; молодецки шла быстро на веслах огромная лодка с тридцатью гребцами; они отправлялись на Киев и Кременчуг за сотни верст. По приезде в Чернигов я был восхищен его видами и как ребенок радовался, видя в первый раз пирамидальные тополя и массы фруктовых деревьев в городе. Троицкий монастырь и иконостас Преображенского собора мне очень понравились. Из архиерейского сада слышен был запах роз и множества других цветов. Я зачерчивал пещеру св. Антония, и этот чертеж послужил мне для эскиза масляными красками «Святые Антоний и Феодосий», который теперь находится у меня в Погорельцах.

Из Чернигова мы отправились в местечко Седнев, находящееся от города в двадцати пяти верстах, к старым друзьям Ипполита Ивановича Лизогубам. Семейство состояло из двух братьев и сестры: Ильи Ивановича, женатого на Елизавете Ивановне, рожденной графине Гудович;* Андрея Ивановича, женатого на Надежде Дмитриевне,** детей их: Ильи — лет семи, Дмитрия — лет пяти и незамужней старой девы, сестры Ильи и Андрея Ивановичей Федосьи Ивановны.

Дорога от Чернигова до Седнева песчаная; по сторонам ее видны курганы или, как их называют, могилы, все это меня пленяло, веяло стариной, чем-то родным и грустным. Подъезжая к Седневу, мы перерезали огромную могилу; за ней виднелось множество маленьких могил, близ нее полуразвалившаяся часовенка с большим крестом около и местечко Седнев.

Проехав переулками, мимо невзрачного дощатого забора, из-за которого виден был сад, мы остановились у крыльца огромного господского дома. Дом Лизогубов был частями каменный, частями деревянный, но просторный; видно было,

* Дочери фельдмаршала графа Гудовича.

** Рожденной Дуниной-Барковской.

что надобности семейные удовлетворялись пристройками и надстройками в разное время; он был наполнен картинами и своими несколькими фасадами смотрел в сад. Сад окаймлялся с одной стороны рекою Сновь и был расположен на горе; за рекою раскинулись луга, кое-где поросшие кустами, и уходили вдаль; за ними с правой стороны виднелась роскошная усадьба соседа Лизогубов князя Кейкуатова, а с левой — лес. Крутые обрывы, частями обнаженные, заросли кустарником и деревьями; по ним пролегали верхняя и нижняя дорожки. Обрывы эти отделяли усадьбу Лизогубов от маленькой и чистенькой, расположенной под горою усадьбы небогатого соседа; за нею по берегу реки виднелись казачьи хаты и блестела освещенная солнцем река, при которой стояли водяные мельницы. С двух других сторон усадьба прилегала к местечку, с базарной площадью, которое тянулось далеко под горою, красиво огибая извилистую реку Сновь.

Сад был большой; отлогие дорожки его искусно были расположены зигзагами, спускаясь по горе до самого берега реки. Внизу сада, искусством Ильи Ивановича Лизогуба, была устроена, в каменном здании в горе, самодействующая машина, которая, тяжело дыша, снабжала сад, дом и службы прозрачной ключевой водою. Несколько фонтанов освежали сад, из которых один (что против дома в горе) бил выше петергофского «Самсона» на три вершка и составлял гордость Ильи Ивановича. Роскошные деревья густыми непроницаемыми массами спускались вдоль горы к реке. От дома садом шла дорожка через высокий вал времен Батыя, заросший густо барвинком и большими старыми шелковичными деревьями, приносящими прекрасные черные и белые ягоды. Дорожка эта вела к небольшому деревянному домику, в котором жил летом А. И. Лизогуб со своим семейством, как на даче, и стена которого была покрыта настоящим виноградом. За этим домиком стояла полуразрушенная каменица* времен Хмельницкого; одну из стен ее покрывал виноград; фасадом своим каменица смотрела на реку, а за нею стояла значительных размеров церковь времен казачества; близ нее старенькая деревянная звонница;** около нее несколько крестов над покойниками, из которых один каменный был особенно интересен своей формой. Под церковью были схоро-

---

* Каменный дом.

** Колокольня.

нены предки Лизогубов, и из них один на несколько минут предстал в одежде того времени пред глазами своих потомков, теперешних казаков-гречкосеев, когда понадобилось поднять церковные плиты для ремонта. *

Говоря о седневском саде, нельзя не упомянуть о красавице липе. Старик Илья Иванович, страстный любитель сада, не мог удержаться, чтобы не приобрести от соседа казака грунт ** ради роскошной на нем липы, уплатив казаку за его землю, за снос построек и выстроив ему все на другом, более просторном месте. Ствол этой липы имеет двенадцать аршин в окружности на высоте груди; диаметр распростертых в стороны ветвей имел двадцать три аршина; окружность, покрывавшаяся ветвями, то есть черта, обведенная вокруг ветвей, была в семьдесят три аршина. Во время дождя я укрывался под деревом и был сух: так дерево было густо, сильно и не было на нем ни одной сухой ветви. Длинные его ветви, толщиною с большое дерево, покоились на надежных подпорах.

При въезде в дом Лизогубов, с левой стороны дороги стоял домик, обращенный тремя сторонами в сад; роскошные вербы заслоняли его от солнечного зноя. В этом уютном и удобном флигеле жил домашний доктор Л. И. Шраг с женою, дочерью лет пятнадцати и сыном лет шести. Постройка была деревянная, оштукатуренная и белая. К одной стороне домика прилеплена была деревянная, оштукатуренная известью внутри и вымазанная глиной снаружи малярня, или мастерская А. И. Лизогуба, в которой проживал и работал когда-то Тарас Григорьевич Шевченко, но уже в то время страдавший в ссылке далеко, далеко, на азиатской нашей границе, в Орской крепости. Искусство и природа сделали все, чем можно было украсить это прелестное место. Сад был очаровательный, люди очаровательные, и я до сего времени все помню и люблю, как родное. Хорошее воспитание наряду с образованием, человечное отношение к прислуге и народу, любовь к музыке и искусствам проглядывали везде в семье Лизогубов, и впоследствии, подружившись с ними, я все более и более убеждался в их высоких качествах.

Желал я ближе познакомиться с семейной обстановкой Лизогубов и узнал из их рассказов, что они, прожив за границей три года, живут теперь в Седневе безвыездно более тридцати лет. В Дрездене, перед своим отъездом в Россию,

---

* Через несколько минут он превратился в прах.

** Усадьба.

они предложили врачу Шрагу, ассистенту знаменитого немецкого доктора, приехать к ним в имение на три года. Условились. Шраг, прожив три года, остался жить еще и еще, женился на соседке малороссиянке и с тех пор живет тут. Лизогубы подарили ему усадьбу, устроили домик, а он развел при нем аптекарский сад.

Кроме сада, новых здешних типов и прелестных пейзажей, меня увлекли цыгане, стоявшие табором в лесу близ Седнева. Это было не то жалкое посмешище над цыганами, которые хорами распевают на подмостках в Москве и Петербурге, пошло и балаганно одетые, шутовски коверкающиеся с гитарами, пеньем и пляской; и не те цыгане, которые сентиментально, гнуся, мяукают пошлые романсы, приводя в восторг столичных жителей. Нет! Это были цыгане настоящие, народ вольный, не признающий властей, такой религии, какая где требуется, народ полудикий, полураздетый, в рубище, увешанный дорогими монетами и кораллами, которых они не продают. Это было племя без отечества, дорожащее независимостью и чистотой своей крови; их лица дышали энергией; полунагих женщин прикрывали плащи и чалмы, на головах девушек были особые прически с цветами и лентами. Все это — рубища, шатры, живописно разбросанный по лесу табор, песни дикие и характерные, пляски оживленные и страстные, собаки — звери, голые дети, приводили меня в восторг. Я ходил к ним, хотя и боялись за меня добрые старики Лизогубы, посылая тайком дворовых меня оберегать.

Несмотря на удовольствие, какое испытывал мой дядя в Седневе, и желание отдохнуть, мы пробыли там только несколько дней; не скажу, чтобы я об этом жалел, — меня тянуло далее, в глубь Малороссии. Простясь с милым и добрым семейством Лизогубов, мы отправились на Борзну, Батурин, Конотоп, Ромны, Гадяч и Полтаву к цели нашей поездки — в Ковалевку.

Батурин — когда-то гетманская резиденция, а ныне запустелый город. Старый деревянный одноэтажный дом, в котором последние годы своей жизни провел последний гетман,* едва держался. На высоком берегу реки Сейма стоял выстроенный им каменный дворец, по которому лишь однажды прокатили в кресле больного гетмана и в котором после того он никогда не был. Дворец полуразвалился, в нем растут

* Кирилл Григорьевич Разумовский, бывший казак станицы Лемеши, потом гетман, брат мужа императрицы Елизаветы Петровны.

деревья, двор зарос травой и кустами; пасется в нем забредший вол и летают над ним, каркая, вороны. Последний гетман схоронен в церкви; в алтаре стоит его прекрасное узорное железное кресло, а над могилою поставлен памятник из темно-серого гранита и белого мрамора с урной и его барельефным профилем, далеко не казачьим. Памятник обнесен металлической решеткой, и на нем надпись: «Гетман родился в 1728 году, 18 марта, и скончался в Батурине в 1803 году, генваря 9-го».

Давно, давно я не был в Батурине... Что там теперь? Существует ли разрушающийся дворец, памятник, кресло? Быть может, кирпич растащили на фабрики и шинки, памятник повалился, кресло попало в кузню... После своего первого посещения Батурина я приезжал туда не раз и в 1853 году с Лагорио по дороге к Лизогубам; и показывал ему тогда дворцовую развалину. Лагорио воспользовался этим мотивом и написал картину; а сопровождавший нас казак воспользовался этим, продав нам по дорогой цене раков, потомков тех, которых возили когда-то ко двору императрицы Елизаветы Петровны. [...]

Из записной книжки 1852 г.

Мы проехали Конотоп.* По дороге встречаются стада овец черных и белых, которых гонят с хлопаньем бичей пастухи-мальчики, виднеющиеся среди стада; ими руководит большой пастух в белой бараньей шапке, с черным загорелым лицом. В воздухе стоит блеянье, хлопанье, покрикиванье, пыль, и сквозь нее виднеются машущие крылья множества маленьких своеобразных мельниц. Встречаются на головах мужиков нередко самодельные высокие шляпы из соломы, с широкими полями, и вот, наконец, я увидел молодого, красивого, чернявого с черными бровями парня, в белой рубахе с мережками, красной лентой у ворота, с широкими рукавами, в широчайших с полосками шароварах, в черной шапке и... о радость!..с бритой головой, не с чубом, как у всех, а с *чупрыной*,** как у князя Святослава и у запорожцев. Наконец я попал в сердце Малороссии. Это было около Гадяча. И что за вид в Гадяче — восторг!.. [...]

---

* Говорили, что название это дано потому, что грязь его до того была вязка и глубока, что в ней не раз кинь втоп или конь утоп, конь топ.

** Иногда чупрыну шутя называли оселедец, то есть селедкой.

II

1852 год.
Ковалевка. Знакомство с К. Т. Солдатенковым. Возвращение в Петербург.

Ковалевка... Это то самое место, в котором искра, таившаяся в душе моей, разгорелась пламенем любви к Малороссии, к ее народу, песне, истории — все мне стало родным. Душа моя соединилась с Украиной горячей любовью, я страдал и плакал за нее, уходил в степь на могилы, там пел и плакал, слагая стихи, а Шевченки еще не знал, не читал; записывал слова непонятные для меня и заучивал их. Есть же, значит, в Малороссии что-то, что расшевелило мою душу и дало ей пищу, обратило в пожар таившуюся во мне искру. Я не мог надышаться вольным чистым воздухом, не мог наслушаться музыкальной речи; в сердце глубоко проникли звуки песен; и я начал их записывать от дивчат, молодиц и столетнего баштанника, проводя с ними часы; и радостно, и грустно было все, что чувствовал, и не мог насытиться; хотелось слиться с народом.

Дом, куда мы приехали, был деревянный, одноэтажный с мезонином, не новый, без всяких затей, с самой простой обстановкой, но педантически чист. Он стоял одиноко поодаль от скромных служебных построек и был обращен террасой в сад, весьма скромный, сливающийся с городом; в конце его изгибалась речка, распустив свои побеги по лесу, растущему тут же за садом.

Павлин с пышным хвостом навещал нас на террасе, ручная дрохва гуляла по двору; тишина нарушалась лишь пением птиц и отдаленными звуками женской песни.

Дядя постоянно лежал на диване и читал, затворив ставни от жары и мух; я постоянно бродил и рисовал с натуры. Иногда и дядя кое с чего копировал акварелью, которою запасся. Мы жили дружно; никогда у нас не было неудовольствий, но так было для меня, так мне казалось, и я не подозревал, что был бессознательным мучителем дяди. Об этом я узнал, спустя много времени, от своих родных в Москве. Я имел и имею привычку, лежа в постели, читать на ночь; читал иногда долго и в Ковалевке, а дядя постоянно караулил, когда я потушу свечку, и до того времени не ложился спать. Случалось, что он заглянет ко мне в комнату и

спросит: «А ты, Лев, еще не спишь?» — «Нет, как видите, а что, разве что-нибудь нужно?»— «Нет, нет; я только так, хотел посмотреть...» Я не догадывался, в чем дело. Или был, например, такой случай. Поехали мы в Полтаву на ярмарку, и я вечером ушел к евреям на сходбище и домой вернулся очень поздно; дядя в беспокойстве ходил по комнате, но мне ничего не сказал.

В Ковалевке я отправился однажды под вечер в поле; наступила темь, тучи, дождь, гроза, и я, дойдя до могилы версты за две от дома, был радехонек, что один, пел и промок совершенно, и в самом веселом духе возвратился домой около полуночи. Дядя и тут едва решился просить меня скорее переодеться и напиться чаю, чтобы я не занемог. Выходит, что оба мы были чудаки; я не понимал его, а он не решался мне сказать, в чем дело. Милый и бесконечно добрый, бесконечно деликатный дядя, часто я тебя вспоминаю!

Дядя Ипполит Иванович был тихий, добрый и не прозорливый; его обманывали, и когда он замечал это, то не доставало у него духа уличить виновного; для этого он был слишком робок, хотя служил в молодости офицером, окрещен огнем и был ранен двумя пулями в грудь под Бородином — я видел следы этих ран. [...]

Управляющий имением дяди был курляндец Карл Иванович, [...] большой негодяй, в знания и доброту которого дядя верил. Я же, постоянно находясь в сношениях с народом, много знал о нем, но молчал, выжидал случая рассказать все дяде. Немец всегда старался отстранить меня от народа, и не раз дядя, предупрежденный немцем, советовал мне «быть с народом осторожнее, что это не Россия, народ хитрый, бунтливый, пожалуй, убьют». Я не придавал этому никакого значения, зная, откуда ветер, и продолжал крестить детей в деревне, справлять должность боярина на свадьбе и пр. Однажды дядя меня зовет при немце и просит выслушать управляющего, а этот жаловался на бунт, на народ, который не хочет кончать своих уроков и говорит ему дерзости. Немец заявил, что без пана, который слишком добр, и в особенности без моего тут присутствия народ не посмел бы его ослушаться, и потому просил дядю дать ему разрешение наказать бунтовщиков розгами, отправив их к становому, так как дядя не позволял сечь в усадьбе и вообще был против сечения.

Когда немец ушел, дядя обратился ко мне: «Ну вот видишь: нельзя так обращаться с народом, пожалуйста, будь

осторожнее; ведь так, пожалуй, будет бунт... Лучше наказать нескольких ослушников, чем дожидаться худшего».*

— А вы, Ипполит Иванович,— ответил я,— вот что сделайте. Прикажите прислать сюда, к вам, этих ослушников; расспросите их, почему они не исполняют своего урока, а потом и действуйте. Я знаю ваш народ, знаю, что они вас хвалят, ничего дурного и неприятного с вами не будет.

Дядя согласился и просил меня присутствовать при этом объяснении и, если можно, то предварительно мне объясниться с бунтовщиками и после рассказать ему, в чем дело. Немцу приказано, чтобы завтра утром все пять человек непослушных и не кончивших урока были у пана.

Утром я поджидал нетерпеливо, как разыграется эта сцена. Пришли пять женщин, хотя и говорил немец, что бунтовщики не придут, не послушаются. Это были пять бунтовщиков, пять зачинщиков, и из них три женщины были беременны на сносе, а две недавно родившие, с грудными детками. Вот этих-то пятерых хотел негодяй отправить на расправу в стан. Я расспросил, в чем дело, и оказалось, что других ослушников нет, а эти пять женщин не могли на жниве кончить своих уроков по причине весьма очевидной. Бунтовщики дрожали, как в руках у меня когда-то пойманная куропатка. Я пошел к дяде и попросил его посмотреть на бунтовщиков. Увидя их, дядя обомлел, женщины были отпущены; добряк дал им денег, позвал немца, разбранил его за глупость, ложь и ослушание, тем более что дядей было воспрещено посылать в таком виде беременных и кормящих грудью женщин на работы. Меня дядя поцеловал и благодарил.

Очень сожалею, что не могу писать своих записок так, как бы следовало и хотелось, чтобы они были наполнены портретами лиц, о которых пишу, чтобы страницы и поля были испещрены рисунками всего, что подмечалось и собиралось тогда, чтобы к песням прилагались ноты. При этом желательно было бы избегнуть рутины, чтобы не вышло парадно и стройно, а было бы разбросано, как разбрасывалась жизнь,— где пером, где карандашом или акварелью. Теперь уже нет возможности выполнить это, так как время упущено...

---

* С год или два тому назад крестьяне по соседству с Ковалевкой жестоко розгами высекли камергера Базилевского.

Что остается еще сказать из этого периода моей жизни?.. Грустно было мне уезжать, прощаясь с родной для меня Украиной. Несколько слез я пролил, втайне сшил из полотна мешочек порядочной величины, насыпал в него земли и уложил в чемодан, а другой, маленький, также с землею, надел себе на грудь. Меня особенно тронуло то, что простой народ провожал меня со слезами; печальный сел я с дядей в дормез, и мы выехали из усадьбы в обратный путь.

Перед выездом спрашиваю я одну молодицу: а ты в прошедшем году тоже провожала пана?

— Ни, паныченьку, тыльки и побачила, як хата вже утикала.

Действительно, дормез наш был похож на хату; чего там не было — погребец, ледник, часы, аптека, постели, зеркало, ставни и пр. В Полтаве мы пробыли недолго, и тут привелось видеть перед отъездом несчастных арестантов в цепях, под присмотром солдат, с ружьями, работающих мостовую. Хорошо бы сделать картину: вольных цыган и арестантов в цепях. Волю и неволю.

Покончив дела в Полтаве, мы поехали в Диканьку, к приятелю моего дяди князю Л. В. Кочубею. Ночью светила луна, было тепло, ветер шумел в тополях; я гулял по саду и восторженно, громко говорил стихи Пушкина:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут,
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы...

Именно такова была эта чудная ночь.

Около полудня мы простились с хозяевами Диканьки и выехали через рощу, по просеке из усадьбы, на большую дорогу. Здесь еще стояли могучие великаны — дубы; но большая часть крупных деревьев варварски уничтожена; были пни, на которые можно было поставить чумацкий воз.

Не сиделось мне, и я время от времени просил выпустить меня из экипажа. Дядя ехал шагом, а я шел стороною, прощаясь с привольем степи и полей, пел и скорбел по обездоленной Малороссии и былой казачьей вольности, которую помнили деды и которая жила еще в сердцах народа.

Путь шел на Харьков, Курск и Москву. В Харькове я наслаждался малороссийскими песнями, которые исполняли в трактире евреи на скрипках и виолончели.

Остановившись в Москве в доме родного брата моей матери Василия Алексеевича Перовского, на Басманной,* я бродил всюду и осматривал все. В Кремле я зашел в отворенную калитку кремлевской стены и оттуда со сторожем прошел в башню, где видел следы застеночной пытки. Алексей Толстой удивился, как я попал туда, когда ход запрещен и всегда заперт; значит, судьба, в лице сторожа, дала мне возможность видеть этот любопытный остаток старины. Я не могу указать, в какой именно башне я был; а с тех пор мои попытки проникнуть в застенки не удались.

Близ Сокольников, в каком-то увеселительном заведении было гулянье, на которое я и отправился. Мне хотелось там побывать и вернуться домой ночью, в надежде встретиться с оборванцами, нападавшими тогда частенько на прохожих; хотелось попробовать свою силу, но по моей наивности мне не приходило в голову, что нападающий может, не вступая со мною в борьбу, пришибить меня из засады камнем или дубиной. К счастью, ничего со мной не случилось, и я вернулся домой, хотя и во втором часу, но благополучно.

Гуляя в Сокольниках, я встретил художника Потапа Терентьевича Петровского, шедшего ко мне навстречу с личностью мне не знакомою. Петровский расцеловался со мною и отрекомендовал меня своему спутнику, Кузьме Терентьевичу Солдатенкову. Простой, добрый и милый Петровский хорошо рисовал портреты, одарен был приятным голосом и пел с чувством; это был искренний человек и теплой души. Солдатенков угостил нас чаем, и мы разболтались о петербургских художниках и умершем друге моем, старике Егорове. Время прошло в разговорах об искусстве.

Солдатенков, взяв мой петербургский адрес, просил покупать для него у художников работы, которые найду достойными.[3] Программа широкая, и я, не зная его богатства, берег его карман. В доме Солдатенкова была крошечная молельня с массой образов и лампад.** Знакомство мое с ним продолжалось в переписке. Я, пользуясь данным мне полномочием, купил: «Молящуюся девушку крестьянку» — у Капкова, очень хорошо написанную, у которой, по желанию Солдатенкова, Капков переписал пальцы крестящейся руки, сложив

---

* Дом этот построен по выходе Наполеона из Москвы, сложен из сосновых брусьев на войлоке и стоит до сего времени крепко, не облицованный тесом и снаружи не оштукатуренный.[. . .]

** Тогда в Рогожской части, он был раскольник.

их по-старообрядчески. У П. А. Федотова купил я «Вдовушку».[4] Художнику А. А. Агину заказал рисунок «Алкивиад, застигнутый Сократом у распутных женщин», который он никогда не сделал, хотя задуман был эскиз прекрасно. Но так как я взял для Агина деньги вперед у Солдатенкова, то и пришлось мне лично возвратить их из своего, в то время очень тощего кошелька. А. Е. Бейдеману я заказал два рисунка акварелью: «Сцена на кладбище» и «Чиновник в день поминок на могиле», и оба рисунка были им прекрасно набросаны и умно сочинены. Сцены эти были подмечены с натуры, во время моих с ним прогулок на Смоленском кладбище.

За любезное внимание Солдатенкова к художникам и доверие ко мне я подарил ему рисунки своей работы: акварелью «Нищая», сепией «Воин с вином у окна» и сделанный вместе с Бейдеманом рисунок чернилами «Стража средневековая, играющая в кости». Для Солдатенкова я купил, кроме того, несколько рисунков А. Е. Егорова у его сына Евдокима, а также гравюру Рафаэля Моргена с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.

После этого я уехал в Малороссию, за границу, в Пензенскую деревню и много лет с Солдатенковым не виделся, а с 1875 года служил с ним в Московском художественном обществе до бессмысленного его разгрома и ограбления в 1893 году.*

III

1852/53 год.
Петербург. Выезд в Малороссию с Лагорио. Седнев.

Приехав в Петербург, я затосковал по Малороссии; мне казалось, что я навсегда расстался с нею... Что-то теперь делается в Седневе, в Ковалевке? Что творит ненавистный для меня Карл Иванович? Живы ли мои друзья: старик Андрий, Лукия, Марина, Серега, Панько?.. Хотелось вернуться туда, заступиться за обиженных, укротить свирепого курляндца... Но сделать этого я не мог, приходилось подчиняться обстоятельствам и жить в кругу художников, где находил себе созвучие.

---

* Эту историю можно прочесть в дальнейших моих воспоминаниях.[5]

Я сошелся ближе всех с художниками Лагорио и Бейдеманом,* проводил время в работе, чтении и беседах. Видя во мне горячую любовь к Малороссии, Алексей Толстой, полюбивший Малороссию с детства, вполне мне сочувствовал и, желая посвятить меня в красоты ее языка, подарил мне сочинение Шевченко** и роман Ивана Кузьмича*** «Зиновий Богдан Хмельницкий». Шевченко я упивался, читал и перечитывал, читал другим, посвящая их в красоты, сердечность и силу этого замученного гения. Своими рассказами и чтением Шевченки и Кузьмича я приводил в восторг Бейдемана, Лагорио и даже друга моего Беляева. Знакомство мое с П. А. Кулишом закрепило еще более мою духовную связь с Малороссией.[6]

Зима близилась к концу. Бейдеману была задана Академией программа на медаль;[7] Лагорио имел уже все медали, но отправка его за границу замедлилась. Император Николай Павлович задумал совершенно прекратить отправку пейзажистов за границу, а прочим сократить срок с шести на три года. Лагорио пожелал ехать куда-нибудь на лето; мысль эта мне понравилась, и я уговорил его отправиться вместе со мною в Малороссию к Лизогубам, а конференц-секретарь Академии В. И. Григорович снабдил его письмом к богатому меценату, помещику Полтавской губернии Григорию Степановичу Тарновскому.

Подошла весна, с крыш капал тающий снег, чирикали без умолку воробьи; и мы начали собираться в путь. Лагорио, ездивший много на перекладной, и Бейдеман, которому тоже приходилось испытать удобство этой езды, пугали меня предстоящими муками, для облегчения которых, по их словам, следовало будто бы есть впроголодь, стянуть живот и т. п. Добродушный профессор барон Петр Карлович Клодт, великий мастер во всякой работе, устроил мне для более покойного сиденья на телеге деревянный простой и умно придуманный переплет с железными кольцами для укрепления к телеге. Поблагодарив его и простившись с моим отцом и братьями и пожелав Бейдеману благополучно исполнить свою программу, мы отправились в путь.

---

* О Бейдемане я буду говорить подробнее на своем месте.

** Первое издание, составляющее теперь редкость.

*** Я не мог до сего времени узнать, кто такой этот Иван Кузьмич. А. Толстому говорили, что он был лакей; если так, то это замечательный человек.

По прибытии в Москву я остановился у дяди моего И. И. Подчасского, а Лагорио у своих знакомых Кампиони. Дядя жил в то время на Подновинском бульваре вместе со своим сыном Левушкой. В день благовещения, по народному обычаю, мы выпускали с балкона птиц на волю, которых скупали не в малом количестве. Прожив в Москве несколько дней, мы с Лагорио наняли себе место в почтовой карете, и так как меня не оставляло тайное желание пробраться в Ковалевку, то я об этом заявил дяде, чтобы заручиться его позволением, которое он тотчас же дал мне, но по лицу его видно было, что этого ему не хотелось.

Путь наш был на Орел, куда отправлялось два дилижанса, и нас с Лагорио было разместили врозь; однако удалось перемениться местами и сесть вместе в заднем дилижансе, к большому нашему удовольствию. В Орле приходилось ехать через реку Орлик по временному мосту, по случаю разлива реки и починки постоянного моста. Вдруг зашумел и побежал народ. Мы выглянули в окно и велели ямщику остановиться, и он едва успел сдержать лошадей на спуске к берегу; мы выскочили, и страшная картина была перед глазами: передний дилижанс, в который хотели посадить одного из нас, лежал в воде, колесами вверх; лошади, кучер и форейтор были в воде, пассажиры тоже, на мосту торчали обломанные перила. Эта история задержала нас, к счастью, ненадолго. Началось следствие, и споры городского ведомства с почтовым ведомством привлекли к делу и меня с Лагорио, но нас научили сказать, что ничего не знаем, ничего не видели и ничего не слышали, потому что спали. По составлении акта об этом происшествии мы были отпущены; а прочие удержаны для допросов, переспросов и очных ставок около двух недель.

Из Орла мы отправились в Седнев на перекладной, предварительно забинтовав себе животы и поевши впроголодь. Переплет Клодта очень облегчал тряску. Время было прекрасное: показалась трава, зелень на деревьях, засвистели соловьи, запели птицы, и мы частенько выходили из телеги и шли вдоль реки или леса.* В настоящее время и удобнее и скорее сообщение по железным дорогам, везде приготовлены обеды, завтраки, чай и кофе, но я предпочитаю прежнюю езду. По приезде в Седнев я был встречен у Лизогубов, как

* Впоследствии я так привык к езде на перекладной, что не чувствовал усталости, бросил переплет и, сидя, спал, не обращая внимания на тряску, которая иногда была настолько сильна, что куски сахара превращались в шарики, осыпанные пудрой, а чай в порошок.

родной, Лагорио вполне радушно, как мой друг; его все полюбили, да нельзя было не полюбить его в то время, милого, веселого, талантливого, покладливого для жизни. Нам отвели две комнаты в доме, где жил доктор, малярню отдали тоже нам; и мы зажили привольно. Однако, разбирая свои вещи, я убедился, что недостает двух моих эскизов сепией, которые были очень хороши и которыми я очень дорожил,— «Явление ангелов пастухам», а другой эскиз «Рождество Христа» — оба были спрятаны в чемодане Лагорио, и ими любовались у Кампиони.

С утра мы уходили на работы, Лагорио затеял написать этюды «старого пня» и «бурьяна», которые вышли замечательно хороши; я рисовал его сидящего под раскинутым навесом из полотна и пишущим этюд бурьяна. По звонку мы сходились в дом к завтраку и обеду; купались на просторе в реке; вечером брали урок пения у Ильи Ивановича Лизогуба, который был замечательным учителем и обладал безграничным терпением. Мне случалось останавливаться у окна гостиной, по дороге к реке, чтобы видеть, как Илья Иванович учит дочь доктора, с таким же терпением и выдержкою, как нас, и, стоя незамеченный, я любовался идеальным учителем; девочка играла на рояле, а он на виолончели, с терпением поправляя и повторяя одно и то же.

Конечно, красавица липа была написана Лагорио, и мы постоянно ею любовались. Однажды под липой мы нашли столько грибов, что жена доктора поджарила их, и мы, то есть я, Лагорио и все семейство доктора, поели их под липой. В саду были и другие прекрасные экземпляры дерев, как, например, вяз, перекинувший в виде арки свою огромную ветвь через дорожку.

Иногда мы отправлялись для отдыха и рекогносцировки верхами; случалось ходить и на охоту в болото, посещать ярмарки и деревенские праздники. Ездили мы также в имение Андрея Ивановича Лизогуба,* на реке Десне, и там, забрав мужиков-гребцов, делали прогулки на большом дубу ** с парусом. На одном из островов мы нашли громадного размера ветлы, которыми был покрыт остров. Во время одной из таких прогулок мы выучили у гребцов песню, которую они пели стройно хором и которая особенно отличалась своим мотивом от других малороссийских песен тем, что

---

* Брусилово в четырнадцати верстах от Седнева.
** Большая лодка, выдолбленная из цельного дуба.

в мотиве ее сливались звуки малороссийские с великорусскими.* [...]

Однажды приехал к Лизогубам гость, который отправился разыскивать нас в саду, чтобы отрекомендовать себя и познакомиться с нами. Этот господин довольно неопрятного вида показался мне весьма несимпатичным. Несмотря на утро и деревню, он был в поношенном фраке, плохого покроя, в цилиндре на голове, давно отслужившем срок; из-под черных панталон торчала тесемка, и от него несло окурками папирос. Этот гость оказался всем известный малороссийский плодливый писатель с привираньем Афанасьев-Чужбинский.[8] Он сообщил нам, что он друг и приятель Шевченко, Закревских и просил заезжать к его другу, графу Сергею Петровичу де Бальмену, в Линовицу, которая так недалеко от Тарновского и Галагана, к которым мы намереваемся ехать из Седнева. В этот же день Чужбинский обещал отправить письмо де Бальмену, чтобы предупредить его о нашем приезде. Повертевшись часа два или три у Лизогубов, Чужбинский отправился в хваленые им места к Закревским и графу де Бальмену.

Лагорио торопился в Петербург к выставке; но до выезда следовало ему непременно повидаться с Григорием Степановичем Тарновским, чтобы передать письмо В. И. Григоровича и познакомиться с этим меценатом искусств. Поэтому, чтобы избавиться от лишнего багажа, он собрал свои этюды и отправил их в Петербург. Лизогубы советовали нам также заехать к Галаганам (их родственникам), которым они уже написали о нас.**

Наступила пора отправиться в дальнейший путь; сборы наши были не велики. Радостный и веселый сел в экипаж Лагорио в сознании, что он оправдал себя перед Академией. Но что я сделал в эту поездку? Блаженствовал в приюте добрых хозяев, любовался природой, пел, зачерчивал да набрасывал эскизики, собирая мотивы для будущих картин, не думая, что жизнь может все изменить и я останусь с одной надеждой сделать многое. Так иных захватывает старость, и жизнь их, могущая дать что-либо, не дала ничего. Следовало делиться своим, хотя и малым, но своевременно...

---

* Чумаче, чумаче, житье твое ледаче!
Чом не орешь, не пашешь и т. д.

** Жена Ильи Ивановича Лизогуба, рожденная графиня Гудович, была двоюродной сестрой Кат. Вас. Галаган, рожденной Гудович — матери Григория Павловича Галагана.

IV

1853 год.
Приезд мой с Лагорио в Линовицу.[...]
Сокиренцы—Восковицы — Качановка. Отъезд Лагорио.
Моя поездка в Линовицу. Возвращение в Сокиренцы
и выезд в Полтаву.

Лихо на перекладной, тройкой с колокольчиком подкатили мы, то есть я и Лагорио, к панскому каменному дому усадьбы Линовицы. А что если Афанасьев-Чужбинский, этот бродячий малороссийский писатель и франт, не предупредил де Бальмена — мелькнуло у нас в голове. Ничего, войдем, увидим, и, в случае неудачи, поедем дальше. Ямщику мы велели ждать, спрыгнули с телеги, вошли в дорожном запыленном платье и приказали лакею доложить, что приехали Лагорио и Жемчужников.

Тишина, слышны негромкие переговоры в соседней комнате.

П р и к а з а л и войти.

Мы вошли в столовую. Семейство графа де Бальмена, в полном составе, сидело за утренним чаем и кофе; большая легавая собака нас обнюхивала, серебристая кошка сидела на столе, а ручная голубоглазая галка прыгала по столу. Нам кивнули головой, не вставая.

Было ясно, что наши фамилии незнакомы хозяевам; лица несколько удивленные и любопытные смотрели на нас.

— Прошу извинения за наш бесцеремонный приезд,— начал я,— но ямщик не знает дороги в Сокиренцы к Галагану; не можете ли дать совет?

— Вам, чтобы не сбиться, лучше ехать в Прилуки; там дорогу все знают, и ямщик довезет вас безошибочно.

Мы раскланялись, вышли никем не провожаемые, тихонько ругнули франта-поэта Чужбинского, сели в телегу, велели ехать в Прилуки и при выезде из ворот усадьбы, взглянув друг на друга, разразились неудержимым хохотом. Тут уж я начал ругать малороссийского писателя по-малороссийски: «Та щоб тоби не було́ ни дна, ни по́крышки. Та щоб в тебе́ о́чи повы́ла́зили»... [...]

Мы подъезжали к селу Сокиренцы. Проехав часть леса, одну плотину, потом другую, отделявшую пруд от винокурни, мы поднялись на пригорок, повернули направо и въехали

в каменные ворота усадьбы. Прямая и широкая подъездная дорога шла к дому. По обеим ее сторонам, начиная от ворот, стояли каменные флигеля для помещения служащих; за ними виднелись густые деревья, которые массой шли до самой площадки перед домом. Панский дом был большой, с главным корпусом посредине, от которого шли крылья в обе стороны — одноэтажные, оканчивающиеся двухэтажными флигелями; вся постройка была каменная, характера скучных построек времен Александра I.

Встреченные рослым выездным лакеем, мы вошли в просторные сени и, в сопровождении этого гайдука, по каменной лестнице поднялись во второй этаж. В высоких и просторных комнатах нас радушно приняла хозяйка, мать Григория Павловича Галагана, и тут же мы познакомились со всем семейством.

Семейство Галагана постоянно проживало в Сокиренцах и состояло из матери Галагана, вдовы небольшого роста, сухой, сдержанной, умной и властной женщины; сына ее Григория Павловича, высокого, суховатого с редкими белокурыми волосами; его супруги Екатерины Васильевны, рожденной Кочубей; дочери ее Марии Павловны; ее мужа графа Павла Евграфовича Комаровского; их сына Грани, лет двенадцати, и хорошенькой дочки Кати, лет девяти, при которых состояла высокая, строго себя держащая англичанка м-м Сауз, сестра двух англичан, управляющих Лизогубов.* В то время у Григория Павловича еще не было сына, так рано скончавшегося, в память которого родители основали в Киеве коллегию.

Дом содержался в большом порядке, убран был нарядно и официально; картины висели в большой гостиной, а рисунки гуашью, изображающие извержение Везувия в разные моменты,— в биллиардной. В огромной зале стоял большой церковный орган, на котором любил играть церковную музыку граф Павел Евграфович; в этой же зале стоял хороший рояль; на хорах в торжественные дни играл домашний оркестр танцы и серьезную музыку. В библиотеке, кроме книг и документов, хранились предковское оружие, перначи, седло и полковничья сбруя верховой лошади. Из залы через балкон был спуск в сад на каменных арках, с каменными перилами, украшенными вазами с цветами и статуями; спуск был удобен для схода и устроен, как садовые дорожки. Со

* Два брата Стюарда — от другого отца.

стороны сада, перед окнами дома были красиво разбиты цветочные клумбы, за ними большой луг, окруженный с трех сторон прекрасно разбитым английским садом. В саду были прекрасные могучие дубы в изобилии; в одном из них была со времени казачества врезана икона, и потому дуб этот назывался священным. В саду была каменная церковь;* огромный пруд, оранжереи, особый фруктовый сад, готический через лощину мост, готическая башня. Этот большой сад в сорок десятин сливался с парком, занимавшим восемьдесят десятин, с дорогами для прогулок в экипажах, трава постоянно скашивалась для удобства езды, мягкой для лошадей и беспыльной.

Здесь мы познакомились с родственниками Галагана — братьями Николаем и Михаилом Андреевичами Маркевичами. Первый жил от Сокиренцев верст за сорок, а второй в пяти верстах, приглашение которого пришлось принять и навестить его. Расстояние было близкое, дорога, как стол, ровная, кучер трезвый и привычный, и мы вечером, холодком, отправились в село Восковицы. Ехали покойно в теплую, темную и звездную ночь — распевая и вдруг... опрокинулись; я и Лагорио лежали на земле, а хваленую нетичанку ** сдержали на отвесе лошади; кучер только удивлялся, как это могло случиться? однако, к счастью, падение наше кончилось без ушибов; мы подняли нетичанку, сели в нее и скоро приехали в Восковицы, где нас ждали и, где переночевав и осмотрев местность и строящийся еще дом, вернулись к Галагану.

Время шло быстро, и было необходимо, чтобы Лагорио съездил в Качановку к Григорию Степановичу Тарновскому; и мы оба отправились туда в экипаже Галагана — той же легкой и всеми употребляемой нетичанке.

Мне говорили, что Качановка некогда принадлежала графу Румянцеву и что управляющий его (и в наше время это не редкость) купил это имение, состоящее из тысяч десяти душ с тридцатью тысячами десятин превосходной земли и лесами. Теперешний владелец этого имения, Григорий Степанович Тарновский, сын того самого управляющего.

Мы подъезжали к усадьбе вечером, мимо каменной стройной церкви стиля, как и дом, известного графа Растрелли, архитектора времен Елизаветы Петровны. Около церкви

* Впоследствии выстроена была еще церковь с фамильным склепом.
** Экипаж вроде брички, всеми хвалимый.

стройно бежали к нему пирамидальные тополя. Затем дорога поворачивала к дому, и мы, выйдя из экипажа, прошли к террасе дома, где хозяин и прочие члены семьи ужинали. Большой стол был покрыт белой, но далеко не чистой скатертью: на нем стояли два подсвечника с сальными догорающими свечами. Не совсем опрятные лакеи подавали кушанье и убирали со стола.

Григорий Степанович одет был в короткую курточку со множеством пуговиц, на которых висел кисет с табаком и трубочка в бисере и янтарях; на голове была бисерная ермолка.

— Гм... убери это и дай другие.

Принесли стеариновые свечи, а сальные убрали. У хозяина оказалась привычка издавать носовой звук гм...

— Гм, извините, гм, ничего не соображают.

Кроме хозяина, за столом сидели две племянницы его и гусар в отпуску — Смирнов, жених одной из них, за которой Григорий Степанович дал триста душ и хорошее приданое, которое должно было поправить дела разорившегося гусара, не знаю, надолго ли. Лицо невесты нельзя было разглядеть, так как оно было покрыто вуалью, вероятно, от мошкары или комаров, которых мы, однако, не заметили.[9]

Побеседовав с Лагорио об Академии, Брюллове, Михайлове и Григоровиче, хозяин дома стал рассказывать о гостивших у него Глинке, Николае Андреевиче Маркевиче, Штернберге и Шевченко.[10] Устав от дороги и рассказов, мы пожелали всем покойной ночи и отправились в отведенную нам спальню с двумя кроватями под балдахинами. Ночь мы провели плохо, каждый из нас видел покрытые вуалями страшные лица племянниц, которые нас преследовали и ловили; оба в кошмаре и с криком просыпались и несколько раз будили друг друга.

Мы помнили заявление Григория Степановича, что он и все в доме встают рано, и потому, поднявшись тоже рано, с тяжелой головой отправились на вечернюю террасу и застали там уже компанию. Григорий Степанович был в той же оригинальной курточке с кисетом и трубочкой, в шароварах, туфлях, а на голове, вместо ермолки, голубая фуражка с длинным козырьком, как у жокеев, которая франтовски, боком держалась на голове.

Он любезно поздоровался, пригласил к чаю, который разливала одна из племянниц, чрезвычайно любезная, а невеста пришла позже, нарядно одетая в утреннюю блузу и

опять под вуалью,— не знаю, почему, так как солнце не пекло, мух и комаров не было. Когда мы занялись чаем, Григорий Степанович сделал знак, и неожиданно из-за кустов, около нас, грянул оркестр. Мы были озадачены. Оркестр играл из «Жизни за царя» и «Руслана».

— Гм... да, да, гм,— обратился к нам хозяин,— мы приятно проводили время, когда у меня Глинка писал своего Руслана. Знаете, гм... каждый день Глинка писал и был доволен моим оркестром.[11] Если вы любите Бетховена, то мы сейчас сыграем вам Бетховена. Гм...— он подозвал пальцем первую скрипку,— это талант — Глинка его очень ценил; гм... хорошо понимает и любит музыку... гм... вели сыграть Бетховена, ну, знаешь, симфонию Третью, Героическую, с маршем.

Оркестр играл хорошо. Играли еще и еще, но после тяжелого сна с кошмаром музыка действовала утомляющим и неприятным образом.

— Гм... вот это место вставил я...

Он посмотрел на нас, мы на него.

— Гм... да... мы и Бетховена поправляем.

Заметив наше утомление, Григорий Степанович приказал музыкантам уходить и повел нас по саду, потом в верхний этаж дома, где у него было собрание картин,[12] и пояснял их достоинства, что утомило нас еще более. Идя по лестнице теперь, то есть днем, мы были поражены безвкусием и бесцеремонностью обращения с произведением Растрелли. Высокая, просторная и стройная лестница вела в просторную залу в два света (то есть верхними и нижними окнами) — и что же?.. Экономические соображения хозяев эту двухэтажную высоту уничтожили, сделали полы и потолки для жилых комнат, так что комнаты и лестница сделались придавленными; и, вдобавок ко всему этому, лестницу раскрасил крепостной маляр, изобразив фантастические пейзажи с прудами, мельницами и катающимися в лодках панами и панночками.

Мы ждали возможности выбраться из Качановки, чтобы не слышать исправленного Бетховена, не видеть изуродованного Растрелли и быстрых глаз неугомонных племянниц, гусарского мундира жениха, кисета с трубочкой, курточки и голубой жокейской фуражки хозяина, но сделать этого было нельзя и пришлось дожидаться обеда.

Обеденный стол был готов, и мы, как утром, заняли места. Едва мы поднесли ложку с борщом ко рту, как вновь

грянул оркестр из сорока крепостных музыкантов. Опять мы слушали Глинку, Бетховена, Мейербера, Россини и пр. В антракте Григорий Степанович объявил, что теперь будут играть пьесу им сочиненную. Он махнул рукой, оркестр заиграл, и автор начал пояснять нам содержание пьесы: «Гм, это поход Хмельницкого... битва под Желтыми Водами; это гм... слушайте, битва под Корсунем; теперь сражение под Белой Церковью... а это договор Хмельницкого под Зборовом» и т. п. Так разыгрывалась оркестром история Малороссии.

После обеда, во время которого невеста кушала в перчатках и не снимая вуали, подали для рта полосканье; процедура, необходимая в гигиеническом отношении, но весьма некрасивая за столом. Старик Григорий Степанович сказал: «А мы вот как, нам все вымоют и вычистят, сами не работаем»,— вынул свои вставные челюсти, положил их на тарелку и, перегнувшись в левую сторону, передал лакею для чистки, потом, склонясь на правую, принял посуду для полосканья от другого и, громко полоща рот, начал выпускать воду каскадами, а затем вставил почтительно поданные ему зубы. Наконец мы вырвались от этого маэстро, композитора и мецената и возвратились в Сокиренцы. Через несколько дней Григорий Степанович Тарновский отдал нам визит.

Григорий Степанович был оригинал по манерам, по одежде, с музыкальным сумбуром в голове и с таким же понятием о живописи, но при всем этом я нехотя высказываю его смешные стороны, так как он был добр и имел значительные достоинства, хотя бы то, что у него проживали и пользовались гостеприимством такие знаменитости, как Глинка, Шевченко, Штернберг, Николай Андреевич Маркевич.

Однажды в Сокиренцах, когда все мы были в сборе, лакей доложил о приезде графа Сергея Петровича де Бальмена.

Велели принять, и граф вошел сконфуженный, отрекомендовался хозяйке и ее семейству и, извиняясь передо мной и Лагорио в нелюбезном приеме, виной которого был, конечно, не он, а приятель его Чужбинский, приславший только теперь письмо о нас. Де Бальмен просил нас приехать к нему, на что мы дали согласие, но что исполнить пришлось только мне, потому что Лагорио не имел времени на разъезды.

Настал день отъезда Лагорио в Петербург. Тяжело было мне расставаться с ним, так мы привыкли друг к другу, и без него я чувствовал себя одиноким.

Все с участием простились с ним и, стоя у окна в приемной, смотрели на уезжающий экипаж. Стоял тут и я, сдерживая слезы, но они ручьями текли из глаз. Никто не прерывал моего молчания, и, когда экипаж скрылся, свернул налево за воротами, я долго еще стоял в том же положении, пока меня не обняли и не отогрели теплым участием к моему огорчению. С этого дня я стал другом семьи Галаганов, которые старались меня успокоить и развлечь; я искренно привязался к ним.

Я поселился в нижнем этаже дома, где была отведена для меня квартира в две комнаты, с двумя выходами, из которых один был на парадную лестницу, по которой иногда приходили ко мне хозяева, а другой — на малое крыльцо во двор. Эта квартира оставалась всегда за мною; и через это самое крылечко меня часто навещал, а потом приходил чуть не ежедневно, друг мой, кобзарь Остап Вересай.*

Чтобы сдержать обещание, я скоро отправился к де Бальменам; там пробыл несколько дней, был принят чрезвычайно хорошо, сделал акварелью две фигуры и уехал очарованный простотой жизни и сердечным отношением ко мне всего семейства.

Возвратясь в Сокиренцы, я собрался в Полтаву, вместе с Михаилом Андреевичем Маркевичем, который ехал туда по случаю дворянского собрания. Поездка была для меня приятна, и с нею явилась надежда посетить Ковалевку.

V

Посещение Ковалевки в 1853 году.

24 сентября 1853 г.

Я прибыл в Полтаву 14 сентября, в седьмом часу утра; ярмарка была в разгаре; осмотрев ее, я возвратился на квартиру Мих[аила] Андр[еевича] Маркевича,** с которым приехал. За маленькую комнатку с одним окном еврей Коган взял с нас 50 рублей за девять дней; другие тоже пользовались съездом дворян на выборы. Оставив чемодан у

* С которым я познакомил читателей журнала «Основа» в 1861 году.[13]
** Михаил Андреевич Маркевич, с которым я познакомился у Галагана.

Маркевича и уложив немного белья в дорожную суму, я отправился пешком в Ковалевку.*

Множество народа шло и ехало по дороге. На шляху сидели слепые, распевая, и все встречные давали им что-нибудь. [...]

Я отправился в усадьбу и поселился в панском домике, поджидая приезда с ярмарки управляющего и его дочери. Народ приходил ко мне, рассказывал о Карле Ивановиче, и жалобам не было конца. Жаловался садовник на глупое вмешательство Карла Ивановича и сделанное им распоряжение, вследствие чего пропали все посадки фруктовых деревьев и винограда. Лесничий жаловался, что пущенный скот в лес, по распоряжению Карла Ивановича, несмотря на его протесты, уничтожил всю молодую поросль. Писарь рассказывал, что все письма к пану читаются почтмейстером управляющему и вследствие этого Карл Иванович преследует жалующихся, и к судье, которому поручено наблюдение за имением, никто не допускается. Кроме того, по приказанию Карла Ивановича атаман не сообщает сведения о количестве собранных в полях копен и сена; и в отчетах пану пишется то, что продиктует сам Карл Иванович, не допуская проверки. Народ жаловался на то, что их без толку гоняют на работы; что десятский Семен стал хуже прошлогоднего, несмотря на данное ему предостережение,— обижает, бьет, берет взятки; и потому бедные работают на богатых, а у Карла Ивановича есть шпионы, которым он платит за сплетничанье.

Все эти обстоятельства, конечно, вооружили народ, и в нынешнее лето случилась история, которая, к счастью, кончилась благополучно. Дело было так.

По распоряжению Карла Ивановича народ был отправлен в степь на косовицу; и для еды, кроме скудного количества пшена, рабочим ничего не давали в течение семи дней; желающих съездить домой за своей собственной провизией не пускали.

Через неделю Карл Иванович приехал на косовицу совершенно пьяный и начал шуметь, бить палкой Федора Черкеса, который, боясь упасть на косу, просил его не трогать; но Карл Иванович не унимался и начал кричать на всех, грозя всех пересечь после косовицы. Разъяренный наскочил он на Павла Евдокименка, начал бить и его. Народ подошел и взял

---

* Ковалевка, на речке Коломаке, в двенадцати верстах от Полтавы.

его лошадь за повод; тогда Карл Иванович испугался и, уронив табакерку из рук, начал просить пощады, говоря, что он не виноват, извиняясь тем, что он пьян.

— Мы не будем тебя бить,— ответили ему косари,— а просим, чтобы сменил десятского; он мутит народ и обирает его дочиста.— При этом сказали, у кого и что взял десятский.

И что же? Какой результат этого случая? Казалось бы, Карл Иванович мог видеть, что на коне от них и в поле не уедешь, что пока кто придет (да придет ли?) на помощь, ни десятского, ни Карла Ивановича в живых не будет. Но ни страх, ни угрозы глупого и упрямого немца не вразумили; тот же десятский, тот же атаман продолжают служить, и Карл Иванович ведет дело по-прежнему. Я убежден, что народ едва ли до приезда пана будет терпеть десятского, пьяные и глупые распоряжения Карла Ивановича, а также сносить порку и истязания терновником... Так думал я, так поговаривали соседи-казаки. Больно было за народ и совестно было за добрейшего моего дядю, вверившего управление имением злому и глупому курляндцу. Третий год народ молил бога избавить его от жестокостей, но бог высоко, а до пана далеко. Становой был ближе, и наивный народ думал связать Карла Ивановича и доставить его в стан, полагая, что там найдет он себе защиту.

Кроме того, причиною бед народа был и негодяй десятский Семен, который не дозволял матерям от раннего утра и до полудня кормить малюток. Дети расползались по кустам, по траве и кричали. Мужья вступились за жен. В числе женщин была жена Павла Хвеланца, у которого было много детей, из которых младшей девочке было шесть месяцев. Этот Павел натерпелся от десятского вдоволь; давать ему взятки было нечем; и потому жена его постоянно выгонялась на работу не в очередь. Вот этот-то Павло оказался первым, ухватившим за повод лошадь Карла Ивановича, другой был Антон Шанда, а третий Лукьян Волк. Все трое вежливо и толково тут же на поле объяснили управляющему свои жалобы, громада подтвердила их слова и отпустила домой Карла Ивановича, который обещал при всех сменить десятского Семена. Вместо исполнения своего обещания Карл Иванович отравился в стан и просил упомянутых трех мужиков взять под арест, что и было исполнено. Они просидели воскресенье и понедельник; во вторник народ пришел к управляющему, требуя, чтобы их всех наказали, так как они все делали то же, что и эти трое, или чтобы арестованных

выпустили. Разумеется, участь арестованных была не завидна. Испугавшись жестоких последствий, несчастный Павло бежал, покинув жену и детей, за которых так горячо вступился.

Считаю не лишним упомянуть и о других возмутительных случаях самоуправства жестокого курляндца. Отец девочки Одарки, которую я в прошлое лето рисовал, тоже бежал, но был пойман и жестоко высечен. Со времени нашего выезда из Ковалевки бежало уже пять человек. [...]

Мельник был сменен и высечен за то, что просил освободить жену от панщины, так как иначе его собственное хозяйство оставалось без присмотра.

Овчар Петр тоже был сменен, прослужив три года, ничего не получив за свою службу и, не имея своей хаты, он зиму прожил с женой в чужой семье.

На панском дворе была девочка десяти лет (которую также рисовал я в прошлом году); пьяный Карл Иванович за ней погнался верхом в лесу и гнал бедную с полверсты; она кричала, звала отца и мать на помощь, но их не оказалось. Воловщик Семен, услышав крик, несмотря на лихорадку, вступился за перепуганного ребенка, и за это жестоко был сечен.

Возвратясь однажды ночью из города после кутежа, Карл Иванович встретил воловщика Ивана и высек его у ворот скотного двора, потом повел к другим воротам,— сек и там; оттуда потащил свою жертву к сараю и там сек при фонарях терновником. Ивану было уже невмоготу, он начал кричать, что есть силы, и звать народ на помощь. Народ сбежался и отнял Ивана, пьяный Карл Иванович плюнул и, едва держась на ногах, ушел.

Мужик Петро, у которого правая рука не владеет и который состоял помощником садовника, хотел жаловаться становому на Карла Ивановича за то, что он послал его жену, на сносе, на панщину. Несчастная женщина отбыла два дня, третий день просила ее освободить, чего не сделали, и она без всякой помощи в поле родила и умерла, истекая кровью.

Через несколько дней вернулся наконец вечером поджидаемый мною с нетерпением Карл Иванович, настолько пьяный, что с трудом вылез из экипажа. Говоря со мной, он откашливался и отворачивался; но, несмотря на это, от него сильно несло водкой. Ночью он послал за мужиком, хата которого была более чем за полверсты и который был сильно болен; тем не менее его привели и жестоко высекли.

Больной теперь харкает кровью, в чем я лично убедился, навестив его.

Мне показывали в погребе целый воз заготовленного терновника для порки.

Чтобы приостановить ярость Карла Ивановича, я постоянно был на страже; мне сообщалось все, что делается, и я распорядился, чтобы меня разбудили хотя бы ночью, если Карл Иванович начнет буянить или захочет кого-либо сечь. Я убедился, что все распоряжения доброго, но слабого дяди совершенно остаются без внимания; что нахальство, глупость и жестокость немца скоро доведут народ до бунта и убийства, и стыд падет на честного, бесхарактерного добряка дядю. Поэтому я твердо решился избавить от тиранства крестьян, а дядю от разорения и позора. Для этого я отправился в Полтаву к поверенному дяди, судье Попову, и его именем потребовал, чтобы он безотлагательно убрал Карла Ивановича и имение сдал в управление казаку Горбытко, который мною уже определен с разрешения будто бы дяди. Познакомился я с ним (этим казаком Горбытко) через соседних крестьян и казаков. Дядя, получив от меня письмо, был изумлен и огорчен моим самовольным распоряжением, но примирился с этим и даже благодарил, что я избавил его и народ от негодяя. Впоследствии он еще более благодарил меня, так как доход, получаемый им с имения, значительно увеличился под управлением казака Горбытко.

VI

1853 год.
Возвращение в Сокиренцы и поездка в Москву и Петербург. Бейдеман. Лагорио. Данилевский. М. Н. Муравьев.

Посетив Ковалевку, я поехал обратно с М. А. Маркевичем в Восковицы, где, пробыв несколько дней, поспешил в Сокиренцы. Галаган в это время строил в своем хуторе Лебединце дом по старинному малороссийскому образцу, и я отправился с ним осмотреть постройку, где все наружное уже было готово и оставалась только внутренняя отделка. Постройка эта меня очень заинтересовала; мне еще более захотелось познакомиться с народом. Разговорившись с приказчиком, я узнал, что чумаки отправляются в Крым и на Дон 18 апреля; если же погода испортит дороги, то не-

сколько позже, а именно 20—22 апреля. Вторая партия следует позже — 26 апреля, и возвращается к 10 июля; после того чумаки идут вновь, около первых чисел августа, возвращаясь в конце октября. В одиннадцати верстах от Лебединского хутора они чумакуют в селе Свиридовке, а затем, пройдя еще пятьдесят верст, — в с. Бодаквах. Дело было уже совсем налажено, и я должен был явиться к определенному сроку, чтобы тронуться в путь с чумаками, но помешала начавшаяся Крымская война. Грустно было мне расставаться с этим горячим желанием.

Я уже сказал, что у Галагана в Сокиренцах для меня было всегда готовое помещение и что это доброе и милое семейство приютило меня, как родного. Здесь я жил, собирал типы и поздней осенью выехал на перекладной в Петербург, через Москву, где родственники мне сообщили о том ужасе, который я навел на своего дядю Подчасского моими распоряжениями в Ковалевке.

В Петербурге я был обрадован благополучием друзей моих: Бейдеман получил вторую золотую медаль за исполненную им программу Академии «Бегство св. семейства в Египет», а Лагорио получил разрешение на поездку за границу, чему не мало способствовал разговор мой с дядей Львом Алексеевичем Перовским — министром уделов, на которого была возложена обязанность главного начальника Академии.[14] Еще весною я доказывал Л. А. Перовскому несправедливость отмены посылки пейзажистов за границу.* Дружба моя с Лагорио и Бейдеманом была тогда самая близкая и сердечная, кроме того, у нас были приятели художники Хлопонин, Филиппов и П. А. Федотов.[15] Академия считала вредным мое влияние на Бейдемана, так как я вселил в него охлаждение к академической рутине. Что касается меня лично, то я в Академии не нуждался, Лагорио окончил с нею все сношения, а бедный Бейдеман за свое охлаждение к Академии поплатился отказом в отправке его за границу.[16]

Мы виделись ежедневно, беседуя об искусстве, рисуя и читая. Однажды пришел к нам Григорий Данилевский, будущий литератор и редактор правительственной газеты, че-

---

* Говорил я также Л. А. Перовскому о скверном изготовлении штукатурки в Исаакиевском соборе для стенной живописи, на образовавшиеся уже в ней трещины; но, несмотря на это, осторожного министра так успели обмануть, что мне он не поверил, и только время доказало, что я был прав. Всю штукатурку пришлось переделать заново и живопись переписать

ловек весьма несимпатичный для нас и развязный до нахальства. Бейдеман был человек осторожный в сношениях с людьми, хотя горячий и резкий, когда к этому принуждали его обстоятельства. Данилевский пришел вечером и начал читать свою повесть. Я вскоре лег на диван, перед которым за столом сидел Данилевский и читал. Бейдеман и Лагорио, сидя на стульях, что-то чертили, чтобы не заснуть, а я почти спал. Вздремнули скоро Лагорио и Бейдеман, а Данилевский продолжал читать и, окончив какое-то описание картины природы, с закатом солнца и волшебной окраской неба, приостановился, видя, что все трое его слушателей спят. Перед этим описанием природы в повести была изображена печальная сцена прощания с умирающим и ловкие похождения молодого человека. Оказалось, что, слушая эти похождения, Бейдеман задремал и не слышал того, что было дальше, но когда Данилевский остановился и мы невольно очнулись, то Бейдеман, желая показать, что слушал со вниманием, хлопнул кулаком по столу и сказал спросонья: «Экий молодец какой», что совершенно не соответствовало тому, что было читано. Я и Лагорио не могли удержаться от смеха, а Бейдеман сконфузился. Данилевский еще более изменился в лице и, закрыв рукопись, ушел. Мы остались вполне довольные, что прекратилось его скучное чтение.

Данилевский очень надоедал Бейдеману, часто посещая его академическую мастерскую, в которой он работал на заданную программу. Портрет Данилевского, начатый в это время, не двигался, а Данилевский вместо позирования болтал. Бейдеман, рассерженный, наконец, посадил Данилевского, и портрет его был кончен очень удачно; но каково же было удивление и негодование Данилевского, когда, взглянув на портрет, он увидел себя с ослиными ушами. Только этим отвадил его Бейдеман таскаться в мастерскую.

Я был настолько очарован песнями Малороссии, что постоянно их пел дома братьям, отцу, Алексею Толстому, его матери, и пел так увлекательно для себя и слушателей, что нередко вызывал у них слезы...

Из Малороссии я нередко высылал в Петербург свои акварельные рисунки, и Алексей Толстой показывал их разным лицам, в числе которых была великая княгиня Елена Павловна и Михаил Николаевич Муравьев. Когда я приехал в Петербург в 1853 году, то А. Толстой поехал со мной

к Муравьеву, и тот объявил, что президент Географического общества великий князь Константин Николаевич видел рисунки и предлагает мне на выбор: ехать за счет Общества на фрегате (помнится, «Диане») в кругосветное путешествие на три года или отправиться на три года в Сибирь.

Я заявил желание, чтобы мне дали возможность путешествия в течение трех лет по внутренним губерниям и югу России. Немного времени спустя М. Н. Муравьев меня вызвал и объявил мне, что внутри России и по избранным мною южным губерниям Общество отправить меня не желает и что он предоставил решение этого президенту, который назначил меня на фрегат в кругосветное путешествие.

— Но я вам уже сказал, Михаил Николаевич, что это мне нежелательно.

— Что ж делать, великий князь уже подписал бумагу — надо ехать. Вам будут за это ордена и чины.

— Этого мне не надо, и я не поеду.

— Этого нельзя. Что же скажет великий князь?

— Мне совершенно все равно, что он скажет, а вы доложите ему, что не сообщили моего условия.

Я раскланялся с этим медведем и ушел.[17]

Так поездка моя на средства Географического общества не состоялась, о чем я очень жалел, так как рассчитывал извлечь для себя из этого большую пользу и хорошо ознакомиться с типами, песнями и бытом народа.

VII

1853/54 год.
Петербург. Третья поездка моя в Малороссию. Сокиренцы. Встреча с И. С. Аксаковым.

Всю зиму 1853 года я провел в Петербурге и нанял себе особую квартиру в деревянном домике, в саду, где жил только хозяин с женой; ход у меня был особый, и этой квартиры никто не знал, кроме А. Толстого, Бейдемана, Кулиша и Тургенева. Я предался сочинению эскизов и чтению... Сюда нередко приходил А. Толстой, бывало состряпает на принесенной им кастрюле рыбу или бифштекс, мы поужинаем с ним и будущей женой его Софьей Андреевной * и про-

* Миллер, рожденной Бахметьевой.[18]

стимся; он уйдет к себе, а я к отцу, где всегда ночевал. На мою квартиру нередко приходил ко мне П. А. Кулиш — знакомил меня с историей, преданиями и песнями Малороссии; читал сочинения Шевченки. Кулиш находился под присмотром полиции вследствие истории ареста своего с Шевченко, Костомаровым и Белозерским в 1847 году.[19] Время, которое я провел в моей уединенной квартире, вспоминается мною особенно приятно; так было тихо, хорошо на душе; все существо мое было предано искусству. Зашел ко мне тогда раза два Тургенев, чтобы посмотреть на мои работы, а затем привел с собою приятеля своего, охотника Вакселя. Замечания его были метки и представляли интерес. В эту зиму я часто проводил вечера у А. Толстого и Софьи Андреевны, где очень часто бывал Тургенев и читал нам Пушкина, Шекспира и некоторые свои произведения. Тургенев всегда был интересен, и разговор затягивался, без утомления, иногда до полуночи и более. Софья Андреевна, будущая жена А. Толстого, была хорошая музыкантша, играла пьесы Перголеза, Баха, Глюка, Глинки и др. и вносила разнообразие в наши вечера пением.

Когда настала весна, я отправился опять в Малороссию, оставив Бейдемана в Петербурге, занятого работой на первую золотую медаль, и простясь с Лагорио, который уехал за границу.

Я направился прямо в Сокиренцы, рассчитывая там приняться за исполнение задуманной картины на мотив, заимствованный из поэмы обожаемого мною мученика Шевченко «Катерина»: на дороге сидит кобзарь, но, увидя экипаж, он заиграл на бандуре в надежде обратить на себя внимание и что-либо получить на свою бедность; около него его провожатый, обвешанный торбынками.

Написав эту картину, я отправил ее в Петербург, прося брата Николая представить ее конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу для осенней выставки. Григорович встретил брата, выходя из столовой своей квартиры, пощелкивая перышком, которым ковырял в зубах. За эту картину члены Академического Совета полагали дать мне вторую серебряную медаль, но она не была присуждена по случаю протеста ректора живописи, классика В. К. Шебуева, нашедшего недостаток в том, что у бандуриста не было видно ног. После такого суда я просил брата картину не выставлять и отправить ее мне обратно.

Картина эта осталась у Галагана в Сокиренцах, где она висит и до сего дня,[20] как известно мне от теперешней владелицы, вместе с тремя другими моими картинами.

4 июля в 8 часов утра, когда в доме почти все спали и я сидел в своих комнатах, подкатила тройка к парадному подъезду, и приезжий, переговорив с лакеем несколько слов, вошел ко мне. Это был Иван Сергеевич Аксаков.* Мы обрадовались друг другу и расцеловались. У меня он умылся, и мы разговорились по душе о многом: об А. Толстом, его будущей жене и сестре ее мужа,** на которой одно время Аксаков думал жениться и раздумал; о знакомстве — Софьи Андреевны с Тургеневым и пр. Аксаков говорил, как всегда, вполне откровенно; и с сожалением рассказал совершенно мне не известные факты; и мне стало тяжело и за него, и за Толстого.[21] Прожил Иван Сергеевич в Сокиренцах пять суток и уехал на порученную ему работу — исследование ярмарок. Он, как любитель народа и интересующийся им, с интересом слушал пение моего любимца — кобзаря Остапа. Моя картина «Кобзарь с провожатым» понравилась Аксакову так же, как и пение Остапа.***

Я не все сидел в Сокиренцах и, когда представилась возможность, отправился с М. А. Маркевичем в Ромны; он по закупкам, а я посмотреть на город. Местоположение города, его переулки с плетнями и хатками были чрезвычайно живописны, и я радовался, встречая слепых бандуристов и лирников, ведомых хлопчиками. По возвращении в Сокиренцы мне захотелось поселиться в готической башне несколько суток, наслаждаясь фантастической обстановкой и криком совы и филинов по ночам. Но недолго пришлось там жить. Галаганы настояли, чтобы я перешел опять в их дом на свою старую квартиру и был поближе к ним.

Всей компанией мы совершали иногда поездки в село Дехтяры, в двенадцати верстах от нас, принадлежащее дяде Галагана (брату его отца) Петру Григорьевичу, разбитому

---

* Аксаков был командирован Географическим обществом на год в Малороссию для обозрения и описания главнейших украинских ярмарок.

** Екатерина Федоровна Миллер.

*** В 1898 году в Петербурге я получил от гр. К. П. Ламздорф, племянницы Галагана, урожденной гр. Комаровской, для прочтения книгу «И. С. Аксаков в его письмах», которую я прежде не знал и в которой нашел немало сказанного им про Сокиренцы, его приезд туда и свидание со мною.[22]

параличом, сердитому, капризному старику. Жена его была, наоборот, добрая и приятная женщина, и у ней был альбом с рисунками Штернберга и Шевченки. Оркестр в Дехтярах был очень хороший, и им управлял немец. Возвращались назад мы всегда в хорошем расположении духа; и я почти всю дорогу пел малороссийские песни, которые все семейство Галагана любило, и даже почтенная мать Галагана их постоянно напевала.

Близ Сокиренц, верстах около двадцати, есть село Деймоновка, куда я отправился на ярмарку, томясь жаждой видеть типы чумаков, в которых всего более отразился тип старого казачества; и так как я задумал написать картину «Чумаки», то, естественно, искал случая их видеть. Один из чумаков мне особенно понравился, и захотелось мне иметь его шапку, рубаху и шаровары, которые были окрашены временем и многодневными походами на Крым. Я был очень счастлив, когда мне удалось уговорить чумака продать мне свою походную одежду. Немало было смеха, когда на ярмарке чумак разделся, сдал мне шапку, рубаху и шаровары и, облачаясь во все чистое, надел новую шапку, а я ему к рубахе подвязал свежую красную ленту. Еще столько же было смеху надо мною, когда я привез эти трофеи в Сокиренцы. Приказано было истопить жарко баню, чтобы паром выгнать из всего этого паразитов, но ни в каком случае не мыть белья, сохранив для меня в целости его колорит. Этими образцами я пользовался для своей картины, и берег это сокровище не один год.

Зиму Галаганы предполагали провести в Киеве, а я отправился в Седнев.

VIII

1854/55 год.
Седнев. Семейство Лизогубов [...]

[...] Андрей Иванович Лизогуб, чрезвычайно добрый и простой, был хороший музыкант, отлично знал перспективу, любил живопись, писал портреты и пр. Он положил на ноты думу «О вдове и отъезжающем сыне» и пел ее. Мотив, конечно, был взят от бандуристов, но когда со временем эта самая дума была записана для меня нота в ноту от Остапа,

и когда я, выученный Остапом, спел ее Андрею Ивановичу под аккомпанемент его брата, то он сделал в своей думе значительные изменения. Ноты той и другой думы я храню у себя до сего времени.

У Андрея Ивановича было два сына: Илья и Дмитрий. Дмитрий тогда еще был крошка, мне очень нравился, часто меня навещал; и я всегда приготовлял ему какое-нибудь лакомство. Митя, бывало, стоит около меня, долго смотрит, как я рисую. Лизогубы, узнав, что Митя повадился меня посещать и получать гостинцы, сказали ему, что нехорошо просить, и взяли с него слово, что просить он не будет.

Приходит Митя, я рисую. Митя переминается с ноги на ногу и, наконец, говорит: «Лева, а Митя не просит».— «Ах какой милый Митя,— ответил я,— вот за то, что он не просит, я ему дам гостинца».

В 1880 году пришлось мне быть в Петербурге, и я зашел в Академию к Лагорио, который рассказал мне, что однажды к нему вошел в мастерскую какой-то очень бедно одетый человек, которого он принял за одного из приходящих натурщиков, предлагающих услуги, чтобы заработать кусок хлеба. Лагорио вынул 20 копеек, чтобы отпустить посетителя, но он назвал себя,— и что же оказалось?.. Это был мой бедный Митя Лизогуб. Он просил Лагорио оказать ему содействие в продаже принадлежавших ему картин.

Бедный Митя!.. Вот этого-то моего милого Митю и повесили в 1879 году в Одессе; это был не суд праведный и милосердный, а скорый и жестокий,— немилосердное убийство. Его, как передавали мне, уличили лишь в том, что давал деньги нигилистам, а давал он деньги, можно ручаться, с полным убеждением, что служит делу честному.[23]

Он шел на казнь бодро и ободрял товарищей. Мир праху твоему, бедняга, и доброе о тебе воспоминание во мне не изгладится. [...]

Я уже несколько раз упоминал о Шевченко, и нелишним будет рассказать о нем слышанное от Лизогубов. Илья, Андрей Ивановичи, жены их и сестра — все любили музыку, все любили Малороссию, и братья были серьезными знатоками музыки. Шевченко они любили как человека, как патриота и поэта и высоко ценили его пение народных песен. Я, к сожалению, слышал его пение редко, и тогда уже, когда жизнь его разбила и он постарел,— это было в 1860 году. Но и тогда, когда пел искалеченный страдалец, то в каждой

нотке чувствовалась душа певца-художника, настоящего народного певца.

Жизнь в Седневе Шевченко вел не совсем трезвую, но никогда не являлся к Лизогубам даже навеселе. Я, опять повторяю, как сказал и Н. И. Костомаров, никогда не видел его пьяным. Лизогубы предостерегали Шевченко, чтобы он был сдержаннее в беседах с народом и не выделывал таких выходок, какую он сделал однажды в шинке. Шевченко пришел в шинок, уселся за стол с посетителями и разговорился. В разговоре коснулся он станового, исправника, губернатора и царя; народ осуждал распоряжения начальства, взяточничество и неправедный суд. Шевченко был выпивши; он взял шапку овса, вынул зернышко и положил его на стол, говоря: «От се — царь». Затем стал класть другие зерна приговаривая: «От се — цариця, от се — их детки, от се — министры, енаралы». И раскладывал зернышки кругом царя и царицы с детьми; потом взял шапку с овсом и сказал: «А се — громада», и, высыпав овес на выложенные зерна, добавил: «А ну, шукайте, де царь...»

Шевченко имел у Лизогубов, как я уже говорил, мастерскую, стены которой были исписаны его заметками и стихами. Эта мастерская, ее исписанные стены меня гипнотизировали на малороссийский склад, и я вдохновлялся Украиной, ее историей, песнями, Шевченко, которого уже читал и любил горячо.

В ссылке Шевченко вел переписку с Андреем Ивановичем Лизогубом, который вследствие этого имел большие неприятности, подпав под надзор III Отделения; он мог только изредка сноситься с поэтом и помогал ему тайно, когда представлялся случай.[24] Шевченко иногда иллюстрировал свои письма, а иногда присылал свои рисунки; все это я видел, и один рисунок сепией был подарен мне Андреем Ивановичем.* Лизогубы, граф А. Толстой, граф А. И. Гудович просили Вас[илия] Алекс[еевича] Перовского** облегчить участь Шевченко, но он отвечал, что Шевченко неблагодарный, что для него ничего нельзя сделать теперь, и самое лучшее, чтобы о нем пока забыли.[25] Но добрые люди несомненно продолжали думать и заботиться о Шевченко, и к числу таких принадлежали, как мне хорошо известно,

---

* Рисунок этот находился теперь в собрании И. Н. Терещенко, мною ему уступленном.

** В то время генерал-губернатор Оренбургского края.

Алексей Толстой, Лизогубы и тот же В. А. Перовский. По смерти императора Николая Павловича интимно, но много содействовал прощению Шевченко своим влиянием на императора Александра II и его супругу граф Алексей Толстой, о чем никто не знал. Между тем влияние это было сильное и не подлежит сомнению.[26] [...]

Из записной книжки моей

23 декабря 1854 г.

Несмотря на то, что живу у Лизогубов как у Христа за пазухой, мне приходится сожалеть, что я не в Полтавской губернии, не в Золотоношском уезде и не в Еремеевке и, следовательно, не увижу святок в народе, как бы следовало их видеть. Я не в деревне и не в городе, а в местечке, и не в самой Малороссии, а там, где она сливается с Россией и Белоруссией, и вдобавок — в панском доме, а не между народом. [...]

25 декабря

Мы отправились в церковь. Народу было полон храм, и все в нарядных платьях. В этот день рождественские морозы напомнили о себе; поутру было — 10; дорога была зимняя, но река еще не замерзла [...]

26 декабря

Как-то прошел этот праздник в Севастополе? Вот уже более недели едут подводы к Киеву, а оттуда в Севастополь с «зализными яблуками и кавунами»[27] — как говорит Гриц.*

После двенадцатого года казалось, что никогда уже не повторится нашествие галлов и с ними двенадесяти языков, и что же... К несчатию, гроза вновь собралась на Россию с запада; но я, как и прежде, твердо верю, что Россия не погибнет.

В церкви было обычное молебствие об изгнании галлов в 1812 году, и многие, не поняв значения этого молебна, радовались, полагая, что война уже кончилась.

---

* Гриц недолго прожил. Начал ходить к Лизогубам реже; замечали, что здоровье его пошатнулось, а 22 февраля 1855 года он умер. Меня в это время в Седневе не было.

В моей голове возникли фантастические картины, смешанные с реальными, в которых разные народы, одушевленные сатанинскою силою, завидуя росту России, бьются с русским войском и народом, на стороне которых правда и охраняет сила господня. [...]

IX

1855 год.
Зима у М. А. Маркевича. Н. А. Маркевич. Присяга новому императору.

После Нового года я отправился в Полтавскую губернию, в село Восковицы, к Михаилу Андреевичу Маркевичу. Там я работал типы с натуры акварелью и масляными красками, записывал песни, делал эскизы и провел в кругу симпатичного семейства не только остаток зимы, но весну и часть лета. Семейство Маркевича состояло из четырех милых дочерей: старшей Ольги, лет двадцати, образованной и доброй; семнадцатилетней Надежды; Верочки, очень красивой девочки лет девяти, бедовой шалуньи, с которой я часто играл, и младшей Кати, лет шести, миловидной и пухленькой, которая была крестницей друга дома Фед[ора] Вас[ильевича] Чижова. Две старшие были со мной в большой дружбе. Из них Ольга, как мать, заботилась о младших сестрах, учила их и наблюдала за их воспитательницей, скромной швейцаркой.

В феврале месяце было получено известие о болезни, а затем и смерти императора Николая Павловича. 18-го числа собрались крестьяне и казаки на деревенской площади для присяги новому императору; в числе присягающих отправился помещик М. А. Маркевич, его дворня, а с ними и я во избежание неприятностей.

В полушубках, без шапок, мы присягнули «не щадить жизни до конца живота своего». Бывшие на присяге евреи говорили: «Мозе буде и луце, хай буде хоць и гирсе, та инсе». Один из крестьян заявил: «Колиб хранцуз або агличин прийшов, мабуть полегчае».

Так надоело всем однообразное и гнетущее состояние, в котором все находились тридцать лет.

[...] Брат М. А. Маркевича, поэт, музыкант, табаковод, статистик и историк Николай Андреевич, представлял собою

прелестную личность. Жил он у себя в имении Туровке, верстах в шестидесяти от с. Восковицы. Дом у него был оригинальный, каменный, с башней. Жена его Ульяна Александровна, милая, добрая и когда-то весьма красивая женщина. Когда я у них гостил, то устроил между зубцами башни две эоловых арфы, которые меня очень интересовали, но на других наводили уныние своими фантастическими аккордами, особенно ночью, в ветер, когда аккомпанировали совы.

Николай Андреевич был очень талантлив, любил народ и знал его быт; в молодости был знаком с А. С. и В. Л. Пушкиными, Дельвигом, Баратынским, Жуковским, писал сперва стихи, потом историю Малороссии. Библиотека его была полна старинных рукописей, в количестве нескольких тысяч; при этом он прекрасно играл на рояле, был учеником известного Фильда и был коротко знаком с Глинкой, который советовался с ним при сочинении оперы «Руслан и Людмила». Последнее время своей жизни Николай Андреевич занялся статистикой Малороссии и этнографией, издав несколько брошюр по этой части.

Народную музыку Николай Андреевич вполне понимал, ценил и хорошо знал.

Личность его верно обрисована Н. Я. Макаровым в журнале «Основа», книга первая 1861 года. Во второй книге помещена моя заметка о нем же и портрет его.[28] Статьи эти определяют то серьезное значение, которое заслужил Н[иколай] А[ндреевич] своими трудами и талантом. Как человек семьи и общества, он был всегда приятен, мил и забавен.

Он был большой любитель и знаток цветов и растений, знал их названия не только по-русски, но и по-латыни, но так как на всякого мудреца бывает довольно простоты, то и Н[иколай] А[ндреевич] ошибался в определении растений и нередко над ним подшучивали; и Н[иколай] А[ндреевич], видя свой промах, первый смеялся совершенно добродушно над собою.

В Восковицах мы поджидали Николая Андреевича и вздумали над ним посмеяться; дерево, которое росло на видном месте в саду, мы выкрасили и условились, что когда Николай Андреевич будет идти в сад после обеда, то мы должны были пройти мимо этого дерева, остановиться на минуту, не обращая на него внимания, и, разговаривая о постороннем предмете, идти далее. Результат получился вполне удачный.

Во время разговора Николай Андреевич посматривал на коричневое дерево и прервал разговор: «Мишель,— сказал

он брату, — я не видал у тебя этого дерева, что это?» — «Пойдем, Николя, вечно ты занят пустяками, дерево, как дерево».— «Нет, Мишель, постой. . .» — Сделав несколько шагов, он остановился.— «Знаешь ли, Мишель, у тебя удивительный экземпляр, как можно держать его в таком пренебрежении; ведь это. . .» — тут он сказал такое мудреное и сложное латинское слово, что мы все расхохотались. Николай Андреевич догадался, что над ним подшутили, и рассмеялся самым добродушным смехом. Долго мы ему напоминали об этом дереве.

Николай Андреевич часто гостил в Сокиренцах, где ему всегда были рады не только родные, но и знакомые. Бывало, входит с люлькой (трубочкой) во рту, довольный и счастливый, кудри его седые развеваются, сам сияет, как солнце, и все вокруг него оживляется. В торжественные дни, когда все были одеты парадно и мужчины во фраках, то и он являлся во фраке; начнутся танцы, и Николай Андреевич удаляется в угол, но так, чтобы мог любоваться общим весельем. Вынет, бывало, тихонько из бокового кармана своего фрака люльку, улыбаясь скажет мне: «Никто не заметит в этой суете и веселье»,— и потянет люльку, с которой никогда не расставался, как истый казак. Я уже сказал, что он прекрасно играл на рояле и хорошо знал народные песни. Сборник его, состоящий из одних мотивов без слов, подарен мне сыном его Андреем Николаевичем, которому отец влил в душу любовь к музыке и который — прекрасный виолончелист — теперь уже пожилой сенатор, но всею душой любящий музыку и Малороссию. [. . .]

X

1855 год.
Сокиренцы [...]

Хорошо, покойно мне было жить в Восковицах, но еще удобнее в Сокиренцах, куда могли ко мне приходить натурщики и натурщицы, не тревожа хозяев и прислуги — прямо через малое крыльцо. Отведенные мне две комнаты были тоже удобнее; и потому я переселился в Сокиренцы.

В числе лиц, навещавших Галаганов, был маленький, с быстрыми и умными глазами, Фед[ор] Вас[ильевич] Чижов,

бывший профессор математики, потом учитель Галагана, с семейством которого он сделал путешествие в Италию. В Риме Чижов и Галаганы познакомились коротко с художником А. А. Ивановым и Н. В. Гоголем. Иванов сделал на них сильное и хорошее впечатление, как человек верующий, добросовестный и серьезно относящийся к искусству. Неуважение Иванова к К. Брюллову[29] сильно отразилось на Чижове, на нем же отразилось и его уважение к Овербеку, о котором он впоследстви написал брошюру. Чижов был человек умный, весьма веселый и истинный друг дома. Личность его слишком известна, и потому распространяться о нем не буду. В бытность свою в славянских землях он помогал распространению православия и сочувствия России, взят австрийским правительством и отправлен на границу, где, встреченный жандармом, был привезен в III Отделение, а оттуда отправлен на житье в хуторок, под Киевом, и занялся шелководством.[30]

О Гоголе он и Галаган сообщали, что сначала он был остер и интересен, а потом... застенчив, скрывался и замечен в самом несчастном пороке, о котором говорил его товарищ Прокопович и другие лица. Сомневаться в этом едва ли возможно, и этим объясняются его болезненные письма к друзьям, возмутившие Белинского[31] и всех лучших людей того времени.

Обычаи и одежда национальные еще держались в Сокиренцах и его окрестностях. На ярмарках в Срибном, Деймоновке и прочих местах можно было изучать типы чумаков; дивчата в троицын день или так называемую зеленую неделю пускали венки по воде; в Иванов день прыгал народ через огонь и т. д. В костюмах тоже держался народ старины, и замужние бабы носили намитки; девушки и жинки платки. Все теперь исчезает или исчезло; и песни не те, потеряв свой характер; солдатчина их опошлила; фабричные ситцы, дешевые и непрочные, вытеснили красивые плахты, служившие не одному поколению по своей прочности; полотенца являются с набивными, пошлыми узорами, и народ забывает свое искусство и теряет вкус.

Верст пятьдесят от Сокиренцев жил двоюродный брат Галагана Николай Аркадьевич Ригельман. Это был внук историка, написавшего «Летописное повествование о Малой Рос-

сии». Он был богат, хороший музыкант, умный, образованный человек, но без искры таланта. Жил он в селе Липовом, где сохранился старинный липовый дом, с прелестным рундуком, который я рисовал. Сюда приходили бандуристы и лирники; я созывал парней и девушек, их рисовал и заставлял петь, записывая песни; один из парней замечательно хорошо пел; и выбор его песен был вполне хорош, без малейшей примеси московщины и солдатчины. [. . .]

XI

1855 год.
Освящение будинка. [...]

Я ехал из Линовицы, где жил уже несколько времени, к Григорию Павловичу Галагану на освящение будинка, построенного по образцу старинных малороссийских построек. Сельская дорога шла по житам и гречкам; пестрели васильки и мак; на толоке паслись мериносы; из будяка,* который лесом укрывал степь, вылетали голуби. Наконец через массивные ворота я въехал в чистый обширный двор. Сбоку стояла беленькая хатина, смеясь на солнце, а прямо перед глазами был дом с навесами, крылечками, подпорами и присьбой кругом всего дома; высокая соломенная крыша укрывала его, а за ним возносились пирамидальные тополя и рисовались густые купы деревьев. Вербы свесили свои нежные ветви к крыше и окнам. С другой стороны дома был сад с темными аллеями, подходившими к самому поддашью (комната без наружной стены, которая вставляется только зимою); аллеи на полверсты тянулись и пересекали одна другую — то липовая вся в цвету, то из орешника, то кленовая, черемуховая или березовая, то вся из акаций. Плодовые деревья, кусты ягод, гряды земляники раскинулись по всему саду, окаймленному колючим терном. После молебна, обедни и освещения дома (будинка), на которое съехалось много гостей, мы обедали на старый лад, запивая наливками и венгерским из дедовского запаса. Все радостно приветствовали это старосветское, вновь рожденное дитя. Будинок смотрел так уютно, так приветливо; своею физиономиею он

* Репейника.

переносил нас в жизнь, давно прошедшую, и невольно порождал во многих присутствовавших желание сделать у себя такой же дом... Зачем такой же... Григорий Павлович Галаган попытался, и очень удачно, воскресить прошлое; всякою мелочью в доме он хотел напомнить нам жизнь дедов и прадедов; это очень похвально, шаг все-таки сделан, но слепое подражание, всегда нас преследующее, явилось и тут: почему бы не сделать шаг вперед и не идти далее, чем могли наши предки.

Мы все ясно видим бестолковость нынешних построек и их разладицу с жизнью; никто, однако, не хочет изучать настоящих требований и сообразно с этим сделать попытку применения народной архитектуры к устройству наших домов.

Для уяснения народного вкуса в постройке следует собирать и приводить к одному знаменателю все, что только можно заимствовать из народной жизни. Образцом для общих форм дома должна служить хата, в ней есть все данные, во всей их неприкосновенности, а старосветские будинки и каменицы должны рассматриваться с оглядкой, потому что и туда внесена порча. Для архитектурных украшений следует изучать резьбу: на карнизах, окнах, дверях, сволоках, млинах и ветряках, воротах, каморах, подпорах, ярмах и чумацких мажах, коромыслах, прачах, скамьях, столах, божницах, полицах, речных дубах (судах) и пр. Большое значение также имеет шитье рубах, рушников и хусток, затем рисунки плахт, крашанок, писанок и этих материалов в народе без конца. Обо всем этом стоит подумать, этим стоит заняться [...]

Когда стемнело и начал выплывать красноватый месяц, я оставил будинок, Григ[ория] Пав[ловича] Галагана и всех добрых знакомых; народ, еще хмельной после праздника, бродил партиями и пел, я сел в экипаж и отправился в Линовицу, куда влекло меня сердце.

Дороги, проторенные селянами, нас не сбивали с пути, и мы ехали по степи — как с компасом. Вот и знакомая крутая гора, по которой я прошелся пешком, и вербовая аллея по гати. Веяло свежестью утра; свет месяца слился со светом начинающегося дня; настали утренние сумерки. Я подъезжал к казацкому хутору. Крыши хат, верхушки садов и лесов окрасились восходящим солнцем; запели петухи, зарумянилось небо. Люди еще спали. Я прошел под навес каморы и на мешках заснул крепким сном.

XII

Перерыв. Через 46 лет.

4 сентября 1901 г.

[...] Начав свои воспоминания с появления моего на свет, когда едва согрело солнышко, я вторично переживал один за другим периоды своей жизни и кончаю грустью и тоскою. Оглядываюсь на свое прошедшее, и сердце сжимается, выступают слезы и негодование — жаль искалеченной юности.

Все минуло, все прошло, но и оставило в голове, в нервах, в теле царапины и след розги и нравственного кнута.

...Не было у меня отрадного детства... Я его не знал. До меня оно едва коснулось, и слишком скоро сменили его аракчеевщина, солдатчина и система розог. От детства и юности я вынес только отвращение к тому именно, к чему меня готовили: к военщине, розгам, которыми внушали нам, кадетам, любовь к извращенной науке и дисциплине. До какой степени розга, о пользе которой, к стыду нашему, еще толкуют, действует оскорбительно и угнетающе на душевное состояние, я могу указать на самого себя. Мне семьдесят три года, и ... я не перестаю видеть во сне, как меня секут. Просыпаюсь, обиженный и негодующий на ту бесчеловечную систему воспитания, которая отняла у меня всю прелесть детства и юности. Позор, позор, варварство, жестокость и бессмыслие — вот аттестат моему воспитанию.

Я, юный, сильный, с чистым и горячим сердцем — по выходе из корпусов — ринулся в искусство. Только в нем я нашел себе выход. В среде простых, необразованных, но чистых душою, добрых, отзывчивых и умных людей, настоящих людей. Среди них я мог забыть озверевшее корпусное начальство и преподавателей, этих рабов тупоумных и бездушных,— рабов подлых, с наслаждением лижущих ноги начальства, как псы у своих хозяев.

Только войдя в круг художников, героев труда и мучеников, я почувствовал себя человеком; но когда?.. Когда мне было уже двадцать лет...

Вспоминая эту бедную, полуголодную, зябнущую и трудящуюся среду, я прихожу в умиление и удивление и в негодование на бессмысленных меценатов, оказывавших медвежьи услуги; на тупоумное общество, не давшее развиться талантам. Борясь с нуждою, они гибли в пьянстве, самоубийстве и сумасшествии.

Время все лечит! Но когда же это всемогущее время придет на помощь ко мне и излечит меня от мерзких сновидений корпусной порки?!.

...А что делается в Малороссии, где сердце мое так горячо билось, где я так отрадно отдыхал, где так всех любил?.. Доброго дяди нет; сына его, жены также нет; имение расхищено... Что стало с любимым мною народом?..

В Седневе — разгром![32] Все мертво, и милый друг мой, Митя... вон, вон... виднеется на площади повешенным...

Сокиренцы, которые так твердо держались,— что там?.. Что с Восковицами?., Туровкой?.. И там, и там — все изменилось. Нет на свете доброй и умной старушки Галаган; нет ее сына, нет жены и внука; исчезла веселая моя приятельница — сестра Галаган. Туда же отошел и ее благочестивый муж; отправился и сын их, покончив жизнь с собою. Где Ригельман, друг Галагана? где умный В. В. Тарновский,* его бесконечно скромная и бесконечно добрая жена? где сын, пламенный любитель Малороссии и собиратель ее древностей? где сестра его, жена, видная и красивая? — все померли, состояния их расшатаны и тают...

...А этот чистый младенец-старик, талантливый Н. А. Маркевич, где?..где его добрейшая жена, брат Михаил Андреевич, красивый сын, милые четыре дочери, друг их Ф. В. Чижов?.. Все перемерло!..

...Что стало с другом моим Остапом?.. Пущенный мною в ход, он сделался знаменитостью; его возили в Петербург, где он пел в собрании и даже во дворце у императора; портрет его красуется в картине известного художника.** Он тоже умер. Но сила его песен так велика, что я слышу их звуки. Вспоминаю свои беседы с ним, которые доставляли мне развлечение и удовольствие, настолько сильное, что я в тяжелые часы душевного состояния забывался и увлекался вполне; забывал подносимую мне тогда губку с желчью, когда жаждал освежиться чистым источником. Старый друг!.. не услышу я никогда уже твоей бандуры и твоих чудных дум и песен!..

Вот итог моих воспоминаний. Если дух наш, отходя от здешнего мира, может еще встретиться с теми, которые туда отошли, то к вам обращаюсь, вас зову: примите меня в свои

---

* Племянник мецената Г. С. Тарновского и отец собирателя Малороссийского музея, тоже Вас[илий] Вас[ильевич].

** К. Е. Маковского.

объятия! Сердце мое и теперь сильнее бьется, вспоминая вас. Не детство, не юность дали мне отраду,— это вы заставили меня полюбить людей и жизнь.

XIII

1855 год.
Линовица. Соседи. Знакомство с М. С. Башиловым.
Выезд за красками в Киев.

Вернусь к 1855 году и прерванному рассказу.

Итак, выехав с освящения будинка и приехав в казацкий хутор, я заснул на дворе под навесом каморы.

Проснувшись, когда еще длинные тени дерев лежали на земле и покрывали хаты, когда роса на листьях и траве блестела и чувствовалась свежесть, я отправился холодком, без пыли, спеша в Линовицу до наступления полуденного зноя.

Снаряжая меня к де Бальменам, Галаганы советовали не засиживаться в Линовице, а старушка мать отозвалась о них неодобрительно: «Он еще ничего, а она нехороша». Однако, несмотря на это, мое впечатление первой поездки было отрадно; радушный прием, простота, художественное чутье хозяев меня обворожили так, что тянуло к ним пожить.

Линовица, родовое имение двух оставшихся в живых графов де Бальменов, находилась между городами Прилукой и Пирятиным.

По большой Пирятинской дороге, обсаженной ветлами, с обеих сторон тянулись ровные с перекатами поля пшеницы и огромные пространства плодородного чернозема. Местность была характерная; виднелись могилы (курганы), стада овец, колодцы-журавли; иногда попадался постоялый двор. В сухое время этот простор степной был так же хорош; виднелись большие стога сена, ветер и столбы пыли неслись по степи, крутясь, вздымаемые до облаков.

С большой дороги был поворот в Линовицу, куда вела совершенно гладкая и прямая дорога. С левой стороны виднелось в зелени село с белою каменною церковью, а прямо усадьба владельцев. Каменный белый дом с колоннами и мезонином (обычной постройки времен императора Александра Павловича) стоял посредине; пирамидальные тополи и белая акация огибали полукругом ограду и въездные ворота,

Налево был каменный одноэтажный флигель, в котором довелось мне так часто и подолгу жить; направо от ворот стоял такой же флигель; в нем помещались: кладовая, управляющий и столярная. Перед домом лужайка, обнесенная низеньким барьером, а сзади дома и левого флигеля — большой сад и пруды.

На этот раз меня встретили как желанного гостя очень любезно.

Хозяин, лет сорока, был стройный, образованный и хорошо воспитан, француз по происхождению, но вполне сроднившийся с Малороссией. Прослужив в кавалерии, он теперь был уже несколько лет в отставке. В беседе был очень приятен, хорошо рисовал и порядочно играл на рояле. Жена его Марья Павловна была в свое время красива: черные глаза, черная длинная и густая коса; стройная и умная, она недурно играла на рояле, знала французский и немецкий языки, малороссиянка по крови, воспитывалась у тетки Сергея Петровича де Бальмена Вальховской и, вскружив ему голову, вышла за него замуж. Дочь и сыновья учились дома. Дочь, лет шестнадцати, была красивая, живая, умненькая и талантливая; сын Миша, лет одиннадцати — стройный и нервный мальчик; младшего звали Сережей; это был курносенький шалун лет шести, с вихром.

Кроме брата Александра, служившего в гвардейском кавалерийском полку, у С. П. де Бальмена был брат Яков, тот самый, которому Шевченко посвятил свое стихотворение «Кавказ»[33] и который был убит горцами на Кавказе. По отзывам всех знавших его, он был чрезвычайно симпатичен, талантлив и красив. Имеющийся в Линовице его портрет доказывает его красоту, а находящийся там же альбом, полный его набросков, служит доказательством о несомненном его таланте.

В 1848 году, когда в Европе вспыхнул огонь свободы и когда у нас жестоко поплатились за сочувствие социальному учению Петрашевский, Спешнев, Головин,[34] Достоевский и др. когда III Отделение зорко следило всюду за настроением умов, в Линовице у графа С. П. де Бальмена собрались соседи; и во время обеда был провозглашен Сергеем Петровичем тост с шампанским за французскую республику.[35] Об этом узнали, и Сергей Петрович был отвезен в Петербург к допросу. Когда его освободили из заключения, то известный начальник III Отделения Дубельт поздравил его с благополучным окончанием дела и посоветовал ему: купить себе ци-

линдр на голову, вместо его серой пуховой с полями шляпы, и уехать поскорее в деревню, так как император может его встретить на улице в этой шляпе, которых он не любит, и могут возникнуть опять новые задержки и неприятности.*

У де Бальменов проживала тетушка Сергея Петровича и гостила иногда долгое время сестра жены Бальмена... У Марьи Павловны был еще брат, довольно бедный, проживающий верст за сорок в селе Горошине, где имел свой грунт, хатку, маленькое хозяйство, и никогда в Линовице не бывал.

Кроме простоты в жизни де Бальменов и новой местности, мне нравилось помещение в отдельном флигеле, с большим итальянским окном, удобным для работы.

Глубоко сожалею, что лишен возможности поместить здесь то, что было тогда же записано мною. Вся переписка с де Бальменами, Галаганами и Лизогубами мною сожжена и уничтожена. Однако хотя кратко и вяло, но постараюсь припомнить то время, соседей и обстоятельства тогдашней своей жизни.

Расспросам моих хозяев об освящении будинка, о самом будинке, о тех, кто там был, и что происходило — не было конца. Мало-помалу все успокоилось и вошло в колею. Пришлось познакомиться с соседями, о которых будет нелишним сказать несколько слов.

Ближайший сосед, как почти у каждого помещика, был священник. В церкви был склеп покоящихся в нем отца и деда де Бальмена, но в этой церкви ни Сергей Петрович, ни жена его, ни дети, ни я никогда не бывали; прислуга ходила туда неохотно и народ тоже. Священник был дурной человек, лишал, например, причастия тех, которые не приходили к нему работать, когда он желал, и, кроме того, пил запоем, так что однажды в Прилуке на ярмарке ему, пьяному, евреи надели узду и водили, как лошадь, на продажу.

Предводителем дворянства был Катеринич; небольшой, толстенький, пухленький, хлебосол, имевший страсть к нюхательным табакеркам, которых у него было множество и за которые он дорого платил. Он только кормил дворян, но ничего не делал.

---

* Император Николай Павлович, кроме таких шляп, не любил кашне и пальто. Встретив на улице А. Толстого со мною, одетого в пальто и кашне, он заметил это и потом спросил его, с кем он шел.

В трех верстах от Линовицы жил отставной полковник Лоде, жестокий помещик, крестьяне которого ненавидели и были разорены.

Верстах в пятнадцати жил помещик М. Закревский, когда-то полковой товарищ Сергея Петровича. Лицо его постоянно подергивало. Это была личность отвратительная; развратник, отвратительный человек, и я это говорю на основании несомненных фактов, сообщаемых мне неоднократно самим Закревским и другими, при нем же, с откровенным цинизмом. У него в доме было несколько женщин для удовлетворения его похоти; много девушек он лишил невинности, без малейшего укора своей совести. Этот негодяй предполагал, что я живу в Линовице, приволакиваясь за дочерью де Бальмена или даже за его женой. Де Бальмен часто у него гостил, а иногда и ночевал, и когда случалось ему возвращаться домой позже обыкновенного часа, то М[ария] П[авловна] ждала его на ступеньках подъезда в таком волнении, что мы, усевшись подле, старались ее развлекать; и было от чего беспокоиться. Другой Закревский, брат этого, редко бывал у нас, имел сахарный завод и богател, изнуряя крестьян плантациями. К Закревским я никогда не ездил.[36] [...]

В кабинете графа С. П. де Бальмена висела маленькая картинка «Вечер», где представлена была типичная малороссийская мельница работы двоюродного брата его Михаила Сергеевича Башилова. Работа была талантлива и мне очень понравилась; тихое чувство и любовь к природе проглядывали в ней. Тогда Сергей Петрович показал мне еще рисунок Башилова карандашом, набросанный им за полчаса до его венчания, когда сам уже был во фраке, а невеста еще одевалась. Рисунок представлял мужика-литвина, едущего в санишках, запряженных коровенкой, и был настолько симпатичен, что не могло быть никакого сомнения в таланте художника. Сергей Петрович написал Башилову о моих отзывах, и вскоре Башилов прислал в Линовицу картинку масляными красками: «Получение письма от сына». В кабинете сидел в кресле расслабленный старик и держал письмо, принесенное стариком лакеем, который с участием следил за чтением грустного известия. Картина производила сильное впечатление. Я был в восторге и предложил отправить эту картину в Академию на выставку, при моем письме к конференц-секретарю В. И. Григоровичу; так было сделано, и успех был полный; Михаилу Сергеевичу присудили серебряную медаль. Это дало толчок дальнейшему его положению.[37] Дела его отца, обла-

давшего огромным имением в Могилевской губернии, были до того плохи, что все было заложено у евреев-ростовщиков; не было чайной ложки в доме не заложенной, и добряк сын скрывал это ужасное положение от отца, так как дни старика были сочтены.

После смерти отца Михаил Сергеевич лишился всего, все пошло кредиторам, кроме десяти рублей, которые ему достались с женой и детками. Поехав в Москву, он получил там место инспектора Училища живописи, ваяния и зодчества,[38] состоящего при Московском художественном обществе, том самом Обществе, в котором в 1875 году я был назначен секретарем Совета, но Башилова, к сожалению, тогда уже не было в живых.

По вызову нашему Башилов приехал в Линовицу; мы хорошо познакомились и нередко вместе работали с натуры.

Это был тип литвина: рыжеватый, некрасивый, ростом в три аршина с вершком, старавшийся как будто убавить громадность своего роста и горбившийся. Он был талантлив ко всему и образован прекрасно; имел много научных сведений; знал несколько языков, живопись, скульптуру, архитектуру, резьбу на дереве; играл на рояле, что угодно, читал ноты, как книгу; прекрасно пел; и ко всему этому был деликатный, добрый и честный человек. [...]

Проезжая через Москву в шестидесятых годах, я нередко останавливался у Башилова, в Училище живописи, ваяния и зодчества, где у него была квартира, и вспоминал прошлое. Грустные настали дни, когда его, больного, снаряжали за границу уже в сильном градусе чахотки; нельзя забыть тот момент, когда тронулся отходящий с ним поезд из вокзала... Оттуда он уже не возвратился, жена едва застала его в живых, приехав к нему за границу; а с детьми, которых художник так любил и о которых так заботился, он более не виделся и, умирая, благословил их заочно.

Мир праху твоему, добрый и хороший человек!

М. С. Башилов был художник симпатичный. Картин его масляными красками немного, а рисунков достаточно, но они, к сожалению, рассеяны. В моем собрании, уступленном И. Н. Терещенко, находится одна масляная картина и рисунок. В этом же собрании находится рисунок графа С. П. де Бальмена. [...]

Мне так понравились окрестности Линовицы, что я пожелал иметь свой угол среди народа, чтобы вполне с ним

слиться. Графиня Марья Павловна де Бальмен предложила мне купить у нее грунт с хатой в м. Горошине. Я отправился туда, и брат ее показал мне хату с грунтом, в количестве трех-четырех десятин. Я поселился пока у брата графини, нанял рабочих, обнес грунт плетнем, вымазал хату, намеревался убрать ее полотенцами и плахтами и уплатил следуемые с меня деньги. Перебравшись в свою хату, я ел борщ, раков, ходил в речку купаться и мечтал долго прожить этой тихой и покойной казацкой жизнью. Однако де Бальмены отговорили меня от этого, и дело расстроилось по настоятельному их желанию. Деньги за грунт были мне возвращены.

Наступила осень 1855 года. Севастопольская война была в разгаре.

Проснулся я рано и смотрел в отворенное окно; вдали была слышна песня проходящих ополченцев. Скоро они прошли мимо ворот в село, где была назначена дневка. За ними, в хвосте дружины, следовал обоз, и в конце его в телеге лежал человек, над ним с плачем громко причитывала баба. Я пошел посмотреть — в чем дело. Время было холерное; везли в телеге новобранца, которого считали умершим; за ним шла и плакала его мать. В то время гостил у де Бальменов и занимался с их детьми киевский студент по медицинскому факультету Стуковенко.* Я позвал его, остановив предварительно телегу, хотя сопровождавший ополченцев фельдшер сказал, что новобранец умер, и мать сняла уже с него крест; но я хорошо помнил холеру 1848 года в Петербурге и наставление одного знакомого доктора не терять надежды с больным и делать все, что возможно, чтобы человека согреть. В познания и определение фельдшера я не верил: больной был холоден и весь посинел, но пульс его еще показывал признаки жизни. Стуковенко захватил с собой лекарство, и мы внесли больного в первую свободную хату, раздели, положили на землю, покрыв его лижником,** выгнали всех, кроме матери, начали оттирать его перцовкой и давали что-то нюхать. Оттирали мы больного и возились около него шесть часов. Больной очнулся; мать обрадова-

---

* Брат двух докторов, из которых недавно один, профессор Киевского университета, скончался.

** Громадное толстое и мягкое шерстяное одеяло, которым снабжают новобрачных.

лась, надела на него крест и нас благодарила. Мы, с разрешения начальника команды, продержали его в хате еще сутки, потом доставили в дружину, а что было дале?.. не знаю. Далее следовало смотреть за ним и беречь его, а мы только обнялись дружески и порадовались его выздоровлению.

Вечером я сам заболел холерическими припадками настолько сильно, что мой товарищ Стуковенко не отходил от меня всю ночь, и я уже написал прощальное письмо отцу, прося отправить, когда будет нужно; однако — выздоровел.

Я много работал в Линовице акварелей, начерчивал и записывал все, что видел и мог собрать. Отправляемые в Петербург рисунки мои Иван Сергеевич Тургенев продавал и высылал мне деньги. Из картин писал я в это время: «Стадо овец», эскиз которой сделал в Туровке. С этой картиной у меня было неприятное приключение. Однажды, проработав целое утро над небом, я, придя к себе вечером, увидел по всему небу, через всю картину проведенный след пяти пальцев. Художники поймут мою досаду. Кто это сделал — осталось неизвестно.

Жил я совершенно один во флигеле, который одной стороной был обращен к подъездному двору, а тремя остальными в сад. Флигель этот имел несколько комнат, зимний садик с балконом и четыре выхода, считая и выход из садика. Во флигеле была старая библиотека и фамильные портреты умерших предков графа де Бальмена масляными красками. У прислуживающего мне мальчика Акимки находился ключ от одной входной двери; от садика ключ был у садовника, а остальные двери я запирал изнутри, оставляя ключ в дверях. Комната, в которой я работал и спал, имела большое итальянское окно, и все окна были настолько подняты от земли, что ни смотреть в них, ни влезть без лестницы или подставки было нельзя. В Линовице существовало предание, что во флигеле бывают слышны шаги с шарканьем туфель, кашель, и некоторым случалось видеть отца или деда С. П. де Бальмена, прохаживающегося по комнатам или сидящего в халате. Вообще никто не любил и не желал квартировать во флигеле. Считая это вздором, я охотно поселился там и жил в совершенной тишине и покое. Иногда мне случалось как будто слышать шарканье туфель, иногда кашель, но я совершенно к этому привык, объясняя себе это обманом слуха.

Однажды я долго не спал ночью, занявшись рассматриванием разных изданий, и услышал ясно шаги, шарканье туфель и чахоточный кашель. Мне показалось, что непременно кто-нибудь вошел из сада в дверь, которую я мог забыть запереть. Я спокойно встал, чтобы узнать, в чем дело, и со свечой пошел в библиотеку. Портрет покойного деда был на месте; я иду далее к балкону, ведущему в большой сад,— никого, двери заперты, ключ на месте, обошел другие двери — все в порядке. Я сам себе не поверил и подумал, уж не заснул ли я и все слышанное было сон. Более я уже не обращал внимания на такие явления. Но раз вечером, после обеда и веселой болтовни, захотел я еще раз взглянуть перед наступающею темнотою на свою работу и помнил, что, уходя утром из флигеля, я запер двери и положил ключ в карман из боязни опять найти следы пальцев на картине. Каково же было мое удивление и даже испуг, когда я увидел, что картина не на месте, стул, на котором я работал, повален и в комнате все в беспорядке. Я ушел из флигеля в беспокойстве, предположив, что я просто не в своем уме; посидел с де Бальменами, поговорив с ними, выпил чай и, когда стемнело, решился еще раз пойти к себе и проверить: действительно ли все там в беспорядке или мне почудилось. Вошел и вижу то же. Я опять ушел, и тут только заметил переглядывание детей де Бальменов и догадался, что сыграна шутка. Дети, с помощью матери и тетки, поставили стул к окну, отворили его, влезли и все перетасовали.

Случилось, что у меня истощился запас красок, который следовало пополнить в Киеве, куда я, недолго думая, собрался, уложив в дорожную сумку две канаусовые рубашки и кое-какое белье. Плед я взял с собою; более ни в чем я и не нуждался, потому что рассчитывал вернуться очень скоро.

Выезжая, я невольно запел:

Як віжжав, шапочку зняв,
Низенько вклонився; (2)
Прощай, прощай, громадонько,
Може с ким сварився. (2)
Хочь сварився, не сварився —
Щастлива дорога (2)
Зостаеця на Украини
Дивка чорноброва. (2)

XIV

1855 год.
Киев. Выезд в Севастополь и возвращение в Малороссию.

Приехав на перекладной в Киев, я отправился обедать к знакомому мне губернатору Гессе* и, к удивлению, встретил товарища своего по Пажескому корпусу Михаила Ростовцева. Мы сели рядом и, разговорясь с ним, я узнал, что он едет в Севастополь, посланный туда военным министром. Я высказал, как он счастлив, что увидит все происходящее в Крыму, на месте, а не так, как мы, узнаем очень поздно и урывками из газет. Ростовцев предложил мне ехать с ним; у него была коляска и курьерская подорожная по военной надобности; и мы могли ехать быстро без задержки. Уложив вещи в суму, я выехал с моим спутником тотчас после обеда. Он хорошо покушал и, выпив хорошего вина, дремал, а я, вина не пивший в то время, мечтал о тех эскизах и картинах, которые носились в моем воображении под влиянием ходивших рассказов и чтения газет. Думал я и о милой мне Линовице и обо всем и о всех; думал о дивчине, оставленной мною там, сердце которой было также затронуто, и напевал:

Ой, чи буде молода дівчина по мени журиця,..
Ой, як пиду та у Крим по силь, та буду бориця?..

Ехали мы, не отдыхая, день и ночь. Погода была прекрасная, теплая. По степи неслось такое множество птиц, какого я никогда не видел; я бросил в них свою шляпу, не останавливая лошадей, в надежде поймать одну из них, но без успеха; выскакивая из экипажа, поднимал с земли шляпу и опять садился. Эти стаи птиц-благодетелей неслись за саранчой, которая, как облако, туманила солнце, распространяя зловоние по всей степи. Эта саранча и птицы летели так сотни верст.

Грустную картину представляли транспорты с порохом, бомбами, ядрами, двигавшиеся на волах. На телеге лежало по пяти бомб, и волы медленным шагом двигались, делая в сутки по двадцати пяти верст, тогда как министерство рассчитывало на быстроту чуть ли не в пятьдесят или сто верст в сутки на лошадях. Подряды были сданы, и в министерстве

---

* Бывшему черниговскому губернатору.

предполагали, сообразно их расчету, что в Севастополе должно быть достаточное количество снарядов и пороху, а между тем часто волы не делали и двадцати пяти верст; сломается ось или колесо, выйдут и запасные, надо ехать куда-нибудь отыскивать, где можно срубить или купить; а эти места были так далеко, что их не было и видно. Чтобы скотину напоить, приходилось доехать до колодца, когда таковой окажется по дороге, да ведро воды достать чуть ли не с того света,— такая глубина, а иногда и платить по 20 копеек за ведро. От недостатка в порохе, бомб, ядер, гранат и пр. через Ростовцева отдано было секретное распоряжение, чтобы на пятьдесят выстрелов неприятеля отвечать пятью.

По степи валялась масса трупов лошадиных и воловьих; мы, приближаясь к Крыму, более и более встречали раненых, которых везли, как телят, на убой; их головы бились о телеги, солнце пекло, они глотали пыль, из телег торчали их руки и ноги, шинели бывали сверху донизу в крови. Меня все более и более охватывала жалость и досада, а фантастические мечты о картине Севастопольской обороны исчезали и, наконец, не только исчезли, но и дух мой был возмущен до крайности, и меня взяло отвращение от войны. Меняя лошадей в Симферополе, следовательно, за шестьдесят верст до Севастополя, мы ясно слышали бомбардировку и видели множество тянувшихся подвод, наполненных ранеными.

Подъехали мы рано утром к Севастополю и остановились на Инкерманских высотах, где находилась главная квартира главнокомандующего, князя Горчакова, и его штаба. Михаил Ростовцев расположился в палатке своего брата Николая,* тоже моего однокашника по Пажескому корпусу, храброго, разумного и всеми любимого. Меня поместили в землянке; кроватью служил разломанный плетень, укрепленный на колышках. У потолка землянки подвешены были окорока, и ночью, когда я потушу свечу, по мне начинали бегать крысы и лазать за провизией, от них я укрывался пледом с головой, чувствовал нередко, как шлепалась на меня упавшая сверху крыса. Их грызня и визг продолжались до утра или прекращались, когда я зажигал свечу.

Завтракали мы, живущие в главной квартире, за общим столом, обедали тоже. Воды не было, и хотя до того времени я вина не пил, а жажда требовала питья, то пришлось и

* Полковника генерального штаба. Оба брата — сыновья известного Якова Ивановича Ростовцева, впоследствии графы по заслугам отца.

мне удовлетворять ее, как и всем, вином. Это на меня действовало неприятно. Для чаю и умывания привозили воду за несколько верст с Бальбека; вода была коричневая, и я умывался, смочив полотенце одеколоном.

За завтраком и обедом являлись новые куплеты к песне графа Л. Н. Толстого, тогда артиллерийского офицера, которая начиналась так:[39]

Как восьмого сентября
Мы за веру, за царя,
От француз ушли. (2)
Меньщик умный енерал
Суденышки потоплял
В море, в пучине. (2)
Молвил: щастья вам желаю,
Сам пошел к Бахчисараю —
Ну вас всех в. . . . . (2)
Сен-Арно вдруг показался,
Он уштиво обращался —
Сзади обошел. (2) *и т. д.*

Песня эта довольно свободно распевалась, и даже иногда солдатами. Пели ее на напев:

Я цыганка молодая,
Я цыганка не простая,
Знаю ворожить. (2)

Так как напев был общеизвестный и хорошо подошел к словам песни, то распространение ее шло быстро. Песня эта представляет вполне правдивую картину нашего положения под Севастополем.* Очень жаль, что помню ее урывками и не могу привести целиком. Меньшикова все считали в петербургском обществе очень умным и остроумным,[40] и потому недаром в песне часто называют его умным енералом, как, например:

Просил Меньщик подкрепленья,
Царь ему во утешенье —
Сакена ** прислал. (2)

---

* И эта песня ежедневно слагалась в штабе главнокомандующего. Ропот появился между моряками, которых заперли в котел и обрекли на бездействие. Зарождалось общее брожение и ропот.

** Граф Остен-Сакен слыл за знатока военного дела, звали его Дмитрий Ерофеич. Император прислал также и двух юных великих князей Николая и Михаила — теперешних фельдмаршалов.

Меньщик умный енерал,
Царю прямо отписал:
Батюшка наш царь! (2)
Ерофеич твой не крепок,
А от этих малолеток,
Проку ни......... (2)

Хорошо охарактеризован и Сакен, богомольный до тошноты, постоянно обращающийся за помощью к богоматери.

А и Сакен енерал,
Все акафисты читал —
Богородице... (2)

План изгнания неприятельской армии составляли долго, наконец план был составлен Даненбергом с полною уверенностью в удаче; но дело вышло плохое по разным причинам, в числе которых была русская оплошность и полная неспособность генералов.

Даненбергу поручили,
Его очень просили:
Войска не жалеть. (2)
Павлов, Соймонов — ходили
Круты горы восходили —
Вместе не сошлись... (2)

А на это именно и был расчет битвы, которая проиграна с огромными с нашей стороны потерями. В песне об этом говорится так:

Тысяч десять уложили,
От царя не заслужили
Милости большой. (2)
И в сражение большое (2)
Было только два героя:
Их высочества (2)
Им навесили Егорья,
Повезли назад на взморье
В Питер, чтоб казать... (2)

Вооружены были наши солдаты скверно; против штуцеров отстреливались дрянными ружьями, и по этому случаю в песне поется так:

Штуцеров мы поджидали,
Гвардеянцы все забрали —
Видно, им нужней... (2)

Тогда как гвардия не принимала участия в битвах, оставаясь в Петербурге.

Очень удачный был также куплет по случаю распоряжения нового императора надеть генералам красные штаны, и в такой момент, когда была крайне необходима присылка хорошего оружия и сотни тысяч солдат. «Незабвенный в вечность отошел и давно пора»,[41] Меньшиков отозван и вместо него был назначен князь Горчаков.

Назначаю я другого,
Того князя Горчакова,
К турке что ходил, (2)
Много войск ему не надо,
Будет пусть ему отрада —
Красные штаны... (2)! [42]

Интендантство грабило, и песня его коснулась так:

А и Затлер * енерал
Сухари нам доставлял:
Больно хороши!.. (2)

И не одно интендантство грабило. Поставщики не доставляли мяса, полушубков, разбавляли водку; деньги, посылаемые крестьянами своим родственникам, мужьям, сыновьям, до них не доходили и назад не возвращались; а также не в надлежащем количестве доходил корм лошадям. Крались медикаменты, и знаменитый наш доктор Пирогов был в отчаянии от недостатка медиков.

Везде и во всем был беспорядок невообразимый. Главнокомандующий князь Горчаков был человек ученый, храбрый, но иногда казался сумасшедшим, да был рассеян.[43] Он пришел однажды, мокрый от дождя, не к себе в каменный домик, единственный в штабе, а в палатку начальника штаба Коцебу и лег у него на постели с ногами, в мокрых и грязных сапогах. Коцебу хотел войти в палатку, но, увидя главнокомандующего лежащим на постели с руками под голову, подумал, что он спит, и вышел. Главнокомандующий долго оставался в таком положении; наконец Коцебу решился войти. «Что вам здесь нужно? Ступайте!» — закричал на него князь Горчаков.**

---

* Главный интендант.

** В моем собрании рисунков, принадлежащем И. Н. Терещенко, есть очень похожий набросок Горчакова, идущего в сопровождении казака. На голове фуражка с огромным картонным щитком вместо козырька.

Кроме двух Ростовцевых, еще оказался тут мой однокашник по Пажескому корпусу Мусин-Пушкин; он был старше меня, но так как тоже любил рисовать, то это нас сблизило. Я перезнакомился в штабе со всеми и был единственный человек в армии в штатском платье. На мне, по обыкновению, были: серый пиджак, такой же жилет и штаны в сапоги и серая пуховая шляпа, которых так не любил покойный уже тогда, незабвенный император Николай I. Меня уговаривали надеть военную шинель и фуражку, но я не согласился, имея непреодолимое отвращение к военной форме.

Армия наша отступила в ночь с 25 на 26 августа 1855 года.[44] Мы приехали рано утром, и я, взяв лошадь и казака-проводника, тотчас отправился на горку, названную «Маяком», где был водружен на большом шесте флаг и откуда можно было видеть кругом на далекое расстояние. Затем я спустился на берег бухты к мосту, чтобы посмотреть на кончавшееся уже отступление. Южная сторона города была в огне; местами были взрывы. Войско отступало в беспорядке как спутанное стадо баранов. Взорвало меня негодование, когда я увидел упавшего от бессилья солдата, которого армейский офицер ножнами своей сабли приводил в чувство... У меня, у штатского, спрашивали: а где такой-то полк и т. п. Десятки пушек были брошены с моста в глубину бухты, из которой торчали мачты наших затопленных кораблей. Картина была тяжелая. Трудно себе представить, насколько это поспешное отступление на северную сторону Севастополя лживо описано в реляции главнокомандующего, удивившей своею неправдою всех, кто видел его в действительности. Неприятель занял южную сторону, не решаясь двинуться вперед и не подозревая всей беспомощности нашего положения.

Начальником штаба артиллерии был генерал Крыжановский, который был очень любезен со мною и прикомандировал ко мне донского казака и лошадь. Этот донец любил свой Дон, часто вспоминал семейство и всегда держался поодаль, оберегая себя и лошадь.

Проехал я однажды довольно далеко от Севастополя и хотел нарезать камышу около речки, но сообразил, что дело не совсем ладно; и этому помогла мне бывшая кадетская жизнь на маневрах и в лагерях. Увидел я за речкой амбразуры, смотрящие на нас, и вернулся, а донец еще раньше отстал от меня. Так мне и не удалось добыть камышу для рисования. Когда я вернулся к Крыжановскому, он спросил меня, где я был, и удивился, что никто меня не остановил,

так как оказалось, что я проехал за наши батареи и форпосты и был у Черной речки, в месте весьма опасном, где неприятель мог подстрелить меня своими дальнобойными штуцерами.

Поехал я с Николаем Ростовцевым к бухте, чтобы посмотреть, как взлетают наши укрепления и что там делается. Мы увидели в бинокль, что на том берегу ставят французы пушки, а на нашем курские ополченцы делают кирками канавки, чтобы засесть в них с ружьями, по чьему-то распоряжению. День был жаркий, и мы вздумали сдать лошадей донцу и выкупаться, расположась под самыми амбразурами нашего форта. Едва мы влезли в воду и окунулись, как из амбразуры матрос нам закричал, чтобы мы уходили: «А то, вон, видишь, наши пустили в него,— он нам теперь задаст!» Оказалось, что брошенная с берегового форта в корабль или пароход бомба, лопнув, обрисовала густое облачко на небе. Мы поспешно выскочили из воды, схватили свое платье и белье, забежали за угол форта и оделись; казак подал нам лошадей, и едва мы успели на них сесть и завернуть в более безопасное место, как грянула пушка с того берега в наших ополченцев и перебила человек десять. Обменявшись с нами выстрелами, неприятель отвечал на наш один бесцельный выстрел несколькими с моря и суши; затем стрельба смолкла, и нашим было приказано не стрелять. Да и возможно ли было стрелять, дразнить и вызывать на бой нам, которые находились в хаотическом беспорядке. Надо заметить и то, что ополченцы устраивали на берегу канавы с большим трудом, так как грунт был каменистый и работали кирками; вал был из щебня и немало тогда было перебито наших не только выстрелом французского полковника, но и разнесенным щебнем.

Мне, наконец, надоела и опротивела глупая и праздная жизнь и бесполезная трата сил стольких тысяч людей, бесплодно обреченных на смерть. Тягостно было видеть утомленных ополченцев, чистящих свои кремневые, дребезжащие во всех винтах ружья землей и песком. На всех лицах выражалась апатия, все предоставлено было русскому «авось». Я не мог долее выносить этого и горячо желал попасть куда-нибудь, хотя бы в плен к неприятелю — в Константинополь, в Италию, Францию или Англию, которые всегда жаждал видеть.

Я искал случая уехать, и когда Михаил Ростовцев предложил мне остаться и участвовать в какой-то экспедиции около

Евпатории,[45] где будет и он, чтобы воспользоваться случаем получить орден, я рассмеялся, ответил отказом и еще настоятельнее искал возможности выехать из Севастополя. Я готов был выбраться хоть на верблюде, на волах, уйти пешком, лишь бы выбраться, а лошадей взять почтовых было невозможно.

Случай выбраться скоро представился: артиллерийский полковник Хлопонин, по случаю раны в голову, получил отпуск и стремился в Петербург к молодой, до безумия им любимой жене. Он нанял еврея, и мы, простившись с Ростовцевым и другими, благополучно выбрались из Инкермана, и чем далее от Севастополя, тем радостнее было на душе моего спутника и тем приятнее было мне. Города Бахчисарай и Симферополь мне очень понравились своею живописностью, но дорога от Севастополя до Симферополя была отвратительная — и этот небольшой кусок пути в шестьдесят верст мы не могли превратить в хорошее шоссе, тогда как пространство, занятое неприятелем, было изрезано прекрасным шоссе до трехсот верст, имело железную дорогу и водопроводы, которые снабжали суда пресной водой.

Мы остановились в Бахчисарае, вполне восточном городе; я осмотрел дворец, ездил в монастырь и в местечко Чуфут-Кале, чрезвычайно своеобразное, населенное караимами.

На другой день я рано утром отправился по Бахчисараю с альбомом и рисовал; ко мне подошел какой-то человек в суконном, горохового цвета халате, в форменной фуражке и, вырвав у меня из рук альбом, начал его осматривать. Я взял альбом у него из рук, перевернул его как следует, так как он держал его вверх ногами, и отдал ему, заметив: «Вот так надо смотреть, а не вверх ногами». Он начал перелистывать альбом и, обратясь к полицейскому, сказал:

— Отведи его к коменданту.

Комендант жил во дворце, и меня потешало, что будет далее. Я пошел с полицейским, который нес мой альбом.

— Пожалуйста, не иди так скоро, не поспеваю за тобой,— сказал я полицейскому,— да чего доброго и убегу, а в толпе и в этой толкотне ты меня и не найдешь.

Мы были уже недалеко от дворца, как встретили другого полицейского, который остановил нас. Полицейские что-то переговорили между собою по-татарски, оба сделали мне честь, отдали альбом, извинились и просили следовать, куда мне угодно.

Почему меня задержали и почему освободили — осталось для меня тайной. Но, чтобы не случилось еще что-либо подобное, что могло кончиться не так скоро и не так приятно, я остальные дни ездил верхом; неоднократно встречая полицейские власти и господина в гороховом пальто, всегда им посылал рукою поцелуй, показывая на альбом, в уверенности, что в случае погони ускачу на станцию, где найду для себя защиту.

Делая, по условию с евреем, по пятьдесят верст в сутки, с отдыхами, мы все-таки подвигались к цели нашего путешествия, хотя медленно.

Дорогой Хлопонин был до крайности возбужден: бранился, что долго едут, и долго запрягают, и долго отдыхают, и беспрестанно лез людей бить, так что мне приходилось не один раз выручать его самого из неприятности. Воин был возбужден раной в голову и нетерпением увидеть жену, о которой много говорил. Я расспрашивал его об Альмском сражении, где мы были побиты и отступили. Хлопонин стоял тогда на левом фланге и был уверен, что флот подойти к нам не может на расстояние пушечного выстрела и что впереди речка — непроходимая для пехоты. Расположение нашей армии было крепкое и позиция надежная. Что же оказалось? Неприятельский флот начал жестоко обстреливать наш левый фланг и батарею; через речку французы штуцерами били наших артиллеристов.

Сент-Арно крикнул зуавам: «Allons, ma brave cavalerie!»[46] и повел их в атаку; они перешли речку, и орудиям нашим пришлось отступать с перебитой прислугой.

Сам Хлопонин был ранен. На мосту через реку, где были англичане, происходила упорная борьба, кончившаяся нашим отступлением. В армии нашей произошел беспорядок, главнокомандующего не могли найти, распоряжений никто не знал, а умный князь Меньшиков бранил наши войска нецензурными словами. Поле битвы покрывалось трупами, и ночью их поедали волки и собаки, что видели команды, посланные на уборку тел.

Переехав Днепр в Браславле, мы увидели целую толпу раненых, отправляемых для излечения внутрь России с сестрами милосердия. Раненых было много; со всех сняли полушубки для обратной отправки в Крым за следующей партией раненых, а эти отправились на север, в одних своих шинелишках!..

Мы с Хлопониным наконец прибыли в Полтаву, простились и поехали по разным дорогам — он к жене, я в Линовицу; в свое теплое гнездо. Сердце мое начало биться усиленно: что-то я там увижу...

По всей дороге от Севастополя до Днепра валялись трупы и остовы лошадей и быков; тянулись те же обозы, войска и ополченцы. Ехал я туда, где жил до моей поездки в Севастополь, где сердце мое отдыхало: к де Бальменам, Лизогубам, Галаганам, Маркевичам. Всех интересовало все происходившее в Севастополе и на театре военных действий. Кроме безотрадного о нашем положении, я ничего сказать не мог. Песня графа Л. Толстого нравилась всем, вызывала смех и негодование и тяжелое чувство беспомощности.

XV

Отголоски прошлого и мысли о будущем.

Погорельцы. 10 сентября 1901 г.

Сажусь и берусь за перо, чтобы продолжать воспоминания, но ясный, осенний день не располагает меня описывать мирную деревенскую жизнь. Вспоминаются такие же ясные сентябрьские дни, когда я смотрел на разрушенный Севастополь и изнывал там сорок шесть лет тому назад. Отголоски былого вытесняют мирные воспоминания...

Дам волю своему теперешнему чувству; пусть из-под пера выльется, что рвется из груди, ведь и отголоски прошлого составляют часть нашей жизни. Зачем сдерживать себя? Чувства должны выливаться свободно, как звуки эоловой арфы от набежавшего ветерка. Слезы, негодование или смех должны вырываться невольно.

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ

«Незабвенный» император Николай I, вступивший на престол при громе пушек и при громе пушек сошедший в могилу,[47] наследовал безумие отца, мстительность и лицемер-

ность своей бабушки. Он совмещал в себе качества противоположные: рыцарство и вероломство, храбрость и трусость, ум и недомыслие, великодушие и злопамятность.

Царствовал он тридцать лет и, думая осчастливить Россию, разорил и унизил ее значение.

Вступил на престол в 1825 году, после неразумных, но честных церемоний с братом своим Константином — они, предлагая корону друг другу, как Манилов и Чичиков, стояли в дверях, уступая один другому дорогу... Наконец, Николай вступил в свои права и начал с того, что расстрелял на площади столпившийся народ — без разбора; повесил пятерых, сто двадцать два человека отправил в остроги и пожизненные каторжные работы в сибирских лесах и рудниках.

Он был верующий, но отличался жестокостью. Сумрачный до коронования, он просиял от сошедшей на него с короной божьей благодати; он, казалось, слышал с неба голос: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!»

Люди, видевшие его входящим в храм до коронации и затем выходящим после совершения ее, не могли надивиться происшедшей в нем перемене; он весь преобразился, твердо и уверенно выступал с лицом строгим; он повелительно смотрел — озаренный св. духом.

В 1828 году он победил персов; в 1829 году — турок, а в 1830-м, подавив восстание Польши и уничтожив ее права,[48] — он в 1831 году одним появлением своей величественной персоны усмирил в Петербурге и военных поселениях бунтовщиков, стоящих на коленях.[49]

«Незабвенный» пожелал воздать должное брату своему Александру I, увековечив его славу; и для этого приказал генерал-адъютанту Михайловскому-Данилевскому написать историю нашествия Наполеона I и изгнания его из пределов России. История была сочинена, и настолько плоха, что, по смерти автора, о нем сожалели как о «последнем нашем баснописце».

Неудачен вышел и воздвигнутый «Незабвенным» монумент «Александру Благословенному». На площади Зимнего дворца император поставил колоссальную гранитную колонну, на вершине которой укреплен бронзовый ангел, держащий крест и указывающий на небо, что должно означать: «он там», то есть Благословенный взят на небо. Но при этом не принято в соображение: какой вид будет

иметь ангел на такой высоте; и ангел оказался с трех сторон без головы, которая видна лишь из дворца.[50]

Наименование покойного Александра I «Благословенным» и кротким ангелом — также совсем неподходящее. Кротость этого ангела проявилась в отдаче империи в управление узколобому и жестокому Аракчееву... Ангельская кротость сказалась в дружбе «Благословенного» с этим извергом, ненавидимым всею Россиею, с которым он проливал слезы о насильственной смерти негодной любовницы, утешая «любезного друга», советуя «жестоко наказать виновных»... Аракчеев плачет от злобы и страха за свою шкуру, а «кроткий ангел» плачет об Аракчееве, «о своем наилюбезнейшем, истинном друге»!..об этом хитром льстеце и злом лицемере...

Едва ли «Благословенный», супруг неверный и жестокий, там на небе.

Я уже говорил в своих «Воспоминаниях», до какой степени «Незабвенный император» увлекался воинственными играми; теперь приведу пример его воинственного увлечения, дошедшего до галлюцинации.

Во время гвардейских маневров «Незабвенный», одержав победу, понесся впереди всех, влетел на холм с обнаженным мечом и пеной у рта, круто осадил взмыленного коня и, торжествуя над воображаемым врагом, крикнул: «Вот они! попраны! раздавлены! уничтожены!..» И тут же, сняв каску, запел: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых»*...

Этим торжественным возношением заключились маневры. Кровь Петра III и Павла I сказалась в «Незабвенном».

Факт подобного же рода был рассказан мне графом А. К. Толстым, в правдивости которого сомневаться нельзя.

— Приехав к прусскому королю в Потсдам рано утром, «Незабвенный» облекся в парадный кирасирский мундир и во всей красе отправился к королю пешком, парком, никем не замеченный, чтобы раньше всех отрапортовать ему свое поздравление. Ручные журавли, завидев незнакомца, привлеченные игрою и блеском золота на солнце, с криком окружили «Незабвенного» и с криком налетали на него, чуть не

---

* Сообщено графом Григорием Строгановым, — впоследствии мужем великой княгини Марии Николаевны, который был свидетелем этой сцены

в глаза. «Незабвенный», вынув палаш, смело защищал себя и явился к родственному соседу своевременно, увенчанный новой победой...

Кроме игры в солдатики, «Незабвенный» любил баловаться постройками.

Осушив Петергофское болото, лежавшее за кадетским лагерем, вплоть до «Бабьих гон»,[51] на протяжении пяти верст, он собрал воду в пруды, наделал островов, выстроил на них затейливые дворцы — в память путешествия своей жены в Палермо, где она так щедро помогала русскими деньгами итальянцам.

Дворцы были выстроены из мрамора и гранита, убраны статуями, бронзой, мозаикой, барельефами и освежались прекрасными фонтанами.

Во время семейных царских дней эти дворцы и берега прудов украшались ночью цветными фонарями; на водах плавали легкие, волшебно убранные гондолы, в которых распевали итальянцы; устраивался плавучий театр с танцовщицами.

Около канала, ведущего воду в фонтаны Петергофских садов, «Незабвенный» в назидание крестьянам выстроил водяную мельницу, куда приезжал время от времени в роли сельского хозяина.

Для отдыха во время прогулок по паркам «Незабвенный» настроил деревянные домики в сельском вкусе, окруженные цветниками.

Однажды, катаясь в коляске по английскому парку, императрица подъехала к новому, неожиданно для нее появившемуся домику. Навстречу ей подошел с рапортом бравый солдат, который оказался самим императором. Как много было смеха, сколько радости. Этот неожиданный случай тронул до слез императрицу, всех присутствующих и сторожа нового домика. Солдатский мундир императора хранится в шкафу этой избы.*

В прекрасный летний день «Незабвенный», сидя в одном из воздвигнутых им на болоте дворцов, окруженный семьей и разной величины коронованными немцами, которые, высочайшими ноздрями втягивая аромат цветов, хвалили воздух,

---

* Я нередко слушал об этом трогательный рассказ этого сторожа, благоговейно показывавшего хранящийся мундир императора.[52]

с горькой улыбкой сказал восхищенной компании: «И после этого говорят, что мой климат не хорош!»

И что же?.. «Незабвенный» был прав! Он верил, что Россия, на всем пространстве, со всем, что есть на ее земле, в ее водах, в недрах земли и над землей и даже воздух — отданы ему господом!

Озаренный свыше, «Незабвенный» написал финансовый проект и дал прочесть графу П. Д. Киселеву.

— Ну, как ты нашел мой проект? — спросил он Киселева.

— Государь, я знал, что вы умный человек, но, сознаюсь, не ожидал такого глубокого знания.

— Киселев! ты меня удивляешь. До сего времени я считал тебя умным; теперь вижу, что ошибался. Ты забыл, что я помазанник божий!.. *

«Незабвенный», ради популярности, снисходительно взирал на поэтов, пожаловал Пушкина камер-юнкером своего двора, но,[53] желая охладить пыл поэта Полежаева, отправил его солдатом на Кавказ покорять вольных горцев, где он умер в чахотке; туда же отправил он и Лермонтова.

Приехав в Киев и осмотрев Дворянский институт, устроенный дворянами на собственный счет для своих детей, «Незабвенный» остался вполне доволен и тут же излил свою милость, повелев: «Институт преобразить в кадетский корпус»... Такая услуга оказалась медвежьей для дворянских детей и их родителей.

«Незабвенный» заботился об образовании; учебники строго просматривались, и по его желанию была составлена, при участии Я. И. Ростовцева,** программа обучения, от разработки которой высокообразованный, талантливый и честный профессор Т. Н. Грановский отказался и был за то на замечании у полиции.

«Незабвенный» ценил правду и, дабы не ввести в ошибку потомство, заказал присяжному историку Устрялову написать историю своего царствования и сам редактировал этот верноподданнический труд. Я видел сделанные его женским почерком поправки в экземпляре, доставленном отцу моему

* Передавал генерал-адъютант Бибиков; впоследствии граф П. Д. Киселев подтвердил справедливость этого рассказа.

** Начальник штаба военно-учебных заведений, сыгравший в истории декабристов невинную роль.[54]

Я. И. Ростовцевым. История, одобренная таким цензором, драгоценна своей правдивостью...

Несмотря на оказываемое покровительство литературе, «Незабвенный» не любил вольнодумства, а за ним и все ищейки находили запах вольнодумства в произведениях, которые прошли через все фильтры тогдашней подозрительной цензуры. Так, на Гоголя смотрели косо; Тургенева арестовали и сослали, Белинскому грозила худшая участь, если бы он не был вырван смертью из лап жандармов.

«Незабвенный» император, по примеру своего брата Александра I, неутомимо разъезжал по своим владениям и, так же как и он, без всякой пользы. Один умер в дороге, а другой свалился в овраг и сломал себе руку. По этому случаю «Незабвенный» слег в постель в городе Чембары и, когда начал выздоравливать, от скуки тешился прыжками своего пуделя из окна на улицу и обратно.

Вспомнив о чудесном спасении императора, верноподданное чембарское дворянство в собрании своем торжественно постановило: увековечить дом, где жил император, обратив его в церковь. Из спальни его сделать алтарь; в церкви поместить икону Николая Чудотворца, при которой в золотой лампаде должен гореть неугасимый огонь; на месте кровати, где покоился император, воздвигнуть престол. Что же касается окна, через которое любимый императором пудель забавлял больного, благоговейно сохранить его без изменений.*

О, жалкие рабы! Презренные людишки!..

Проезжая по Курской губернии, встреченный народом в праздничных нарядах, император объявил народу свое неудовольствие по поводу их национальных нарядов, которые казались ему уродливыми.

Еще забавнее было его отношение к народным песням. Николай Иванович Костомаров рассказывал мне, что, будучи сослан в Саратов, он поместил в Губернских ведомостях старинные песни. Неизвестно как, номера Ведомостей, где они были напечатаны, очутились на столе императора, который сделал следующую отметку: «Скверно, такие песни следует не распространять, а искоренять».

Этого было достаточно, чтобы началось энергичное преследование народной поэзии. Сидит, бывало, баба у ворот

---

* Так и было все сделано: свидетельствую о том как бывший с 1866 по 1869 год предводитель этого уезда.

убогого домишки и напевает, изливая свое душевное настроение, и вот на нее налетает полицеймейстер, в сопровождении казака с пикой, и грозно требует замолчать и впредь никогда не петь — на то имеется высочайшее повеление.

В Малороссии бандуристов, кобзарей и лирников беспощадно преследовали и секли.

«Незабвенный», напуганный декабристами при вступлении на престол, а затем так называемыми бунтами на Сенной площади, в военных поселениях и восстанием в Польше, ужаснулся при виде движения проснувшейся в 1848 году Франции, вообразив, что это движение будет повторением ее первой революции и разольется по всей Европе, уничтожая престолы. И тут, как призванный богом, он счел своей обязанностью положить преграду разливающемуся духу свободы и подавить стремление народов к самоуправлению. С этой целью он послал своего фельдмаршала с сотнями тысяч русских воинов спасать Австрию. Австрия была спасена русской кровью. Чудовище под именем «свободы, равенства и братства» было уничтожено. Европа затихла, но яд чудовища брызнул в Россию, и здесь, в этом беспредельном царстве с многомиллионным населением, нашлись люди, в числе двадцати трех человек, интересующиеся научными вопросами и знакомые с учением социалистов и фурьеристов. Эти двадцать три человека не дали покоя императору; они были заключены в крепости и приговорены к смертной казни военным судом.[55] Но, когда они, привязанные к столбам, ожидали команды стрелять в них, явился курьер с благодетельным императорским помилованием и дарованием осужденным жизни в рудниках Сибири и арестантских ротах. Как по нотам разыгралось это постыдное издевательство над жизнью людей; эта глупая и безжалостная трагикомедия. Нервы «Незабвенного» были потрясены: всюду его преследовали видения бунтов и заговоров; если даже встречаемое им лицо не весело смотрело на него, то и оно казалось ему подозрительным.*

Бывали случаи, когда на «незабвенного» императора находило смирение. С наступлением двадцатипятилетия его царствования граф Клейнмихель (достойный ученик Аракчеева)

---

* Для ограждения от вредного влияния Европы на заграничные паспорта была наложена плата 500 рублей в год.

издал заказанный им в Берлине эстамп, изображающий раздвинутый занавес и в облаках портрет «Незабвенного». Двадцать пять звезд, означающие двадцать пять лет царствования, составляют венец; ангелы умильно на него глядят; на авансцене, перед перилами, духовенство в полном облачении, стоя на коленях, кадит ему и молится... Клейнмихель (Klein-Michel) [56] оправдал свой девиз: «Усердие все превозмогает».

Вскоре этот эстамп, по скромности государя, был изъят из продажи.*

Скромность императора проявилась и в другом случае, когда он, посетив выставку Академии художеств и увидя свой мраморный бюст в лавровом венке, собственноручно отбил молотком кусок венка, сказав: «Еще рано».

С благоговением, млея от восторга, взирали на это смирение императора профессора Академии.

В наивной уверенности и сознании своей силы «Незабвенный» нанес личную обиду императору Наполеону III,** а в лице его Франции. Наполеон и нация этого не забыли, и это немало способствовало возникновению Крымской войны.[57]

Когда обострились наши отношения с Турцией, «Незабвенный» отправил в Константинополь «умного» князя Меньшикова, который своей дерзостью и заносчивостью оскорбил Турцию. Возникла война, искусно подготовляемая Англиею, и «Незабвенный» император оказался одураченным.

Объявляя войну, «Незабвенный» издал манифест, грозя миллионом штыков соединившимся против нас Турции, Франции, Англии и Сардинии, и заключил его словами: «Разумейте, народы, и покоряйтесь, так как с нами бог».

Безграничная вера императора в свое могущество отразилась на обществе и литературе: появились хвастливые стихи; в одних осмеивалась Англия, «покоряющая Русь на карте указательным перстом»;[58] в других — требовали от Европы, чтобы ее народы сняли шапки и пали на колени перед мощью России... В обществе господствовала уверенность, что неприятель настолько ничтожен, что без оружия мы его унич-

---

* Нелишним будет сказать, как это случилось: я видел в окне магазина Дациаро на Невском проспекте этот эстамп, приятель наш граф Уваров узнал об этом, тотчас же его купил. Об этом эстампе я рассказал графу А. К. Толстому, который поехал в магазин и, купив эстамп, повез его к наследнику, и в тот же день эстампы были отобраны в магазине.

** Не называя его, по обычаю, братом в официальных сношениях.

тожим, закидав шапками. Россия верила в неотразимую силу казацкого кулака.

Вышло не то!.. К удивлению всех и самого императора, неприятель не испугался ни миллиона штыков, ни кулаков, ни шапок наших, и спокойно подошел к России. Он взял крепость (Бомарзунд), завладел Аландскими островами, подошел к Белому морю, Камчатке и Дунаю; бомбардировал Одессу, явился к Кронштадту, вызывая наш сгнивший флот на бой. Затем он высадился в Крыму, разбил нашу армию под Альмой; принудил нас затопить наш Черноморский флот и, обложив Севастополь, громил его, истребляя ежедневно тысячи воинов.

Грозящий, самоуверенный император увидел свою слабость и одиночество. Австрия, в благодарность за свое спасение, приготовилась нанести нам удар в бок; родственная Пруссия едва не примкнула к врагам. Пришлось созывать ополчение и вооружать его негодными ружьями и топорами. В империи в такой важный исторический момент не оказалось годного оружия и путей сообщения — всюду хаос и воровство.

Император сознал ошибку своего продолжительного царствования и впал в уныние. Смущенный, он ежедневно молча смотрел на неприятельский флот под Кронштадтом, надел солдатскую шинель, худел, слабел и умер от стыда и огорчения.

В заключение, следует сказать, что личность императора Николая I сложная. В нем отразилась глупость Петра III, сумасшествие Павла I и лукавое лицемерие Екатерины II. В политике он слепо подражал плохой политике своего брата Александра. Он слепо верил в свое избрание богом. Запуган был декабристами и видел врагов, где их нет. Он был продукт семени и той почвы, на которой вырос. Сын века, как и все мы.

Новый император, Александр II, сознавал невозможность продолжать борьбу и полную несостоятельность России. Ему легче было вступить в мирное соглашение с неприятелем, чем покойному отцу; и он приступил к этому немедленно, начал заигрывать с Наполеоном введением в армии кепи и красных штанов, в подражание французам, и сам облекся в такую форму раньше всех. Заигрывание послужило в пользу; состоялся мир и даже дружеское лобзание нашего императора с Наполеоном в Париже.

Но послужил ли сыну урок, данный отцу относительно вооруженной силы империи и отношений к Европе?

Вполне сознаю, что Александр II дал толчок России к прогрессу и обессмертил себя такими заслугами перед отечеством, как освобождение крестьян от крепостной зависимости, уничтожение кантонистов и откупов, введение гласного суда и общей воинской повинности, устройство железных дорог и пр. Но армию он пересоздал недостаточно и отношений своих к Европе не понял.

«Незабвенный» оберегал себя и соседей от либерализма, а сын хотел прослыть освободителем не только своего народа от рабства, но освободителем всех славян, и неудачно козырнул, начав из-за этой идеи войну с Турцией, и только тогда увидел, что Турция вооружена лучше нас. Распоряжения наши оказались неудачными: император со своей свитой едва не был отрезан неприятелем; войско гибло от безурядицы; и неизгладимый позор и грех лег на совесть императора за преступное дозволение штурмовать Плевну в день своих именин. Отбитый штурм кончился кровавым истреблением тысяч храбрецов в то время, когда именинник со своими приближенными опустошали дюжины бутылок шампанского.*

Война с Турцией доказала, как ошибочно и этот император понимал отношения свои к Европе, разрушившей его планы и сделавшей дорогую и кровавую войну бесполезной для нас. Его плохое понимание политики видно из того, что он допустил разгромить Францию и дал возможность Германии сделаться грозным для нас соседом.[59]

Разумно и добро начатая внутренняя политика Александра II изменила направление и пошла назад. Постепенное осаживание стремлений общества к освобождению от деспотизма порождало в императоре неудовольствие и отпор, а в обществе ропот и негодование, приведшее к заговорам и убийству императора.

Россия не забудет и Александра III, который, как медведь, пролежал в берлоге, несмотря на выпускаемых на него для травли лаек,[60] терпеливо молчал, оберегая жизнь народа[61] и деньги, и, усиливая сеть железных дорог, связал отдаленные берега нашего Дальнего Востока с центром России.

---

* Факт передан мне был художником В. В. Верещагиным, который изобразил императора, наблюдавшего за событием. Пирамиду, сложенную из шампанских бутылок, ему пришлось в картине уничтожить.

Относительно его взгляда на требование народом своих прав следует сказать, что отголоска к этому у него не только не было, но употреблялись все средства к подавлению.

В администрации, в науке, литературе ему служили надежными тормозами граф Д. Толстой, Победоносцев и Катков.

Тюрьмы, казни и ссылки тысячами порождали более и более недовольных, грозящих и ему, как отцу его, убийством, если бы естественная смерть не подоспела.

В таком состоянии принял наследство император Николай II.

Положение его было трудное и становилось еще труднее, когда явился назревший, грозный рабочий вопрос, ставший лицом к лицу перед ним со своими нуждами и требованиями.

Не лучше ли будет в царствование Николая II? Не повторит ли он ошибки деда и прадеда?..

Не сомневаюсь, что храбрецы и военные таланты найдутся и в настоящее время... Но найдутся ли послы неподкупные и прозорливые, деятельные, всею душой любящие Россию, зорко следящие за сокровенными планами других держав, не поддающиеся лживым и льстивым речам, понимающие подлое шулерство, окрещенное именем политики?.. Найдутся ли военные агенты, неподкупные, назначенные не по протекции и связям, знающие дело, следящие за тайнами новых смертоносных изобретений?.. Найдутся ли точные исполнители правительственных распоряжений?.. Оденут ли наконец войско умно, просто, дешево и практично, бросив шутовские, парадные, бессмысленные и дорогие наряды, как бросили парики, косы и пудру. Не подлежит сомнению, что русское войско может стать в уровень с европейским, и это доказал богатырь Петр I, создав армию и флот из ничего и одолев своих учителей и лучшее войско, предводительствуемое лучшим полководцем того времени. Но для этого надо работать, как работал Петр, не заниматься игрою в солдатики, не гнаться за призраками, как гнались дед и прадед нынешнего императора. Следует помнить урок Петра, его завет, его пример; помнить данную присягу при вступлении на престол и всецело отдаться нуждам отечества. Военные должны, как Суворов, приучать солдат к бою и походам в мирное время. Не следует никому поручать начальство за выслугу лет, не давать власти ни по военной, ни по гражданской части привилегированным людям, как, например, великим князьям, ежели

они не вполне специалисты того дела, которое поручается им. При этом они должны быть более, чем кто-либо, строго ответственны перед законом. Следует поручать дела не только людям усердным, но и способным и знающим.

При таком порядке Россия не попадет в политическую ловушку, будет расти и крепнуть. Прежде всего следует дорожить каждой каплей русской крови, которая может быть пролита только за самостоятельность, просвещение и благосостояние отечества.

Поживем и увидим, что будет. А пока мы видим собирающиеся грозные силы со всех сторон. Миллионы войск всех наций вооружаются; границы государств укрепляются; быстро умножаются морские силы с подводными лодками; изобретаются дальнобойные и скорострельные ружья и пушки, взрывчатые снаряды, удушающие газы, послушные воздухоплавательные корабли; беспроволочные телеграфные сообщения, телефоны, дающие возможность разговаривать на расстоянии тысяч верст. Образуются союзы народов друг против друга, и всюду общее недоверие. А тут еще вырос и предъявил свои требования рабочий вопрос! Грозные тучи облегают землю, слышатся отдаленные раскаты,— пахнет порохом и кровью. Чем все это кончится? Чего ожидать?..

XVII

1855 год.
Линовица. Ольга. Маня [...]

Все лето я провел приятно в Линовице и занимался работой, живя в особом флигеле. Одна из девушек, Ольга, с которой я делал рисунок акварелью, мне понравилась, и я мало-помалу сближался с нею. Она была одних лет с Маней (дочерью де Бальменов), и я имел к ней более симпатии, чем к Мане. Она мыла мне кисти, приносила их во флигель и случалось ее поцеловать, так как я замечал и ее склонность ко мне,— и только. Все это могло кончиться мимолетным увлечением, но могло кончиться и иначе.

Свидания наши становились чаще и продолжительнее; отношения серьезнее; с ее стороны была беззаветная привязанность, и мое сердце билось не на шутку, а мысли начали

создавать план дальнейших отношений с нею... Походить на Закревского или Буфиуса я не мог, необходимо было покончить дело честно. Высказать свою тайну кому-либо я находил несвоевременным; следовало проверить себя и Ольгу и тогда, выждав удобный случай, объяснить все де Бальмену, на добрый и дружеский совет которого я вполне рассчитывал.

Между тем отношения мои с де Бальменами были вполне дружеские и, по желанию родителей, я начал давать уроки рисования Мане. Нас часами оставляли одних; лето было жаркое, и Маня была одета в легкое платье и порядочно декольтирована. Часто мы долго с нею гуляли в отдаленных местах сада и сидели рядом.

...Я нередко замечал ее загорающееся лицо, и дело могло зайти далеко. Дома Сергей Павлович рисовал для меня любовные сценки, в которых женская фигура напоминала его дочь; мать говорила о столовом серебре и деньгах, оставленных Мане ее бабушкой в приданое. Однажды, сидя вдвоем на скамейке в глуши сада, я прервал разговор, коснувшийся сердечных мотивов, и предложил руку Мане, чтобы идти домой, под предлогом, что мне надо работать. В сопровождении собачки Крошки и серой сибирской кошки отправились мы к дому, почти молча и сконфуженные. [...]

Настала осень, и де Бальмены собрались в Киев на зимовку. Я обещал приехать к ним, но решил еще некоторое время остаться в Линовице для записывания песен и сказок.

Усевшись в экипаж, де Бальмены весело ехали, разговаривая со мною, а я провожал их верхом до почтовой станции Махновки, где дружески простился с ними, и, повернув коня, поскакал домой, наслаждаясь свежим и ясным осенним днем. Ольга тоже была увезена в Киев.

XVIII

1855 год.
Поход со стрелками. Возвращение в Линовицу.
Песни дивчат; записывание рассказов и сказок.
Выезд мой в Киев на зимовку.

В конце октября я получил уведомление от отца, а затем и брата моего Владимира, который поступил в только что сформированный полк стрелков императорской фамилии,[62] что полк этот идет в Одессу и к такому-то числу должен быть

в Ахтырке. Я отправился на встречу брата. Наступила зима, и я в черном малороссийском бараньем полушубке и такой же шапке, с палкою в руках, часто выходил за город, поджидая полк, который, наконец, показался. Впереди шла группа офицеров и с ними главный начальник — мой дядя Лев Алексеевич Перовский, вступивший в полк; тут же был и командир роты его величества граф Алексей Павлович Бобринский, тоже преобразившийся из тульского предводителя дворянства и сельского хозяина в военного, как и мой брат Владимир. Но Алеши Толстого с ними не было, оказалось, что он остался с матерью в Петербурге и должен приехать прямо в Одессу.*

Меня сначала не узнали, но, конечно, мы с братом встретились с радостью и болью в сердце и расцеловались.

С Ахтырки полк продолжал свой путь уже без Перовского, я следовал с полком две недели; иногда ехал верхом на чудном башкире Алеши Толстого, которого ему выслал из Оренбурга Василий Алексеевич Перовский.** Иногда я уезжал вперед, на место дневки или ночлега, чтобы приготовить квартиру для брата и устроить все нужное для еды и отдыха. Шли мы весело, дружно, шутили, смеялись, но у всякого на душе была тяжесть и в голове нерадостные думы. Однажды случилось мне провести полк сокращенным путем через степь, по которой я знал дорогу. Полк был молодецкий и состоял из сибирских стрелков; был вооружен не кремневыми ружьями, как прочие ополченцы, а штуцерами, и одет в первый раз по-русски и со смыслом, по наброскам Алеши Толстого и моего брата Владимира.

Всю дорогу шли с песнями, которые имели особый оттенок и сибиряками пелись прекрасно, а я на дневках пел малороссийские песни по желанию брата и его товарищей.

16 ноября в Кременчуге, при переправе полка через Днепр, я с грустью простился с братом и его товарищами и вернулся в Линовицу, в свое гнездо.

18 ноября 1855 года, в ясное морозное утро, въехал я на двор господского дома. Дивчата выбежали ко мне навстречу, кто в чем был, с радостными криками. Весь дом как бы проснулся от своего сна. Собаки, завидев меня, подняли веселый лай и визг и едва от радости не откусили мне носа. Вот я опять под мирным кровом дружески расположенного ко мне семейства.

* Мой двоюродный брат граф Алексей Константинович Толстой.

** Тогдашний генерал-губернатор.

Наши отцы и деды были очень недальновидны. Мне часто случалось бывать в барских домах по деревням и всегда я говорил сам себе: «Стоило ли делать столько денежных затрат и столько трудиться на постройку этих громадных хором?» Так и в селе Линовице. Строитель дома был человек богатый; но детям его досталось состояние раздробленное, и нынешнему хозяину Линовицы едва достает средств на поддержание отцовского дворца в приличном виде. Большая часть комнат не отапливается; снаружи карнизы опадают; крыши покрыты ржавчиной, штукатурка осыпается; дождевых труб давно нет; в доме сыро; везде пропасть мышей; а в подвалах живут побродяги-собаки и выводят щенят. Что будут делать с этой усадьбой наследники, когда и нынешний достаток помещика еще больше уменьшится? Вся усадьба обнесена каменной оградой с деревянной решеткой. Решетки уже нет: ее разрушило время и разнесли добрые люди. Ограда осыпалась и покрылась мхом. Все на дворе пришло в ветхость и заросло желтой и белой акацией.

Возвратясь сюда из своей поездки, я застал только двух близких родственниц де Бальменов, которые живут здесь безвыездно. Все мои художественные принадлежности увезли хозяева в Киев, и потому, не имея ни красок, ни кистей, ни карандашей, я не мог приняться за работу. Между тем, по некоторым обстоятельствам, я должен был прожить с неделю или более в Линовице. Что мне было делать? Приходилось поневоле вести праздную жизнь. Утром я и проживающие здесь родственницы де Бальменов пили чай или кофе. Собаки и кошки дрались или играли вокруг нас, а иногда, сытые и мирные, располагались греться у огня. Одна только ручная курица вечно надоедала нам, вскакивая на стол, таская у нас хлеб и проливая чай. После завтрака я уходил в девичью, наполненную швеями по канве, кисее, бархату и по чему угодно, швеями всех возрастов, от десяти до двадцати пяти лет, и мне пели песню за песней.

Я более всего люблю народные песни, особенно малороссийские. Для меня что-нибдуь одно — или слушать самые высокие музыкальные произведения, или просто народную песню. Народная песня как в словах, так и музыке полна чувства, мысли и притом необыкновенной простоты. Нет в ней лишнего слова, нет лишней ноты. Это нечто вполне самобытное; из народной песни всегда может черпать высокий талант. Как часто случалось мне слышать в музыкальных композициях людей с именем какой-нибудь один легкий и недур-

ной мотив, а затем ровно ничего нового. Этот мотив поворачивают во все стороны: то осветят так, то иначе, займут слушателей, а, в сущности, это безделица и только повторение и размазывание того же впечатления. Народная поэтическая речь всегда сжата, всегда выскажет только необходимое, и ни слова больше. Здесь нет подделки, нет обмана для наших чувств. Умейте только наслаждаться народной поэзией, как природою.

Пение народное бывает двух родов: иногда песня напевается, иногда поется. Певец сидит за работой; он задумался; мысли его бог весть где, и он едва внятно напевает легкую для голоса песню. От одной он незаметно переходит к другой, напевает час, два, три и не устает, как мы не устаем мыслить; прервите его, и он не скажет вам, о чем пел. Но тот же самый певец, если он возбужден какими-либо исключительными обстоятельствами, дружеской беседой или находится под влиянием оживляющей его личности, то он споет вам ту же самую песню так, что вы ее не узнаете. Его ум, чувства, все запоет в нем до последней жилки, и часто случается, что он прерывает свою песню плачем.

Я вспоминаю по этому поводу то, что произошло в Линовице. Дивчата помещичьего дома, в котором я прожил немало времени, полюбили меня; я с ними был в дружбе и настолько приучил их к себе, что они пели при мне непринужденно, при мне передавали друг другу деревенские остроты и шутили со мной почти как с парубком. Я уехал; хозяева дома тоже; остались только: старушка лет восьмидесяти да сестра хозяйки, которая смотрела за работой дивчат, именно за шитьем в пяльцах. Вот жизнь в швейной сделалась скучною. Сидят дивчата над узорами по большей части молча; шутки прекратились; каждая задумывается о себе и о своей участи. Сперва становится грустно одной, потом другой; а так как душа душу чует, то скоро грусть охватывает всех. И вот которая-нибудь из дивчат запоет:

Моя матинько, моя голубонько!
Як мені жити, як доживати?..

К ней присоединяется другая, третья, и песня мало-помалу превращается в настоящий плач.

Каждая из них припоминает свою потерю, свое горе, и все поют и плачут до тех пор, пока общее рыдание не прервет песни. Их унылые голоса несутся без слов по опустелому господскому дому и наводят на двух живущих в нем женщин

такую тоску, что бедные не знают, куда деваться. Когда я приехал, дивчата развеселились; песни приняли другой характер: пошли жарты и хохот, и уже песня «Моя матынько» напевалась со смехом, без импровизации; и ничего из нее не выходило. Перед моим отъездом в Киев я старался опечалить дивчат, в чем и успел отчасти, потому что мне самому было грустно покидать этот милый и поэтический уголок. Сначала девушки смеялись; потом пели только две, другие слушали в задумчивости и начали одна за другой плакать. Но вдруг певицы прервали свое пение и расхохотались: им не хотелось раньше времени поддаваться грустному настроению. Когда я вздумал было записать песню, никто из них не мог ее продиктовать мне: слова рождались и складывались у певиц в порыве тоски.

Приведу другой пример такого же отношения слушателей из народа к песне. У меня служил натурой хлопчик (мальчик), а бандурист, по обыкновению, сидел в моей рабочей комнате и напевал всякую всячину под свою бандуру. Пришли ко мне двое из хозяйских гостей (это происходило у Галаганов в Сокиренцах), именно: Николай Аркадьевич Ригельман и Иван Сергеевич Аксаков, и заставили бандуриста спеть какую-то думу. Хлопчик слушал внимательно, потом лицо его начало дергать, и он при всех заплакал.

Еще случай. Я был на ярмарке в селе Скрибном, Прилуцкого уезда, и рисовал толпу, собравшуюся около лирника. Народу было множество; в толпе было семейство Григория Павловича Галагана и другие паны. Все внимательно слушали думу. Лирник пел о побеге трех братьев из Азова, и мы видели, как парубок плакал и утирал рукавами слезы.

Возвращусь в Линовицу. Итак, я проводил много времени в швейной. Мне пели дивчата, я записывал и расспрашивал о том, что относится к песням, или, лучше сказать, к выражаемой песнями жизни народа. Так продолжалось до обеда. Во втором часу приходила из села прислуга (в господском доме лакеи не живут) и подавала нам обедать. Тут начиналось кормление зверей: надобно было накормить большую легавую собаку, маленькую левретку, собачонку со щенятами, двух кошек и курицу. Курица, бывало, взъерошится, кричит, загонит легавую собаку под диван. Та грызет под диваном кость и рычит на всю комнату. Кошка подкрадывается к тарелке, курица хватает с вилки картофель, который только что хочешь положить себе в рот. Визготня, лай, пры-

ганье, ворчанье, мяуканье — все, что для непривычного человека показалось бы бог знает чем. Но нам нравилась такая суматоха; мы спокойно вели между собою простую беседу, смеялись и мирили животных. После обеда я уходил к себе во флигель. В сумерки дивчата оставляли господскую работу; жартуют со свечой между собой; иногда поднимут пляску, от которой идет гул по всему дому; потом играют в карты и бьют проигравшую жгутом по ладони, и вот, наконец, утихнут, шьют на себя разные разности и поют песню за песней.

Я провел, слушая их и записывая песни, несколько вечеров, а когда запас песен в швейной истощился, то мне пришло в голову приняться тем же порядком за сказки. Сказок записано было мною значительное количество как от дивчат, так и на селе от стариков. Одни из них были интересны, другие плохи, но я собирал все, рассчитывая, что и в сору могут оказаться жемчужные зерна.*

Покончив свои занятия, я задумал выехать в Киев, несмотря на сильные морозы. Метель была страшная, крыльцо занесло по колено. Под завыванье ветра и лай собак я заснул в своей комнате и видел во сне старого Чауса, у которого особенно часто бывал и записывал сказки. Снилось мне, что он караулит огород; никто не может подойти близко; собаки бросаются, лают, визжат и рвут на мне платье; прийдя к забору, я обороняюсь своей палкой и кричу деда. Проснулся... Глухая ночь, метель воет, рвется в ставни; чей-то стон замирает вдали.

Собрав свой небольшой багаж в сак и захватив холсты и начатые работы, я доехал до станции Махновки и отсюда в почтовых санях отправился на перекладной в Киев. Мороз был жестокий всю дорогу, у меня не было ни наушников, ни перчаток (которых не ношу и до сего дня), ни калош или валенок, о чем мне пришлось немного пожалеть. На одной станции мне посоветовали переночевать, так как нападают волки. Но это-то мне и желательно было видеть, и я продолжал путь. Ночь была лунная, дорога хорошая, и действительно, в одной лощине, окруженной кустами и камышом,

* Ни песен, ни сказок, записанных мною здесь, я не привожу, так как они помещены П. А. Кулишом во втором томе его «Записок о Южной Руси» (стр. 78—103).

нас преследовало пять волков, подбегавших очень близко к саням. Но мы проехали благополучно. Всю дорогу я поджимал ступни ног под себя и отогревал их на станции, пока перепрягали лошадей.

XIX

1856 год.
Мое пребывание в Киеве. Кулиш.
Художественный класс. А. Агин. Штром. Выезд в Одессу.
Одесса. Выезд из Одессы в Линовицу.

В Киеве я поселился в квартире П. А. Кулиша, который жил с женой и ее братом Николаем недалеко от Золотых Ворот. П[антелеймон] А[лександрович], как всегда, был за работой, и надо отдать ему справедливость, что мало встречал я таких неутомимых работников, как он. Жена его Александра Михайловна помогала ему перепиской. Я был встречен с радостью и дружески. Кулиш начал меня расспрашивать о моих занятиях и весьма был обрадован, когда я ему все рассказал и передал ворох записанных мною песен и сказок. Он все выслушивал внимательно и тут же записывал слышанное, как делал всегда. Результат наших бесед был сообщен им во втором томе «Записок о Южной Руси».*

Граф де Бальмен поселился не помню на какой улице, и недалеко от него жил Василий Васильевич Тарновский, о котором я упоминал выше, очень умный человек, которому дядя его Григорий Степанович Тарновский, умирая, передал свое весьма значительное состояние. Этот Тарновский, бывший прежде учителем, приятель Григ[ория] Павл[овича] Галагана, вместе с ним принимал впоследствии участие в Комиссии по освобождению крестьян. Григорий Павлович Галаган тоже проводил зиму в Киеве, где купил дом, и жил со всем своим семейством. С ним, как и в Сокиренцах, жили: его мать, сестра с мужем и детьми и одна из дочерей М. А. Маркевича, Надежда Михайловна, вышедшая замуж за брата жены Галагана Василия Васильевича Кочубея.

Итак, у меня было достаточно знакомых, чтобы приятно проводить зиму. К этому знакомству следует добавить про-

---

* т. II, стр. 4.

фессора истории при университете Платона Васильевича Павлова, профессора анатомии Вальтера, к которому я приносил собираемые мною в оврагах черепа и кости вместо визитных карточек. Этот Вальтер имел злой язык, насмешливый, остроумный, он знал замечательно хорошо свой предмет и при этом умом и лицом был похож на Вольтера,— как мы с графом де Бальменом и прозвали его.

Тогдашний попечитель университета Юзефович был хорошо ко мне расположен и дозволил мне заниматься в зале университета, где стояли античные статуи, а также и в соседней с нею комнате. Благодаря этому удобству, я мог кончать свою картину «Чумаки» и, кроме того, открыл здесь для себя и приятелей художественный класс, пользуясь живущими в то время в Киеве художниками А. А. Агиным и И. В. Штромом. Агин был тогда учителем рисования в кадетском корпусе, а Штром строил Владимирский собор.

Со Штромом у меня были часто разговоры и споры о народной архитектуре, и особенно малороссийской, но, наконец, он согласился по моим наброскам составить план и фасад каменного малороссийского дома, который вышел удачный, оригинальный, и Штром примирился со мной. Эти чертежи были мною подарены графу С. П. де Бальмену, так как ему приходилось делиться в Линовице со своим братом Александром, и в части, которая отходила Александру, предполагалось строить дом. Существует ли дом, построенный по этому проекту, сохранились ли чертежи — не знаю, так как прекратил давно всякие сношения с этим семейством.

Я просил профессора Вальтера читать нам лекции художественной анатомии, что он исполнял безвозмездно и вполне ясно, интересно и охотно, указывал и объяснял мускулы при разных движениях на голых натурщиках и антиках. Лекции посещались мной, Агиным и де Бальменом. По вечерам, при особо приспособленной лампе, мы рисовали натурщиков в костюмах карандашом, красками,— кому чем угодно. Жизнь шла тихо и прекрасно; из этого зерна могло развиться серьезное дело, если бы не помешали обстоятельства.

Александр Алексеевич Агин очутился в Киеве случайно. Он получил приглашение от богача Мальцева учить его детей рисованию, русскому языку и арифметике. Жилось Агину не по вкусу. Обращение Мальцева с прислугой и самим Агиным ему не нравилось; а когда Мальцев снарядил свой пароход и отправился на нем с детьми и учителем на юг России, то жизнь Агина на пароходе стала ему так невыносима в этой

компании, что он — нищий, как был, вышел на берег и более не возвращался. Я случайно узнал о пребывании Агина в Киеве, и так как мы были большие друзья, то тотчас же отправился его разыскивать и нашел в маленькой комнатке, в дрянном трактире на чердаке, сидящим на столе в нижнем белье и штопающим платье. Расцеловались и объяснились.

— Ну, что же ты, друг мой, делаешь и как попал сюда?

— Да что, брат, как видишь,— штопаю штаны; приходится сегодня кое-куда пойти.

Тут он вынул табакерку, взял медленно щепотку, понюхал и продолжал свою работу.

— А как ты очутился здесь?

— Так... Это, брат, целая история...

И он рассказал мне свое житье у Мальцева и как он бросил его неожиданно для них.

Агин был чрезвычайно ленив.[63] Бывало, приду к нему, а он раздетый, в одном белье, сидит на столе и точит свой кинжал или опять что-либо штопает. В его судьбе приняли участие И. В. Штром и Федор Васильевич Чижов и пристроили его учителем в корпус. Впоследствии я потерял Агина из виду и случайно узнал, что он был помощником начальника станции на Курско-Киевской железной дороге и там умер. Жаль его. Это был большой талант; художник с умом и чувством. При других обстоятельствах из него вышел бы другой человек, и он имел бы серьезное значение в истории нашего искусства. К сожалению, письма его ко мне, иногда весьма подробные и интересные, пропали.

Само собою разумеется, что я беспрестанно бывал у Галагана, обедал у него ежедневно и забавлялся с его сыном Павлусем, уже бегавшим и говорившим; на него не могли достаточно нарадоваться родители, бабушка и все, кому впоследствии он причинил столько горя своей преждевременной смертью. Память о сыне, как известно, Галаган увековечил учреждением коллегии его имени.

Кулиш в это время собирал материалы для издания второго тома «Записок о Южной Руси». Александра Михайловна (его жена) очень характерно пела малороссийские песни, что делал иногда и ее брат. У Кулиша я познакомился с М. Грабовским, к которому мы обещали приехать в имение и который купил у меня моих «Чумаков» и «Лирника».

Однажды я встретил в Киеве лирника, от которого записал тогда же весьма интересную балладу про «Бідного Ки-

рика, попа и алчущую попадью». Кулиш был очень доволен этим оригинальным народным произведением. Нередко я бывал у Василия Васильевича Тарновского, и в присутствии многих просили меня спеть, и я пропел две-три песни малороссийские и был порадован тем, что у хозяина пробились одна за другой слезы, а я был осыпан похвалами. Он сказал, что в первый раз слышит так ясно и осмысленно переданную народную песню.

Я ходил постоянно в своем черном полушубке и черной бараньей шапке, с палкой, и никогда на извозчиках или в экипажах не ездил. Засиживался иногда до позднего вечера, иногда до ночи, и отправлялся на ночь на квартиру Кулиша в свою комнату. [...]

Так я прожил зиму; все шло хорошо и покойно, как вдруг письма от отца и тетки, графини Анны Алексеевны Толстой; оба меня просят поехать в Одессу, где Алексей Толстой и брат мой Владимир лежали больные в тифе.[64] Я тотчас же решился ехать, но выехать было трудно. Чтобы получить подорожную, я отправился к губернатору Гессе, своему знакомому, прося дать мне подорожную по казенной надобности. Но Гессе в настоящее время, при сильном разъезде по случаю войны,— когда с подорожными явились разные строгости,— совершенно отказался от выдачи казенной подорожной, а с частной не было никакой возможности выехать. По справке оказалось, что на станции собралось до пятидесяти человек с подорожными и нет лошадей, что военные с казенными подорожными ждут уже второй день своей участи. Как быть? Я расспросил у Гессе, нет ли в Киеве кого-либо из военных властей, и узнал, что есть какой-то важный артиллерийский генерал, и я отправился к нему. Это был старик, весьма представительный, беседовавший за кофе после обеда с другим генералом и, к счастью, с моим знакомым, также артиллерийским генералом, приехавшим из действующей армии на короткое время — Крыжановским. Моя просьба у старика генерала состояла ни более ни менее, как в том, чтобы он выдал мне до Николаева курьерскую подорожную в действующую армию, так как важнее такой подорожной могли быть только подорожные, выданные с той же целью военным министром, или курьерская по высочайшему повелению. От моей просьбы у почтенного воина вырвался искренний хохот. Но такова сила молодости и горячности убеждений, что у него явилось колебание и, наконец, хотя не он, а Крыжановский выдал

мне такую подорожную, под условием, чтобы я, по приезде в Николаев, лично передал ее в руки коменданту, который должен был удержать ее у себя и передать в руки самому Крыжановскому, когда он будет возвращаться в Севастополь. Я купил себе форменную артиллерийскую фуражку — и с маленьким дорожным мешком и пледом, в том же своем неизменном дорожном пиджаке и пр., в семь часов вечера на перекладной катил в Николаев.

На станциях мне приходилось встречать молодых офицеров, возвращающихся из Севастополя, и я был поражен старческим выражением их лиц. Не мудрено!.. так много они видели вокруг себя смертей, страданий, ужасов и превратностей судьбы; столько было ими пережито и перечувствовано в несколько месяцев, сколько другой не видел и не перечувствовал до старости. Глубокие следы отпечатала жизнь на этих юношах. [...]

Я попал в Одессу очень скоро и остановился в доме Кондыбы, не помню, на какой улице. Дом, в котором жили брат и Толстой, был довольно большой, каменный, в два этажа, с просторным двором, посреди которого была цистерна. В то время Одесса была не то, что теперь. Пыль страшная, не было человека, который не болел бы глазами; у меня впоследствии тоже заболели глаза от известковой пыли, которая неслась по всей Одессе.

Я застал брата Владимира уже выздоровевшим, обритым; Бобринского тоже выздоровевшим и обритым; Алексея Толстого еще лежащим в тифе и около него любимую им Софью Андреевну Миллер, жену полковника, на которой он впоследствии женился. В другой комнате лежал в тифе офицер того же полка Ермолов, бывший мой товарищ по Пажескому корпусу, и выздоравливающий от тифа поручик Алексеев, помещик Тульской губернии. Болезнь шла обычным ходом; народ в полку вымирал, и полк таял.

Во время болезни Алексея Толстого Софья Андреевна постоянно была при нем, так же как брат Владимир и я. Стол держали общий, и когда больные выздоравливали, то мы завтракали и обедали вместе. Очень часто посещал Толстого граф Строганов, бывший в то время генерал-губернатором или чем-то в этом роде. Это был весьма милый собеседник.

Здоровье Алексея Толстого становилось лучше с каждым днем. Помню, с каким удовольствием я усадил его в коляску

в первый раз по выздоровлении, еще не совершенно окрепшего, и повез покататься к морю; он был в восторге, вдыхал полной грудью воздух, но утомился. Впрочем, он скоро вполне поправился, и я с ним отправился гулять, а куда?.. Куда могла увлекать нас только безрассудная молодость... между прочим, в каменоломни, где бывали грабежи. Он и я запаслись свечами, спичками, и так как я там бывал и слышал о случившихся там несчастных приключениях, то запасся револьвером, а Толстой хотя и взял револьвер, но надеялся более на охотничий нож, который, как он говорил, не изменит. Одно его смущало — что он не чувствовал в себе той силы, которою обладал прежде. Подойдя к пещерам каменоломен, мы зажгли свечи, вооружились и отправились внутрь. Но — увы! исходив пещеры в разных направлениях, попадая то в ямы, то в лужи, мы ровно никого не нашли и, пристыженные, разочарованные, с досадой вернулись домой. Часто мы сидели у моря и мечтали; еще чаще сидел я один и мечтал, зарисовывая и записывая впечатления, которые охотно бы теперь пересмотрел и прочел, если бы они были целы.

В Одессе я тоже, как и в Киеве, нашел лирника с поводырем — хлопчиком малороссом, и от них записал все, что можно было извлечь. Я всегда записывал с величайшею точностью, предполагая, что рано или поздно (быть может) записки мои пригодятся для справок. Здешнее наречие несколько разнится с речью Полтавской губернии и теми местами, в которых я жил. Лирник был стар, память ему изменяла; и он помнил хорошо только песни духовные [...]

Дни шли за днями, и вдруг... получено было известие о заключении мира. Сильно возмутились кругом меня все. Что касается меня, то я был в полной радости, что положен конец этому ужасному истреблению людей, которые доходили до озверения, так как нередко случалось находить после битвы врагов, вцепившихся друг в друга зубами. Я был в полном разочаровании в способности нашей вести борьбу с Западом; видел всю неурядицу и безобразие нашего строя. Разговоры были горячи не в меру и доходили нередко до колкостей; однажды я так сцепился с графом А. П. Бобринским и наговорил ему,— не помню, что именно, но настолько задел его, что он вызвал меня на дуэль, которая благодаря Алексею Толстому и брату Владимиру не состоялась и кончилась мировой.

Встретил я в это время в Одессе профессора Киевского университета, старого знакомого, доктора Меринга,* который был командирован в Константинополь для изучения военных госпиталей.

— Ну, что там, хорошо ли лечат?

— Тоже не хорошо; но разница та, что они дают больным уменьшенную дозу, например, хинина, потому что он дорог, а у нас дают вместо хинина березовую кору...

Здоровье брата и А. Толстого совершенно поправилось; они выкарабкались счастливо из беды, но полк пострадал сильно; офицеры переболели все, кроме трех-четырех, а в полку осталась в живых едва одна половина, и это от болезни, без сражения!..

Наступила весна, и меня, как журавлей, потянуло в степь, на приволье. Я скоро снарядился, отказавшись от плана ехать с Толстым, братом, Софьей Андреевной и Бобринским в Крым, и нашел себе попутчика, генерала Копьева. Ехали мы опять-таки на долгих (вольных ямщиках). Путь был приятный, спутник спокойный.

Копьеву предстояла дальняя дорога в Петербург через Кременчуг, и отсюда уже на почтовых. Я тоже взял почтовых, но свернул на Лубны и Пирятин — в Линовицу; так как у меня не было подорожной, то выручали двойные и тройные прогоны. Досадно было и обидно видеть, как воины, едущие на излечение своих ран или взявшие отпуска к родным, живут на станциях не только часы, но дни и недели, не имея возможности получить лошадей. Отпуски у некоторых кончились, прогоны прожиты и двинуться далее не было возможности. На одной станции я видел массу засидевшихся офицеров, которые телеграфировали губернатору, что прогоны проели и не могут продолжать путь; но и с помощью губернатора они все-таки не скоро выбрались отсюда. [...]

Встреча с моими друзьями, хозяевами Линовицы, была радостная. Начались беседы, прогулки, работы, пенье и... тайные свидания с Ольгой, которая так нетерпеливо меня ожидала.

---

* Он прежде был домашним доктором в Сокиренцах и Дехтярах у Галаганов.

XX

1856 год.
Приход стрелкового полка в Линовицу.
Мой выезд в Киев к А. Толстому.
Приезд мой в Красный Рог.

Я получил известие, что стрелковый полк императорской фамилии, возвращаясь через всю Россию из Одессы в Петербург, направил свой путь в Линовицу. Де Бальмены засуетились и задумали принять полкового командира и офицеров у себя и угостить. Я выехал к полку навстречу вместе с хозяином, познакомил его со всеми; а затем, после обеда, устроена была стрельба из штуцеров в цель и вечером танцы. Маню приодели, и она была очень эффектна. Ни Толстого, ни брата Владимира, ни Бобринского не было, они в это время осматривали неприятельский лагерь и объезжали южный берег Крыма.

Вскоре я получил письмо от Алексея Толстого, что он возвращается из Крыма и будет меня ожидать в Киеве. Я тотчас отправился туда и свиделся с ним, Софьей Андреевной Миллер, сестрою ее мужа Катериной Федоровной и женихом ее, бароном Розеном.*

В Киеве мы провели несколько дней, рассказывая друг другу о прожитом во время нашей разлуки. Были чудные теплые дни и лунные ночи; мы просиживали и дни и ночи в городском саду, над берегом Днепра. В то время здесь не было еще ни дворца, ни театра, сад был запущен и этим нравился нам. Публики в нем, особенно ночью, не было. Я рассказал А. Толстому и Софье Андреевне о моих отношениях к Ольге, и планах, как устроить ее судьбу, и встретил с их стороны полное сочувствие [...]

Вскоре я простился с моими друзьями и дал обещание Алексею Толстому приехать к нему в Красный Рог, где ожидала его мать, любимая мною тетушка Анна Алексеевна.

На перекладной я приехал в первый раз в Красный Рог Черниговской губернии. Поместье это прежде принадлежало последнему малороссийскому гетману К. Г. Разумовскому. Меня очень интересовала усадьба, и я с большим вниманием

---

* Брат из Крыма поехал в Петербург к отцу.

подробно осматривал все. Дом был в отдалении от крестьянских построек, и въезд в усадьбу — через посаженные липовые аллеи гетманских времен. Между рядами посадок можно было свободно ехать в большом экипаже шестериком с форейтором и поворачивать, куда угодно. Я подкатил в своей телеге к панскому, когда-то гетманскому дому, окруженному липовыми аллеями; к нему прилегал сад. Это был охотничий дом К. Г. Разумовского, и сюда съезжалось немало гостей; экипажи их и собаки располагались в липовых аллеях близ дома, устроенных в виде зал, где всегда был чистый воздух и тень.

Посредине дома была столовая с куполом, которая освещалась сверху; а над нею был устроен бельведер, откуда открывался прекрасный и просторный во все стороны вид. Дом был выстроен из дерева по плану известного архитектора графа де Растрелли, как он подписывался. В доме жила Анна Алексеевна с сыном А. Толстым, а я поместился в одном из флигелей, тоже деревянном, в котором находились: обширная библиотека, комната, занятая мною, и баня, которую любила Анна Алексеевна. Все было устроено просто и удобно.

Анна Алексеевна очень любила нашу покойную мать (сестру свою), и любовь ее перешла на нас. Много трогательных случаев я помню, которые ярко характеризовали ее беспредельно доброе сердце и расположение к нам.

Она была очень рада видеть меня и всею душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне Миллер, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала этой связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности С[офьи] А[ндреевны]. Не раз у меня с нею, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с С[офьей] А[ндреевной]. Я стоял всею душою за С[офью] А[ндреевну] и старался разубедить ее, но напрасно. Чуткое материнское сердце...

Что ж Алеша?.. Он любил обеих, горевал, и душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насаженном: он говорил, страдая и со слезами, о своем несчастии. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к С[офье] А[ндреевне], которую он

называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против С[офьи] А[ндреевны], несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого.

Пребывание мое в Красном Роге имело влияние на дальнейшую мою судьбу, именно потому, что тетушка Анна Алексеевна предложила мне 1000 рублей на поездку за границу. Толстой вполне этому сочувствовал. Время было уже не летнее. Задумав поездку за границу и радуясь возможности осуществить ее, я простился с дорогой всем нам Анной Алексеевной и с ее сыном и выехал из Красного Рога.

Я не знал тогда, что будет далее, и что время жизни Анны Алексеевны сочтено судьбою и что смерть ее стоит наготове...

[XXI]

1856 год.
Возвращение из Красного Рога в Седнев и Линовицу.
Поездка к П. А. Кулишу в хутор Зарог.[...]
Выезд из Зарога.

1856 год. Из записной книжки

Из Красного Рога я отправился в Седнев, чтобы навестить Лизогубов, где пробыл недолго, посещая своих друзей — цыган, зачерчивая их, слушая песни, любуясь на пляски. Тогда я записывал сказку, которую рассказывал мне цыган Ничипор про «Русского царевича — Малороссийского королевича».* Солнце светило ярко, но не грело. Наступила ранняя осень. Гуси пролетали мимо и, лапами разрезав поверхность едва замерзающей воды и проскользнув по ней, плыли с криком.

Лето минуло, и я ничего не сделал, тянул день за днем, в надежде что-либо сработать. Пройдет осень без дела, а там целый год и еще год — оглянешься и с ужасом увидишь, что прошла целая треть жизни.

---

* Сказка большая и очень интересная своею историческою древностью, переполненною чрезвычайной фантазией и волшебством. Она, как и много, много ценного, сгорела в 1905 году при разгроме Погорелиц.

...Кругом недурная картина. Солнце светит игриво, и тень горы падает живописно по лугам и деревьям, оставляя местами их верхушки освещенными.

Уже прошел год моего знакомства с Ольгой и как крепко завязал я узел и едва ли развяжу счастливо... Не знаю, от беспокойства ли или от другой причины, но только природа меня уже не приводит в восторг, не заставляет передавать окружающим своего впечатления, и я даже почти не чувствую ее: она мне кажется такою, какою должна быть; меня она не удивляет. У меня нет желания писать, искусство как будто для меня умерло. Оно мне кажется пустой забавой, и жизнь потеряла для меня всякий смысл. Лучшее, что мог бы я себе избрать, это поселиться в глухом местечке, с хорошенькой хозяйкой из простого сословия — жить жизнью патриархальною, завестись детками и сделать из них хороших людей. [...]

Из Седнева я возвратился в Линовицу. Отношения ко мне хозяев, дочери, старушки тетки, детей и близких соседей были самые хорошие; но особенно тепло относились ко мне Сергей Петрович и Мария Павловна.

Однажды ко мне зашли Сергей Петрович с Закревским с приглашением погостить у последнего, и мы по этому поводу разговорились довольно откровенно. Но едва коснувшись своих отношений к Ольге, я должен был прервать разговор, так как был неприятно поражен пошлостью, цинизмом отношения к дивчатам. От приглашения погостить у Закревского я, конечно, отказался и разговора об Ольге не продолжал, но для Сергея Петровича ясно было, что я ею заинтересован. С этого дня его отношения ко мне и Марии Павловны начали остывать.

Вскоре, согласно своему обещанию, я отправился к П. А. Кулишу, и на этот раз хозяева проводили меня прохладно. [...]

И вот я опять в Зароге. Опять хожу, брожу, начерчиваю и записываю. Иногда ровно ничего не делаю — лежу около тына, что подле нашей хаты. Лежу у самой дороги, лицом к земле. Погода жаркая, небо чистое, кое-где клочки облаков. Солнце печет по-летнему. Высоко на небе слышны крики пролетающих журавлей, стаи которых проносятся одна за другою. Мошки жужжат в воздухе; иногда октавой прожужжит жук, пролетая мимо; я ем свежие грецкие орехи или, по-здешнему, волошские, которые тут растут. Невдалеке селение, прилегающее к дороге, оно освещено эффектно и сверху

донизу облито солнцем. Вдали прокричали во всех дворах петухи — и опять тишина. Одна птичка чирикает на вербе да жужжат мухи. Около меня простая черная собака; она не дает никому спокойно пройти или проехать и, оскалив зубы, бросается на всех. Во дворе слышен плач девочки. Степь вся выгорела. Вот все, что передо мной. А в хате слышен голос Кулиша, который хлопочет, чтобы нам был самовар и поспел скорее борщ... Вот моя здешняя жизнь. Сойдясь, мы о многом говорим и многое создаем в будущем; не знаю, выполнится ли все это. А хорошо бы...

В это время Кулиш устраивает в Зароге свою усадьбу. Строящаяся хата прилегала к лесу, который спускался вниз к воде. Впереди хаты степь; около хаты, близ ворот три старые, могучие вербы. С версту отсюда жила владелица земли (тысячи с полторы десятин) Симонова, мать Номиса, малороссийского писателя, как я узнал впоследствии, уже в 1861 году, в Петербурге.* Верстах в пяти растянулся казачий хутор Зарог.

...Жили мы вполне казаками; жена Кулиша хозяйничала и нас кормила; П[антелеймон] А[лександрович] писал; я бродил и рисовал. [..]

XXII

1856 год.
Выезд из Зарога в Черкассы. Знакомство с семейством Н. В. Гоголя. [...]

Слала зоря, до місяця:
«Ой, місяцю, мій товарищу.
Не виходь ти, ранее мене.
И зойдемо обое разом,
Осветимо небо и землю,—
Срадуеця зверь у поле, гость у дорози».

Мой фургон был готов, и мы с Кулишом поехали в Черкассы. Нас застала ночь. Дорога была песчаная, лошади утомленные. Я еще вчера взял из села, по которому проезжали, проводника — бедного, забитого, ободранного мужика.

Уже наступили осенние ночи. Я в полушубке чувствовал свежесть, а проводник был в дырявых, изодранных полотняных

* Летом 1900 года я прочел в газетах об его смерти; и узнал, что в завещании своем он оставил в пользу учащегося юношества 30 000 рублей.

штанах, в изношенной короткой свитке и старой, порванной шапке. Он прятал руки в рукава и сидел на козлах молча; потом соскакивал с козел и бежал впереди фургона или очень скоро шел.

Я и П[антелеймон] А[лександрович] тоже вышли из фургона, чтобы согреть ноги, и ушли вперед, далеко оставив за собой экипаж, так что скрип колес и пофыркивание лошадей едва были слышны, и только от времени до времени раздавался голос кучера. Провожатый шел стороной отдельно от нас.

Туман густо стоял над болотами и речкой. В воде всплескивались птицы. Чайки носились в воздухе и жалобно кигикали, иногда пролетая над нашими головами. Нога вязла в песке, луна светила холодным светом. Природа была прекрасна. Грудь исполнилась отрадным чувством гармонии — той ночной музыки, которая слышится в лунную ночь. Воздух, беспрестанно рассекаемый близкими и отдаленными стенаниями чаек, все, окружающее меня, волшебные то̀ны красок заставили забыть тяжелое чувство разочарования в де Бальменах, неприятности, возникшие в Линовице, и заботы об Ольге — все как будто затаилось на дно души. Я шел, шел и был счастлив, что живу...

Подъехав к селу Мельники, я пошел с проводником в шинок, чтобы согреть его; был второй час ночи, все спало. Минуя старую церковь, мы пришли к шинку. Проводник смутился, видя такую заботу о нем, и дрожь его на время прошла. Он не хотел пить, тогда я выпил сам, его успокоил и заставил его выпить, задав ему здоровую порцию.

Когда мы согрелись и заняли свои места в экипаже, то проводник на козлах уже не чувствовал холода, охватывавшего его голые колени и локти, стал разговорчив и говорил без умолку; вставал, шел подле нас и все время говорил. Он рассказал очень просто грустную и не новую повесть о своей тяжелой жизни. Оженил его пан; его били и гоняли изо дня в день на работу; он утешал себя тем, что приходится покориться судьбе, гнуться куда гнут: «куда хилять, туда й хилюсь», говорил он. Мало-помалу водка развязала его язык, и он без стеснения ругал нам панов; из угнетенного и забитого существа сделался человеком, вполне сознающим свое положение и жестокие необузданные выходки помещиков. Мы своего проводника не узнали, теперь в нем пробудился другой дух; это был гайдамак, худой, смелый; черные брови, сросшиеся и идущие от переносья несколько вверх,

грозно сдвигались, когда он говорил о панских безобразиях. Приходилось радоваться, что есть на свете водка и что ею можно пробудить человеческое сознание.

К утру мы добрели до Черкасс, через беспрестанные пески и переправы.

В эту ночь в Черкассах было две еврейские свадьбы; играла шумная музыка, и масса евреев пировала в больших шатрах и балаганах с люстрами.

В Черкассах я насилу добился подорожной, пройдя через всевозможные мытарства; оттого ли меня задержали, что я ехал с Кулишом,* или оттого, что я ехал в места польского населения?.. Как ни тяжело было таскаться по присутственным местам, чтобы получить подорожную, и несмотря на то, что эти проволочки привели меня в дурное настроение, я утешал себя тем, что был в Черкассах и видел там Василя Судденка, о котором так много интересного сообщил Кулиш в «Записках о Южной Руси» (т. 1) [...]

Мы с Кулишом сговорились съездить к матери Гоголя, так как ему было очень интересно и полезно познакомиться с ней и сестрами Гоголя, ввиду того, что он собирал тогда материал для своего издания сочинений Гоголя. Сохранилось письмо, писанное мною в то время к брату моему Алексею о приезде к матери Гоголя, которое помещаю здесь.

Наружности деревянного дома Н. В. Гоголя не помню, но помню хорошо комнату, в которую мы вошли и где потом сидели с матерью, тетушкой и сестрами Гоголя. Комната была довольно просторная, имела рядом три окна — одно довольно большое посредине и два поменьше по сторонам. Вдоль стен размещены были стулья, посредине стоял стол. Из этой комнаты вели четыре двери, из которых одна с разноцветными стеклами и одна со скрипом, так что я невольно вспомнил «Старосветских помещиков». Столовая была выкрашена полосами желтыми и белыми. Гостиная была окрашена чередующимися полосами, голубой и белой. В углу часы, выкрашенные желтой краской, громко стучали. По стенам, в рамках карельской березы, висели французские картины, и между ними были канделябры о двух свечах. У правой стены от входа стояло фортепиано Георга Гильдебранта и над ним висели три портрета: в середине — Екатерины II,

* Кулиш состоял под присмотром полиции.

направо от нее Потемкина, налево — Зубова. В углу, около фортепиано, была этажерка с нотами, и везде были разложены песни малороссийские, печатные и рукописные. Мы знали, что тетушка Николая Васильевича пела очень характерно малороссийские песни, попросили ее спеть. Тетушка храбро отказывается и не хочет петь, говоря, что уже два дня грустит. Все сидят молча вдоль стен: на столе — кружка, поднос с вареньем из райских яблочков и вишен, и также груши, яблоки, бергамоты и графин с водой. В гостиной, над диваном, висит портрет Николая Васильевича Гоголя. На этом диване, в правом углу, любил сидеть Николай Васильевич, а сестра его Ольга около него. Мать Гоголя иногда долго смотрит на портрет покойного. Все находят, что он так похож, что только не говорит и что именно так он слушал, улыбаясь, когда ему рассказывали.

Кроме нас, приезжих, сидит соседка старушка, около нее — Ольга Васильевна. Через стул от нее — другая соседка и еще стул — женщина без голоса, что-то вроде ключницы. Это больная, приехавшая сюда лечить свое горло; она в сапогах, и ей Ольга Васильевна подала яблоко. У другой стены сидит молодая рыжеватая девушка, сложа руки. На стуле, в корзине — желуди, собранные для П. А. Кулиша. Мимо окон проходят с молочниками в руках — значит, мы скоро будем пить чай.

Ольга Васильевна белокурая, выражение лица чрезвычайно доброе и грустное, черты лица очень напоминают брата ее, Николая Васильевича. На шее черный платочек, самый простой, с красными редкими цветочками; все платье черное. По бокам углового окна столовой висело по зеркалу; у противоположной стены, по углам, где печи, — вышитые, узорные гербы.

В саду Николай Васильевич старательно сажал деревья; в нем была пещера и чья-то могила, которые нередко случается встречать в родовых усадьбах казаков; пруд, зарастающий камышом. Перед окнами столовой лужок, окруженный кленами, вязами, липой и акацией.

Мальчик, в нанковом сюртуке с короткими рукавами и шароварах, накрыл, при наступивших сумерках, скатерть, поставил шкатулку из карельской березы, большой поднос и перед ним маленький. Часы пробили шесть. В столовой потемнело еще более от мелкого дождя и туч. Начали скрипеть басом шкафы, звонить серебро; скромно застучали старые стулья, двинувшись с мест своих, и уставились вокруг стола.

Мы продолжали сидеть в полумраке; Кулиш с Ольгой Васильевной разговаривали о сельском леченье.

Скоро самовар закипел, началось чаепитие и общий разговор. Соседка рассказала, что ключник ее танцевал до того, что ноги его распухли, и, придя домой, он лег и через неделю сгорел как свеча. А был молодой, здоровый парень.

— Ведь вы знаете, как они пляшут на вприсядки и перекидываются... вот у него что-либо внутри и надорвалось.

Мать Гоголя, весьма милая и почтенная старушка, говорила, что все, что делается теперь хорошего в России, делается по инициативе Николая Васильевича. Постройку железных дорог она приписывает его влиянию.

— Говорят,— рассказывала она,— теперь проведут железную дорогу и через Миргород.

Все жители, и особенно чиновники Миргорода, сердиты на Николая Васильевича и говорят, что этого у них никогда не было, чтоб свинья вошла «в присутствие». Жители говорят: «На что было все это писать, черт зна що! Государь ведь это читает: как живут, да как соломою топят. Зачем это рассказывать? И что такое он хорошего написал? О нем не стоит и говорить, как о писателе, написал, что всякий знает...»

Разговор шел в этом тоне, и уже два раза упоминали о том, что ужин готов. Во время ужина Ольга Васильевна стояла за стулом матери. Поужинав, все отправились спать.

Я с Кулишом и племянником Гоголя Трушковским пошли ночевать во флигель, в котором жил Гоголь. В его кабинете мне была приготовлена постель. Племянник занялся с Кулишом письмами Гоголя.

Утром, в семь часов, я проснулся. Ночью шел дождь, небо серенькое, и дождь капает с неба мелко, редко, как бы оплакивал это место, не видя того, кто так его любил. Белые, старые и очень простые занавески шевелятся от ветерка сквозь щели; ставни сами собой хлопают и делают комнату то темною, то светлою. В комнате одно окно и со стеклами дверь на крыльцо; в углу — столик треугольный, на нем чайник и чашка с липовым цветом для меня, а в другой, меньшей чашке — спирт из чеберу. Все очень старо, но чисто. Другая дверь выходит в большую комнату. В комнатах полы деревянные, дощатые, некрашеные. Стены беленые, как в хатах. Маленькое зеркало, тоже в раме из карельской березы, со старым стеклом, на котором местами сошла ртуть, висит между этим маленьким окном и дверью.

В последнее время Гоголь закупил лесу, чтобы строить дом; хотел тут прожить целый год, но до постройки закупоривал все щели, чтобы матери и сестре было тепло.

Я немного заболел и пролежал сутки в постели. Домик для меня вытопили, меня вытирали спиртом и поили липовым цветом. Оправившись и придя в дом, я пел и слушал песни старушки, тетушки Николая Васильевича, получил в подарок несколько песен, записанных на ноты, и мы выехали с Кулишом, провожаемые самыми дружескими прощаниями и снабженные на дорогу провизией.

Вот набросок того, что было вокруг меня при посещении матери и сестры Гоголя. Познакомиться с внутренним смыслом их жизни не было времени; Кулиш, нагруженный материалом письменным и устным, пояснениями на свои вопросы, спешил к себе, чтобы работать в тишине хуторской жизни. [...]

XXIII

1856 год.
Я возвращаюсь в Линовицу. Объяснение.
Размолвка. Выезд де Бальменов в Киев. Седнев.
Обещанная помощь.

С колокольчиком, на перекладной, тройкой я подъехал к крыльцу господского дома в Линовице. Кастор и Муха (собаки) встретили меня, дружески прыгая и виляя хвостами; Муха, смеясь скалила зубы. Дивчата тайком выглядывали с черного крыльца, но дети де Бальмены на этот раз не выбежали с радостными лицами, родители тоже не вышли на крыльцо, и мы встретились уже в комнатах, довольно официально.

В укромном уголке дома Ольга встретила меня горячо, и свидания наши возобновились — полные страсти и горячей пылкой молодости. Мы сходились тайком; работать я не мог и только развлекал себя, слушая песни дивчат, сидящих за пяльцами.

Отношения мои с Ольгой крепли, и следовало покончить чем-нибудь. Когда Сергей Петрович пришел ко мне, я решил высказать все и, веря в его дружеское ко мне расположение, просил, чтобы он отпустил Ольгу на волю, предоставив мне о ней позаботиться. Мой друг, мой милый граф, образованный и свободомыслящий, изменился в лице, закрутил усы,

зашагал по комнате и сказал, что этого он сделать не может. Его дальнейший разговор поразил и глубоко возмутил меня своим холодным, чисто помещичьим взглядом на дело.

Часа через два после его ухода я пришел в дом, чтобы возобновить тот же разговор с Марьей Павловной. В ней я встретил не только безучастие, но и озлобление; губы ее дрожали, и она, полная негодования, заговорила так, как будто я нанес ей оскорбление.

Пришел Сергей Петрович и в жестких выражениях принял сторону Марьи Павловны. Так, сидя одни на балконе, за чайным столом, мы вели разговор; детям и прочим членам семейства, очевидно, было сказано, чтобы не приходили. Я предложил выкупить Ольгу за цену, которую они объявят, но и на это не было дано согласия. Тогда я объявил, что очень сожалею об их отказе и что мне остается одно — увезти Ольгу. Это их окончательно разгневало,— мы разошлись; и декорация всей обстановки изменилась; сердечные наши отношения порвались, их заменила лживая вежливость и молчание.

Некоторое время я оставался в Линовице и не возобновлял разговора об Ольге. Но Сергей Петрович и Мария Павловна начали при мне и других говорить, как долго они ошибались в отце Ольги, который был столько лет атаманом (староста). Он оказался вором, украв копны с поля и пшеницу из амбара, так что Сергей Петрович был вынужден уволить шестидесятитрехлетнего старика от должности и примерно наказать его розгами. Затем Марья Павловна придумала нелепую клевету, чтобы обвинить Ольгу, и велела ее высечь, чего добрая старуха кухарка Наталка не сделала, доложив графине, что высекли. Скандал на панском дворе и в деревне был полный — опозорены были: отец, старик, хорошей, всеми уважаемой семьи, и его семнадцатилетняя дочь. Дворовые знали проделки пана и пани и были возмущены.

Все было наскоро подстроено, чтобы внушить мне если не омерзение, то охлаждение к Ольге. Супруги де Бальмены, захлебываясь от негодования и с видимым удовольствием, рассказывали мне не один раз эти истории. Я ничего не возражал и бесповоротно решил вырвать бедную Ольгу из омута, который так долго казался мне раем.

Я умышленно продолжал жить в Линовице и, как бельмо, торчал на глазах хозяев. Кругом меня и Ольги были шпионы,

и нужна была немалая изворотливость, чтобы нам встречаться, говорить и укреплять ее веру в меня.

Грустно и тяжело было мне. Скверно и обидно на душе за де Бальменов, за себя; страшно и больно за Ольгу. Каким негодяем оказался бы я перед людьми, к которым привязался и которые привязались ко мне всею душой, если бы я, по совету графа, бросил Ольгу, и что тогда ожидало ее!..

День ото дня отношения мои с хозяевами становились холоднее и невыносимее. Эти милые и воспитанные люди начали меня выживать всеми способами и придираться к Ольге; не позволяли ей ступить шагу из дома. Мне перестали менять постельное белье, прачке некогда было вымыть моих рубах и платков; столовое белье и прибор подавались грязные; кушанье готовилось то, которое я не ем; кофе приносили ко мне не вовремя и холодный, сливки — кислые, хлеб — черствый. Комнату забывали убирать, и замечания, которые я делал по этому поводу мальчишке-шпиону Акимке, он выслушивал улыбаясь. Оставалось хозяевам только сказать мне, чтобы я уезжал. Я продолжал хранить молчание, был сдержан, вежлив и наблюдал, что делается вокруг меня и Ольги.

Из записной книжки

14 сентября

В чудный, теплый день я должен был проститься с моими, когда-то добрыми, хозяевами, которые сегодня уезжают на зиму в Киев. На этот раз они с собою Ольгу не берут, рассчитывая на более удобный за нею присмотр в Линовице.

Усадив графа и графиню с дочерью в щегольскую коляску и детей в другой экипаж, я проводил их верхом до станции, там расстался с ними, и повеся нос отправился домой не дорогой, а полями, степью мимо могил и пустырей. Завтра придется мне укладываться и уезжать.

16 сентября

Я простился с добродушной старушкой, тетей графа, и с моим врагом Дарьей Павловной (сестрой графини де Бальмен) и с душевным сожалением расстался с добрыми дивчатами, когда они вышли меня провожать на черное крыльцо. С Ольгой я переговорил накануне, обещая приехать за нею и советуя во всякое время быть готовой к отъезду. Выезжая

со двора, я оглянулся и видел, как Ольга, закинув в отчаянии руки над головой, припала к каменному столбу ограды.

Дорога наводила грусть; вербы теряли лист, одна из них, сломанная ветром, лежала на земле; старая мельница едва махала двумя оставшимися от бури крыльями. Перед моими глазами была фигура Ольги, полная отчаяния. Поведение бывших друзей возмущало и разрывало душу. В жизни, до этого, я еще не имел ни одного разочарования...

По некоторым соображениям и согласно задуманному мною плану, я ехал в Сокиренцы, чтобы там провести несколько времени, усыпить внимание Линовицкой стражи и повидаться с семьями людей, действительно любящих меня. Здесь я никому и ничего не говорил о происшедшем в Линовице и продолжал для виду похваливать хозяев; но нередко вспоминал совет умной старушки Галаган: не засиживаться у де Бальменов, и ее непохвальный отзыв о них.

В Сокиренцах душа моя вновь отдыхала. Ко мне ежедневно приходил слепой бандурист Остап, которого песни и думы развлекали меня; с ним я забывал нанесенные мне оскорбления и интриги озлобленных панов — своих бывших друзей. Часто, когда я спал, Остап ощупывал палкой ступени крыльца, откашливаясь входил ко мне в комнату, которая никогда мною не запиралась, садился и наигрывал на своей бандуре. Он умел разгадать состояние души моей и сообразно тому пел в аккорд моему настроению. Только он и увлекал меня, и я, слушая его, на время забывал Линовицу.

Расставшись дружески со всеми, я направился в Седнев; и там хотелось мне проститься с добрыми и хорошими людьми.

Прожив в Седневе некоторое время, я тосковал, несмотря на искреннее ко мне участие, несмотря на развлечение, доставляемое мне музыкой. И в Сокиренцах, и здесь мне было невыносимо: меня тянуло туда, туда...в опостылевшую мне Линовицу, где судьба Ольги поглощала все мои мысли.

Повидавшись с двумя управляющими имений Лизогубов, молодыми и милыми братьями-англичанами — Вильгельмом и Эдуардом Михайловичами Сиссон, я рассказал им свое положение и заручился их словом — помочь мне увезти из Линовицы Ольгу.

XXIV

1856 год.
Похищение.

> Ой пійду, пійду — з сірого хутора пійду
> Да покину я у сім хуторі біду,
> Ой оглянусь я: за крутою горою,
> —Аж іде біда — все слідочком за мною.
>
> *(Народная песня)*

В назначенный день я выехал с англичанином Эдуардом Михайловичем Сиссон в фургоне с вольным ямщиком. Доехав вечером до станции Махновки (верст пять от Линовицы), мы проехали мимо поворота в Линовицы, на почтовую дорогу, где Эдуард Михайлович должен был меня дожидаться, а я отправился пешком в усадьбу де Бальмена.

По дороге я никого не встретил; в некоторых окнах господского дома виднелся огонек, и я свободно пробрался до флигеля, близ которого встретил девушку Марью, вполне надежную и хорошую приятельницу Ольги, старше ее года на полтора. Переговорив с ней, я попросил ее вызвать Ольгу; она убежала, и скоро Ольга явилась с маленьким узелком; и мы, простясь дружески с Марьей, тотчас отправились к большой дороге. Звездная ночь роскошно светила, и мы, дойдя до большой дороги, увидели фургон, в котором Эдуард Михайлович ожидал нас с теплой одеждой, приготовленной заблаговременно для Ольги. Приодевшись, Ольга села в фургон, и мы, совершенно спокойные и довольные, двинулись в путь.

Приехав на постоялый двор, чтобы переменить лошадей и следовать далее, мы были поражены требованием от нас паспортов, чего прежде никогда не делалось. Англичанин смутился, хотя он захватил свой паспорт и у него был выход, но каково же было мое положение?.. ни подорожной, ни паспорта не было ни у меня, ни у Ольги!.. Чтобы ее не тревожить, мы ничего не сказали ей, и она продолжала сидеть в фургоне.

— Зачем наши паспорта?— спросил я содержателя постоялого двора. — Ты видишь — мы паны и едем по своей надобности, не загоняя лошадей, не буяны, платим исправно, а ты проезжих стесняешь! Какой же покой ехать на вольных, если у вас, как на казенной станции, будут требовать пас-

порта, нам тогда было бы удобнее, хотя и дольше, взять подорожную. Изволь, паспорты я тебе достану, но с твоей стороны это глупо и не расчетливо; в другой раз будем тебя объезжать.

Мне пришлось перебирать все, что я уложил. Я нагнулся к чемодану, который велел принести из экипажа, и начал в нем рыться, зная, что в нем нет паспортов. Хозяин стоял над головой...

Между тем лошади уже были поданы. Англичанин вытащил из своего чемодана подорожную, которой запасся в Чернигове, а я рылся в чемодане, выкладывая бумаги и белье; кровь прилила в голову, в ушах звонило...

— Видите ли, ваше благородие, дано нам знать, что может проехать с барином девушка, бежавшая от помещика, так велено, чтобы ее задержать. А эта девушка, что с вами, подозрительна: пани — не пани, девушка — не девушка.

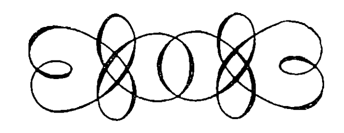
— Какой ты вздор болтаешь. Сейчас покажу ее паспорт. И я продолжал рыться.

— Ну, господь с вами! не надо. Я вижу, что это не та, за которою следят.

Вероятно, его сбила с толку подорожная, да еще и иностранного подданного, и фургон, а не перекладная, на которой я обыкновенно ездил. К тому же ехал не один человек с девушкой, а двое. Тяжелый камень свалился у меня с сердца. Хозяин извинился; мы с ним простились — и укатили.

Теперь, когда вспоминаю этот случай, по прошествии сорока пяти лет, у меня замирает сердце. Страшно подумать, что могло произойти, если бы нас арестовали!.. Ведь тогда было еще крепостное право...

С Эдуардом Михайловичем я вскоре простился и вместе с Ольгой продолжал далекий путь.




ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



I

1856/57 год.
Выезд из Малороссии. Дорога.
Приезд в с. Смольково.

Ольга, оставив отца, брата, сестер и не подозревая грозившей ей опасности попасть в капкан, расставленный милыми и гостеприимными моими друзьями, ехала покойно, вполне доверившись мне. Вольные ямщики, получая сверх прогонной платы награду за скорую езду, везли прекрасно, передавая нас с рук на руки без малейшей задержки. Чем далее мы были от Пирятинского уезда, тем покойнее было на душе. Из фургона, для избежания любопытных глаз, мы почти не выходили и питались яблоками, базарными кренделями, яйцами, сырой морковью и репой.

По мере приближения нашего к России песни ямщиков принимали характер смешанный: чувствовалось слияние мотивов того и другого народа. Постройки, одежда, речь — тоже менялись. Деревни и села не были разбросаны и в переулках, а тянулись в ряд, иногда на версты, без садов; исчезли возы с волами. Угрюмые избы лепились друг к другу; не улыбались играющие на солнце, в зелени, беленькие или желтенькие хатки, заросшие мальвами, маком и огородиной; по крышам не плелись длинные широколиственные плети тыкв, увешанные плодами; не видно было табака и кукурузы. Однообразно тянулись одинаковые постройки. Некоторые избы были с узорными карнизами; сквозь резьбу играла разноцветная фольга, но внутри их было грязно. Случалось встречать и в Малороссии убогие хаты у людей зажиточных; но причина такого вида была иногда умышленная. По этому случаю я вспоминаю рассказ Ильи Ивановича Лизогуба. Однажды он зашел в своем имении в ветхую хату

и упрекнул хозяина за его неряшливость, зная, что хозяин вполне зажиточный. Старик просил пока дозволить ему не чинить хату, потому что тогда его разорят постои и внесут в семью разладицу и ссоры. Быть может, и в России не без умысла держат избы не чисто, чтобы господа в них не засиживались, а русское щегольство и хвастливость, любовь к красной рубашке, скрипучим сапогам и т. п. выставлялись напоказ в наружных украшениях. Невольно приходит сравнение наряда и жилищ народа с их песнями. Как разукрашенная изба и разодетый щеголь-парень, разукрашена и русская песня, часто при отсутствии ее содержания. Русский мужик живет напоказ. Прямая улица сплошь занята избами, чтобы легче старосте гнать на барщину. В Малороссии жизнь развивалась свободнее, и, при недавнем, сравнительно, закрепощении народа, не так скоро можно обойти старосте село или деревню с оповещением на паньщину. Жизнь более семейная, сосредоточенная внутри; хата не обращена к улице напоказ, а стоит всегда боком или в садочке; хозяина не докличешься; простота постройки снаружи и чистота внутри. Не красная, яркая на нем рубаха, а белая, и шитье на ней хорошее и скромное. Звуки его песни не такие звонкие, а задушевные, и слова всегда полны смысла, грации или грусти.

Наступал вечер; длинные тени лошадей были видны на дороге; ямщик посвистывал, да погонял. Вскоре совсем стемнело. Одну за другой песню пел ямщик, не зная того, что пять из них были по смыслу, некоторым словам и мотивам — малороссийские, а две — русские. Он был молод, пел все песни парубоцкие, то есть о дивчинах и о любви.

Почему он пел песни более малороссийские? .. Быть может, находясь в положении человека любящего, полного жизни, молодой русский парень не нашел ни одной песни чисто великорусской, себе по сердцу...

Грустно за народ русский, который утерял в нужде, тяжкой работе и в рабстве свои любовные песни, в которых выливалась счастливая и спокойная юность. Или у них никогда не была развита так семейная жизнь? .. Но еще грустнее становилось, что Малороссия идет назад. Она начинает терять и забывать песни старинные, песни матерей и отцов — песни, полные свободы и жизни удалой и пылкой, меняя золото на мишуру,— на песни, лишенные жизни, смысла, интереса и поэзии. Чудные песни приходили мне на память одна за другой, и я вспоминал много таких, которые уже

искажены. В Малороссию, кроме того, что проникли русские песни, но вдобавок — отвратительные.

Хотя мне было приятно слышать хорошие малороссийские песни в устах русского мужика, в минуту его душевной тревоги, но все ж для меня было еще интереснее слышать от великоруса — песню великорусскую.

Я своего дождался: ямщик запел свою песню; она была прочувствована, вылилась лучше и полнее. Песня эта была грустна и старалась заглушить в себе грусть.

Я с Ольгой, прислонившись друг к другу, сидели задумавшись.

Мы уже въезжали в глубь России, и тут застали нас дожди. Мы взбирались шагом на гору, утопая в грязи. Высокий, долговязый, в больших сапогах, средних лет ямщик, желая облегчить тяжесть фургона, сошел с козел и, идя подле нас, словами и кнутом ободрял и понукал лошадей.

— Ну, родные, ну... приустали.— Лошади остановились и тяжело дышали.

— Они любят у нас с отдышкой. Вишь гора-то какая. Ну, но, но ... голубчики.

И мы опять тронулись. Ямщик шел подле, помогая лошадям вытащить фургон, когда он уходил глубоко в колею.

— Эх, господь-бог грязи-то наделил! ..

Взбираясь медленно, мы наконец въехали на гору, откуда представился, хотя и осенний, но просторный и хороший вид.

Вся дальнейшая дорога была без приключений, кроме падения фургона, выкинувшего нас в грязь со всею нашею провизией, рассыпавшеюся всюду.

До Смолькова оставалась одна упряжка, и, так как наступала ночь, я решился переночевать в холодной нетопленной избе, с тем, чтобы рано выехать и поспеть на место утром. Так это и устроилось.

В Смолькове встретило нас семейство Бахметьева, а именно: Петр Андреевич с детьми, сестрой своей умершей жены; брат его Николай Андреевич и Лантинг, родственник покойной жены П[етра] А[ндреевича] со своею подругой и будущей женой. Я перезнакомился со всеми. О приезде нашем знали, встретили дружелюбно, Ольгу приняли добро, сдав доброй старушке няне. Тут водворились мы на довольно долгое время, так как мне следовало пристроить ее и выждать зимнего пути, чтобы выехать в Петербург. Ольгу по-

местили в комнате по соседству со мной, стена об стену, во втором этаже. Мы постоянно виделись, и я обдумывал дальнейшую ее и свою жизнь. Линовицкие приятели наши не могли знать, где Ольга и где я. Ольга была вполне наивный ребенок, и никакая превратность судьбы ей не приходила на ум. Бывало спрошу ее:— «Не боишься ли ты преследований Бальменов? ..» И она шутя меня поцелует и скажет:

— «Чоловіче, мій, затуло мое! Я за тебе затулюсь, тай ничого не боюсь».

Иногда мы уходили в сад и там, гуляя, беседовали о дальнейшей нашей жизни. Скоро и эти прогулки стали невозможны.

Наступил октябрь, холода и ветер; вербы без листьев, рассаженные по валу двора, ревели; ветер дул и справа и слева. Ночью ветер усилился, я проснулся, посмотрел в окно— зима была полная.

Чтобы найти себе какое-либо занятие, я задумал ознакомиться с преданиями, сказками, религиозными понятиями народа и рассказами об их теперешней жизни.

В то время я вел свой дневник, и вот что было записано:

1856 год. 3 октября

Не ограничивать же себя определенного размера кругозором и рамой и не выходить из нее... Какие бы движения души, порывы сердца и мысли ни были, отказаться от них, потому что они не по раме? .. У меня нет рамы. Сегодня я пишу картину, завтра ничего не делаю, лежу в лесу или под вербой в степи и не хочу ничего делать, и не заставлю себя. Зачем я лишу себя воли, буду гнуть себя и ломать и из жизни делать службу? ..

Почти забыв свою жизнь в Малороссии, я предался чтению русских сказок, а сегодня я хочу записывать со слов позванного мужика; авось попадется что-либо любопытное. Собрав материал, займусь сравнением содержания сказок и песен великорусских с малороссийскими. Хорошо бы сравнить их со всеми славянскими, а затем и прочих народов. Какой был бы это интересный материал. Но нет на это знания.

Я уже мечтал о вечерней беседе со здешним мужиком Иваном Петровым Стрягиным, который хотел прийти на ночь. Уже я воображал себе, как он будет сидеть у затопленной печи, как я буду писать что-либо интересное, а, может

быть, и скучное; как меня будет клонить сон от его рассказов, и для этого я с вечера велю себе поставить самовар; все в доме будет спать: за одной дверью у меня будут храпеть две собаки и человек на сундуке; а в другой комнате Володя * начнет бредить, а сказка будет говориться плавно, тихо, и только слышен скрип моего пера ** да кипение самовара; печка сначала будет посвистывать, шипеть, трещать, дрова наконец загорят и сгорят. Остаются одни угли, их помешивает мой рассказчик; ночь уже глубокая, тишина — час духов и привидений. Мы толкуем про змей, крылатых драконов, про Кощеев Бессмертных, про бабу-ягу, и тут живо представился мне задуманный мною эскиз: после казней, желая себя успокоить молитвой, на царскую одежду надевает Иоанн рясу монаха и служит в церкви; но и тут ему покоя нет; обрызганный кровью, прокуренный ладаном, он лежит на кровати на спине, закинув голову кверху, руки его под головой, резкий и неприятный профиль рисуется ясно при свете огня, тень огромного размера падает на стену, колеблется и страшно рисуется, а сказочник, углубясь в свой рассказ, говорит медленно, с расстановками. Он сидит в полумраке, а его товарищ с гуслями дремлет.***

Далеко носятся мысли Иоанна, иногда он вздрагивает.

Печка не топится, самовара нет; множество очиненных карандашей около меня, рассказчик мой лет восьмидесяти, без одного седого волоса, сидит в кресле, наклонясь ко мне, шапка его на полу, а я пишу...

Стрягин рассказал мне несколько рассказов про колдунов, Росина или разбойника Разина, про взятие Казани, про Худояра, грешника попа, царя Дадона и его трех сыновей, жар-птицу и волка, про купца и солдата и закончил так:

— Не догадался кой о чем спросить своих стариков. Память отшибло. Было прежде складно и нескладно, а только забавлял. Вот и суд весь и басня моя вся, ваше превосходительство...

Досадно мне было выслушивать «ваше превосходительство». Большим затруднением представилось мне сблизиться с народом настолько, чтобы беседовать откровенно. [...]

---

* Воспитанник брата моего Алексея.

** Тогда еще в общем употреблении были гусиные перья.

*** Это впечатление «Князя Серебряного» — тогда еще не напечатанного.[1]

VII

Рассказы крестьянина Стрягина [. . .]
Рассказы помещика П. А. Бахметьева [. . .]

РАССКАЗЫ СТРЯГИНА

Село Смольково. 7 октября. Сегодня я записал несколько следующих рассказов здешнего старика Стрягина о своей жизни и отношениях к помещикам.

— Мать Бахметьева (нынешних) прогневалась что-то... взяла лошадь у меня и корову. Эдакое несчастье сделали... Ну, господь наслал, знать, совесть... Лошадь, что взяли-то, водою у них потопило. Господь, видно, не допускает владеть чужим. Подумал Андрей Миколаевич,* одумался, приехавши сюда,— корову-то отдал.

Старик призадумался и продолжал:

— Когда был Андрей Миколаевич, то у покойника жить нам было лучше... И ныне наши господа смирные; к приказам не способные — вот и похуже. А господа, нужды нет, нам грех напрасно сказать, чтоб что дурное такое, а только что власть дана больно Андрею Лукьянычу.** Ну, он-то... не способен, не хорош.

Одежда всегда у нас была такая же, как и теперь. Жить-то было послабее, а строенье-то было похуже: его не украшали. Не было, как у прочих мястах, ни торговых людей, ни купцов. Приволья ли нет, или народ не способный к этому делу.

Сказываете, что везде нечистота, что живут нечисто, грязно. Недостача во всем; ну, народ так и живет. Дровец-то надо в избе с трубой побольше, а в курной кой-как прокуришь... Когда б достаток, было б и топливо. Ну, и, конечно, избу тогда убрать можно. В прочих мястах тоже так живут. В редком доме хорошо, и то только у того, который капитал платит,— купцы.

Ну, прежде была барщина... Андрей Николаевич все обо днях старался, а ныне — все похуже; дни отнимают. Ныне, што как они вздумают, как им надо, позовут, и в дни наши — работай на них. У мужика помолотить надо: хлеб с поля привезен, все приготовит, а им понадобится — позовут, хоть

---

* Отец теперешних Петра, Николая и Софьи Андреевичей Бахметьевых.

** Управляющий.

и не их дни — работай барщину, а дома у самого все стоит на току.

А когда был у меня, видел постояльца, хромой еще он. Ну, так отца-то ево, Ивана Николаевича, сколько возили это в некруты; скуют и на подводах повезут, а там прикуют яво к саням ли или хошь и к ящику,* то есть на чем повязут яво. Ночь холодная; возьмут яво в избу; он скинет железы и пошел. Как бы ни караулили, уж и не услышат, как он уйдет. И возили-то яво я думаю разов пятнадцать, али больше. Так он и отбилси побегами. Уж это на нашей памяти, и я-то уж был молодец, и меня-то уж можно было в некруты отдать. Ну вот тот сядой-то, што вы потрет-то писали, ну, яво самый отец. При стариках наших способ была большая; платили-то тогда сворот. Спрашиваешь, женили-то как?..

У нас, видишь, как было. У нас нынче — не знаю от попов ли, от господ, нет того, штоб ее связать и отдать; ну а прежде было ничаво... У меня самого тоже три дочери отдали. Прикажут: сковать яво да в другую деревню и отвезть, а мне-то не хотелось ее отдать, да и ей не хотелось идти... а она семнадцати годов... за вдоваво-то. И так было, пока всех моих отдали. Я противился маненько; принясли железо, сковали, ну что делать?.. Берите с богом! меня ушлете, ребятишки маленькие, я один — согласилси и отдал с богом: делать было нечего...

Сплошь так было. Надо сказать, стало лет пятнадцать оставили это.

А вот как теперь война-то была,** молодежь ушла бы вся. Ожидали, например, этой объявки, что охотникам будет от царя воля; да объявки не последовало. Которые не дождались призыва и сами ушли, то слышно было, что посадили этого, да посадили другого.. охотников... что ушли — ну, так оно, знаете, и охладело. [...]

РАССКАЗЫ ПОМЕЩИКА П. А. БАХМЕТЬЕВА

11 октября

Неужели здесь все так скверно?! Быть может, народ, рассказывающий мне эти ужасы, не совсем прав. Попробую поговорить с Петром Андреевичем; он человек честный, умный, живет здесь давно и знает многое.

---

* Телега.

** Крымская война.

И вот я слушаю рассказы Петра Андреевича; записываю их буквально, как записывал Стрягина, няню и записываю всегда.

— Пензенской губернией управляет губернатор Панчулидзев, которого мало назвать мошенником, но преступник, у которого на душе много злодейств, отрав и разных смертоубийств; который царствует в губернии двадцать пять лет, считаясь примерным губернатором, которому праздновался юбилей двадцатипятилетнего его управления губернией; которому император прислал в подарок табакерку со своим портретом, украшенным бриллиантами; он — тайный * советник, украшенный орденом Александра Невского, и не хочет никуда идти с места губернатора.**

После этой войны *** было объявлено желание государя, чтобы ратников уволили от всяких работ на два года. Губернатор и губернский предводитель **** скрыли эту волю государя, и ратники работали у самого предводителя и все вместо отдыха тянут барщину [. . .]

— Здешний губернатор известен всем как преступник и грабитель своей губернии в продолжение двадцати шести лет. Министерство им подкуплено, места в губернии раздаются за деньги или своей родне. Панчулидзев ***** дал место исправника мужу своей дочери и не дал приданого. Через два года исправник купил себе имение в пятьсот душ.

Духовенство тут, как и везде, развращено и не только не вступается за права, честь и правду, но берет огромные взятки и за взятку оставит попа развратного в деревне, который разносит свою нравственную гниль в народ.

За достоверность этого ручается общий голос.

Губернатор у всех занимает деньги. Узнав, что есть деньги у архиерея, поехал просить у него 10 000 взаймы. Архиерей, зная, что он никогда и никому долгов не платит, отказывался решительно, под предлогом, что не имеет ни копейки, и, чтобы убедить, побожился на образ божьей матери, который был в комнате, что у него нет ни гроша.

---

* Что за подлое название, хотя и лучше, чем действительно тайного.

** Пример едва ли не единственный в дорогом, как говорят, и славном отечестве.

*** Крымской, едва кончившейся.

**** Александр Николаевич Арапов, отставной генерал уланского полка.

***** Этот самый губернатор.

На другой день у архиерея пропала шкатулка с тридцатью тысячами. Он бросился к губернатору с просьбой, а тот ему отвечал: «Как вам не стыдно выдумывать подобные вещи. Вы сами мне божились вчера на образ божьей матери, при свидетелях, что нет у вас ни гроша».

И тогда только согласился отыскать шкатулку, когда тот согласился ему дать 10 000 взаймы.

Это был не теперешний архиерей, тоже взяточник, а Амвросий, который любил покутить и дамское общество, а взяточник был страшный.

Три версты отсюда, в селе Евлашеве, был помещик Теплов, строгий и несправедливый с крестьянами. Не решаясь сами его убить, они старались изобрести средство, чтобы его уничтожить.

Он наказал мужика на страстной неделе. Они в субботу с вечера и пришли к этому мужику — человек восемь, и сказали: «Мы, брат, пришли тебя убить, чтоб твоя смерть послужила нам всем избавлением, и, чтоб тебе было легче смерть перенести, мы избрали это время,* и, как ударят в колокол, мы тебя задушим подушками».

Бабы всегда в субботу с вечерни стоят в церкви и молятся до заутрени — это называется стояние. Теперь было стояние. Баб в избе не было, и, следовательно, удобно было это сделать. Мужик, как ни молил, как ни упрашивал, но они остались непреклонны, и, как ударили в колокол, они его задушили подушками и на следующий день донесли, что барин засек мужика.

Следствие произвели, и Теплова посадили в острог, и уж дело было почти решено, чтобы сослать его в Сибирь, но исправник,— тот же каналья Федорчуков,— желая спасти Теплова, конечно, из расчета, начал добираться в селе.

Он приехал как будто по другому делу и попал на девочку, которая рассказала, что видела; что она лежала на полатях, притаившись, и видела все, но не могла закричать от испуга, хотя это был ее отец.

Теплова освободили, а мужиков сослали в Сибирь. Теплов продолжал теснить крестьян и вот недавно умер.

Тяжело и утомительно записывать подобные истории, которым нет числа. Несправедливости, утеснения самые под-

---

* Есть поверье, что душа умершего в это время идет в рай.

лые, нищета, разврат, насилование девушек, баб и мальчиков. Рассказы полны мерзости и ужаса. Достаточно и этих рассказов, чтоб не писать далее; на них сегодня окончу свой дневник [...]

VIII

[...] Выезд из Смолькова в Петербург.

1 ноября

Завтра мое рождение и мне стукнет двадцать восемь лет. Ах, как много, и что я в мои двадцать восемь лет... Оказывается, что едва ли Ольга не беременна. Как усложняется моя жизнь! Надо торопиться принять меры, чтобы устроить Ольгу. Тут, я уверен, она будет в безопасности, но мне необходимо скорее ехать в Петербург, чтобы все устроить. А между тем время становится суровее, но погода изменчива. Подожду; наступит же наконец зима, как следует ей быть. Я достаточно записал всяких рассказов и хочется заняться собиранием украшений на избах и т. п. Зачерчивать с натуры,— я продолжать не могу при такой непогоде. И вот я позвал двух указанных мне способных людей, из которых один был молодой столяр, отдававшийся господами для обучения в Петербург, а другой — мужик пятидесяти трех лет, ничему не учившийся и далее Саранска * нигде не бывавший.

Обоим я дал бумагу и карандаши; объяснил обращение с ними и масштаб; потом заставил при себе чертить линии прямые, косые, углы, дуги, квадраты и круги. Столяр скоро понял все и чертил бойко, смотря свысока на тупого деревенского мужика, который ронял карандаш, ломал его и марал пальцами бумагу, а затем, видя свою непригодность к такому требованию, отказался от дальнейшей непривычной работы. Однако ж я уговорил его продолжать мои уроки и обещал обоим платить за время, которое они проводили у меня бесполезно для себя.

Через два-три дня дело начало у старика налаживаться, а столяр бойко и самоуверенно чертил. Я начал задавать уроки, например, начертить двери, окна, ставни, стол, для чего давал карандаши и бумагу на дом с тем, чтоб на следующий день работа была мне показана. Старик делал грубо, но толково. Столяр наделал такие выкрутасы и бессмысленные украшения, что я его освободил от дальнейших

* Саранск — уездный город этого села Смолькова.

занятий со мной; мужику же назначил плату за каждый рисунок, мною заказанный или сделанный им по его собственному желанию. Таким способом у меня набралось двести семьдесят рисунков плотника — очень интересных. Рисунки столяра еще раз доказали безвкусие и бессмыслие, которое привито столицей народу, отдаваемому на обучение немцам и французам, и вместе с тем ясно было, до очевидности, насколько еще сохранился у народа свой собственный вкус. От чертежей карандашом я перешел к краскам, предоставив мужику сочинять и раскрашивать, что и как ему желательно.

Наконец дорога установилась, и я собрался к выезду. Ольгу пришлось оставить на время в Смолькове, поручив доброй няне беречь ее, а занятие с нею грамотой и священной историей — священнику, под надзором доброй Нины Сергеевны, сестры покойной матери Андрейки и Дидишки.

Распростившись с Ольгой, не без слез, я отправился на передаточных. [. . .]

Приехав в Петербург, я застал отца и брата Алексея, у которого остановился. Я тотчас же принялся за отыскивание квартирки для Ольги и вскоре нашел ее на Васильевском острову, по Большому проспекту между 7 и 8 линиями. Перед окнами был палисадничек; хозяйка была немка и с ней жила ее хорошенькая дочка — акушерка. Я решился поскорее вызвать Ольгу, но для того, чтобы ей возможно было прожить здесь спокойно, следовало иметь паспорт, и потому я обратился письмом к графу С. П. де Бальмену. Я писал ему, что нахожусь в затруднительном положении и прошу его, как друга, выслать Ольге вольную, взяв с меня следуемую за нее сумму. Я высказывал, что он, как друг, должен помочь, видя мое твердое решение и связь мою, скрепившуюся еще сильнее беременностью Ольги; что без вида она находится в опасности, как беглая крепостная, которую могут взять и отправить в Линовицу по этапу. Но «истинные друзья познаются в несчастии»; несчастие есть оселок, на котором производится проба. Мой друг оказался другом недоброкачественным. Ответ его был таков, что сделать это ему мешает совесть, что он не может и не желает способствовать моему сожительству с беглой.

Что оставалось мне делать? Я упросил С[офью] А[ндреевну] выдать Ольге паспорт, как будто бы своей крепостной и затем безотлагательно выслать ее в Петербург с горничной

ее Грушей. С помощью брата С[офьи] А[ндреевны] и Петра А[ндреевича], просимый паспорт был Ольге дан, и она приехала вместе с Грушей в Петербург, поселившись в приготовленной мною квартире. Брат Алексей посещал нас ежедневно и всегда был к Ольге мил и внимателен. Отец мой ничего не знал о происходящем со мной.

В сорока верстах от Петербурга, в Гатчине, поселился друг мой Александр Егорович Бейдеман. С ним подружился я давно, о чем было упомянуто в главе третьей, третьей части «Моих воспоминаний». Он жил с женой и крошкой дочерью Лизой. Я навещал его нередко, и, так как мною была сообщена ему история с Ольгой, относился к ней, как истинный друг, и жена его тоже. Мы решили весною выехать пораньше вместе за границу. План этой поездки был предложен мною и охотно принят. Денежные дела Бейдемана в это время сложились счастливо, так как процесс с казной, начатый еще его отцом по окончании турецкой кампании 1828/29 года, тянулся до сего времени. Я просил отца своего помочь, и когда дело поступило в сенат, то при его энергичном содействии было кончено в пользу наследников Бейдемана и его компаниона. Таким путем, на долю моего Саши Бейдемана пришлось получить 10 тысяч; что пришлось на долю остальных наследников — не знаю. Чем сидеть и выжидать посылки Саши за границу от Академии, к которой охладел и он, было разумнее, не теряя времени, ехать туда, чтобы ознакомиться с работою мастеров. Только что запахло в воздухе приближением весны, мы, как условились, взяли места в почтовом дилижансе; Ольга, под видом горничной Елиз[аветы] Федор[овны] Бейдеман, выехала с нами.

Не прав ли я, читатель, что молодость живет надеждами, а старость воспоминаниями?

Воспоминание об Александре Егоровиче Бейдемане

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БЕЙДЕМАН
(1826—1869)

I

Кто был А. Е. Бейдеман и стоит ли знакомить читателя с личностью, которая почти неизвестна?

На такой вопрос я отвечу: да, пожалуй, почти никто в публике не знает А. Е. Бейдемана даже по имени — и это

жаль. Жаль, что у нас исчезают люди, жизнь которых может служить поучительным примером, а между тем она проходит иногда бесследно.

А. Е. Бейдеман был художник далеко не дюжинный; но и художники едва знают его, и знают только с одной стороны. Это объясняется не только нашей апатичностью, ленью и равнодушием, но и тем, что судьба, не дав возможности развиться таланту А[лександра] Е[горовича] во всей полноте, прекратила преждевременно его жизнь.

Из документов Академии художеств мы знаем, что А. Е. Бейдеман был ее учеником, награжден медалями за представленные работы, но не был удостоен первой золотой медали, дающей право на отправку за границу. Известно также, что впоследствии А[лександр] Е[горович] был признан Академией адъюнкт-профессором и скончался в 1869 году.

Мы, близко знавшие А[лександра] Е[горовича], можем к этим скудным сведениям добавить со своей стороны, что он был родом молдаванин; что отец его занимался подрядами для действующей русской армии во время войны и, потеряв в этом деле свое состояние, умер, оставив в наследство вдове с четырьмя малолетними детьми процесс, который тянулся десятки лет. Знаем, что вдове было тяжело жить с ограниченными средствами, при заботе о содержании и воспитании детей.

Старший сын Александр, о котором идет речь, был определяем то в одну, то в другую школу, и с трудом дотащился до гимназии; но и здесь ему не везло: учителя наводили на него скуку бессодержательными уроками, отбили охоту к науке, и он, бросив бесполезное учение, начал ходить в Академию художеств, куда влекла его любовь к рисованию.

В Академии талант А. Е. Бейдемана был замечен; более других профессоров отличал его живой, умный и гениальный (ныне развенчанный невеждами) К. П. Брюллов.[2] При этом он пользовался советами даровитого художника А. А. Агина.

В это время А[лександр] Е[горович] сблизился с выдающимися учениками Академии: Трутовским, Лагорио, Соколовым, Чернышевым, Филипповым, Хлопониным, Осиповым. Но особенно тесно сдружился он с Трутовским и Лагорио, с которым сплотили его юные надежды, любовь к искусству и недостаток средств.

Время, о котором я говорю, было вторая половина сороковых годов. Я жил тогда в Пажеском корпусе и никого из

упомянутых юных художников не знал. Свои личные воспоминания о Бейдемане приведу после, а пока предлагаю прочесть воспоминание К. А. Трутовского, который, по моей просьбе, написал их в 1877 году. На рукописи Трутовский набросал портрет Бейдемана, каким он был в молодости.

Вот ее содержание.

II

В 1845 году, окончив курс в Инженерной академии и оставшись преподавателем при Инженерном училище, я начал ходить в Академию художеств в качестве вольноприходящего. Не помню, при каких обстоятельствах, но я очень скоро сошелся с Бейдеманом и Лагорио. Оба они давно уже были между собой приятелями, и мы целый день были вместе, то в Академии, то у Бейдемана, который жил тогда вместе с матерью, маленьким братом и двумя сестрами. Скоро к нашему трио присоединились еще Хлопонин и Осипов. Всем нам было каждому около двадцати лет, все мы были восторженные юноши; все наши разговоры, все занятия касались одного искусства. Мы читали все, что попадалось об искусстве, приобретали, на последние деньги, какие-нибудь издания, касающиеся искусств, и наш кружок резко отделялся от других учеников, которые шли чисто академическим путем и далее академических задач не шли. Нас не увлекали академические программы; нас занимала живость народных сцен — сцен типичных и даже фантастических. В то время жанр еще был в младенчестве, и наши академические авторитеты не очень благосклонно на него посматривали и, конечно, презирали от глубины души. Увлекало нас также черчение карандашом, вкусное, ловкое и характерное. Тогда отличался в этом роде Чернышев. Из всех нас Бейдеман, конечно, был самый талантливый и самый восторженный и увлекающийся. Его южная натура сказывалась во всем (он был из Молдавии). Все, что выходило из его рук, все носило отпечаток яркого таланта и оригинальности. Писал ли он этюд, рисовал ли рисунок, чертил ли — все у него выходило как-то не так, как у других. Но ярче всего выказывалась его оригинальность в композициях. Тут у него не было соперников. Расположение фигур, пятна света и тени, типы голов, все это выходило у него совсем не так, как у других. Воображение было у него блестяще. Бывало, когда мы сочиняли эскиз на заданную тему, то, как ни старались сделать что-нибудь новое, как только сравнивали свой эскиз с эскизом Бейдемана,

то тотчас бросалась в глаза огромная разница. Подзадоренные сочинением Бейдемана, каждый из нас хотел к следующему месяцу сделать что-нибудь в таком же роде. Но приходил экзамен, и Бейдеман опять выставлял что-нибудь еще более оригинальное и своеобразное. Из профессоров один Брюллов (К. П.) своим чутьем ценил Бейдемана и на экзамене, большей частью, ставил Бейдеману за эскиз 1-й №, а следующим — 20-й и 30-й, чтобы показать, как выдавался Бейдеман своим дарованием. Некоторые его эскизы были восхитительны, и, кажется, если бы он занялся такими картинами, где играет роль воображение, то он имел бы европейскую известность. Вкусу у него была бездна, а также того художественного чутья, с которым художник чувствует всякую линию, всякую черту, характеризующую лицо, фигуру или предмет. Мы, бывало, занимались тем, чтобы ловко и характерно начертить какую-нибудь шляпу с широкими полями, или сапог, или другой предмет, и все же характернее всех и ловче выходило все у Бейдемана.

Средства у Бейдемана, как и у всех нас, были ничтожны, и, кроме того, у него была семья, которую он содержал; мы же, остальные члены нашего кружка, были одиноки. Картин в то время он почти не писал,— не писал потому, что для этого нужно было иметь средства, спокойствие, и он, чтобы добыть деньги, должен был рисовать в разные издания. Много он рисовал в сатирический журнал «Искра», издаваемый Неваховичем;[3] рисовал глупые карикатуры на камне. Его мучила эта нелепая работа; но что было делать!— работа эта давала ему постоянные, хотя и небольшие средства.

Когда Бейдеман был еще очень молод, на него имел большое и плодотворное влияние художник А. А. Агин, человек очень умный, даровитый и горячо любивший искусство. Об Агине у нас мало знают, хотя это был человек, глубоко понимавший искусство. К сожалению, он проявил себя только в рисунках и композициях, и в них он выказал огромные дарования, особенно в том отношении, что шел по пути, уклонявшемуся от рутинной академической композиции. Бейдеман был очень близок с Агиным; а потом и мы все сблизились с ним и очень часто проводили у Агина вечера, толкуя об искусстве,— и какие это были приятные вечера! Агин хотя был гораздо старше нас, но горячность у него была юношеская. Обыкновенно мы кончали наши вечера пением, хотя и нестройным, но всякий тянул свою ноту с полным усердием.

Я тогда очень любил читать стихи, и читал их с ожесточением. Бейдеман больше всех восторгался моим чтением.

Бейдеман был тогда дружен с Федотовым и часто посещал его на Васильевском острову, в 16-й линии. Я еще не был тогда знаком с Федотовым, и Бейдеман рассказывал мне о работах его, о том, как он сам добивался всего в технике и как искал свои типы. Кроме Федотова, в то время не было в Петербурге, да и вообще в России, ни одного художника жанриста, у которого можно было бы поучиться, зайти в его мастерскую, поглядеть, как работает; и все мы искали дороги своей. Из профессоров никто не мог быть полезен: все они очень мало обращали внимания на художников народных сцен, мало того — относились к ним с пренебрежением. Один Бруни, как образованный человек, мог относиться иначе, но зато он любил, чтобы ученики его были в очень почтительном отношении к нему и чувствовали бы, что он — начальство. Ко мне еще он был благосклоннее, потому что я был военный и инженер и не вполне ученик Академии.[4]

Летом Бейдеман жил или проводил все время с Лагорио, они ездили вместе писать этюды на Лахту и на взморье; у них была своя лодка, которой они сами или, лучше сказать, Лагорио управлял мастерски. Во время этих экскурсий этюды писал Лагорио, а Бейдеман предавался far niente:[5] лежал на траве и изучал природу больше глазами.

Никто из старых и опытных профессоров не мог указать Бейдеману истинный его путь, сообразный с характером его таланта. Если профессор говорил, что надо прежде всего изучить рисунок, то указывал на произведения Егорова, Шебуева и др.; но что мог ощущать такой живой и впечатлительный художник, как Бейдеман, глядя на эти правильно нарисованные, но сухие и безжизненные произведения! Он чувствовал, как все мы, что нужно еще что-то, кроме правильности. Это чувствовалось, но не было талантливого человека, который бы разъяснил нам этот вопрос. Конечно, со временем Бейдеман понял все, но поздно, уже тогда, когда голова его ушла далеко вперед против техники и воображение работало с неудержимой силой. Поэтому у Бейдемана нет ни одного серьезного, оконченного произведения, которое бы выказало настоящее свойство его таланта; и он удовлетворял потребность своего творчества и воображения в композициях и мелких работах.

В 1850 году я вышел в отставку и уехал к себе в деревню, в Харьковскую губернию, Ахтырский уезд. Деревня, где я

поселился, представляла собою очаровательный уголок Малороссии: усадьба, дом, деревня — все это было окружено садами; за садами виднелись пруды, за прудами леса. Я испытывал невыразимое наслаждение, после двенадцатилетней жизни в Петербурге. Южный климат, малороссийский народ, полная независимость помещичьей жизни, мечты о том, что тут я буду работать, делать этюды, собирать типы,— все это вместе делало жизнь в деревне такою привлекательною, что не хотелось куда-нибудь ехать. А ехать надо было! Если бы в то время достало доброй воли выбраться из деревни да отправиться туда, где сосредоточена деятельность художников, туда, на Запад, в Рим, Париж и т. д., то, вероятно, вышло бы совсем другое!.. В деревне я в первый раз взял кисть и стал писать масляными красками с натуры; ездил по окрестным деревням, по ярмаркам и все зачерчивал; все меня интересовало в высшей степени. Летом, в том же году, я получил письмо от Бейдемана из Петербурга, в котором он писал мне, что будет скоро в Харькове с Неваховичем и желал бы видеться со мною. Я, конечно, пришел в восторг от этого известия и, действительно, скоро получил еще письмо из Харькова от Бейдемана; тотчас же велел закладывать в свою старомодную коляску четверку высоких и костлявых коней и отправился в Харьков, который был от моей деревни в ста двадцати верстах. Путешествие на своих лошадях по проселочным дорогам, при некоторых неудобствах, все же очень приятно, но, конечно, летом. Едешь не спеша, пока лошади кормятся, гуляешь по саду, в котором остановился, и питаешься взятой с собою дома, приготовленной в изобилии, провизией, и сто двадцать верст проедешь не менее, как в $2^1/_2$ суток. Я и теперь очень люблю такие путешествия, особенно (даже исключительно) по Малороссии. Приехав в Харьков, я тотчас полетел в ту гостиницу, где остановился Бейдеман. Встреча наша была самая восторженная: мы душили друг друга в объятиях, болтали без умолку и решили завтра же ехать ко мне в деревню. Путешествие вдвоем с Бейдеманом было для нас истинным наслаждением. Он на каждом шагу вскрикивал: «Удивительно! удивительно!» И не мудрено: он чуть ли не с детства жил в Петербурге и не видел сельской природы, которая всегда нравится городскому жителю, даже не такому восторженному, как Бейдеман. Когда же наконец мы приехали в деревню мою (Поповку), то чуть оба не прыгали от восторга, да и действительно прыгали. Явились на стол вареники, галушки, борщи, разные

наливки; чай пили в одном из садов. После обеда расстилались ковры в саду; и мы там нежились, вдыхая чудесный воздух. Со мной жила тогда моя сестра, шестнадцати лет; она была хорошенькая девушка, и Бейдеман произвел на нее некоторое впечатление. Бейдеману она тоже нравилась; и он беспрестанно чертил ее профиль, фигуру и, по своему обыкновению, восторгался и кричал: «Удивительно!»

Дней пять, которые пробыл у меня Бейдеман, прошли очень быстро. Не хотелось еще уезжать так скоро, но ему оставаться долее было невозможно. Мне, не помню, почему-то нельзя было опять ехать из деревни, и Бейдеман уехал один.

После этого свидания в деревне я не видел Бейдемана несколько лет. В это время я переехал в другую деревню Курской губернии, женился, ездил за границу; и когда я увидел Бейдемана в 1858 году, то уже прежней дружбы между нами не существовало. Он во многом изменился, как, вероятно, и все мы, и в искусстве он избрал новую и совершенно другую дорогу. Он стал изучать, со свойственной ему страстностью, византийский стиль живописи [6] и, по-видимому, хотел придать формам этого стиля, часто сухим, жизненность и красоту в изящном и правильном рисунке и более красивой композиции. Я раз или два был у него в Академии, где он имел казенную квартиру, потом у него в доме на Васильевском острове, а потом мы долго не виделись. Какая именно произошла в нем внутренняя перемена, я судить не мог; но по наружности он был тогда уже не так жив и не так общителен. Последний раз я был у Бейдемана в его доме зимой; в его мастерской было что-то начатое им, но что — не помню. Через несколько дней я услышал, что он заболел; я собирался навестить его, как вдруг слышу, что его не стало! ..

С воспоминанием о Бейдемане связано для меня воспоминание о первой молодости, молодых, нередко диких порывах и стремлениях; в моем воображении ясно воскресает его милое, оригинальное южное лицо, и я как будто слышу его любимое восклицание: «Удивительно! ..» Я убежден, что если бы наш кружок был в иных условиях, в иной обстановке, то из каждого из нас вышло бы совсем не то, что вышло теперь.

III

1850 год, как видно из «Воспоминаний» К. А. Трутовского, разлучил юных друзей. В половине мая Бейдеман уехал

с Неваховичем (издателем иллюстрированного журнала «Искра») из Петербурга на юг. Трутовский уехал к себе в деревню; Лагорио оставался в Петербурге и писал картину на первую золотую медаль.

При каких обстоятельствах я познакомился с Лагорио не помню. Мы скоро сошлись дружески; я у него часто бывал, читал ему во время его работы и с нетерпением поджидал приезда Бейдемана. Лагорио жил в одном доме с матерью Бейдемана, у которой столовался. Он познакомил меня с этой доброй женщиной, ожидавшей с нетерпением возвращения сына.

Выехав из Петербурга, Бейдеман по дороге свернул в Харьковскую деревню, к другу своему Трутовскому, и затем продолжал путь до Одессы, где Невахович скончался. Отсюда Бейдеман пустился далее на юг,— употребив на это весь свой заработок,— заехал в Бендеры, к сестре своей матери; в Феодосии навестил сестру Лагорио и через Тифлис проехал в Грузию, до самых окраин Кавказа.

12 января 1851 года А. Е. Бейдеман явился в Петербург после девятимесячного путешествия. Он ехал с разными попутчиками и обозами, присаживаясь к ним, и возвратился благополучно, но без гроша денег, с бесконечным запасом жизненных впечатлений. Его особенно поразил Кавказ, своей природой и типами.

Мы встретились без особенных излияний чувств и восторгов; но, при частых свиданиях и беседах, между нами сказалась такая полная солидарность во взглядах на жизнь и искусство, что мы искренно полюбили друг друга. Вскоре не было у него никого ближе меня, и у меня — ближе его. Мы виделись ежедневно; и свидания наши незаметно продолжались часами. Лагорио был наш третий друг; составилось новое юное трио; я заменил Трутовского, уехавшего в провинцию. Настроение наше было восторженное; мы поклонялись искусству; в душах наших был гимн природе, красоте и свободе.

IV

По возвращении в Петербург Бейдеман был завален работами на деревяшках для различных изданий и получал за рисунки, смотря по величине их, от 50 копеек до 3 рублей. Этими работами он помогал матери своей.

Но что представляла собою эта работа на деревяшках, оказывавшая помощь художнику и его семейству? Была ли она приятная, легкая, приносила ли ему пользу? Теперь об

этой работе никто почти не имеет никакого понятия. Работа эта, как видно из сохранившихся документов, состояла в том, что издатель какого-либо журнала или книги обращался к художнику с таким заказом: «При сем прилагаю три деревяшки. На них нужно нарисовать: 1) слон работает, по колено, или выше колен, в воде, веревкой тащит затопленное бревно; слон пятится к берегу. На берегу — полуодетые люди. Вдали, в воде, еще два слона, также работают. У каждого на шее проводник, полуодетый и черный; а у того, что на первом плане, проводник очень старый и беспечно лежащий на его шее. Дело, главным образом, состоит в том, чтобы нарисовать, как пятится слон с тяжелым бревном;

2) охота на тигра, из прилагаемой книги, и только то, что отчеркнуто; кистей и колокольчиков на голове слона — не надо. Корнаку, или проводнику, надо дать в руки ружье, которым он старается выстрелить в голову тигра;

3) слон, со старым проводником вбежал выше колен в воду; опрокинул небольшую плывшую лодку с двумя гребцами и аравитянином; они плавают в воде; лодка опрокинута; слон хоботом схватил дитя, бывшее в воде, и подает своему проводнику, сидящему у него на шее. Дитя — лет девяти, полуодетое и черное.

Если можно — первую деревяшку сделать не позже, как завтра, а потом остальные.

Необходимо нужно, как можно скорее, и доставить Ег. Вас. Гогенфельдену для вырезания. Ужасно нужно, право»...

Бывали и такие заказы: «1) Нарисовать двух собак; 2) тушканчика, траву и кусты; 3) пожилого персиянина бедно одетого и смотрящего, как кузнец кует у горна и поет песни; 4) изобразить ветер самум, налетающий на Хакима, который едет по дороге на одногорбом верблюде; 5) бой быков в Испании; 6) движущиеся столпы; 7) птицелова» и т. д.

Не правда ли, как все это интересно и легко исполнимо для художника, который должен рисовать без натуры? Невольно приходят на память слова, сказанные мне К. Брюлловым: «Художник должен знать столько данных, сколько их в природе»...

Так приходилось зарабатывать юному художнику средства для своего существования; да еще в то же время требовалось, чтобы он ежемесячно представлял к экзамену классный рисунок с натуры, классный вид масляными красками и эскиз на заданный сюжет.

Работа на деревяшках также доставляла немало заботы художнику. Ему предстояло удовольствие видеть свой рисунок вырезанным плохим гравером в таком виде, что оставалось с болью в сердце развести руками и вытаращить глаза. При этом он мог еще видеть и слышать, как читающие смеялись над его рисунком, искаженным до неузнаваемости. Необходимость заставляла его все выносить, мириться с обстоятельствами и даже радоваться, когда подобные заказы следовали один за другим.

Случалось и так, что не только плохой гравер портил рисунок, но тупоумный цензор зачеркивал его бесцеремонно и надписывал красными чернилами на нем: «Печатать не дозволяется»; или отдавал приказ переставить фигуры с одной стороны на другую, переменить выражение лица, которое ему не нравилось и казалось неприличным для изображаемого начальника.

V

А. Е. Бейдеман хотел изобразить на своей картине юного художника, к которому мать привела молодую стыдливую дочь для позирования. Эскиз был им хорошо обдуман, мил, деликатно понят и прочувствован; но у него не было времени для такой работы,— надо было пробивать себе дорогу; и он решил, для получения серебряной медали, написать портрет своей матери. Все приятели радовались, что портрет оказался удачным; Академия удостоила его серебряной медали 27 сентября 1851 года. Но впереди была малая золотая медаль, которую необходимо было получить, чтобы иметь право работать на большую золотую, дающую средства ехать за границу на несколько лет за счет Академии. Эта большая золотая медаль есть цель, к которой стремятся все ученики, так как заграничная поездка действительно может расширить горизонт художника, познакомив его с подлинными произведениями великих и разнообразных мастеров. В числе других и Бейдеман принял участие в конкурсе на вторую золотую медаль, для которой было задано: «Иоанн Предтеча проповедует в пустыне». Эскиз был утвержден, Бейдеману отведена мастерская в Академии, и работа началась...

Я не видел начала исполняемой им программы, так как уехал на лето в Малороссию; но, возвратясь к осени в Петербург, тотчас поспешил навестить своего друга и посмотреть его работу.

При входе в мастерскую я увидел прежде начатую программу, доведенную до половины, стоявшую в стороне; а на виду был большой холст, на котором изображен тот же сюжет в гораздо большем размере и измененном виде. Я был поражен задушевностью и смелостью композиции, оставившей далеко за собою первоначальный эскиз. Мы обнялись. Работа была доведена почти до конца, и Бейдеман ждал только прихода Совета профессоров, от которых зависела его судьба.

Дни шли; он жаждал продолжать свою работу и должен был сдерживать свой пыл, в ожидании посещения Совета, который не приходил.

Спустя несколько времени, я опять прихожу в мастерскую и застаю моего друга убитого горем и растерянного. Совет был у него утром, сделал ему строгий выговор за отступление от утвержденного эскиза и приказал ему окончить к сроку прежде начатую программу и выставить ее с прочими программами в залах Академии. Так и было сделано. С отчаянием в сердце, холодной рукой, почти безучастно он окончил к сроку свою программу, не получив за нее медали. Но Совет положил гнев на милость и назначил ему небольшое денежное пособие.

Неужели так и следовало поступить с юным и пылким талантом, работавшим так, как требовала его душа? Неужели и художнику, в своих произведениях, «не следует сметь свое суждение иметь?» Неужели подобный приговор не абсурд и не глубокая рана, нанесенная юному таланту? Какое оправдание можно найти Совету Академии? — Так спрашивал я многих; и мне отвечали, что отступление от утвержденного эскиза не дозволено потому, что художнику может помогать чужая рука. Если бы это было действительно так, то решение Совета было бы правильно и даже мягкое. Но ведь такое объяснение здесь не имело смысла потому, что за работой конкурентов Совет обязан наблюдать. Кроме того, неужели опытные профессора не дошли до того, чтобы видеть — рука их ученика или не его рука работала? Решение профессоров объясняется просто их рутиною, непростительной холодностью и ленью, которая мешает им чаще посещать мастерские конкурентов. Не было между ними уехавшего тогда за границу умирать К. Брюллова! Он обнял бы талантливого ученика, дал бы ему медаль и денежную поддержку — я твердо в этом убежден; он всегда отличал Бейдемана перед всеми.

VI

В 1853 году Бейдеману пришлось вторично конкурировать на малую золотую медаль, на тему «Бегство св. семейства в Египет». На этот раз медаль была ему присуждена.

Время шло. Сидя в моей уединенной мастерской, окруженной садиком, мы беседовали с Бейдеманом о своих работах, о моей поездке в Малороссию, с наступлением весны, и о предстоящей ему работе на конкурс для получения медали.

Был великий пост, и я, увлеченный службой страстной недели, начал ряд рисунков на темы из Св. писания. Окончив рисунок на молитву: «Св. ангелы и архангелы, все святые, молите о нас грешных» и сцену перед причащением говеющих, я начал ночью, в тишине, рисунок на слова Христа: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Сюжет этот очень интересовал Бейдемана; он внимательно следил за эскизом, который был окончен к рассвету. Простившись, мы разошлись, каждый к себе.*

Утром я получил от Бейдемана секретно посланную мне из Академии, наскоро набросанную карандашом, записку, в которой он извещал, что вызван на конкурс, сидит теперь взаперти и делает эскиз на заданную ему тему: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные». В той же записке он просил позволения воспользоваться нашей вчерашней беседой и сделанным эскизом. Я несказанно был рад такому счастливому стечению обстоятельств.

Эскиз Бейдемана был утвержден, и ему предстояло написать эту программу к осени.[7] Мы вскоре после этого простились, и я уехал в Малороссию.

Работая на эту программу, Бейдеман опять увлекся, внес жизненный современный интерес, изобразив царя, схожего с императором Николаем I, который на коленях обращается к Христу. Тут же были славяне, греки, воины, дети и взрослые, рабы и бедняки... Казалось бы, так и следовало — ведь тогда была война: Севастополь громили враги, флот был уничтожен; России грозила еще большая беда. Царь действительно в это время страдал; и душа его искала опоры и помощи в молитве. Но Совет увидел в этом ослушание и вольнодумство и в медали Бейдеману отказал.

Уже не раз, обескураженный холодным отношением Ака-

---

* Рисунки эти находятся в моем собрании, уступленном И. Н. Терещенко.

демии, Бейдеман горевал и волновался; но, по настоянию родных, в 1855 году вторично явился конкурентом на первую золотую медаль на тему «Христос в доме у Марфы и Марии». Я не видел этой программы; но знаю лишь то, что медали Бейдеман опять не получил и что вместо этого ему было дано звание художника 14-го класса. Он просил задать ему еще раз программу, но Совет не согласился.

Я лично давно потерял всякое уважение к Академии; мне опротивела она своею условностью и бездушным отношением к молодежи. Конечно, при нашей дружбе с Бейдеманом, я имел на него влияние, критикуя рутинные требования Академии. Примеры равнодушного отношения профессоров к ученикам были постоянно перед глазами — и один из них был особенно возмутителен.

Бедный, трудолюбивый и талантливый ученик Павел Сорокин был в числе конкурентов на первую золотую медаль. Ему было задано: «Первые мученики христианства в России». Добросовестно работал Сорокин (Павлик, как мы его называли, брат профессора Евграфа и мозаиста Василия), верно передал содержание; все было хорошо — техника, выражение,— но что же?.. в медали ему отказали по его молодости.[8] Павлик наш повесил голову, одурел и опечалился. Впоследствии он добрел до права быть отправленным за границу; и там я его видел; видели и другие, знавшие его прежде. Он был неузнаваем, ходил растерянный, ничего не понимая... Мы все жалели его и, глядя на него, еще более чувствовали не только охлаждение, но и злобу на Академию, бывшую когда-то для нас храмом искусства, перед которым замирало наше сердце... Мы благоговели тогда и перед ее жрецами. Но теперь хотелось прокричать всем о пошлости Академии, одурачить ее, и мы задумали рисовать пародии на ее требования, изобразив несколько излюбленных сюжетов в таком виде, чтобы Совет профессоров пришел в недоумение, серьезно разбирая их. Затея наша не осуществилась. Бейдеман был уже не в состоянии продолжать борьбу с Академией; к тому же многолетний процесс его матери с казной счастливо окончился: он получил небольшой капитал, женился, удалился от докучливого и пошлого круга своих родных в Гатчину, где отдыхал в тихой семейной жизни.

В 1856 году я нередко навещал его; и мы решили с наступлением весны отправиться за границу; и действительно, весной 1857 года Бейдеман с женой и ребенком и я выехали из Петербурга: он — в Мюнхен, а я — в Швейцарию.

VII

В тихом, переполненном художниками Мюнхене Бейдеман успокоился и чувствовал себя счастливым. Здесь он начал писать сцену мирного препровождения времени мюнхенских жителей в общественном саду, где на переднем плане — его жена и ребенок.* Кроме того, он сделал эскиз для картины, также из местной жизни, изображающей патера несущего дары по улице, для причащения больного. День клонится к вечеру, видны окрестные горы и жилища, народ благоговейно преклоняет колени перед процессией.**

Хорошо жилось Бейдеману в Мюнхене; но я звал его в Париж, в центр художественной жизни, куда съезжались художники Англии, Бельгии, Германии, а также из других стран Европы и всего света. Здесь было богатое собрание искусства всех времен и всех народов; жизнь была не такая замкнутая, и художественный пульс бил в то время в Париже. К тому же мы тосковали друг о друге в разлуке; хотелось делиться новыми впечатлениями.

Наша переписка кончилась тем, что Бейдеман с семьей переехал в Париж.

Поселились мы друг от друга далеко; он на Монмартре, а я близ Люксембургского сада. Несмотря на огромное, разделявшее нас пространство и работу, мы виделись часто и знакомились с городом и толпой, сидя на верху городских омнибусов, сновавших по улицам в разные стороны, останавливались, где приходилось, чтобы закусить, и опять продолжали разъезжать по городу. Были дни, когда мы проводили время в музеях Лувра, Люксембурга, Версаля, бродили по церквам, рассматривая работы мастеров; и это служило нам мотивами для бесконечных бесед.

Случалось сходиться в ресторанах с русскими художниками: Боголюбовым, А. Чернышевым, Лагорио, М. Клодтом и другими; и тут опять шли горячие споры о направлении русской школы, о парижской Академии и о целом ряде художников всех наций. Эти споры обнаружили ясно различие наших взглядов на искусство: особенно возбуждал неудовольствие Делакруа (Евгений), за которого стояли Бейдеман Боголюбов и я, а прочие бранили за небрежность и неоконченность в рисунке.[9]

---

* Картина эта не кончена и в настоящее время находится в Петербурге, в Музее императора Александра III.

** Эскиз картины, подаренный мною В. Е. Маковскому, находится у него в собрании.

К этому времени относится первое знакомство Бейдемана с техникой гравирования острой водкой на меди, наше увлечение идеями свободы и поклонение гениальному писателю, разоблачавшему язвы родной России,— Герцену. Так, однажды вечером у меня на квартире был набросан эскиз «Колокола», звонящего на всю Европу, звуки которого пробуждают Россию от ее апатии. Этот эскиз был нарисован окончательно Бейдеманом и послан Герцену в подарок, за что получена от него благодарность, с приложением его фотографии нам в подарок.

В Париже я познакомил Бейдемана с двоюродным братом моим графом Алексеем Толстым, который поручил ему давать уроки племяннику и племяннице своей будущей жены С[офьи] А[ндреевны] Б[ахметьевой]. Кроме того, я рекомендовал его священнику при русском посольстве И. В. Васильеву как художника, которому смело можно и даже следует поручать работы в строившейся тогда в Париже русской церкви.

На лето мы с Бейдеманом и нашими семьями отправились в Нормандию, к океану, и поселились друг от друга недалеко — он — в маленьком Вёль, а я — в деревне Соттевиль, и мы часто посещали друг друга. Бейдеман задумал написать две картины из нормандской жизни.

Вернувшись в Париж, я узнал, что председательница Академии художеств, великая княгиня Мария Николаевна, желает назначить вице-президентом князя Г. Г. Гагарина, с которым я был в хороших отношениях, и я немедленно познакомил с ним Бейдемана. Это знакомство очень пригодилось моему другу в Петербурге, куда он вскоре переселился с семьей.

VIII

В конце 1860 года я выехал из Парижа в Петербург, и мы вновь увиделись с Бейдеманом после долгой разлуки.

В это время Бейдеман пробавлялся кое-какими заказами и уроками. В числе его учеников был молодой гардемарин, худой и болезненный, с большими способностями к живописи и правильным взглядом на искусство. Занимаясь под руководством Бейдемана, он познакомился с гравированием на меди острой водкой и сделал три гравюры для издаваемой мною тогда «Живописной Украины». Это был известный позже всем и недавно погибший художник Вас[илий]

Вас[ильевич] Верещагин.* Бейдеман также принял участие в моем издании и дал несколько работ: «Заседание в суде черноморских казаков», «Нищие», «Евреи» и «Вид казацкой станицы». Все эти гравюрки были свежи, талантливы и типичны.

В 1861 году открылась вакансия на место адъюнкт-профессора при Академии художеств, и Совет Академии по баллотировке присудил это место баловнику К. Брюллова Михайлову. Однако такого отступления от обычного способа избрания преподавателей великая княгиня Мария Николаевна не утвердила и потребовала, чтобы место было предоставлено тому, кто получит премию по конкурсу на заданную тему. Михайлов отказался от участия в конкурсе, на который явилось пять состязателей.

Конкурсная задача была: «Аполлон и Диана истребляют семейство Ниобеи».

Бейдеман сделал картон с фигурами в натуральный рост. Сцена была живая и производила впечатление; в ней было сохранено чувство красоты в мужских и женских фигурах разных возрастов; при этом знание форм было передано свободно и мастерски.

Рано утром, до решения Совета, я пришел с Бейдеманом в залы Академии, чтобы взглянуть на выставленные к конкурсу картоны, и, не доходя до его картона, уже ясно видел громадную разницу его работы с прочими конкурентами. Не сомневаясь в победе, я обнял и расцеловал моего друга.

— Лева, это ты так уверенно говоришь; но что скажет Совет?

Совет, к нашей общей радости, на этот раз присудил ему первый нумер.

С утверждением Бейдемана адъюнкт-профессором Академии, материальная его жизнь была сравнительно обеспечена, так как он получил квартиру с отоплением и жалованье в пятьсот рублей в год. Кроме того, у него явилась возможность внести жизнь в летаргический сон Академии.[10]

Небольшие рисунки Бейдемана с натуры отдельных фигур его конкурсного картона «Семейство Ниобеи» находятся в моем собрании у И. Н. Терещенко. А картон... Где же сам

---

* Добровольно отправившись на войну, Верещагин увидел весь ужас и гнусность этого дикого и отвратительного истребления людей людьми для решения их спора между собою, и изобразил это в своих картинах.

картон, свидетельствующий об изучении форм человека, красоте его, о смелости, о талантливой композиции, умении придать интерес сюжету, исполненному и переделанному сотни раз художниками? Увы!.. скатанный в валек, картон много раз менял помещение по чердакам, а по смерти Бейдемана, когда я пожелал купить, оказался совершенно съеденным мышами!..

С 1861 года по 1870 год[11] деятельность А. Е. Бейдемана значительно усилилась. Он писал образа на мызу великого князя Михаила Николаевича (близ Стрельны) и плафон в его петербургской дворцовой церкви, а также образа для дворцовой церкви в Ливадии и образа для церкви в больнице императора Александра II в Петербурге. Кроме того, он давал уроки великим князьям, занимался с учениками Академии и биржевой школой,[12] работал в русской парижской церкви, в имении князя Барятинского, не пренебрегая никакими заказами.

Около 1863 года Бейдеман составил прекрасный рисунок, замечательный по композиции, в память Манифеста 19 февраля 1861 года, с которого сделана была гравюра и приложена к одному из изданий Гоппе.[13] Это было время, когда мы были далеко друг от друга. Я жил в пензенской своей деревне и мог следить за тем, что происходит с ним, только по его письмам, довольно частым.

Из этих писем видно, что много работал Бейдеман, как тяготила его весьма многочисленная родня и как рвался он освободиться от этой обузы. Разъезжая из конца в конец по России, он везде отыскивал работы,— ездил для этого и в Европу,— но с трудом работа доставалась ему, туго и скупо оплачивалась. Наконец, мало-помалу начал материально оправляться Бейдеман, хотя частью в долг, он обзавелся небольшим домом с садиком в 20 линии Васильевского острова и с любовью устраивал семейное свое гнездо. Его радовало проявление новой жизни в учениках Академии, зарождение артели художников — будущих членов «Передвижной выставки».[14]

...«Авось,— писал он мне,— с приездом в свой дом, при котором мастерская, дело вести будет сподручнее, да я и не буду брать срочных больших работ, а погружусь в мои композиции; буду делать маленькие картины, эскизы, картоны; займусь гравюрой; и жду всякого блага от этого. Тогда-то займемся вместе. Такое время составляет цель моей жизни; между тем и детки подрастают. Мы с женою значительно

стареем и все к покою ближе, а теперь наше состояние хотя и не описывай — чуть не каторжное; ни покою, ни радостей»...

Стремясь всею душою соединиться с ним и работать, я не мог этого сделать, так как был обременен хозяйством и делами — дворянскими и земскими. Мне оставалось только жалеть об изнуряющих его трудах, о скудном заработке, бояться за его столь необходимое здоровье и радоваться, что он близится к идеалу и цели своей жизни. Вот, вот, думал я, еще немного, и мой Саша бросит вынуждаемую необходимостью работу, расправит крылья и, вольный, свободный, полетит в иной мир, мир красоты и фантазии,— тот мир, которого всегда жаждала его душа и который вполне был ему родной...

Но наши надежды остались надеждами; им не пришлось сбыться!

В письме от 9 марта 1870 года,[15] в воскресенье, в шесть часов вечера, жена А. Е. Бейдемана писала мне:

«Добрый друг мой Лев Михайлович! сейчас получила я письмо ваше. Не знаю, о чем писать вам сперва,— о несчастной ли кончине моего Саши или о моем безвыходном положении. Саша, можно сказать, умер не своею смертью, а убит гипсом,— руками Микель-Анджело, которые лежали на полке, в кабинете над дверьми. Ему показалось, что я зову его, он вышел на лестницу посмотреть и, возвратясь, так хлопнул сильно дверью, что гипс сорвался (24 фунта) с полки и упал ему на голову, сделал большую рану. Но он не лишился чувств, даже не упал, а побежал в кухню; и мы сейчас стали прикладывать воду с арникой; сейчас же явился доктор и перевязал как следует. Это было в четверг 13 февраля. Он чувствовал себя совсем хорошо; рана стала заживать; он работал, был весел и спокоен; но через неделю, на следующий четверг, у него сделалась рожа на голове, а вслед за нею воспаление клетчатки; и в четверг 27 февраля его не стало... У меня все описали. Я сижу, как в темном лесу, и не знаю, откуда забрезжит свет. Голова моя идет кругом; одного, чего я боюсь,— чтобы не сойти с ума»...

IX

Проследив в беглом очерке жизнь А. Е. Бейдемана, считаю не лишним остановиться на некоторых наиболее характерных фактах.

Первое — мы видим: юношу без отца, очутившегося на чужбине, в северной столице, — с матерью, отягощенною денежным процессом, обремененною заботами о детях.

Второе — мы видим юношу, пылкого уроженца юга, попавшего в среднюю школу, где господствовало стадное, рутинное и бессодержательное обучение, способное охладить и оттолкнуть даровитую натуру от преподавателей чепухи. Юноша отказывается от такого просвещения и поступает в Академию художеств, куда влечет его природа. Здесь он скоро выделяется из массы учеников, обращает на себя внимание профессоров, — и тогдашний полубог К. Брюллов шлет ему поцелуй за его эскиз. Отличие перед другими воодушевляет и укрепляет юного художника; затем, по выезде больного К. Брюллова за границу, он работает под строгим и умным наблюдением художника А. Агина, сближается с П. А. Федотовым, вступает в товарищеские отношения с молодыми, талантливыми учениками. Но в момент, когда, достаточно подготовленный в технике, он желает отдаться собственному влечению, его встречает бездушная рутина профессоров, лишает заслуженной первой медали. Он бросает Петербург и едет за границу — искать разрешения своей художественной задачи.

Далее, мы видим постоянное скитание талантливого художника для отыскания заработка. Наконец, его надежда избавиться от гнетущей нужды начинает осуществляться, и в это самое время... роковая судьба лишает его жизни, не дав возможности вылить в живописи давно скопившиеся мысли и чувства. И он, так искренно любящий жену и детей, видит, что оставляет их в нужде и долгах... А я, который был ему ближе всех, на которого он рассчитывал, умирая, обремененный заботами и платежами, был бессилен сделать что-либо, сидя за тысячу верст...

Молодым художникам имя Бейдемана неизвестно; люди, близко знакомые с русским искусством, знают его по двум-трем работам, хранящимся в галерее Третьякова («Изображение головы Спасителя» и набросок, осмеивающий рьяных аллопатов и хирургов).[16]

Мне приходилось не раз слышать отзывы о Бейдемане не иначе, как об иконописце; при этом многие еще прибавляли: «кажется, какой-то»...

Какой иконописец мог получить от К. Брюллова похвалы за бойкие, энергичные, талантливые эскизы? Какой иконопи-

сец мог рисовать бесконечное количество самых разнообразных сюжетов для всевозможных изданий? Какой иконописец мог получить премию по конкурсу за сложный, большой картон с голыми фигурами в натуральную величину, с сильными движениями, смелыми ракурсами,— или мог зло, остроумно, одной чертой набросить карикатуру своего профессора? Какой иконописец справился бы с трудной задачей выразить в рисунке смысл Манифеста 19 февраля, с массой правдивых фигур самых разнообразных типов России? * Какой иконописец мог быть настолько проникнут огненным свободным словом Герцена, чтобы послать ему в подарок рисунок звонящего в набат колокола? Какой иконописец принял бы участие в сочинении на конкурс памятника Пушкину ** или, пораженный сценой покончивших с собою любовников, непосредственно передал бы это впечатление холсту.*** Или будет писать портрет чахоточной молодой девушки, жизненно передавая это тяжелое впечатление... ****

Нет, А. Е. Бейдеман был не иконописец, а громадный и разнообразный талант, который от карикатур и передачи глубоких идей, трагических и любовных сцен — мог углубляться и всею душою понять религиозное смирение и святой экстаз.

Тяжелая необходимость зарабатывать пищу, одежду и теплый угол себе и семье заедала его, и писание икон служило ему только поддержкой. Не было бы такой необходимости, и он вознесся бы в другой мир — мир фантазии, философии и истории человечества; еще немного времени... и он удивил бы нас своими произведениями, их новизною и глубиною пережитых мыслей и чувств.

Поучительна жизнь А. Е. Бейдемана, честно трудившегося человека, случайно и преждевременно погибшего. Я никогда не видел его праздным; он всегда работал, вечно искал работы; и отдых его состоял в беседах об искусстве, его цели и глубоком значении.

Он был бы головою выше многих академических профессоров, взятых вместе, и осмеял бы их отжившую рутину и их

* Следовало бы этот рисунок распространить ко дню 50-летнего юбилея освобождения крестьян. Оригинал его находится в кабинете императора Александра II.

** Бейдеман вылепил из воска прекрасный эскиз этого памятника и подарил мне по окончании конкурса.

*** Работа эта хранится у меня в имении Погорельцах.

**** Находится эскиз там же.

самих, требовавших рабского подчинения условным и затхлым воззрениям на искусство, осуждавших всякое смелое проявление личного чувства и самостоятельности. Им было недоступно понимание вдохновенного творчества. Они не признавали права человека на свободное проявление личности, настаивали на выполнении условных движений, условной одежды, требовали условных форм и даже условных пейзажей. Они выросли во лжи и неправде; по их понятиям, простота, искренность, правдивость и живое изображение жизни были неуместны в искусстве. Они были вымирающие представители вымирающей системы.

Мы, ученики Академии, не разделяли взглядов профессоров. Мы чувствовали трупный запах в их требованиях, чувствовали, что пришло время освободиться от связывавших нас оков на свободу.

Неизмеримо далеки были тогдашние профессора от внутренней мучительной работы, переживаемой А. Е. Бейдеманом. Они не понимали ни его юношеской искренности, ни его нравственных терзаний.

Безучастно брошенный Академией, он искал какой-либо «работишки». В те времена дешевые дагерротипы, а потом фотографии, в значительной степени уменьшили заказы сравнительно дорогих живописных портретов. На картины почти не стало охотников; оставались заказы на образа, и при этом по самой низкой цене. Между тем писание образов требовало от художника значительной затраты на холст, краски, кисти, натурщиков и манекенов, так что от полученной платы оставалась сумма, едва покрывающая расходы; да и та шла не на прихоти, а опять-таки на квартиру, пищу и одежду.

Является грустное чувство, глядя на массу нарождающихся вновь художников, на стареющих и состарившихся, на этих людей, одаренных тонким чувством, чутких, нервных идеалистов и философов, не способных к наживе. Гибнут люди, гибнут таланты в бесплодной борьбе. Мало-помалу теряя всякую надежду на осуществление своих идеалов и духовных стремлений, не имея средств к существованию, они взывают к обществу, чтобы оно дало какую-нибудь «работишку»!.. Холодно, голодно!..

Но может ли талант с искрой божества, с тем святым огнем, который горит в его душе, получив «работишку», отнестись к ней бессовестно и равнодушно? Нет!.. Талант вникнет в нее, найдет и в ней интерес, осветит ее духовным

огнем, и «работишка» выходит из его рук — одухотворенною.

Приходилось и А. Е. Бейдеману добывать хлеб, рисуя всякую всячину на деревяшках, иллюстрировать в журналах и писать иконы. Но, как истинный художник, он проникался данными задачами, и чем задача была серьезнее, тем глубже он уходил в нее. Так, принимаясь за икону Св. Антония и прочих святых, он изучал их жизнь, изображения, написанные предшествующими художниками и древними иконописцами; и тогда только являлось у него одухотворенное изображение подвижника. Это не было равнодушным повторением написанного, это не была своевольная потеха красками, бьющими на эффект,— это было талантливое изображение, незаметно притягивающее к себе, внушающее отрешение от плотских удовольствий, от пустоты жизни, призывающее на подвиг и борьбу духовную. Вглядываясь в лик святых, переданных кистью Бейдемана, вы чувствуете в себе глубокую духовную связь с изображенной им личностью и потребность смотреть еще и еще,— и не можете оторвать глаз.

А. Е. Бейдеман, отрешившись по необходимости от бурных фантазий, мутивших его в молодости, стал замечательным биографом тех подвижников христианства, которых пришлось ему изображать. С молитвенным настроением, страдая душой, он проникался глубоким уважением к святым мученикам давно протекших времен.

Итак, едва ли можно сказать о Бейдемане, что это «какой-то, кажется иконописец»!..

X

Проходят десятки лет, и мы, поколение за поколением, наслаждаемся творениями художников, живших душою в своих произведениях... Что — десятки лет. Прошли сотни лет, и гении продолжают жить, приводят нас в восторг, потрясают и возвышают душу, вознося от земной пошлости в область духовного мира, в мир идей, вечной дивной гармонии звуков, чудным сочетанием красок, огненным словом!.. Что — сотни лет и века!.. Прошли тысячи и тысячи лет, и не умирающий огонь бессмертных гениев и теперь поражает нас великими произведениями в скульптуре и живописи, потрясающею мощью архитектуры, невыразимою прелестью музыкальных звуков, глубоким знанием человеческой природы, правдивостью, простотою и силой.

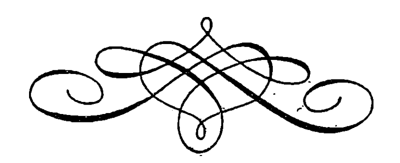
Но такие гении редки. На их долю выпало великое счастье — исполнить свою творческую миссию, а сколько таких же гениев и великих талантов, поставленных в тиски общественной жизни, погибло и гибнет в ее гнилом, засасывающем болоте от бессмысленных случайностей, слабого здоровья, людского тупоумия и безучастия!..

К числу таких погибших крупных талантов я смело причисляю А. Е. Бейдемана, одаренного чуткой душой, умом, громадным воображением, художественной памятью, и настолько владевшего техникой, что он мог свободно высказывать то, что хотел и чувствовал. К этому он был вполне подготовлен, жаждал исполнить задачу своей жизни, стремился к ней многие годы; ужасная случайность погубила его, и смерть поглотила то, что он мог исполнить и чего мы ожидали от него с нетерпением.

Бейдеман оценен не был при жизни и забыт по смерти. Его смелый порыв на волю академической рутины, за который он так жестоко поплатился, был едва ли не первой искрой для последующего протеста тех 14-ти молодых художников, которые выступили на новый путь и, покинув Академию, составили Общество передвижников.[17]

27 февраля исполнилось тридцать четыре года со дня смерти Бейдемана, и я счастлив, что имею возможность сказать хотя что-нибудь о забытом замечательном таланте, дорогом и близком для меня человеке, которого часто, очень часто вспоминаю. Быть может, мои отрывочные воспоминания об А. Е. Бейдемане пригодятся будущим составителям истории русской живописи.

Ялта. 18 января 1904 г.




ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

1857 год.
Выезд за границу. Бреславль, Дрезден, Швейцария и выезд в Париж.

По шоссе, быстро, без остановки мы вместе с моим другом А. Е. Бейдеманом и его женой приехали в Варшаву. Отдохнув дня два или три, мы отправились далее; переехали границу благополучно и остановились в Бреславле. Тут я уже совершенно успокоился.

Поместившись недорого и спокойно, мы пользовались дешевыми экипажами, концертами; тут с помощью доброй Е. Ф. Бейдеман я сшил Ольге белье и платье. Прожили мы в Бреславле столько времени, сколько было для этого необходимо, и, распростившись с Бейдеманами, отправились в Дрезден.

В Дрездене из гостиницы мы переехали в загородную квартиру, наняв помещение в среднем этаже у немки. Нас окружал чистенький дворик с цветущими кустами и цветниками. Дочь хозяйки отправлялась по утрам за съестными припасами, которые сдавала своей матери, а затем уходила давать уроки и возвращалась к обеду. Около нас, через дорогу, был общественный сад, куда публика собиралась к вечеру слушать музыку и наслаждаться чистым воздухом. Все для нас тут было ново — и хорошенькая дочь хозяйки, закупающая провизию и дающая уроки, и мирное наслаждение музыкой скромного общества; но особенно поразила меня простота отношений публики к королю и короля к публике, его вежливое обращение со всеми и отсутствие полицейского надзора, что было для нас, русских, особенно заметно.

Не стану описывать художественных красот, которые пленяли меня. Скажу лишь одно, что, не будучи поклонником Рафаэля, к работам которого с некоторого времени потерял доверие, я подошел к его Мадонне с предубеждением;[1] но

когда сел на диван перед этим произведением, то был поражен вдохновенной религиозностью, поэзией, гармонией и силой, которые охватили мою душу. Лучше этого у Рафаэля я ничего не видел. Я приходил в галерею ежедневно и сидел перед картиной, проникнутый и поглощенный силою того духа, которым был вдохновлен ее творец. Прошло сорок четыре года с того времени, и я еще живо вижу перед собою Мадонну Рафаэля; и никогда не забуду того высокохудожественного и поэтически-нравственного чувства, до которого она подняла дух мой. Никакие копии, эстампы и фотографии не передают этого. Так бывает всегда в произведениях, писанных рукою великого художника, через которую необъяснимо переливается его чувство и настроение духа.

Обстоятельства не дозволили мне засиживаться в Дрездене и погрузиться в наслаждения художественные. Чувства долга и забота об устройстве дальнейшей жизни нашей заставили меня скорее выехать из Дрездена и стремиться к прочному водворению на более или менее долгое время в Швейцарии.

Выезжая из Дрездена в почтовом дилижансе, я поместился с Ольгой снаружи, где было устроено место, вроде коляски с верхом, на случай непогоды. Дорога была очень интересна. Дилижанс ехал скоро, спускаясь и подымаясь по горам; иногда на поворотах, при скорой езде, казалось, мы висели над обрывами и пропастями. Ночью, по случаю темноты и грозы, пришлось остановиться. Весело, хотя и с замиранием сердца, мы спешили далее, восхищаясь видами и радуясь, что так далеко удалились от границ отечества.

Приехав в Берн, мы остановились для отдыха. Никогда до прибытия в Швейцарию мы не видели снежных гор, и когда увидели их, сидя на верху дилижанса, то с трудом поверили кучеру, что это были снежные горы, принимая их за облака.

Рано утром нас разбудил чей-то крик под окнами басом по-петушиному; но оказалось, что это действительно пел громадный петух, каких мы никогда не видели.

Пробыв в Берне дня три, мы отправились к Женевскому озеру, которое поразило нас своим живописным видом и до невероятности голубою водою. Громадное озеро окаймлялось слева и против нас снежными горами; наш берег был занят гостиницами, жилыми домами и домиками, на полугоре виднелись старинные замки; везде раскинуты были сады и виноградники.

Мы остановились в Веве (Vevay) в гостинице у самого берега. Ольге следовало отдохнуть. Удобно поместившись, мы сделали прогулку в лодке по кобальтовой воде озера, бегло осмотрели Шильонский замок и решили, не засиживаясь, продолжать путь. [...]

Проехав по озеру до Villenevoe (Вилльнев),[2] мы сели в дилижанс. Путь был гладкий и живописный, мимо водопада Pisse Vache [Писс Ваш], переехали через Рону в St. Maurice [Св. Морис] до поворота Роны в долину, в Martigny (Мартиньи) и остановились у лечебного источника Saxon (Саксон) в гостинице. Мы хотели остаться в ней, но увидели, что жизнь здесь не подходящая для нас: народу немало, путешественники с деньгами, содержатель гостиницы — поп, бежавший из Италии вследствие грязной истории; доктор — какой-то парижский франт, не внушавший к себе доверия. Пробыли мы в гостинице трое суток, в течение которых отдохнули, и я поднялся на гору, в деревню Saxon, чтобы приискать себе помещение.

Деревня была расположена над гостиницей с устроенным при ней лечебным заведением; * много переулков извивалось между домами своеобразного характера, часто очень бедными. В деревне стояла каменная церковь; по улицам пробегали с шумом ручейки ключевой воды; в двориках виднелись фруктовые деревья. Над деревней были развалины старого замка или церкви; еще выше, вперемежку с полянками и лесами, возвышались горы, виднелись и снежные, а внизу — расстилалась долина, по которой пробегала бурная Рона.

В этой деревне я нашел подходящее для нас помещение у хозяина, который нам понравился. Домик его был сложен из камней, двухэтажный, не считая подвала; крыт аспидными плитами[3] и с садиком. Вид из окон был прекрасный; ручьи бежали с гор, большие ореховые деревья оттеняли дом; деревья абрикосовые и грушевые прилегали к нему. Цена квартиры, состоящей из сеней и двух комнат с двумя кроватями, постельным и столовым бельем, приборами и мебелью, конечно самою простою и прислугою самих хозяев,— была тридцать франков в месяц. Еда обходилась нам от одного до трех франков в день (в то время франк стоил 25 коп.) на нас обоих. Хозяева были вполне люди подходящие для нас. Сам хозяин Jean Baptiste Denicol [Жан Батист Дениколь]

---

* Bains de Saxon-Casino (Ванны Саксон-Казино).

был кузнец, лучший стрелок своей общины и ее вице-президент. Жена его Маргарита была деревенская акушерка. У них был один сын Charles [Шарль], юноша семнадцати лет, здоровый, милый и работящий, а затем еще трехлетняя девочка Сусанна. Все они были католики, как и все население кантона, но не узкие фанатики, при этом патриоты, горячо любящие родину, признающие лишь свой образ правления, то есть республику,— другого правления они не понимали и не признавали.

Пища была простая: яйца, масло, козье молоко, сыр, хлеб из кукурузы, картофель, фрукты, орехи и домашнее вино. Белье на кроватях было грубое, крестьянского полотна, подушки и тюфяк были набиты опилками и листьями кукурузы. Но белье было безукоризненно чисто.

Я с Ольгой делал прогулки в горы и не удаляясь далеко; одеты мы были легко; на Ольге цветная юбка, кофта и соломенная шляпа с лентами, а я в русской рубашке на выпуск, шаровары в сапоги и серая войлочная шляпа с широкими полями.

Мы подружились с бедняком Жозефом, жившим у нашего хозяина в углу сарая; спал он на земле, подложив под голову и под себя штаны, жилет и куртку; питался остатками нашей и хозяйской пищи, картофелем, щенками собак, которых находил вкусными, и даже вонючими щенятами лисиц. Он был очень добродушен, едва умел говорить и с радостью повел нас на свою землю, чтобы угостить собственным картофелем его трудов и собственными грецкими орехами. Но что это было за владение, которым он гордился... Это был лоскут земли в несколько квадратных сажень, на котором росло одно дерево. Мы с Ольгой его полюбили и прозвали St. Joseph [св. Иосиф]. [...]

Меня очень занимал здешний обычай собираться по воскресеньям из разных деревень для стрельбы в цель, причем лучшие стрелки получали премии; такое отличие очень часто выпадало на долю моего хозяина. Я — ненавистник военщины, которая опротивела мне во время корпусной жизни,— смотрел с удовольствием на подростков — юношей, которые добровольно, без начальства, проделывали военные упражнения и участвовали в стрельбе; а женщины украшали заслуживающих премии цветами. Характер этих военных забав был такой веселый, непринужденный; лица молодежи были оживленные. Идя дружно домой, они пели патриотические республиканские песни, прославляя свержение венчанных

королей и деспотов, прославляя свободу, самоуправление и смерть за родину.

Помню, как однажды, с радостными лицами, хозяин, хозяйка и Шарль друг за другом заявили мне, что сегодня торжество во всей Швейцарии, в память избавления ее от тиранов и иноземцев Вильгельмом Телем. День этот праздновался стрельбою в цель, танцами, песнями; а с наступлением ночи на вершинах гор показались условные огни, в знак общего участия в празднестве, и перекличка песнями и рожками.

Предание об освобождении народа от гнета и рабства известно всем в Швейцарии, живет в груди каждого; и в этот торжественный день в свободной стране сердце каждого швейцарца с гордостью усиленно бьется.

Я и Ольга отправились по знакомой уже нам дороге, в дилижансе, в Villenevoe, чтобы еще раз осмотреть Шильонский замок, потом сесть на пароход, побывать в Женеве и вернуться обратно в Saxon.

Мы осмотрели подробно старинный Шильонский замок, построенный в 1328 году и стоящий близ берега на подводной скале с угрюмыми башнями, крепкими стенами и двором, узким и мрачным, хотя он и зарос живописно плющом. Видели мы и комнаты, где герцог и герцогиня покойно пировали, наслаждаясь жизнью и красивыми видами на озеро, окрестности и горы, забывая узников и приговоренных к смерти под их комнатами, стоны которых долетали до их слуха, но не проникали в душу. Особенно мрачна была комната по соседству с той, где, прикованный за ногу цепью, семь лет томился Бонивар (Bonivar), знаменитый шильонский узник, восставший против тирана. В соседнюю комнату вела тяжелая железная дверь, чрез которую приводили заключенного и откуда он уже не возвращался. В этой комнате, измученный, он был оставляем палачами; кроватью ему служила скала, на которой выстроен замок; проломы, сделанные в скале, служили окнами. Участь шильонских узников была решена заранее: наутро назначенного дня являлись гости с тем, чтобы заключенного через пролом выкинуть с камнем на шее на дно озера. Мягкий и глухой удар по воде, круги, образовавшиеся от брошенного, тихо расходились по глубокому зеркалу озера, и тем все кончалось. Природа и в этих случаях восхищала взоры герцога и герцогини.

Мы пошли в церковь, находящуюся внутри замка;[4] час был обедни, и заключенные сидели чинно на скамейках в не-

сколько рядов; проход к престолу разделял скамьи на две половины. Когда мы вошли, поп говорил проповедь; мы тихо заняли места с края задней скамейки левой стороны. Швейцар с булавой величественно пропустил нас.

Я занялся рассматриванием заключенных, но не мог этого сделать, так как поп привлек наше внимание. Я ничего подобного не видел. Это было воплощение лицемерия, лжи, бездарности и фиглярства. Он то кричал на всю церковь, поднимаясь на носки, протягивая руки кверху и таращa глаза; то вдруг делал серьезное лицо, хмурил брови, сжимался и приседал, говоря шепотом. Ни я, ни Ольга не могли сдерживать своего невольного смеха, закрывая лицо платками; на нас строго смотрел швейцар; подходил к нам, постукивая булавою, но смех наш не унимался, а от сдержанности превращался в нервный хохот, и мы ушли, едва не выведенные из церкви. Господи, что может эта обезьяна внушить хорошего несчастным заключенным или закоренелому преступнику?!. Нередко мы и теперь вспоминаем со смехом и омерзением этого шута на церковном помосте. [...]

Время родов Ольги приближалось, и мы решились съездить в Martigni, чтобы сделать покупки и переговорить с главным доктором, пользующимся доверием и почетом. Выслушав его совет Ольге сидеть дома, я вынул пятифранковую монету ему в уплату, но он, взяв ее, тотчас же сдал мне четыре франка. Такая скромная плата, да еще известному доктору, была поразительна для нас. Подобный случай, с другим доктором, был с нами в городе Sion, где была даже сделана Ольге маленькая операция.

Совет старика доктора был вполне основателен. На возвратном пути из Martigni Ольга начала чувствовать боли, которые усиливались от езды в экипаже, и по приезде нашем домой явно обнаружились родовые схватки. [...]

Я стал отцом... Моя добрая, юная и искренне верующая Ольга начала поправляться; ребенок искал грудь, но молоко трудно показывалось. Страх нашел на мать, еще более на Маргариту, чтобы ребенок не умер, некрещенный, и я решился исполнить их желание — окрестить ребенка. Маргарита понесла младенца в церковь, положила его на порог, затем его окрестили, и, по желанию моему, дано ему было имя Георгия или Юрия.*

* В память несчастного брата С[офьи] А[ндреевны] Юрия Бахметьева, злодейски убитого — будто бы на дуэли — князем Вяземским.

Ольга скоро поправилась, стала молодой, милой и красивой женщиной — превратившись из девушки в мать. Я начал подумывать об устройстве нашем на зиму, хотя был еще русский июнь на исходе. Для этого я переселился с Ольгой в верхний этаж, более просторный, заказал зимние рамы и поставил печку, а завтракать и обедать мы ходили вниз, в прежнюю нашу комнату. Это представляло для зимы большое неудобство, так как приходилось ходить в мороз по скользким ступеням открытой и крутой лестницы; но нужно было с этим мириться. Мы наняли няньку, чрезвычайно добросовестную и неутомимую. Юрочка был очень беспокойный ребенок; Ольга кормила сама, но я опять-таки в первый раз испытал, что значит жить с женщиной, кормящей ребенка, и с ребенком, требующим беспрестанного за собой ухода. Я не мог спать, болела голова от беспокойных ночей и тревоги за здоровье ребенка и Ольги; это был переворот всей моей прошлой жизни, и я, страдая, ломал себя, сознавая свой долг и святую обязанность.

Рождение ребенка меня как-то ошеломило, хотя и не было неожиданностью. Мое казачество кончилось; на моих неопытных руках, на моей совести была бесконечная забота об Ольге и Юрии. Что я? недоучившийся, неустановившийся человек... Как буду вести их, когда сам не умею вести себя и мотаюсь как паутина по ветру. Как я буду тут жить и продолжать свое развитие в этой глуши, без руководителя? Сам зашел куда-то и завел за собою Ольгу с ребенком. [...]

В церковь я не ходил, и патеру это не нравилось. Однажды добрая и благочестивая Маргарита сказала мне, что патер жалеет, что я ни разу не посетил церкви и что завтра он будет говорить проповедь. Маргарита, Батист и Шарль заинтересовались предстоящей проповедью, и я отправился в церковь с ними. Место для меня было занято на скамье — в проходе посреди церкви. Началась проповедь. Я вижу пристальный и внимательный взгляд на меня проповедника, слышу его слова о том, что есть разные народы и что все они верят в бога, и у всех есть потребность посещать храм господний, что таковы уж, не говоря о католиках, населяющих весь мир, даже лютеране, протестанты, турки, китайцы и индейцы... Но есть личности, которые не имеют никакой религии, у них нет бога... При этих словах он приостановился и упорно смотрел на меня; некоторые в передних рядах сидящие крестьяне и крестьянки также оглянулись на меня. Это

отщепенцы, продолжал патер, схизматики, сухие ветки виноградной лозы, которые следует отламывать и бросать в огонь, чтобы они не заражали своею гнилью других... Проповедник остановился и не спускал с меня двух своих глаз, и еще большее число глаз слушающих искало меня.

Хотелось мне встать и высказать проповеднику, что легло тогда на мою душу; но я не сделал этого, частью из деликатности, а также и потому, что не сумел бы ясно высказать по-французски того, что желал, я встал и ушел из этой лицемерной и злобной церкви.

Мои хозяева были глубоко возмущены этой проповедью, направленной прямо против меня. Батист далеко не был, как говорится, добрым католиком, Шарль тоже, а Маргарита хоть и была католичка более их, но тоже не слепо верила словам патера.

Вскоре после этого я был огорчен, получив из Петербурга письмо отца с известием о скоропостижной смерти всею душой любимой мною тетушки (сестры моей матери) графини Анны Алексеевны Толстой. Она была нам почти второю матерью, и такою она желала быть. Я долго не мог помириться с этой утратой; не могу вспомнить о ней и теперь без сердечной тоски.

Я нередко задумывался над тем, не принять ли мне с Ольгой и сыном швейцарское подданство; собирал сведения по этому поводу, и, чтобы окончательно выяснить дело, отправился в Лозану для переговоров с почтенным стариком пастором. Условия, им сообщенные, были несложные, но требовали значительного расхода на покупку земли, и потому я решился отложить это дело до более удобного времени и собрать еще сведения об условиях перехода в подданство Англии или Америки.

Простившись с почтенным пастором, я отправился в Женеву за получением из банка денег, высланных моим отцом, и за покупкой художественных принадлежностей.

Узнав, что почтенный живописец Калам находится в Женеве, я отправился его разыскать, чтобы с ним познакомиться.

Я застал Калама в собственном его доме, за работой. Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал об его работах, присланных в Петербургскую Академию, и перед которыми К. П. Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись.

Калам слушал и работал. Выражение лица его было довольное. Я всматривался внимательно в его технику: на палитре лежали тщательно подготовленные тоны неба, деревьев, травы, камней и воды. Он брал тот или другой тон, и работа его шла непрерывно, как по нотам, как звуки на органе,— без фальши и как-то бездушно. Глядя на его работу, я чувствовал, как жар мой постепенно остывал, и заученная его манера мне опротивела.[5] Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня, точно так же, как заученная фабричная техника Айвазовского, картины которого я сравниваю с вином, то есть чем они старее, тем лучше. Когда этот талантливый русский художник был моложе, то он работал скромнее, изучая природу; в его картинах было более достоинства, интереса и менее заученного, машинного, бездушного производства для наживы.[6] Такая работа уже не художество, а промысел и торговля. [...]

Между тем наступившая осень все более давала себя чувствовать.

Распростившись с добрыми хозяевами, я оставил им окна с зимними рамами, двойные двери, устроенные на зиму; полтора огромных круга сыру, бочку вина и железную печь. Кроме того, мы дали несколько денег и св. Иосифу; дружески простились со всеми и отправились под гору на почтовую станцию. Хозяин, Маргарита и Шарль отнесли наш багаж, а св. Иосиф, плача, промычав нам что-то на прощание, долго стоял на горе и провожал нас глазами. Мы сели в дилижанс и уехали.

Прощай прекрасная страна. Как часто ты приводила меня в восторг своими мощными картинами, когда тяжелые и мрачные тучи застилали долину, блестела молния, и могучие удары грома отдавались эхом по всем ущельям. Как часто мы восхищались твоими тихими вечерами, когда вершины гор окрашивались заходящим солнцем и с гор бежали стада коз с блеяньем и звоном колокольчиков, неся хозяйкам, в благодарность за уход, полное вымя молока.

Прощай скромный и свободолюбивый народ.

Шлю тебе прощание, страна, приютившая меня, где я нашел золотые сердца в бедности и нищете. Прощай родина моего сына, маленькая, бедная страна, но счастливая и гордая своею независимостью, завоеванною мужеством. Я чувствую в сынах твоих смелость и отвагу Теля. Я уверен, что и

в будущем каждый твой гражданин способен отстаивать свободу... Отважный, гордый твой народ не заразится низкопоклонством перед коронованными владыками, и ты, свободная страна, останешься чиста и недоступна, как твои вечноснежные горы. [...]

II

1857 год.
Приезд в Париж. Приезд брата Владимира.
Глез. Покушение на Наполеона III.
Выезд из Парижа на Восток.

Я с Ольгой и Юрочкой, который спокойно наслаждался материнской грудью, переехали из страны свободы и равенства в соседнюю страну, где господствовала единоличная власть тирана. Власть свою он захватил насильно, как тот дерзкий и кровожадный орел, которому обрезали крылья и заперли умирать на острове среди океана.[7]

На границе французской империи нас осмотрели и взыскали штраф за несколько кусков шоколада, который мы везли для своего употребления,— мелочное и глупое стеснение.

Другой воздух, другие впечатления; чувствовались уже не свобода и равенство, а жандармская лапа и полицейский взгляд негодяев, преданных негодяю и клятвопреступнику.

Что будет? как будем жить?.. В Париже мне был знаком лишь только русский священник при посольстве Иосиф Васильевич Васильев. Знакомство мое с ним хотя и было давнее, но не близкое. Я знал, что он был сын священника Орловской губернии Елецкого уезда села Стрельцы, находящегося от нашей деревни Павловки в семи верстах. Мальчиком он хорошо учился, перешел в семинарию, шел первым учеником; отец мой принимал в нем участие и при переводе его в Петербургскую духовную академию, где он отличался успехами и поведением. По праздникам молодой Васильев нередко являлся к отцу; давал уроки братьям моим для поступления в университет. Кончив в Академии лучшим учеником, он женился и с помощью моего отца поступил священником при посольской церкви в Париже. Из Парижа он приезжал в Петербург, бывал у отца и тогда же начинал собирать пожертвования для построения русской там церкви, что и удалось ему. Хотя в Париже я никого не знал, кроме

Васильева, но мое отношение к нему было таково, что я не сомневался, что могу вполне положиться на его помощь.[8]

В Париж приехали мы ночью и были поражены бесчисленным множеством фонарей и бесконечным лабиринтом улиц и переулков. Мы остановились на набережной Сены, против Nôtre Dame de Paris [собора Парижской богоматери], близ Jardin de Plantes [Ботанического сада]. Гостиница была простенькая и даже очень простенькая; не зная, что нас ожидает, я берег свои весьма небольшие средства.

Отдохнув ночь, я оставил Ольгу с Юрочкой и отправился разыскивать Васильева. Оказалось, что квартира его от нашей гостиницы отстояла очень далеко, близ русского посольства.

Иосиф Васильевич дружески встретил меня, и мы переговорили о найме для нас квартиры, которую я и взял около него у Триумфальной арки, в глухой улице Rue chemin de Versailles [Версальская дорога] за 240 франков в год, в четвертом этаже. Над нами были мансарды, где помещались: конюх императорских конюшен, слесарь, машинист и пр., и откуда нередко слышались пьяные голоса и брань. Стена об стену с нами жил англичанин с женой и ребенком. Постройка дома была жидкая, дворик маленький с одним деревом, окруженный каменной стеной, за которой виднелись невысокие деревья, а за ними вид на бесконечный город. Квартирка наша состояла из маленькой кухни, через которую был ход в три небольшие комнатки. Дом охранялся злым и грубым дворником — столяром, с такою же злою женою и дочкой лет десяти, вечно везде шныряющей и подслушивающей. У них была чистенькая и хорошо, даже прихотливо, убранная комната у ворот.

Иосиф Васильевич сообщил мне, что ему сказали в здешней Академии художеств, что мне, как иностранцу, туда поступить нельзя. Тогда я вместе с ним отправился к Горасу Верне (Horace Vernet), которого он знал, так как служил ему моделью, для написания русского священника в картине его «Взятие Воли».*

Художник принял меня любезно и продолжал свою работу; писал он «Благодетельного самаритянина». Он под-

---

* Укрепление под Варшавой. Картину эту я видел, бывши пажом, в одной из зал Зимнего дворца в Петербурге. Там ли она теперь — не знаю. Заказана она была императором Николаем I. Взятие Воли было при штурме Варшавы в 1831 году.[9]

твердил уже известное нам правило относительно приема учеников в Академию; и сам отказался принять меня к себе учеником, так как стар и учеников уже не принимает, но посоветовал обратиться к Пико или Глезу, но не к Глеру, который глуп, а также не к Конье. При этом он позволил приходить иногда к нему за советом.

Фигура Гораса Верне была оригинальная. Это был сухой, маленький старичок, коротко остриженный, с большими усами и эспаньолкой; быстрый в движениях и живой в своей речи. Он выражал свои мысли, не стесняясь в подборе слов и не задумываясь.

Пико был в отлучке из Парижа, и потому я отправился к Глезу, которого разыскал в улице Вожирар (rue Vogirard), в латинском квартале, что было очень далеко от моей квартиры.

Глез (A. Glaize) был живой старик, как все почти французы, маленького роста, коренастый, почти плешивый, с порядочной сединой и бородкой. Он сделался художником по влечению, бросив свои занятия в молодости у часового мастера в Монпеллье.

Вот письмо мое к отцу, относящееся к этому времени, которое сохранилось в подлиннике после смерти отца в его бумагах и может вполне заменить мои воспоминания.

Париж. 29/16 ноября 1857 г.

Любезный друг Папинька. После многих хлопот я начал заниматься, но все еще не совершенно так, как бы желалось. В той поре развития, в какой нахожусь я, то есть не быв еще мастером, необходимо прожить за границей долго, и только тогда я могу принести пользу. Сидя у себя в хате, научиться ничему нельзя. Нужна беседа с людьми учеными; нужна критика; необходимо видеть лучших мастеров и все развитие современной живописи, чтобы ясно сознать свой путь и свою цель и наконец сделать оценку себе и занять место между современными художниками. Мы, русские,— хвастуны ужасные и воображаем, что у нас все лучше, а на деле изнуренные лошаденки и войско, словом, все — от стесненной жизни безграмотного крестьянина до художника и науки, все не то, что следует, все иначе, и между многими причинами несчастного состояния России — наше самохвальство, которое постоянно нас усыпляло и наконец усыпило.

С ничтожным образованием, побывав в Италии и махнув на всю Европу, наши художники считают себя уже какими-то колоссами, тогда как на деле у них в голове хаос, который мешает и колоссу встать наряду с другими и высказать свою громадность. Я говорю о Брюллове, который, при всем его великом таланте, не оказал того влияния на художество,

которое мог оказать. Отдыхая на своей славе и усыпленный поклонением Академии и отсутствием критики, он запер ворота, закутил, запил... и стал на вторую степень в современном развитии.[10]

Не считая себя равным Брюллову и начав работать, то есть учиться грамоте художественной в девятнадцать лет, я должен идти осторожно, осматриваясь и оглядываясь, взвешивая каждый шаг.

Итак, я намерен прожить за границей долго. Буду работать в Париже, изучать французскую школу. Буду работать в Бельгии, в Дюссельдорфе, Мюнхене, Берлине, Лондоне, в Испании и Италии. Везде буду учиться, как школьник, но только с бо̀льшим развитием головы, и тогда уже начну писать картины серьезные. Как много их у меня в голове, и как мало сил на их выполнение.

За смертью Делароша я выбрал себе Гораса Верне; [11] он обещал служить мне советом, но учеников он не имеет и не принимает. Я был у него с добрым Иосифом Васильевым, который кланяется тебе и братьям; жена его тебя очень любит и помнит. Горас Верне советовал мне идти к Пико, но я его не застал и отправился к Глезу, у которого я начал занятия свои, платя по 60 франков в месяц, что для меня дорого. Что будет далее расскажу, а пока — прощай. Целую тебя и желаю всего хорошего, то есть спокойного состояния духа и здоровья. Целую братьев, Анниньку, Виктора с детьми и кланяюсь всем, помнящим меня.

Твой сын Лев

Учитель мой Глез был человек семейный; жена его, бойкая и умная француженка, оказалась расчетливой и хорошей хозяйкой; у них был сын Leon [Леон], лет восемнадцати, и дочь, лет шестнадцати, которая жила в пансионе, откуда навещала иногда родителей.

Глез удивился, почему Горас Верне рекомендовал его, так как он его почти не знает, и спросил меня: «Не Глера ли?» На мой ответ, что именно его, а не Глера, которого Верне назвал дураком и просил не смешать фамилии Глеза с Глером, Глез очень смеялся. Он объяснил мне, что учеников не имеет и что может меня принять, ежели я так настаиваю, но предупреждает, что мне придется работать у него в мастерской, где никого нет, кроме его сына, занимающегося под его руководством.

Я, конечно, согласился на все; плата в месяц была назначена по 60 франков; натурщик, краски и пр. принадлежности я должен был иметь за свой счет. Если натурщики или натурщицы будут позировать для него или его сына, то я имел право пользоваться ими бесплатно. Плата должна была вноситься за месяц вперед.

Итак, все уговорено, и я должен был начать свои занятия с следующего дня. Но я должен был прийти не на квартиру Глеза, а на Марсово поле, во временную мастерскую, которая была отведена ему для исполнения картины, заказанной Наполеоном III по поводу провозглашения его императором.

Я скоро пристрастился к своему учителю.

Мастерская Глеза на Марсовом поле представляла из себя деревянный высокий сарай, покрытый железной крышей; ход в него был через калитку, вделанную в огромные ворота. Сарай этот охранялся сторожем. Внутри его, почти во всю длину, стояла огромная картина Глеза, с позорным сюжетом «Провозглашение Наполеона III императором». Не сочувствие руководило Глезом воспроизвести этот эпизод из жизни негодяя, а нужда в тридцати тысячах франков. Убранства в мастерской не было. Стоял простой деревянный, некрашеный стол, на котором обыкновенно устраивался завтрак; около стола был диван для отдыха, три, четыре стула, и тут же лестница на подмостки. Высота мастерской была большая, и потому в ней во время дурной погоды было холодно. Глез поставил в ней железную печь, чтобы греться, варить кофе и жарить бараньи котлеты, которые приносил с собой.

Картина Глеза была очень неинтересна. На высоких подмостках стоял Наполеон III, с тараканьими усами и свиными глазами, и самоуверенно произносил речь, сзади него — его сообщники, перед ним — войско. Фигуры были в натуральный рост. Иногда приходили солдаты, с которых писал Глез, всегда отзывавшиеся небрежно о немцах, и высказывали желание овладеть Рейном. Как видно, этот воинственный задор умышленно возбуждался правительственными агентами. Я и сын Глеза замазывали кое-что в картине, делали рукоятки сабель и т. п.

Система учения Глеза, по моему мнению, разумная. Он заставил меня нарисовать в натуральную величину мой собственный портрет,— глядя в зеркало. Дело шло плохо, так как это было для меня ново. Потом он положил шелковую драпировку и велел написать ее, чтобы видеть, понимаю ли я образующиеся складки и освещение этой материи; затем драпировку бархатную, чтобы я видел разницу в ходе складок и освещения разных материй, при одних и тех же условиях света. Кроме того, поставлено было два подрамочника с натянутой на них бумагой, для рисования на ней голого натурщика, в натуральную величину — углем. Рядом со мною рисовал сын Глеза Leon (Леон), впоследствии тоже известный

художник.* Когда мы сделали эти рисунки, что было для меня тоже ново и трудно, Глез велел рисунки поставить в угол мастерской, а на других картонах нарисовать того же самого натурщика на память в натуральную величину. Как охотно, с каким интересом мы приступили к работе, то одобряя, то посмеиваясь друг над другом, а старик Глез весело поглядывал на нас, советов не давал и только заставлял продолжать и продолжать работу. Такой труд заставлял обдумывать и помнить натуру, рассуждать, а не рабски копировать, как бывало мы копировали в Академии, и не щеголять чистотой безграмотной отделки, сидя над одним небольшим рисунком целый месяц.

Мы кончали рисунок в несколько дней. После этого Глез велел нам поставить рисунки рядом с теми, которые были сделаны раньше — с натуры, чтобы мы могли видеть разницу между ними и свои ошибки.

Кроме того, старик заставил нас нарисовать на память (в той же позе натурщика) Геркулеса в натуральную величину. По исполнении этой задачи мы сделали в той же позе женщину, придав ей античные формы, на память.

После таких испытаний картоны были заменены холстами, поставлен голый натурщик, и мы писали с него масляными красками и его же на память красками; то и другое в натуральную величину. По окончании этих работ опять призывался натурщик; и по нем мы исправляли свои ошибки.

Метод этот я и теперь нахожу очень разумным и полезным. Копий с оригиналов Жульена и т. п. он не допускал в преподавании.

Вообще старик Глез пользовался почетом в мире художников и в публике, особенно после выставки своей колоссальной картины «Un pilori».[12] В середине ее стоял Христос, около него с одной стороны Сократ, а с другой Гомер; от них тянулись ряды великих людей, стоящих у позорных столбов; а по обеим сторонам картины были расположены две прекрасно нарисованные группы, которые дополняли собою красоту сочинения и мысль художника. Одна группа представ-

---

* Я привел к Глезу Михаила Петровича Клодта, сына нашего почтенного скульптора Петра Карловича Клодта, так как Петр Карлович и жена его просили меня, перед отъездом из Петербурга, присмотреть за их сыном, которого они собирались отправить в Париж. Но молодой Миша скоро покинул Глеза, отправился в мастерскую Кутюра и увлекся парижской жизнью; но затем опять принялся за дело, и ныне — профессор живописи.

ляла лицемерие и насилие, а другая — невежество и нищету. Пальмовая ветвь, лежащая на доске между группами, служила символом благодарности и уважения мученикам; надпись, взятая из стихотворения Беранже, объясняла весь смысл картины:

On les persécute, on les tue;
Sauf aprés un lent examen,
A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain!!![13]

На выставке парижский архиепископ заставил Глеза выделить Христа от прочих мучеников, вследствие чего художником и была прибавлена летящая над ним фигура ангела с лентой, на которой было начертано: «Pater Dimitte non Enim Seivat qvot facivat».*

Беранже, глядя на картину Глеза, сказал ему, что он его обессмертил. Умная, скромная и милая любезность.

В числе мучеников изображен Глез под именем Denys [Дени].

Но это не настоящий портрет его. У него в доме был при мне прекрасно им самим писанный портрет его, во вкусе Рембрандта, и очень похожий.

С этой картины сделана Глезом очень хорошая литография большой величины; и экземпляр ее был мне подарен автором. С этой литографией я не расстаюсь, и она с тех пор постоянно висит в моей комнате, напоминая былое время и заставляя жалеть о безвозвратно потерянной цели жизни и задумываться над превратностью судьбы многих и многих...

Так шла моя жизнь в Париже; с девяти часов утра я был в мастерской Глеза, на Марсовом поле, работал до шести, а в семь часов обедал дома. Перерыв занятий был в одиннадцать часов, когда Глезы готовили себе завтрак. Путь свой я всегда совершал пешком.

Очень часто я и Ольга с Юрочкой приходили обедать к Иосифу Васильевичу и проводили у него вечер. У Ольги были свои заботы; она кормила ребенка, ухаживала и гуляла с ним, закупала провизию и присматривала за кухаркой, а в то же время училась у нее хозяйству. Ее положение было трудное. Кроме забот о грудном младенце, юной,

---

* Отче, прости им, не ведают, что творят.

восемнадцатилетней неопытной женщине, на чужой стороне, не знавшей французского языка, приходилось взять понемногу в свои руки, хотя и грошовое, но совсем новое для нее дело. Мне тоже было немало беспокойства. Деньги, привезенные мною и высланные отцом в Швейцарию, при всей моей бережливости, быстро убывали. При выезде моем из Красного Рога тетушка моя графиня А. А. Толстая дала мне для поездки за границу тысячу рублей; но это было около августа 1856 года, то есть более года тому назад. Отец давал мне всего в год шестьсот рублей; значит, денег в достатке я не имел. Проезд в Смольково, оттуда в Петербург, Бреславль, Дрезден и жизнь в Швейцарии и Париже, а также расходы на одежду, художественный материал, плата за уроки мои по 60 франков в месяц; за натуру, за уроки Ольгины французского языка; затем еще квартира, прислуга и пр.— значительно истощили ограниченные мои средства. К концу 1857 года денег у меня было весьма немного, но я ожидал, что получу их от отца, и потому спокойно смотрел вперед, не опасаясь случайностей. К тому же добрый Иосиф Васильевич был подле и мог дать мне денег, уверенный в том, что заем у него будет безотлагательно возвращен. Вот что я писал своему отцу в это время.

Париж. 16/3 декабря 1857 г.

Вчера, любезный друг мой Папинька, я получил твое письмо, вчера же написал доверенность, а сегодня отправляю.* Мне кажется, что лучше этого трудно было что-либо придумать. Ну что Виктор? ** Как идет его работа. Не перемещается ли он куда? [14] Я чрезвычайно порадовался за брата Володеньку, которого начали употреблять в дело так неутомимо; [15] в нем много доброй воли, подвижности и разума. Бог даст, при этих данных он будет полезен. Приятно бы с ним встретиться здесь.

Что касается твоей заботы, чтобы я представился нашему послу графу П. Д. Киселеву, который может мне быть полезен при моей любознательности, то скажу следующее: я с утра до вечера так занят, что не бываю ни у кого, а не только у посла. К вечеру утомлен до того, что ложусь спать в восемь часов и редко позже десяти. Свободное время провожу у доброго Иосифа Васильевича и веду с ним дружеские и полезные беседы. Чтобы удовлетворить свою любознательность, в каком бы то ни было отношении, не надо прибегать ни к кому, а не только к послу. Все и везде открыто здесь для всех. Лувр (или наш Эрмитаж), посещается

---

* Дело идет о доверенности, нужной для выдела сестры нашей и нашего раздела.

** Арцимович, муж моей сестры.

всеми, в шляпах, в пальто, в блузах, и народу вечно толпа; только отбирают палки и зонтики. Есть много русских семейств, которые сами желают со мной познакомиться, но я решительно отказываюсь, не предвидя в этом ровно никакой пользы. Между прочим, скажу, что наши русские семьи в Париже возбуждают даже негодование своею пустотою и бессмысленной тратой денег, однако во всем бывают исключения, и газеты здешние принесут им пользу, часто публикуя их гадости; и, описывая какую-либо личность, позорят ее на всю читающую Европу. Пока я очень доволен Глезом и усиленно занимаюсь живописью и рисунком.

Прощай, любезный друг Папинька, целую тебя и братьев.

Л. Ж.

В конце 1857 года брат Владимир известил меня о скором приезде в Париж.[16] Свидание с ним было для меня чрезвычайно желательно. Я жаждал, чтобы он познакомился лично с Ольгой, Юрием и моим положением. Я его любил горячо и любил с детства; был уверен, что с ним я отведу душу и что в нем найду доброе и разумное сочувствие, которое было особенно дорого для меня, так как кругом себя я не находил духовного удовлетворения.

Перед рождеством приехал Володенька, познакомился с Ольгой и сошелся с нею как друг и брат. Он пробыл несколько дней в Париже; мы с ним и Ольгой два раза обедали у Иосифа Васильевича, затем он отправился в Марсель и Лондон. От приглашения ему сопутствовать я отказался, боясь оставить Ольгу в одиночестве.

В это время, то есть после отъезда Володеньки, случилось покушение на Наполеона. Мы были у Иосифа Васильевича, когда услышали взрыв, и, узнав о покушении на Наполеона при выезде его в театр, тотчас отправились к месту происшествия. Народу собралось масса, полиции и жандармов — тоже. Результат известен: Наполеону осколком ручной гранаты оцарапало длинный нос; публика кричала ему: «Vive l'Empereur»[17] при появлении его в театре с окровавленным платком. Из толпы оказалось убитыми и ранеными сорок человек и несколько лошадей; стекла у подъезда разбиты; пострадал и железный навес. Покусителя на жизнь Наполеона, графа Орсини, взяли на следующий день и вскоре казнили; а красивую его голову с умыслом облили негашенною известью, чтобы маска его не сохранилась между соотечественниками. Империя стала еще тверже.

О покушении на Наполеона III я писал отцу в следующем письме.

Париж. 15/2 января 1858 г.

Любезный друг Папинька, спешу сообщить тебе, что брат Владимир приезжал в Париж с Новосельским, пробыл здесь два дня и отправился в Марсель. Оттуда я получил письмо, что он едет в Тулон; сегодня жду его сюда обратно; вероятно, опять дня на два, не более, а из Парижа я поеду вместе с ним путешествовать. Думаем ехать в Лондон, Венецию, на Ионические острова, в Константинополь, Палестину и Египет. Не могу сказать тебе точно ничего, потому что теперь еще не решено, куда именно отправимся раньше. Вообще путешествие это очень заманчиво для моего неусидчивого характера. Постараюсь извлечь из него возможную пользу; а оттуда вернусь в Париж к своему Глезу, которого очень полюбил. Другая новость, которую ты, может быть, уже знаешь из телеграфных сообщений, та, что вчера вечером Наполеон ехал с женою в Большую оперу и около него, у самого входа в театр, лопнула одна граната за другой, а через две минуты третья. Раненных людей и лошадей много, есть убитые; Наполеон чуть ранен осколком от кареты в нос; говорят, что и этого не было и что он и жена его совершенно невредимы, так как карета железная. Наполеон воспользовался этим случаем, чтобы показать себя спасенным каким-то чудом, выходил на балкон к кричащему искренно и лицемерно народу: «Vive l'Empereur!» Кто бросил бомбы, еще неизвестно. Вечером иллюминованы были дома; и я видел возвращающегося из оперы Наполеона тем же порядком, как он ехал туда, в карете с женой и в сопровождении эскадрона кирасир. Народ опять кричал ему: «Vive l'Empereur»! Я простоял на улице от 8 часов до 12, то есть от начала до конца оперы и насмотрелся всяких сцен всяких партий; видел радостные и печальные лица, переодетую и не переодетую полицию. Жаль, что брата не было со мной. Жду его сегодня или завтра, готовый к отъезду.

Мне случилось говорить с людьми, которые наблюдали за Наполеоном. Он ни в чем не высказывается; даже глаза его молчат и всегда прищурены.

У себя с гостями он обворожителен и необыкновенно любезен. Слушая доклады и в разговорах о делах он всегда молчит, не сердится, не увлекается; физиономия его никогда не меняется.

Прощай, любезный друг, целую тебя крепко и прошу твоей молитвы о счастливой нашей поездке.

У нас, говорят, чины в России уничтожены — славно.[18] Энергично! За такие действия: да здравствует Александр II. Говорят, что открыты повсюду комитеты об освобождении крестьян,[19] и говорят, что помещики ощетинились сильно.

У нас тут этот сброд — ставший поперек христианской и современной мысли,— тоже страшно буянит; надо бы их не спрашивать, а по-нико-

лаевски приказать им освободить крепостных, и делу конец. Что же делать, когда они разучились думать и чувствовать.

Прощай, любезный Папинька, еще раз целую тебя и братьев.

Твой сын Лев

[...]

Время выезда нашего пришло. Я, брат и Н. А. Новосельский (тогдашний основатель и директор-распорядитель Русского общества пароходства и торговли) выехали из Парижа в Вену.

III

1858 год.
Выезд из Парижа. Дорога. Приезд в Вену.

Я уже упоминал, что вел дневник и что многое из него потеряно; но то, что сохранилось, я буду помещать здесь целиком, так как дневник передает именно то, что происходило в то время, правдивее и жизненнее, чем передавал бы я в своих воспоминаниях, когда прошло более сорока лет.

31/19 января я выезжал из Парижа. Минуя городские укрепления, с удовольствием услышал я крик ворон, которых не видел с самого выезда из России. Я вспоминал Россию, когда выезжал из Швейцарии во Францию на простор, покинув за собой горы; но теперь еще более напомнили мне Россию поля, даль и целые семейства грачей.

Мы быстро пронеслись ночью мимо фабрик Бельгии, дышащих пламенем, а когда въезжали в Пруссию, то вместе с нами появилась зима, снег несся хлопьями, земля побелела...

Выехав из тоннеля, мы остановились в таможне, которая была под самой горой. Луна светила холодно; кругом снег и дичь; гора надвинулась над нами, и ноги промокли от снега; это была граница Австрии.

Продолжая путь, мы ехали безостановочно, и меня поражало сходство местностей Богемии и Моравии, вплоть до Вены — с Малороссией. Линии местностей, дороги, обсаженные деревьями, на возвышении помещичий дом и церковь,

ряды хат с двориками, загороженными плетнями и низкими заборчиками,— все напоминало мне Украину. Я видел те же хаты с каморами, подчас раскрашенные желтой глиной и мелом; те же степные журавли-колодцы; стриженные соломенные крыши; та же бедность...

По большой дороге тянется такой же еврейский фургон, только крестьянские сани тут в виде ящиков, а панские — на немецкий лад, желтые и с завитками... Мороз дает себя чувствовать и переносит на родину. Как и у нас, приходится прочищать окно вагона, чтобы рассмотреть мимо чего пролетает поезд. Солнце пробивается в окно и оттаивает на стекле морозный узор.

Так вот откуда мы переняли наши однообразные и скучные станции... Невольно, глядя на эти холодные на вид однообразные постройки, стоящие одиноко, с мундирной рожей, вспомнишь езду у нас в России от станции к станции, с такой же физиономией. Вспомнишь также свой въезд в такой же город с казенным домом в несколько этажей, скучным, как казарма, и тоже с двуглавым черным орлом.

Мы едем далее... много снегу; старые и новые следы зайцев, стада куропаток спокойно разгуливают, не боясь несущегося поезда. Время от времени встречается черная фигура прохожего на белом снегу; он бредет с собакой — вечным другом человека, оставляя за собой глубокие следы... Плетутся музыканты в пальто, в теплых шапках, укутанные шарфами, а за ними какие-то люди.

Солнце блестит невыносимо, ударяя всею силою полудня на снежную равнину. Встречаются шубы, валенки, белые и желтые тулупы; вербы, обрубленные и пустившие ростки пучками; кресты на перепутьях; пестрые столбы с названием деревень, пестрые заставы. Но здесь только желтый цвет с черным, вместо белого, как у нас, и вместо простой вешки на горе для съемки — пирамиды; на станциях расхаживают вертлявые австрийцы в белых плащах с румяными щеками. За станциями — опять леса, равнины и деревни.

Хотелось бы тут пожить, разделить горе поселян; так и чуется, что они здесь терпят его, как и у нас.

Следуя общему влечению, я желал жить в Париже, Лондоне, следить за идеями современной жизни, знать решения современных вопросов; но сердце тянуло меня к бедным поселянам. Я охотно жил в глуши кантона Vallais[20] с уродами и готов был поднять бунт к освобождению народа от католического духовенства, которое подавляет и обирает его; готов

был начать ссоры с патерами. Охотно поселился бы я и здесь в какой-либо бедной славянской семье, терпящей гнет и разбой австрийского правительства.

[. . .]

IV

1858 год.
Вена. Триест.

Из записной книжки

Я в Вене. Город когда-то могущественный, имевший значение... как он показался мне скучен и ничтожен, сравнительно с Парижем. Интересно в нем разнообразие племен; но здесь господствует во всей силе католицизм. Как соединить такие странности? Религиозность, уважение святых и, в то же время, равнодушие и неуважение к святым. Меня как русского поражают встречаемые везде изображения святых. Я привык видеть на улице мужика, купца и даже барина, который при виде изображения святого снимает шляпу и молится. Здесь же расставлены изображения святых в виде вывесок при магазинах, продающих юбки, горшки, мясо, духи. Встречаются вывески с фигурами в натуральную величину, изображающими св. Троицу, венчание богоматери, Иисуса с земным глобусом и Евангелием, св. семейство, и тут же во весь рост — портреты гессенских герцогов, кассельских и пр. ... Какое-то, не вмещающееся в нашей голове, пошлое подобострастие власти, смесь низкопоклонства с религиозностью. В Париже также встречаются подобные нелепости, как, например, магазины св. Августины, св. преображения, зачатия богоматери, Лоретской божьей матери, пылающего сердца Христа, страховое свидетельство на стене дома с изображением бога-отца, рождества Христова и т. п. католические кощунства.

Каждый народ имеет свои особенности, которые проявляются во всем. Я отправился на публичное гулянье, устроенное в подземельях бывшего иезуитского монастыря. Множество ходов вверх и вниз были наполнены народом, тут же были и театральные представления — на подмостках оркестры музыкантов, буфеты. Между прочим, расставлены были китайские куклы, в натуральную величину, с качающимися головами, драконы, искусственные деревья, на которые наса-

жены набитые птицы, а по ним прыгала живая обезьяна. Все это представляло верх сентиментальности и притязание на остроумие, которое тяжело, как воз с камнями, идущий в гору с немазанными колесами. Два экипажа разъезжали по галереям и залам подземелья, посыпанным песком; экипажи были нагружены семьями немцев с самодовольными лицами. Все было придумано и чинно, хотя католическое духовенство находит, что и это гулянье следует воспретить по его неприличию. Невольно, в параллель этому, вспоминаются гулянья Парижа, в Bal d'Opéra, Bal Mobile, Chateau de fleurs[21] и пр., где все общество полуголое готово сбросить остальное тряпье и обратить безумный бал в оргию, если бы не сдерживала полиция. Шум, крик, говор, жизнь и неистовство; отсутствие скромности, претензий и откровенное, бешеное веселье.

Странные мы люди — славяне. Понимаем, знаем, как нас дурачат и обманывают немцы, молчим, терпим, не соединяемся для отпора и надеемся на господа.

Австрийцы отправляют итальянцев на службу в славянские земли, а славян в Италию; и мы переняли от них такую же политику; отправляя малороссиян в Финляндию, к чухонцам, а русских в Малороссию — правительства вообще заискивают расположение народов, когда это им выгодно. Так австрийская принцесса пройдется по площади св. Марка среди народа; император поставит памятник Тициану, поддерживает храм св. Марка... наша Александра Федоровна в кокошнике кланялась с кремлевского дворца народу, а Николай Павлович называл ее своей «бабой», и что же?.. Жалкая масса осчастливлена; она не знает и не сознает, что тот же австриец разгромит итальянцев при малейшем покушении их на свободу и человеческие права, и что «баба» не понимает по-русски, расточая трудовые средства народа на свои прихоти и облагодетельствование итальянцев. *

В Вене, Триесте, Венеции — во всей немецко-иезуитской Австрии виден славянский элемент. В одном месте он мешается с немецким, в другом с греческим, там с восточным, а местами является самобытным.

Нам следует обратить внимание, чтобы немецко-иезуитское, турецкое, прусское и разные правительства не разъеди-

---

* Во время своего недолгого проживания в Палермо истратила 34 000 000.

няли нас, славян, между собою. Пока об политическом объединении думать рано, но следует позаботиться о духовном единении. Оно уже есть в нашей крови, и необходимо его упрочить. Филологам надо составить словари родных наречий; поэты и ученые со временем образуют один язык, они и религия свяжут души, освятят эту связь во имя чести, любви, мира, свободы, равенства и просвещения. Художники должны отстаивать народность и начать с архитектуры. Если до настоящего времени нас не поглотила иноземщина, то теперь, когда в нас является сознание своей собственной личности, было бы стыдно и глупо допустить другое племя управлять нами и извлекать из нас пользу для себя.

К сожалению, мы утратили свое демократическое или, вернее, человеческое начало в управлении. Удержим, по крайней мере, за собою духовную жизнь; внесем свободную мысль в архитектуру, свободу и смысл в живопись, новые звуки, новую поэзию. Оживим славянский мир, который нуждается в толчке.

Неужели мы только земледельцы, неспособные к усовершенствованию, способные лишь сохранять любовь к предкам, рабы ничтожные, неспособные управлять собой, потерявшие чувство собственного достоинства и личности, стадо, требующее пастуха и собак? Почему мы отдаем Россию в руки немцев, англичан, американцев и французов... или нет у нас своих инженеров, докторов, художников и музыкантов, что мы поем и разыгрываем чужие пошлые оперы, не давая развиться своей песне... Наступит время, и мы, как сор, начнем выметать беспощадно иноземщину; признаем свое, оценим, будем рыться в навозе, лишь бы отыскать драгоценное зерно. Надеюсь, что пройдет время этого равнодушия к родному и поклонение всему иностранному. Неужели нет в нашей крови деятелей энергичных, полных сил и разума...

В каждом славянском племени я встречаю духовную силу, сильные характеры; удивляюсь их здравому, светлому и глубокому уму. Я понимаю, что наше равнодушие не что иное, как детство; и утешаю себя надеждой, что наступит пора, когда мы стряхнем иноземщину, возьмемся дружно за руки, пойдем твердым, сознательным шагом вперед и оставим след в истории, быть может, весьма существенный. Я верю, что наш удел — завещать миру правду и свободу, равенство, широкий взгляд; утвердить христианство своею жизнью, а с ним и терпимость, которым удивим мир. [...]

Триест. 8 февраля/27 января 1858 г.

Мы опоздали в Триест на три часа по случаю сильнейшего ветра и метели, которая встретила нас в горах Иллирии и вполне напомнила русскую зиму.

Поутру перед моими глазами открылось множество судов, которые, стоя у берега, покачивались то в одну, то в другую сторону; вдали море было покрыто белыми волнами. Душа моя встрепенулась, я вспомнил свои впечатления в Одессе... Как прекрасно море и как я люблю его!..

Я мечтал о юге, о путешествии, о Венеции — как о прекрасной женщине. В моем воображении становилось теплее и теплее, так сильно манил к себе юг, и вот я на юге, и что же?

...к полудню море скрылось за густым снегом, и все занесено белой пеленой; прохожие, улицы, корабли, окна в домах...

В Триесте встречаются славянские типы. Сначала это незаметно, но если вы всматриваетесь, то эти типы попадаются нередко. Шапки напоминают наши мурмолки; церкви с колокольным звоном на манер нашего, а затем и речь, близкая к нашей. Чувствуешь грусть и негодование, что мы разлучены; хочется протянуть им руку дружбы. Речь так понятна, что я разговаривал без труда с двумя славянами. Это были крестьяне — жаловались на свою бедность; везде они в жалком состоянии. И у немцев, и у турок они голы, как камень. Одна надежда на нас, русских, а мы предаем их австрийцам и туркам, подло отказываясь от заступничества.

Разговаривая со славянами, вижу их сочувствие к нам и нелюбовь к своим чужекровным властителям. Что могла бы сделать наша русская песня, раздавшаяся хором, с запевалом — в землях славянских... Колокольный звон поднялся бы до границ чужих земель, если бы славяне,— и эта громадная сила, полная отваги и самоотвержения, завоевала бы себе независимость.



1858 год. Венеция.

14/2 февраля 1858 г.

Под вечер мы отправились из Триеста на пароходе и после покойного шестичасового плавания входили в укрепления Венеции, выстроенные австрийцами против венецианцев.[22] Ла-

гуны виднелись всюду, и между ними были разбросаны как бы отдельные городки. Дворец Дожей — нарядный, таинственный и прихотливый — явился перед глазами тотчас при въезде в город.

...Венеция! красавица! утопленница!..вся в трауре...она тонула в воде, красуясь. Время прошло заметным следом по всем домам, по всем улицам... Дворец Дожей не блестел восточными мраморами, а являлся тенью, как видение, как нечто богатое и роскошное — умершее. Легкие и грациозные, как любовная песня, гондолы, покрытые черным сукном или крепом, как гробы, скользили в каналах. Смолкла былая жизнь... она носилась над лагунами, каналами и городом — очаровательною плачущею тенью...

Поэзия — сладострастная и мрачная — дышала во всей Венеции. Это не было впечатление рассказов и чтений — нет! Никогда и ничего я не читал о Венеции, не составлял себе о ней никакой картины; две, три гондольерских песни были мне знакомы, и в них так было много романтизма, что я был уверен, что там, на месте их родины, все должно быть чудесно. Пробежав по узким проходам Венеции, я уже печалился, что скоро надо выехать...что дела брата не дозволяют ему оставаться здесь надолго.

15/3 февраля

У меня было полное желание насладиться Венецией, но не знаю, что со мной?.. Или я уже не молод, или только временно нашло на меня это убийственное равнодушие?.. Я желал восторгов, хотел наслаждаться!.. и не могу! Какой-то нравственный паралич поразил меня... В сердце тоска, непреодолимое желание видеть Ольгу и Юрия. Венеция, начинающийся карнавал, дворцы, красавицы, все передо мной носилось, как под саваном, и я жалею о своей промелькнувшей юности...

Свет разливался по огромной площади св. Марка, и столбы света газовых лучей уносились вверх, заслоняя звезды.

Хотелось бы слиться с этой массою ряженых, кричащих, поющих и кувыркающихся людей, но, грустный и равнодушный, я бродил из улицы в улицу.

Говорят, венецианцы были прежде гораздо веселее и сообщительнее; веселье их исчезло с тех пор, как от них отняли республику. Многие жалели о том, что карнавал не такой оживленный, как в былые времена, но я был рад этому; печаль более в гармонии с историей Венеции, с мрачными отжившими дворцами и черными гондолами. Мне было

бы неприятно видеть венецианцев, забывших свою долю и самобытность; забывших в карнавале, что заряженные австрийские пушки готовы разгромить их родные жилища и все, что дорого их сердцу, и что во Дворце Дожей стоит австрийский караул с заряженными ружьями и опущенными штыками.* Нет! .. прежний карнавал должен был кончиться и кончился, с гибелью национальной самостоятельности.

Я пробыл всего пять дней в Венеции; но она оставила во мне глубокое и грустное воспоминание.

Не из романтизма, а от пустоты душевной, от нежелания слиться с чужим весельем, от какого-то болезненного чувства я сидел в уединении... В этом одиночестве, глядя на обворожительную Венецию, я понял, отчего именно тут родились колористы. В архитектуре Венеции большое сходство с ее живописью. . . Всюду преобладание страстности, прелести, роскошной неги; я полюбил стройные, легкие гондолы, ночные песни на воде; живо представлял себе в закрытой гондоле горячих любовников с их пылающим шепотом и страстным трепетом [. . .]

Былая жизнь Венеции рушилась; ее дворцы, снаружи покрытые живописью Веронеза и Тициана, обваливаются, зарастают мхом и кустами. Роскошный дворец Фоскари австрийцы обратили в казарму; другие дворцы обращены в трактиры, в казенные дома или попали в руки банкиров, которые, не чувствуя их художественных красот, не щадя истории, разрушают и переделывают все.

Проезжая мимо церкви, на которой красовался мраморный герб, а под ним изображение черепа с костями, я увидел двух ворон, которые, сидя на черепе, характерно дополняли собою каменное изображение.

Толпами и поодиночке, через мосты и каналы ходили и разъезжали ряженые днем. Печально смотрели на них дворцы Марина-Фальери, Отелло Фоскарини, Чигони; пробоины от бомб — следы последнего австрийского бомбардирования — напоминали их славные и позорные дни.[23]

Проезжая каналом мимо кладбища и запустелого монастыря, мы встретили гондолу, обитую красным сукном; гондольеры были в красных платьях и выносили обитый малиновым бархатом гроб на последнее жилище; это было чье-то последнее путешествие. Здесь красный цвет — цвет траурный.

* И этот караул составляют наши братья славяне. Тяжело видеть их сонными столько веков в руках немцев.

Но вот опять плывет гондола с черным широким гробом, на котором золотой крест, а навстречу ему весело несется другая, закрытая гондола,— встреча конца и начала жизни...

При поворотах из канала в канал гондольеры, ловко управляя веслом, звонко окликают друг друга. Наряженные, проходя по легким мостам, отражались в воде вверх ногами. Из окон верхних этажей выглядывают хорошенькие головки; по старым стенам развешано белье, солнце светит ярко, и австрийские офицеры, свесив ноги с балконов, посвистывают...

Венеция La bella[24] очаровательная, купающаяся красавица, ты полна поэзии; украшенная Тицианом, Веронезом, Тинторетом. Роскошь Востока слилась в тебе с Западом; элементы: греческий, славянский, арабский, мавританский, римский слились в тебе в гармоническую, упоительную живопись; нега и лень — с энергией. Когда вспоминаю тебя, я слышу плеск воды, вижу луну, скользящую как рыбка гондолу; ты вся отдалась в моей душе эхом; полна и страстна твоя романтическая жизнь! [...]

Триест. 16/4 февраля 1858 г.

Мы оставили Венецию на рассвете. Я был настолько утомлен от массы разнообразных впечатлений, что ушел в каюту и заснул. Проснувшись, я вышел на палубу; день блестел; видны были горы, море и Триест; легкая зыбь нас не беспокоила, ветра не было, и паруса сушились. За пароходом следовала широкая, пенистая, без волн, шипящая дорога; по бокам ее от руля шли в обе стороны легкие водяные дуги; по горам проехал паровоз; над головою прозрачное и чистое небо, а море чудного теплого темно-голубого цвета. Вдали горы сливались с небом, а ближе к нам, на хребтах гор лежала масса снега, и местами они покрывались облаком.

В Триесте тоже карнавал; на берегу попадались турки [...]

VI

Корфу. Мессалонги.

16/4 февраля

Разместившись удобно на австрийском пароходе, мы вышли из Триеста; погода была прекрасная, море тихо; горы, освещенные закатом солнца, терялись вдали; чувствовались уже летние тона.

17/5 февраля

Мы бросили якорь у Анконы, так как нашему капитану нужна была прописка бумаг; но он предупредил пассажиров о скором отходе парохода в дальнейший путь. Я воспользовался случаем, чтобы хотя на короткое время выйти на берег Италии, и едва успел набросить в свою записную книжку слепого итальянского нищего, сидящего на земле с тарелочкой и палкой, близ каменной стены, облитой горячим солнцем, как увидел садящегося в тележку бывшего со мною в Академии скульптора Забеллу, веселого и довольного.

— Куда вы? — спросил я.

— В Рим! В Рим!..

— А я на Восток и спешу не опоздать на пароход. Благополучно доезжайте.

— Очень рад за вас; будьте счастливы!..

Он уехал, оборачиваясь в мою сторону; и мы друг другу махали шляпами.

Сколько пробудилось в сердце воспоминаний, надежд, желаний! [25]

За Анконой мы шли в виду отлогой и красивой по своим линиям и тонам горы, на вершине которой была каменная постройка и зелень. У подошвы горы виднелось парусное судно; над утесом парил большой орел в чистом небе; море было тихо; мы шли быстро; и скоро берег Италии скрылся из наших глаз.

Корфу. 21/9 февраля

Погода изменилась, поднялся ветер, и мы, натерпевшись отвратительной качки, теперь, к радости своей, очутились в прелестном Корфу [...]

Сочувствие к нам греков, славян и албанцев всеобщее. Мне это говорили везде, в Австрии, в Вене, Триесте, в Корфу. Сам я убедился случайно, что значит имя русского для славян и греков, а именно сегодня, когда рисовал албанца. Он хотел уйти, постояв недолго для натуры, но, услышав, что я с братом говорю по-русски, и удостоверившись, что у нас на груди кресты и мы точно русские,— остался; радовался, что мы свои, и высказывал свое желание истребить англичан и турок. А мы?.. от всех сторонимся в угоду немцам и англичанам.[26] Время уходит, и славяне, албанцы, греки и другие наши одноверцы потеряют в нас веру и одичают под игом деспотизма и магометанства.

Песни стройно раздаются хором; толпы гуляют по улицам с песнями, а ночь теплая, как у нас летом.

Англичане здесь сильно укрепились. Греки желают присоединить Корфу к Греции, но англичане согласны отдать Ионические острова, но не Корфу. Они не покровительствуют республике, владеют островами; и пушки их, глядящие с укреплений, готовы всегда разгромить город. Англичане знают, что к ним всеобщая ненависть жителей, и сами говорят, что у них один друг — пушки [. . .]

По выходе из Корфу на другие сутки наступил холод с дождем и сильным ветром; и мы с 23/11 на 24/12 февраля вышли в Лепантский и бросили два якоря, в виду Мессалонги, чтобы выждать погоду. Во время плавания нас швыряло с боку на бок. Полотенцы мотались во все стороны по каюте; посуда летела из своих гнезд, двери хлопали, в окна хлестала волна за волной, и весь пароход трещал. Его вскидывало и переваливало с боку на бок.

Кругом облегло скучное серое небо и закрыло горы; местами оно было изодрано в лоскутья, и тучи носились по снежным вершинам, сливаясь с ними; кое-где хребты гор чернели тяжело и были угрюмы, как погода. Море из зеленого сделалось рыжее от поднятого со дна песку; вдали оно было зелено.

Повалил снег, сменяясь по временам дождем, который срывался ветром с туч. Все суда стояли, и их кидало с боку на бок, сверху вниз. Снасти свистели, ветер ревел, срывая гребни волн. Море кроме волн было все покрыто зыбью; холод усиливался, и половина гор покрылась снегом.

Какая сила, какая поэзия в этой картине... Какая энергия тонов... Тут некогда жил и искал вдохновения Байрон. Где поэту найти его, живя в городе, в роскоши и комфорте?!. Ему нужны море, горы, вихрь... Он становится сильнее, чувствует все полнее, и сердце его пробуждается от песни морской, от этого оркестра, когда поет ветер, бушует море, грозно глядят горы, покрытые снегом, и воздух изодранный носится над картиной, а чайка кигичит и, касаясь на лету волн, носится у самого парохода. Эта грациозная и легкая птичка дополняет картину, придавая ей прелесть, смягчает и украшает ее, как красное пятнышко в пейзаже, как цветок в горах или в лесу. Вот она носится так близко, что видны ее глаза и как она правит хвостом и ворочает головкой, вытянув ножки... А вот, быстро махая крыльями, над водой пронеслась утка, далее — другая.

Местами облака спустились до самых волн и закрыли нам вход в залив. Большая круглая гора выдвинулась в море, сливаясь с облаками. Она занесена снегом, и когда ветер разносит тучи и она проглядывает, то вершину ее трудно отличить от облаков. [...]

VII

Выезд из Мессалонги в Сиру. Воспоминание об Афинах [...] *На пароходе* [...]

26/14 февраля 1858 г.

Наутро мы пустились в путь, не побывав в Мессалонги. Погода приутихла, но не успокоилась; наш пароход швыряло из стороны в сторону — он дрожал от ударов волн, его уносило в море; от носа до руля и от борта до борта заливало волнами.

В четвертом часу пополудни мы входили в залив. Старые Венецианские укрепления виднелись по обеим сторонам. Горы были покрыты снегом; там глубокая зима, а внизу — в цвету миндальные деревья. Но теперь весь цвет, вся краса юга исчезла. Говорят, такой зимы не было пятнадцать лет.

Пассажиры зябли в резиновых пальто; со всех струился дождь. Все мокро, дождь рвет ветром; снасти ревут, вспенился весь залив, который, говорят, зимою хуже Черного моря, а мы идем вдоль его и против ветра; дым уносится далеко, и пароход стройно, без качки, поднявшись на гребни волн, идет дрожа.

Чудная картина кругом! Что за свирепое море! Какой холод в горах, какая сила ветра!.. Все полно гармонии — глаз не оторвешь и глядишь то туда, то сюда. Чайки, как прежде, носятся за рулем.

На пароходе из Сиры. 3 марта/19 февраля

Мы выехали из Афин, проплыли ночь, утро были в Сире, и вот теперь, поздно вечером, в открытом море. Пароход идет прекрасно; солнце блестело с полудня до вечера — как летом. Кажется, устанавливается хорошая погода; и мы насладимся южной весной. [...]

Припоминаю дни, проведенные в Афинах, и меня берет то досада, то грусть, что не знаю языков, не знаю истории; и в то же время чувствую глубокое уважение к древним гре-

кам и потребность основательно познакомиться с ними. Наслаждаюсь до пресыщения пластическим искусством, а мне казалось, что в душе моей нет более места для впечатлений...

Я отправился в Акрополь, который мне нравился как чрезвычайно живописная масса, но я не думал о греческом художестве и шел равнодушно. Но, увидя глыбы, целые массы развалин, куски, полные вкуса самого тонкого, я пришел в восторг, потом готов был сидеть целые недели среди этих великолепных развалин, в этом богатстве, которое мы невольно топчем ногами. Чувство восторга во мне возрастало по мере более внимательного осмотра, и я благоговел перед этой логикой, здоровой и ясной. Тут я в первый раз оценил греков и в первый раз понял греческую скульптуру, глядя на обломки мраморов. Тонкости знания и вкуса в их постройках навели меня на тонкости в скульптуре; линии в искусстве стали для меня животрепещущими, не то что прежде, когда я сознавал их головой или принимал на веру с чужих слов. До такой простоты, смысла и изящества в архитектуре никто не доходил; и никто не чувствовал такой музыки в линиях скульптуры и совершенства форм, как греки.

Я был бесконечно благодарен Сергею Ивановичу,* с которым познакомился у нашего посланника Озерова и с которым ходил по Акрополю. Он посвятил меня в тайны и красоты греческой архитектуры; и потом, когда мы вернулись домой, он за обедом разговорился об искусстве и особенно о малороссийской архитектуре; и мы, гуляя по городу, проговорили с ним до утра. [...]

9 марта/25 февраля

Путешествие приносит пользу каждому, но не в одинаковой степени, смотря по его образованию и личным свойствам. Сидя постоянно взаперти, как в каземате, в Петербурге, где видишь одну порчу, одну болезнь России, уже чувствуешь пользу путешествия, вырвавшись хотя бы и за несколько верст, в чухонскую деревню. Я вспомнить не могу без отвращения этого общего внимания на острова; это порождение столичного растления, развращенности и пустоты, этот пошлый отдых от служебных канцелярских занятий. Разрумяненные дачи, обсаженные нежными тепличными цветами, запер-

---

* Сергей Иванов — архитектор,[27] брат известного живописца Иванова, написавшего картину «Явление Христа народу».

тыми и укутанными на зиму, и, наконец, этот пошлый архитектурный вкус, пародия вилл, иногда построенных случайно и по капризу какой-нибудь Мины Ивановны.*

Неизмеримо больше пользы, когда выедешь в глубь России. Тогда почувствуешь красоту природы, простор степей с волнующимися хлебами; почувствуешь всем сердцем любовь и участие к человечеству, к бедному крестьянину, трудящемуся до изнеможения и часто не имеющему хлеба и одежды. Здесь вы увидите целое сословие дармоедов, живущих чужим трудом, объедающих и обирающих бедные семейства рабов и купающихся в прихотях, разврате и роскоши. Как белка, бегая в колесе, заперта в клетке, так и крестьянин работает день и ночь в течение года и все-таки остается в нищете. Как не почувствовать холод в сердце, глядя на это, как не совестно носить имя христианина, принадлежа к дармоедам и кровопийцам. Такие картины должны зародить идею равенства.

С горем и болью в сердце проезжал я государство за государством и жалею, что не могу воспользоваться жизнью, не могу беседовать с народом; но и в этом случае путешествие не бесполезно, пробуждается потребность изучения языков. С переменою места встречаешься с законами народов, вызванными необходимостью; видишь связь человечества, его постепенный неизбежный прогресс. Блестят, как метеоры, гении за гениями, освещая и облегчая ход культуры... и один за другим, непрерывной вереницей следуют глупцы, ограниченные, упорные, себялюбивые, облеченные властью и тормозящие развитие.

Пока я видел только Россию и известную сторону жизни, во мне не зарождалась потребность развивать самого себя. Но когда я увидел тюрьму, переполненную преступниками, целые народы в грязи, без образования, тогда я стал различать степень образования каждого человека...

Ужасно вспомнить лица заключенных преступников, видеть все признаки человека и в то же время видеть в них животных... По телу пробежала дрожь; я чувствовал, что сам могу дойти до того же скотского состояния и преступного разврата, дав волю плоти; дойти до убийства, дав волю запальчивости. Но даже не давая себе воли, стоит только раз-другой не сдержать себя, и с каждым разом несдержанного увлечения

---

* Любовница министра двора Адлерберга при императоре Николае I.

будет слабеть доброе начало, будет труднее и труднее подняться и стряхнуть с себя всю эту грязь.

Омерзительно видеть человека, покрытого грязью, живущего только для утоления своих потребностей, держащего рабов для своих прихотей. Не менее омерзительно видеть этих турок, едущих на богомолье, сидящих без дела с трубками и кальянами во рту, мечтающих о купленных женах, содержимых под запорами для удовлетворения их скотских чувств. Кто хотя раз в жизни почувствовал, до какой степени нежна, деликатна, полна преданности женщина, тот невольно будет возмущен грубостью отношения к ней мусульман.

Вместе с негодованием на сложившуюся издавна жизнь Востока во мне пробудилось желание образовать себя и возвыситься умственно и нравственно. [. . .]

Чем мы можем отличиться от животного? Обыкновенно отвечают: разумом. Да, но этого мало. Кроме разума, нужны еще: сила воли над собою, благородство чувств, отсутствие эгоизма, любовь к ближнему до самопожертвования, чистота телесная и духовная, стыдливость, стремление к благу всего человечества, и для этого твердая готовность принести себя в жертву. Без этих качеств человек только пользуется названием человека, а в сущности, он хуже и опаснее животного, потому что ни в каком животном нет того ума и хитрости, как у двурукого.

Если человек не стремится к совершенствованию, к развитию хороших своих свойств, то он падает с каждым днем; начинает незаметно жить в преступлениях, как незаметно пользуется жизнью.

Что касается меня, то Восток оказал на меня благодетельное влияние. У меня явилось желание себя переработать, и я молю бога о даровании мне на это сил. Кроме того, Восток пленил меня своими красками, пестротой и своими линиями.

Я убежден, что художнику, образовавшему себя в Европе, следует ехать на Восток. Изучив тонкости европейских лиц, где страсти маскируются, он должен ехать на Восток, чтобы изучать солнце более жаркое, природу, полную неги, пестроты и сочетания цветов, чтобы проследить и понять зарождение страстей и проявление их — без маски. Тут широкий простор для красок и психологии. [. . .]

Вот те мысли, которые бродили в моем уме, когда я сидел в каюте, вспоминал свою жизнь, свое путешествие и эту массу восточных людей. [. . .]

VIII

Африка. Александрия [...] *Каир. Пирамиды. Выезд из Александрии.*

Рано утром я вышел на палубу. Был виден плоский белый африканский берег. Паломникам роздали оружие;* все поднялось и теснилось к спуску. Негр на лодке подвез нас к берегу, где мы были встречены изодранными, полуголыми неграми и египтянами. На щегольских европейских экипажах сидели кучерами негры и арабы в синих и белых рубашках, с голыми ногами, в фесках и с бичами.

Меня поразила архитектура, которую тоже вытесняла чужеземщина. Неужели это неизбежно?

Мне понятно, что век идет вперед с каждым годом, что каждый народ вносит свою долю другому народу, входя с ним в сношения; но следует учиться усваивать себе полезное, а не перенимать нелепое,— а именно это мы видим на каждом шагу.

Физиономия Александрии делается бесхарактерною; город стал полуафриканский-полуевропейский. Характер Востока сохранился в египетских кварталах в своеобразной архитектуре его, которая может доставить наслаждение, представляя новость для глаза и воображения; в ней видна свобода мысли, смысл и фантазия.

Об Александрии и Египте вообще было столько сказано, что я с моими ничтожными познаниями отказываюсь от серьезных описаний. Могу говорить только о том, что видел и чувствовал. Я проехал из Александрии в Каир и Мемфис к пирамидам и вернулся обратно в Александрию в течение двух, трех дней. Я не жил тут, а проехал, и потому мои заметки состоят только из пережитых тогда впечатлений; это необдуманные и неотделанные для печати строки. Если они и представляют интерес, то разве только своей индивидуальностью; как в жизни каждого живого существа, ошибки становятся фактами и потому не исправляются — как не поправить прожитого.

Итак, продолжаю свои заметки того времени. [...]

---

* После некоторых случаев кровавых ссор между пассажирами у всех восточных пас[сажиров] отбирается оружие при входе на пароход и возвращается при высадке их на берег.

Из всех городов Востока Каир пока нравится мне более других. Бесчисленное множество улиц и переулков, в которых едва проезжаешь на осле; верблюды, живописные одежды, разнохарактерные физиономии всех цветов; дома один другого старее, причудливее — и все это в общей гармонии. Части города пропадают в садах, другие тянутся по рукавам Нила или стоят обнаженные на раскаленном солнечном зное. Базары и кофейни на каждом шагу; по улицам тянутся караваны; в кофейнях арабская музыка. Это город восточный от архитектуры до нравов, музыки и пр. Сады, полные ароматов душистых дерев и растений, нежат чувство.* [...]

Проснувшись рано утром, мы отправились в Мемфис, Сахару и к пирамидам, пробираясь бесконечными переулками Каира. Переправляясь через Нил под парусом, невольно припомнилась мне поездка Христа с апостолами по морю, вероятно, в такой же неуклюжей, бедной и грязной лодке... За лесом, далеко в зное тонули пирамиды.

Я вспомнил южную Россию; и здесь по садам и рощам поют птички, щелкают в хлебах перепела... у дороги тот же репейник, степной ветер охватывает тело, но тут он дышит зноем; пасутся стада, плавают в воздухе коршуны, волнуются, уходя далеко-далеко, хлеба. Галки портят тут пальмовые рощи, как у нас дубовые. Слышу тот же крик журавлей, которых не видно. В дуплах кричат сычи; отдыхает караван, как кочующий табор. Тот же удод летит коленцами, распустив хохолок, и кричит на ветер, здесь та же кукушка, как и у нас.

И тут из старого села идет глубоко проезженная временем дорога, проходит полями и исчезает в степи. Такие же попадаются и здесь очеретовые (камышовые) плетни, как в Малороссии, смазанные глиной.

Время засыпало сфинкса, пирамиды и целые селения. Теперь в Египте, как в Помпее, отрывают с трудом и за большие деньги постройки, дорожа каждой безделушкой; когда-нибудь и мы начнем отыскивать нашу народность, когда время занесет ее песком и пеплом. Тогда будут платить деньги и трудиться, лишь бы добиться полноты от народной песни, найти обломок старой мельницы, лоскут полотенца или кусок божницы. У нас, как и в Египте, простынет след народной жизни, которая известна будет лишь сычам, мышам да совам, вылетающим, как теперь у меня, из-под ног.

---

* Несмотря на то что Каир так мне нравился, я отказался принять выгодное здесь место русского консула. Хорош бы я был консул!..

Большие пространства на десятки верст, когда-то населенные, покрыты костями и черепами, которые заносятся песками. Наступит время, когда и русский мужик, как степной бедуин, поведет путешественника по руинам и будет рассказывать небылицы, как этот араб, объясняющий нам, что «до Магомета были на свете христиане, которые ничего не знали; что бог превращал целые селения их в мумии, за дурное слово и послал на землю Магомета»... *

По пустыне проносился хотя легкий, но палящий самум и заносил все. Пока мы осматривали храм Аписа, усталые погонщики растянулись и заснули, как собаки, на песке и были занесены, как и ослы наши, наполовину песком. Пока мы переходили от памятника к памятнику, след наш заметало песком; он исчезал почти в глазах наших.

Человек может чрезвычайно развить свою физическую силу, ловкость и выносливость. Нам кажется невероятным, чтобы араб мог бежать от раннего утра до ночи. При этом следует заметить, что у нас одному погонщику было шестьдесят, а другому двадцать два года; они отдохнули в песке на солнце, пока мы осматривали древности. Один из арабов, водивший нас внутри пирамиды, влез на самую вершину большой пирамиды в две минуты и тридцать секунд. Орел в это время парил над ним в зное солнечном.

Давно, давно, когда я еще учился географии и читал о смертоносных ветрах Сахары и ее раскаленном красном воздухе, об ее бесплодности и миражах, мне хотелось быть там и видеть ее. Нередко случается в жизни, что исполняются наши сильные желания совершенно неожиданно; так и теперь судьба привела меня сюда, и мне удалось видеть кусок этой знойной пустыни, этого песчаного моря.

Судьба сберегла меня и не привела испытать ужас гибели в этом раскаленном песчаном море. Но какая должна быть там поэтическая смерть... Погибать вдали от всех, с желанием встретить последний прощальный взгляд и чувствовать последние удары умирающего сердца. Чувствовать совершен-

---

* Из-за обломков и костей, как из земли, вырос араб, бежал к нам, махая руками. Он предложил брату купить найденную им золотую монету и получил за нее два наполеондора. При отдыхе, расследовав покупку тщательно, оказалось, что она фальшивая, но чрезвычайно хорошо подделана. Фабрикуются они в Англии и здесь ловко сбываются доверчивым путешественникам.

ное изнеможение, когда нет капли воды, чтобы утолить жажду, слышать вдали рычание льва и лежать на раскаленной земле... Все тихо, исчезла вечерняя окраска неба, появились звезды, показался молодой месяц... Смерть в этом беспредельном пространстве, вдали от родины и всех милых сердцу... еще последний вздох, скатилась слеза, и смерть соединила меня с природой...

Однако все это пустые бредни, и пора, несколько отдохнув, идти к пирамидам.

Семнадцать арабов, живущих у пирамид в надежде наживы от путешественников, окружили нас, и мы волей-неволей должны были отправиться с этой толпой внутрь пирамид. Духота, тьма, теснота; то боком, то ползком, то подталкиваемые или втаскиваемые на высоту и передаваемые от одного проводника другому, мимо каких-то глубоких колодцев мы попали наконец в комнату значительной величины, усталые и мокрые от пота.

Эти разбойники-проводники тут же потребовали платы; брат рассердился и хотел им грозить оружием, но я был хладнокровнее, советовал ему встать в угол, а сам встал в другой; револьверы были у нас в карманах. Но я тут же рассудил, что стрелять нельзя, так как у нас нет семнадцати зарядов, и что не всякий выстрел будет смертелен, а они потушат огонь, и мы пропадем здесь, сброшенные в колодцы. Поэтому мы решили объявить им, что денег при нас нет, что они у драгомана,[28] который остался внизу при ослах и что там по нашему приказу он уплатит каждому из них. Они согласились; и мы, и арабы успокоились и тем же путем вышли из пирамиды.

Я предложил брату провести ночь на вершине пирамиды, чтобы полюбоваться заходом солнца, лунною ночью и восходом с этой громадной высоты; но проводник драгоман отговорил нас от этого, не ручаясь за гостеприимство степных бедуинов. Мы собрались в обратный путь, осмотрев развалины и сторожа пустыни — всем известного колоссального сфинкса. Когда мы готовы были отъехать, арабы вновь так дерзко к нам пристали, требуя добавочной платы, дергая то за плащ, то за руку, что брат почти потерял терпение, а я, обладая порядочной силой, схватил подступавшего нахала и отшвырнул его далеко от себя; затем сел на осла, вынул револьвер и пригрозил через переводчика, что буду стрелять в того, кто посмеет приблизиться. Взволнованные, мы отправились в обратный путь.

Мы простились с этой чудовищной горой-пирамидой и гигантом стариком сфинксом, который, повернувшись задом к храмам и к песчаной пустыне, смотрит тысячелетия на свою соседку с грустной улыбкой, вспоминая день ее рождения, рост, торжественные и печальные века, превратность и пустоту людской жизни... *

Пирамиды уже едва были видны, утопая в знойных тонах. Носящийся песок еще туманил низ неба, вечерние пары поднимались от земли, передний план, покрытый травой с желтыми цветами, темнел, и мы все более и более удалялись...

Мы въехали в деревню, как в раскаленную печь; собаки точно такие и с таким же лаем, как в России, нас преследовали. Недалеко был пруд, окруженный рощей пальм, из которого женщины черпали воду, теряясь в контурах. Тихо было в воде, и последний свет заката, сливаясь с ночной темнотой, отражался в пруду. На вершине рощи кричали грачи, усаживаясь по гнездам, как бывало в Павловке, моей отдаленной родине. Утихло все и скрылось вдали. Ночь покрыла нас, и мы скорою рысью плелись на ослах домой.

Подъезжая к городу, погонщик засветил фонарь; и его свет падал на ослов и частью на нас, освещая дорогу, прохожих и стены; ноги его мелькали, сходились, расходились на тени; гигантские тени наши падали, то на деревья, то на стены домов. [...]

IX

На пароходе из Александрии. Бейрут. Иерусалим.

Из Александрии мы с братом выехали в Бейрут, на французском пароходе, который представлял все удобства. [...]

Приехав в Бейрут, мы посетили русского, весьма любезного консула Мухина, в семействе которого обедали и провели вечер. При всей своей любезности, консул, узнав, что мы собираемся в глубь Сирии и Палестины, не только отказался пересылать нам деньги и письма, но и помочь в чем-либо нашему путешествию. Он уговаривал нас отказаться от него,

---

* Сфинкс, высеченный, как полагают, в скале, стоит против Хеопсовой пирамиды, которой насчитывают уже 7000 лет, а сфинкс гораздо древнее ее.

запугивал тем, что вновь могут обостриться наши отношения с Францией.[29] Смешно и обидно было слушать это и видеть такую трусость. Брат все-таки решился исполнить задуманный план, а я, разумеется, был согласен ехать куда угодно с ним и чем дальше, тем охотнее. [...]

Из Бейрута началось наше путешествие по дикой, исторической стране.* Впечатлений было так много и так они скоро менялись, к тому же были так безотчетны, что я должен был ловить их на лету или оставить совершенно в одном слабом воспоминании. Тут, в этой стране, вставала в памяти священная история; все занимало меня; или, неудовлетворенный знаниями, я чувствовал в душе такую же пустоту, как пуста эта страна, эти бесплодные пустыни, заселенные дикими бедуинами да арабами, козами и шакалами.

Минутами вся эта ветхозаветная история исчезала и стиралась с памяти плеском волн, вечным говором моря. [...]

Весь путь от Бейрута до Иерусалима возможен только для привычных лошадей, так как настоящих дорог не существует, а только тропинки, проложенные ступнями верблюдов и копытами лошадей. Тропинки шли по скалам и между скал в камнях; случалось, зазевавшись, попасть в расселину и с трудом выбраться из нее; тропинки шли то вверх, то вниз, едва ли не с каждым шагом.**

Дорога от Назарета к Иерусалиму была очень опасна, и нам пришлось охранять богомольцев, по их просьбе. В деревне Набати в нас швыряли камнями, которыми ранили двух паломников; но мы и тут отделались благополучно: перевязали пострадавшим раны и следовали далее. Впереди молодцевато ехал верхом хаджи Константино, в середине вереницы богомольцев — брат, а сзади — я. Изредка приходилось стрелять, чтобы попугать преследующих, которые скоро отставали. Мы были особенно осторожны, когда встречались повороты в ущельях.

...Нравилось мне это путешествие ночью, когда ежеминутно ожидаешь нападения какого-нибудь грабителя, и как

---

* Мы отправились верхами с драгоманом Константино и Панапотти,[30] с палаткой и багажом на юг, вдоль морского берега на Сидон, Тир, Акру, Кайфу или Кармель, где свернули внутрь страны на Назарет, Джени, Наплюс и Иерусалим.

** Один мой знакомый, вспоминая о сирийских дорогах, выразился о них: «Если бы пришлось идти, например, со стола на стул, со стула на шкап, потом на пол, то этот путь верно передал бы состояние путей Палестины».

музыкально раздавалось тогда завыванье, визг и плач гиен и шакалов...

Мы спешили в Иерусалим к началу дня и увидели его, освещенного восходящим солнцем. Здесь паломники в нас уже более не нуждались; мы слезли с лошадей, выстрелили на воздух, ввиду приветствия святому городу, пали на колени и благодарили бога, что нам привелось видеть знаменитый и святой город.

Иерусалим. 31/19 марта 1858 г.

В такое короткое время столько ощущений! рука останавливается от наплыва чувств и различных впечатлений. Как начать? С чего? Задаю себе вопрос, молчу и задумываюсь, вспоминая одно за другим... [...]

Я вынес из путешествия ту пользу, что осязал руками, и ясно понял то, о чем мечтал бы век, и, не видя, не уразумел бы.

Но гораздо труднее сказать что-либо об Иерусалиме. Я так близко подошел к нему, что не могу обнять его взглядом; попал в толпу, где кричит и спорит каждый, и не могу уловить нити их спора.

Конечно, всякий человек настроен особенно, когда едет в Иерусалим, сообразно мерке своих понятий; но думаю, что Иерусалим встряхнет каждого. Кто думал видеть Иерусалим красивым, в садах, рощах, кипарисах и виноградниках, на основании св. писания и истории, тот задумается над этой пустотой, над этой голой необитаемой природой. Камень без земли, кругом — убогая растительность.

Чья душа печалилась о том, что святыня в неуважении, того успокоят тысячи неугасимых огней, великолепие храма, тысячи лиц, полных христианского восторга, тысячи вздохов от полноты сердца; чистосердечные, самые откровенные слезы людей, которые соединились у гроба господня со всех концов земли.

Кто нес издалека святыню сердца на гроб Христов, тот ее тут теряет; и кто ехал равнодушный — поражается неожиданно и преклонится перед святостью места.

Кто ехал полный чистых помышлений и душевной тишины, с желанием откровенной беседы с господом и излияния чувств в этом святом храме, тот смутится и онемеет... Храм обращен в ярмарку; продают кофе, курят кальян, и тут же турецкие офицеры в царских дверях; перед алтарем взвод солдат в фесках, с штыками и заряженными ружьями; плети, палки

щелкают по головам христиан; служба идет не стройно, гнусливый напев греческих хоров раздирает слух; исчезает тишина души, нет покоя в ней и нет молитвы в сердце. Кто негодовал на владычество здесь турок, тот помирится с этим и увидит в этом особенный промысел божий.*

Если кто, благочестиво настроенный ночью, вспоминая молитву Христа в этот час, хотел бы пойти на то самое место, где Христос так пламенно молился... вихрем сносится этот духовный строй, исчезнут в сердце чистые чувства и воображение уносится за пляской, музыкой и песнями мусульман, которые несутся под окнами из улицы в улицу с выстрелами и криком.**

Тот, кто был успокоен церковью, как матерью, верил в ее чистоту и святость, тот будет возмущен кознями, распрями, пронырством ее духовенства; от спора разных наций храм без креста, купол не покрыт, колокольня не достроена.[31] Любовь и мир заменен ссорами, драками и убийствами.

Кто находил опору в духовенстве, тот впадает в искушение, увидит полный его упадок. Тут и святые люди, и грех, который мы и вообразить не можем... В ночной тиши у гроба господня — самые теплые сердечные раскаяния, молитвы и слезы; и тут же полный разврат, блуд с кощунством и свальный грех.***

Кто захочет, тот увидит себя, как в зеркале, в Иерусалиме. Здесь вся жизнь человеческая во всех ее проявлениях. [...]

В Иерусалиме совершаются богослужения всех народов. Иерусалим свят для всех: в храме служат греки, французы, итальянцы, армяне, копты, арабы, евреи и мусульмане. Здесь возносятся молитвы всех, и это же место поносится всеми. Никто так не молится пламенно Христу, как христианин; и никто более его так не ругается над ним.

Все чувствуют потребность признания сил извне. Все стремятся к молитве; и когда мы звоним в колокола, призывая слушать чтение Евангелия, с минарета призывают на молитву мусульман, евреи плачут и рыдают у старых стен города. [...]

---

* В Иерусалимском храме и Вифлееме — нередко в храме случаются убийства врагов между собою, православных и католиков.

** В этом году совпала наша страстная неделя с праздником мусульман.

*** Об этом омерзительном грехе, постоянно повторяющемся между богомольцами, мне говорили сами богомольцы и духовные их отцы. При всем моем желании провести хотя одну ночь в храме Иерусалима, я должен был отказаться.

XIV

Назарет. Тивериада. В пути к истокам Иордана.

Назарет.

Перед глазами Назарет — мирный, бедный... Луна высоко над нами, почти над головой, посеребрила облака. Вдали засветилась мечеть разноцветными фонарями, доносятся крики мусульман,* лай собак. Здесь тихо, покойно и отрадно; слышны лишь стоны сычей.

Любимые места Христа: Назарет, Фавор, гора Элеонская, пустыня на горе Сорокадневной... Иоанн Креститель тоже любил пустыни и уединение; места дикие, не развлекающие духа. Пустынники и отшельники первых веков христианства отыскивали их. Но не то чувство руководило впоследствии строителями монастырей, которые выбирали места красивые, изобилующие лесами, рыбной ловлей и пастбищами. В таком монастыре нет отрешения от мирских удовольствий, является лицемерная религиозность и нравственный упадок.

... Затихло все... Далеко, высоко стоит молодая луна в серебристом небе; звезды померкли от ее света. В воздухе запах померанцев, лимонов, свежей цветущей травы; слышны отдаленные звуки; дерзкие огни сверкают на минарете...

28/15 апреля

В католическом монастыре показывают: дом Марии и место, где именно явился ангел, влетевший в окно, а также в храме колонну, о которой писали многие и которая меня нисколько не удивила, так как изображение благовещения и головы Христа не стоят тех похвал, какими они пользуются. Тут же, в Назарете, показывают дом, где работал Иосиф (зачем ему, бедняку, было иметь два дома?), и камень, служивший трапезой Христу с учениками, указывая на который Христос будто бы сказал Петру: «Ты еси камень и на камени сем созижду церковь мою и врата ада не одолеют ее».

Невежество и нахальство здешних босоногих служителей папы этим не ограничилось: нас подвели к стене, на которой висел лист бумаги в раме под стеклом, с обещанием от святого отца прощения грехов на год тому, кто три раза прочтет

---

* У них был праздник айрам-байрам.

на этом месте «Отче наш». Написано было это на трех языках.

При этом невольно вспоминается кощунство католического духовенства, его наглость, пронырство и слепота. Недолго до нашего отъезда из Иерусалима католический патриарх (как его там называют католики), иезуит дал прощение грехов на всю жизнь паломникам, бывшим тогда у него в Иерусалиме. Не буду хвалить и греческого духовенства; хотя путь их различный, но у обоих цель одинаковая — эгоистический захват страны для своего обогащения. Первые ведут свое дело тоньше, а вторые грубее, но те и другие притесняют и разоряют православное арабское население и его скромное духовенство [. . .]

XV

Баниас—исток Иордана. Приезд в Дамаск.

3 мая

Солнце встало недавно; небо кругом его серебристо; но его не видать за оливой.

Дальние горы легкой, но довольно резкой линией выделяются по небу. Свет солнца скользнул по их верхушкам; ближняя гора, дикая, в кустах и глыбах каменных, покрытая деревьями, окрашена темнее; ниже ее долина осветилась свежим утренним солнцем, листья тополя дрожат, шелковицы сквозят, как липа, выглядывают освещенные кончики трав, цветов. Все это так свежо, зелень весенняя. . .

Внизу, в глубине с шумом пробегает поток, за ним развалины, заросшие всякой дичью и освещенные утренним солнцем. Козы ползут и прыгают по горам, скрываясь от крика пастуха. Рощи олив поросли в долине, перешли за поток, и в ней мы укрылись со своими шатрами.

Лошади едят богатую пищу, гремят на них бубенчики, свистят мило в оливах птички. Воздух заметно теплеет, но не чувствуется свежести утра.

Кругом горы, рощи леса — дикие фиги, оливы, всевозможные деревья; хмель вьется и висит в обрывах; по земле цветы без счета; вся эта растительность спускается с гор вместе с ключами, ручьями и потоками, которые, разливаясь и орошая пастбища диких кочевьев, сливаются в реки и несутся в Иордан.

Иордан хорош везде; хороши его деревья, купающиеся в берегах; его извилины, шум и влага среди палящего зноя, когда видишь с обеих сторон горы, залитые солнцем. Воды Иордана составляют роскошь и богатство в этой местности, где ценят всякий ничтожный ключ, где лужей пользуются, пьют из нее воду и поят стадо. Но, чтоб оценить вполне Иордан, надо видеть его блеснувшим во многих местах, проехать с устья его до истоков, до гор, из которых он родился.

Вы переезжаете тысячи ручьев и речек, из которых одна другой лучше. Все эти ключи, реки, потоки, несутся и бегут из снегов, сочатся из горных трещин, струятся тихо по лугам и камешкам, образуют потоки, ревут и шумят, с брызгами и пеной несутся по обрывам и ущельям в долину Иордана.

Сколько прелести здесь и что за растительность!.. Всевозможные деревья Сирии и Палестины собрались к источникам Иордана. Берега их засыпаны цветами, обвиты плющом и хмелем, убраны красивыми кустами, все в цвету олеандров, которые растут деревьями.

Могучие потоки с ревом и шумом несутся в диких утесах, быстро бегут речки, нашептывая внятную речь страсти; все это уносится вперед и превращается в Иордан. Широким сильным потоком идет Иордан по долине, несет рыбу, свежую чудную воду, пробежал одно озеро, ворвавшись и забрав из него воду, понесся далее, налетел на другое еще бо́льшее озеро, искупался в нем, понесся еще далее, далее... и пропал со своим богатством в Мертвом море.

Все, что бежит в Мертвое море, все, что коснулось его, пропадает и умирает. Оно мертвит все, стоит тихое мертвое в горах, в зною, уничтожая всякую жизнь. Так жизнь сливается со смертью. [...]

XVI

Дамаск.

Внешний вид домов Дамаска не дает о них никакого понятия. Снаружи они из земли, а внутри чистота, мрамор, свежесть растений, цветы, богатство, всего избыток, роскошь.

Откуда этот характер архитектуры? Не от желания ли скрыть свой достаток от алчности властей?

Комната, в которой я теперь, размера среднего, как в длину, так в ширину и высоту, и для жизни здоровая. Пол

из разноцветных мраморов, мозаиковый, красивый. Откуда мрамор? Принесла ли доставка его пользу народу? Работа мозаиковая медленная, не вызванная необходимостью, едва ли выгодна труженикам... Деньги и труд не могли ли быть употреблены с большей пользой? Жизнь, необходимые потребности создают характер архитектуры. В жилищах, общественных зданиях, дворцах и храмах проявляется жизнь народа и отдельной личности.

В моей комнате стены снизу мраморные, повыше деревянные, в узорах. Золото, зелень, киноварь, серебро, цветы, пейзажи и слова корана замысловато убрали всю комнату и потолок. Неизвестно, насколько такое изобилие украшений, такая бесконечная работа послужили средством, чтобы доставить существование семьям работавших здесь художников. Что заставило так украсить эту комнату! Доброе ли побуждение помочь рабочим или просто прихоть избалованного богача? Но следует ли поощрять подобные работы, которые только нежат глаз и незаметно растлевают душу как рабочего, так и того, кому работают; и кто же пользуется всем этим? Слова корана, соответствуют ли тому, что здесь происходит в комнате? [...]

Святость церковной архитектуры заметно исчезает. В нашей столице Исаакиевский собор не вселяет в душу благоговения. Это многомиллионное здание, созданное тщеславием верховной власти, бездарное в архитектурном отношении, облепленное бронзой, украшенное громадными изображениями священных сюжетов по стенам, которых в темноте нельзя видеть, обставлено статуями — совсем не соответствует своему назначению.

То же в столице Франции, в Париже, церковь Магдалины — совершенно языческое здание; и даже нет на нем креста. Внутри его над престолом живопись колоссальных размеров изображает папу, Наполеона и Христа, ведущих между собою разговор.*

Самая служба кощунство. Когда епископ совершает таинство причащения, несколько дьяконов с огромными кадильницами с огнем и душистыми курениями на саженных цепях с блестками и бубенчиками образуют вокруг его головы сияние с ловкостью фокусников. [...]

---

* В Швейцарии [...] изображено в нише над престолом в церкви совещание бога-отца, сына и Лойолы, основателя ордена иезуитов.

То же можно сказать и о жилых зданиях, которые утратили всякий отпечаток христианского духа. Есть даже такая надпись над подъездом Михайловского дворца: «Дому сему подобает святыня господня в долготу дней»* [. . .]

XVII

В Дамаске.

Дамаск. 7 мая 1858 г.

По-видимому европейские товары, архитектура и музыка вытесняют восточные. Здесь все заражается европеизмом, говорят, что в Константинополе почти исчезла национальность. Многого будет жаль: мы внесем свое на Восток, не взяв отсюда того, что было бы пригодно. Художник мог бы найти, что почерпнуть для себя в архитектуре; музыканту следовало бы воспользоваться восточной своеобразной музыкой, и еще не мало найдется особенностей, которых можно позаимствовать.

Мне чрезвычайно нравится восточная музыка. Я слышал ее в Смирне, Александрии, Каире, Бейруте, Иерусалиме и, наконец, в Дамаске. В ней много чувства, много смысла и есть приятная негромкая гармония. Мотивы песен поразительно напоминают малороссийские думы; но в них нет такой энергии и силы. Песни бедуинов в горах дики и вполне соответствуют их характеру и местности. Песни хором от времени до времени смолкают и поются одним певцом, или только слышны звуки цимбал или какого-либо другого инструмента и голосов не слышно. Вообще музыка Востока чувственна и нежит ухо. Восточная грязь, дикость народа и пр., наконец, привычка слышать и понимать новые звуки послужили поводом к мнению, что музыка Востока ничтожна; но я вижу в ней непочатые сокровища.

Здешние дома, улицы, кофейни и бани всегда прекрасно задуманы и устроены, но всегда грязны. Следует эту неряшливость забыть и отыскивать то хорошее, что скрывается под нею. Так под рубищем и грязью многие не способны видеть совершенство форм красавицы.

---

* Церкви, что в Петербурге на Моховой, св. Семиона и Анны, а в Москве на Покровке, — увенчаны коронами вместо крестов.

Если бы мы воспользовались кофейнями Востока и устроили у себя что-либо подобное, но улучшенное, доведенное до возможного совершенства,— было бы не дурно. [...]

8 мая

Мы сегодня продолжали осматривать городские дома. Вечером были у Сераскира.* Это человек, получивший образование в Вене, живший в Европе, следовательно, не дикий турок, а турок до известной степени цивилизованный. Адъютант его, англичанин, вероятно, служит у него из денежного или политического интереса.

Под окнами этого европейца-турка жгут ночью ароматы, освещая вход; играет военная музыка. Бесчисленная прислуга подавала нам трубки, чубуки которых были украшены бриллиантами, конфекты, варенье, кофе, шербеты; несчастные рабы глядели в глаза повелителя и в наши карманы, ожидая подачки. Адъютант Сераскира англичанин-мусульманин не выразил ни удивления, ни удовольствия,** увидя земляка, и встреча их была ни горяча, ни холодна.

Несмотря на парадную обстановку, окружавшую Сераскира, могущество его было весьма сомнительно в стране. Когда мы рассказали ему, что по всему нашему пути, в каждой деревне, через которые мы проезжали, в нас бросали каменьями, плевали и ругали, что даже в Дамаске мы были встречены каменьями, то Сераскир наивно сознался, что он бессилен сделать что-либо. При этом он добавил, что когда ему приходится совершать поездки в глубь страны, то жители на него нападают; и он иначе не ездит, как со значительным войском и двумя пушками, так как жители внутри страны не признают над собою владычества турок.

Затем я с братом и англичанином были у паши, перед которым секретарь его работал, стоя на коленях, а сам паша сидел на диване поджав ноги. Мы узнали после, что паша этот враг христиан.

Вечером мы навестили Аб-дель-Кадера.[32] Помещение его было очень просто. Встретил нас высокий, стройный, сильно сложенный и вежливый негр. Комната, куда мы вошли, была просторная. На диване сидел по-восточному Аб-дель-Кадер

---

* Турецкий сановник, командующий войсками. Нас было трое: я, брат и присоединившийся к нам, при выезде из Иерусалима, англичанин. За каждым из нас стояло четыре слуги.

** Нашего спутника.

и курил кальян; в огромном ка́мине был разведен огонь и варился кофе, тут же горел факел и сальная свеча; около камина стояли две мощные фигуры арабов. Аб-дель-Кадер был в алжирском плаще; его фигура и его голова были типичны; выражение лица умное и энергичное. Поселившись в Дамаске, он получает восемьдесят или сто тысяч франков ежегодно от Франции, следит за всем, интересуется всем. Алжирцы имеют с ним постоянное сообщение, собираются в его доме и заискивают в нем. Он спрашивал о Шамиле и очень интересуется его положением. Между ними постоянные сношения.

Мы были также на празднике перед свадьбой у православных арабов. Какая тут чепуха и путаница. Христианство сливается с магометанством, песни поют и магометане и христиане, и все воспевают страсть и любовь.

Ночь, ночь, ночь! моя ночь, моя ночь!..
Как приятно быть с милой!..

Одна за другой поют песни о любви и страсти; и, так же как у нас в Малороссии во время свадьбы, так и тут поются песни грубо-циничные. Молодой в этой песне сначала восхищается красотой женщины, потом просит ее лечь с ним. [...]

XVIII

По дороге из Дамаска. Ливанские горы.

[...] Мы поднимались в гору зигзагами; караван отстал; впереди шел местный проводник — араб; лошади останавливались и отдыхали. Держась за гриву лошади, мы карабкались на гору; ветер, и по временам вихрь, гулял по вершинам на просторе. Это наша погода, нам знакомый холод. Мы запели «Не белы снеги»... Оглянувшись назад, мы увидели, что озеро, мимо которого мы ехали, исчезло; горы слились внизу в холмистую равнину, над нами возвышался другой снежный хребет, а за ним вдали просвечивала снежная вершина Хеврона.

Мы поднимались все выше в гору, по тропинке, протоптанной по снегу; дохнул холодный воздух; нависла глыба снежная, как у нас после метели.

Поднявшись еще выше, мы очутились на вершине Ливанского хребта.

. Какая прелесть! Вот картина!.. только кистью можно передать ее, и еще каким надо быть мастером! Слова не в силах пересказать общего мгновенного впечатления, гармонии и красок, колоссальности размеров и перспективы.

На горизонте облака. Они слились с небом; подступают ближе и ближе клубами густыми и бурными, они колышатся, как волны океана, у нас под ногами; над ними — голубое чистое небо. Густые облака нависли над горами. Горы всех красок и тонов энергическими контурами то подступали ближе, то пропадали в синеватой дали, из которой выступает неправильная скала и пересекается слева снежною белою горою. Картина становится еще мрачнее и грознее. От этой картины не оторваться...

Ниже, направо, на голой массе снега темнеет островок — это Ливанские кедры, которые воспевал Давид.[33] Издали они кажутся кустиками.

Мы спускались снежными долинами; веяло зимней свежестью. Конь проваливался в снегу и выпрыгивал; из-под снега текли ручьи, у камней росли фиалки. Пролетела ласточка,— и ни одного звериного следа.

На пяти холмах расположились кедры. Они здесь необыкновенно грандиозны, раскинулись пластами; слоями протянулись их мрачные ветви. Века стоят эти кедры, выросли какими-то букетами, кустами, а каждый сук их представляет собою огромное дерево. Окружил их высокий снежный хребет. Это вековые борцы, потерявшие руки-сучья в снежных буранах, метелях и ураганах. Имена всех наций вырезаны на кедрах... Но скоро и этого жалкого остатка не будет. Погода и люди истребят их — уцелеет одно воспоминание; название их будет только в псалмах.

Мы прожили двое суток под этими кедрами, возле жалкой часовни арабов-христиан. [...]

XIX

Дорога от кедров в Бейрут.

Раскололись, раздвинулись горы; кипарисы стояли вдали колоннами; облака неслись над долиной и пропастями, закрывая части гор и скал. Реки шумели внизу между каменьями и утесами; орлы пролетали в воздухе, носясь в об-

лаках. Мы ехали по обрыву гор над деревнями, полями, облаками и орлами. В камнях по дороге попадались группы из трех-пяти горцев в ободранных одеждах с ружьями; тут у них теперь война.

Слышны были внизу ружейные выстрелы то с одной, то с другой стороны, и кое-где в долине, из-за кустов и камней, показывался дымок после выстрела. Чтобы не попасть под пули, мы по страшной крутизне, без троп, спустились в обход. У деревни, через которую нам приходилось ехать, мы были встречены вооруженными горцами, которые, сделав нам несколько вопросов, пропустили в деревню.

Деревня была довольно значительная, с католическою церковью. Почти все мужское население было на перестрелке. На площади собрался народ и внимательно слушал босоногого монаха-францисканца, распоряжавшегося военными действиями.*

Мы расположились близ площади для завтрака; и при расспросах о нашей религии, как апостол Петр от Христа, отреклись от православия, перекрестившись по-католически, и признали святость римского папы.** [...]

XX

Из Бейрута в Константинополь и Вену.

Обогнув Палестину от Бейрута до Кармеля в Иудее, мы вернулись к Тивериадскому озеру через Баниас, Дамаск и Ливанские горы и остановились в Бальбеке, где любовались грандиозными и красивыми развалинами храма Гелиогобала. Здесь я набросил масляными красками эскиз араба с верблюдом и взял на память кусок от колонны храма. Таких каменных колонн было четыре, из них остался небольшой обломок; камень из породы кварца, цвета моря, когда оно бывает зеленое. Из Бальбека мы вернулись берегом моря в Бейрут с северной стороны. Тут, простившись с нашим спутником

* О, св. Франциск Ассизский,— это твои последователи! Какое извращение его учения!

** Население было католическое и вело войну с православными арабами.

англичанином,* мы сели на пароход и отправились в Кипр, Родос, Смирну и Константинополь. Из Константинополя брат проехал через Одессу в Петербург, а я, оставшись дня два в Константинополе, отправился Черным морем на Дунай в Вену и Париж. [...]

21 мая/2 июня

Выехав в среду из Константинополя на австрийском пароходе, я прибыл на следующий день в десятом часу утра в Варну. Пароход шел днем по $8^1/_2$ миль, а когда начало смеркаться, то вдвое медленнее, и так шел до утра. Подъезжая к Дунаю, мы взяли лоцмана. Вход в Дунай трудный; семь разломанных судов виднелись разбросанные на мелях.

Тут много наших беглых малороссов. Встречаются красные рубахи и русые бородки. Народ, нажив копейку на свободе, пьет и щеголяет; вместо наших полосатых, синих или просто белых штанов носят шаровары из мебельного ситца с крупными цветами, у некоторых соломенные шляпы. Сюда приезжают и купчики наши, прицениться, скупить или продать товар. [...]

В среду 28 мая/10 июня в семь часов вечера приехал я в Вену. Ее не узнаешь. Хороший парк, вал срыт, чисто, людно, но тем не менее я не знаю и не видал городов хуже и отвратительнее Вены и Петербурга. Щеголеватое нахальство и наглый расфранченный разврат неприятно действуют на меня. [...]

В Вене я пробыл короткое время, так как торопился к Ольге и ребенку. Меня вытребовали во французское посольство, где вымерили мой рост и записали приметы, конечно, из боязни нового покушения на французского императора. Я простился со своим старым знакомым, священником нашего посольства в Вене Раевским, и выехал в Париж.[34] [...]

---

* Один англичанин отстал в Иерусалиме от своих товарищей по болезни и просил нас взять его с собою. С ним мы сделали путешествие по Тивериадскому озеру и далее до Бейрута.

На Бальбеке он очень вежливо попросил меня дозволить ему снять копию с моего эскиза и исполнил ее весьма недурно.

Я собрал у него сведения относительно принятия английского подданства и цены на проезд в Америку, куда предполагал переселиться с Ольгой и детьми. Все это было сообщено им со знанием дела и охотно. Он житель Ливерпуля, закончил курс в университете и предполагал поступить в духовное звание.

XXI

Возвращение в Париж.

Июнь 1858 г.

Несмотря на то что я до этого жил в Париже, он вновь поразил меня многолюдством, множеством экипажей, пустотою жизни, вечным шумом, бестолковой роскошью. Стеганные штофные потолки и стены, щегольские экипажи, сытые, убранные в серебро и позолоту лошади, роскошные рестораны, избыток денег — и рядом нищета и смерть от голода. Видя все это и рабочего, трудящегося под солнечным зноем и в непогоду с утра до вечера, невольно приходишь в негодование и являются невеселые мысли.

Городские строения протянулись до горизонта во все стороны; все заселено, дома поднялись вверх в пять-шесть и семь этажей; одни купаются в роскоши, прихотях и разврате, другие утопают в нищете, слезах и горе, — всего тут насмотришься... [...]

Париж. 25 июня 1858 г.

Много я путешествовал. Много видел и много перебродило во мне мыслей. Сколько раз сознавал я все свое ничтожество, самонадеянность и жалел о жалкой своей участи и неудавшейся жизни. Куда ни приеду, вижу, что не дозрел, не дорос до понимания чужой жизни. Я уже достиг того возраста, где для человека открывается широкая разумная деятельность, с определенною целью; к ней я готовился тридцать лет, и что же... Нет ни знания, ни достаточного ума и силы воли, ни чистоты нравственной, ни высоты духовной!..

Проехав по Дунаю, насмотревшись на многое, я часто вспоминаю нашу бедную Россию. Ее судьба, особенно в настоящее время, занимает каждого, не только русского... Я думаю, что когда вернусь, то не узнаю Россию, столько будет в ней перемен: освободятся крестьяне волей или неволей и разбогатеют; администрация изменится к лучшему, проведут дороги, заведут школы... Не думаю также, чтобы народ остался таким, каким я его знал и каким я его любил.

Нужда и горе отрывают от земли, возносят дух к богу. Не было у нашего народа, где отвести душу, и никого, кто бы его утешил, усладил его горький час, все было ему чуждо — от панов до попа; он пел, молился горячими, кровавыми слезами из века в век, из поколения в поколение!.. но и при

своей горькой, тяжелой жизни он был отрадой для меня. А теперь, при новых условиях жизни, с европейской цивилизацией, дух прибыли и эгоизма может овладеть нашим народом и наполнить его душу. Но довольно! все эти мысли, мечты невеселые ложатся камнем на сердце.

Под звуки разгульной, веселой музыки, ночных бальных танцев, треска ракет и при свете бенгальских огней я уснул на диване. Ночью проснулся раза два, три... Париж спал. Горели огни по улицам, луна светила...

Солнце поднялось из-за города, осветило и окрасило крыши домов. Дом инвалидов, Марсово поле, готические церкви. Пантеон вдали, здание всемирной выставки, трубы заводов и верхушки садов...

На улицах появились блузники, но к дому, который строится против нас, еще не собрались каменщики. Я иду на работу далеко, в другой конец Парижа. [...]

Утро свежее. Тени дерев далеко легли по земле и переломились на домах и набережной. Встречаются носильщики с хлебом, тележки с молоком и блузники, блузники по всем улицам, во всех направлениях бесконечного Парижа. Мне всегда казалось, что много здесь работы каменщикам, но рано поутру я увидел их в невероятном количестве! Это целое население, бедное, недовольное, невоздержное. В эту же пору меняются караулы, и поэтому везде движение солдат по улицам.

Бежит и извивается Сена; двадцать семь мостов перекинулись через нее, где грациозно и легко, где мощно. Река красиво убрана в чистые и прекрасные берега, но вода мутная и зловонная.

Шпицы церквей и соборов Notre-Dame виднеются в синеве с острова, куда пробираюсь я.

Внешность обманчива, первое впечатление ошибочно, не глубоко и безотчетно [...]

По-видимому, и здесь, в Париже, все хорошо, чинно, чисто, изящно, работники как будто сыты и поют, даже веселы. Однако Париж не таков в действительности; в нем отразилась его история, многолетняя борьба, торжество и упадок; одни здания воздвигаются, другие пустеют и сохраняются как памятники старины.*

---

* Palais du Corps législatif l'ancien, Palais Bourbon, l'ancienne chambre de députés. [Дворец законодательного собрания, старый дворец Бурбонов, старая палата депутатов].

Обман действует на народ, как танец дервишей, как проделки фокусника. Остатки свободы хранятся на потеху или в назидание — пусть тешится глаз. Это только развалины свободы, и, глядя на них, сжимается сердце; приходится стиснуть зубы и молчать. В отчаянии останавливаешься на той мысли, что люди свыкаются с позором и ничтожеством, мирятся с неволей, тупеют и валятся, как разбитый колокол...

Мрачно выступает дворец Тюильри: все изменилось в нем. Когда-то Людовиг Филипп хотел прибавить полоску земли вокруг дворца для прогулки своему семейству, поднялся шум, крик, угрозы... Теперь половину сада загородили, часовых поставили, прибили билеты с надписями: «Ход сюда публике воспрещается!» Работников заняли, и все молчит. Наполеон III делает с народом, что хочет. Сотни каменщиков и землекопов столпились у Тюильри, но забор заперт, и все ждут минуты, когда дощатые ворота отворятся; быть может, за забором войско уходит в подземельные ходы, которые тянутся под дворцом и Парижем? или ждут дня, чтобы толпа раздробилась и затерялась среди приверженцев и рабов императора. Пока я не видел в эту раннюю пору дня ни одной шляпы, кроме моей, да конюхов Наполеона, и еще шляпы иезуита, который пробирается рано утром в черном платье с Евангелием в руках куда-то и на какое-то дело...

Разве это свобода?.. Ни свободы уму, ни свободы в жизни, ни свободы духу! Все сковано, все задавлено насилием, хитростью и нуждой. [...]

Везде в Париже сооружают новые здания и перестраивают старые; Лувр, императорская библиотека, центр Парижа заставлен лесами, кварталы бедных, нищих и неимущих в осаде у имущих и зажиточных. Все в руках эгоизма; вся здешняя цивилизация проникнута чувством охранения власти и жаждой прибыли. Честно ли это? Разумно ли? Где свобода? Какая сила влечет сюда все?..

Бедняк идет на работу. Он издалека торопится в столицу, бросая семью или таща ее с собою, рассчитывая на плату за труд.

Людей достаточных тянет сюда мрачная сила; тут они окончательно развращаются, живя плотью, брюхом, болтовней, угодничеством сильному и набиванием кошельков темными путями.

Работник, изнемогая от труда, ищет сил в вине, отдыха в гульбе, сначала крепясь, а потом, забывая семью и себя, тратит, не считая, деньги, на пустяки, гибнет в разврате. По-

ловина заработанных денег остается в руках хозяев; опять его заманивают на другую работу, и он в той же нужде.

...Каждое утро десятки тысяч полицейских в фуражках, которые днем меняются на шляпы, двигаются по улицам; многие с револьверами, кистенями, и все при шпагах.

Этим ли путем пойдет человечество? Оно не идет, а бредет, спотыкаясь,— это жмурки, ребячество и глупость вместе. [...]

И вот, я добрел до старого города, которому остается жить недолго, и там по грязной лестнице поднялся в мастерскую. Множество художников сидит за мольбертами — они заготовляют краски. Бьет шесть часов, и, с боем их, натурщик скидает рубаху, берет палку, отыскивает след мела на платформе и становится позировать.

Мало-помалу сходятся ученики, начинается пустая болтовня «Et bien, M-r le Suisse n'est il pas encore mort?» [35]

Это замечание относится к хозяину мастерской, бывшему натурщику лет восьмидесяти, который помнил еще первую революцию.

Скоро старик показался в дверях сеней, возвращаясь с рынка, с двумя большими букетами розовых гвоздик. Прижав их обеими руками к сердцу и улыбаясь, закатив глаза к небу, он принял позу влюбленного. Шутки, остроты и смех не прекращаются во все время работы... Жалкая, бедная жизнь! пустая, развратная болтовня! .. [...]

XXII

Рождение дочери.

1858. Мы ждали появления на свет другого ребенка, и я нанял квартиру двумя этажами ниже, в том же доме, с платой не 240, а 360 франков в год. Ольге не приходилось больше подниматься так высоко по крутой винтовой лестнице для прогулки с Юрочкой и ежедневной ходьбы на рынок. Квартира была уже не такая душная и с окнами на улицу. Можно было рассчитывать, что роды в Париже, при лучших условиях, не будут так тяжелы, как в Швейцарии. [...]

Ночь с 24 на 25 июля (с 6 на 7 августа) Ольга провела несколько спокойнее других ночей. Юрий спал. Поутру боль усилилась, начала повторяться каждые пять минут, оче-

видно, приближались роды. Я ждал их через две недели, основываясь на словах доктора, директора детской больницы — старичка с орденом Légion d'honneur (Почетного легиона), который принимал детей у жены прусского священника и был нам рекомендован.

Я отправил Юрку с няней гулять, взял знакомую прачку на подмогу, послал ее за доктором; другую прислугу отправил за акушеркой; но никто не приходил. Я оставался один с больной и ждал появления ребенка каждую минуту. В квартире, кроме нас, не было ни единой души.

В ожидании прихода кого-либо я оставил двери отпертыми... в стенах раздавались только крики последних мучительных болей. Ольга лежала в забытьи, ничего к родам не было готово. Еще крик! Ужасный крик с визгом, кровь, и показалась головка. Я вынул дитя...

Ольга была в изнеможении, дитя кричало...

Кто-то вошел, я прикрыл Ольгу и ребенка одеялом и торопливо вышел в переднюю. Руки мои с засученными рукавами рубашки были в крови; я был без пиджака и, растерянный, встретил входившую женщину. Это была жена скульптора, жившего в нижнем этаже. Молодая женщина, увидя меня в таком виде, вскрикнула в ужасе, закрыв лицо руками: «Le monsieur russe a tué sa femme»,[36] — и убежала. Жильцы начали заглядывать, я запер дверь. Ольга и ребенок были покойны. Вскоре приехал доктор — старичок, не ожидавший, что дело обойдется без него.

Итак, родилась у меня дочь Елена. Да будет над нею благословение божие. Еще новая тягость, новые заботы в жизни, которые требуют серьезного размышления, чистоты нравственной и теплоты сердечной!.. Но где взять все это?.. В душе пустота, ничтожество.... [...]

Горька жизнь. Хочется работать, а надо сидеть да кормить Юрку, смотреть за Ольгой, за прислугой, сводить счеты, записывать белье. Все приносить в жертву чести, долгу,— грустишь и задумываешься. Но есть ли честь и долг?.. Не мы ли сами создали себе эти жертвенники, на которые приносим все?.. Я приносил бы жертвы спокойно и твердо, если бы верил, что будет награда в будущем, какое-либо утешение, что есть смысл приносить жертвы. Но в сердце нет веры, в голове твердого сознания... и горько и больно за себя; жизнь становится тяжелее с каждым ударом маятника. [...]

...Что со мною? Не смею даже выговорить того, что происходит?.. страшно за себя, за все, что окружает меня... Что

мне делать! Как научиться терпению, приучить себя к семейной жизни? За ребенком смотреть не умею... Душа рвется... сойду с ума, или лопнет мое сердце.

Так заканчивается мой дневник. Дальнейшая моя жизнь в Париже живо воскресает в моей памяти по письмам, которые я писал тогда отцу, а также письмам брата моего Владимира, которые я привожу в следующей главе.

XXIII

Париж—от сентября 1858 по октябрь 1860 года.

[...]

Париж. 10 октября/28 сентября 1858 г.

Любезный друг Папинька! Я получил твое письмо от 15 сентября, в котором ты извещаешь меня в том, что съездил в Павловку, что поправился здоровьем и едешь в Москву. [...] Как идет жизнь братьев. Кто где находится и куда они собираются. Ты меня спрашиваешь о моих планах на будущее. Я намерен проработать еще у Глеза до осени 1859 года; потом хочу ехать в Голландию, Лондон, Мюнхен; хотелось бы уже после этого ехать в Рим и Италию, а там увижу, что будет далее. Мои занятия у Глеза по-прежнему идут довольно успешно. Мы вполне довольны друг другом. Кроме учителя, я нашел в нем хорошего человека, который меня любит. Я было немного простудился и не пришел к нему три дня, и вот на третий день, после обеда, слышу ко мне звонок, и Глез влетает с сыном * узнать, что со мною, здоров ли я и пр. Мы с сыном Глеза также приятели. Мне чрезвычайно приятно видеть обоих Глезов вместе; это, как два друга, самых откровенных, хотя сыну девятнадцать лет, отцу пятьдесят три. В настоящее время я здоров и занят; пишу несколько картин; пока одна сохнет — пишу другую. Две тебе известны: «Рождество Христово» и «Явление ангелов пастухам». Третья картина — «Малороссиянка, входящая в сени», а затем еще написал я небольшую картину «Ночь». Иосиф Васильевич и жена его от души тебе кланяются. Еще раз повторяю тебе, что жизнь моя замкнутая и рассказывать тебе нечего, да я и не знаю ничего. [...]

Прощай, целую тебя и братьев. Знакомым поклоны.

Твой сын Лев

---

* Сын Leon Glaize [Леон Глез], теперь известный художник. (Позднейшая приписка).

В это время брат Владимир опять приехал в Париж по делам Новосельского и в письме от 24/11 ноября 1858 года писал обо мне отцу: *

Левиньку я нашел здесь в более утешительном состоянии, чем ожидал. Был у него в мастерской, виделся с его профессором, видел и начатые им работы на дому. Успехи он сделал очень большие. Глез им очень доволен и непременно хочет выставить две его картины — «Малороссиянку, входящую с работы в хату» и «Рождество Христово» — на здешней выставке, а Левинька хочет, если время Питерской выставки не сойдется с здешней, отправить свои картины отсюда в Питер на выставку. Первая из них хотя показывает большой успех и по себе недурна, но далеко не так мне нравится, как вторая, в которой чрезвычайно много простоты, естественности, оригинальности, теплоты и чувства религиозного. Словом, нынешнее свидание с ним производит впечатление чрезвычайно приятное.

Париж. 1 декабря нов[*ого*] *стиля 1858 г.*

Благодарю тебя, любезный друг Папинька, за письмо в день моего рождения. Грустно мне было отвечать на твой запрос о моем возвращении, но ответить следовало. Узнаю тебя в твоем письме, всегда покорного долгу и твердого. Как тебе, так и мне хочется с тобою видеться, но пока надо учиться, и так ушло много лет! Сколько стоит мне труда приобрести технику живописи, чтобы высказать то, что хочется. Вот мне уже тридцать лет, я прожил половину жизни,— а еще учусь грамоте! Выучусь ли? Когда? Скоро ли начну говорить, не заикаясь и не отыскивая слов в лексиконе? . .

В Питере я был. Академию прошел и убедился, что эта школа не только недостаточная, но и вредная. Она вредна своею апатиею, своею мертвящею силою, сонливостью, отсутствием мысли, жизни. Вне Академии у меня также все не клеилось — я решительно не мог с пользой пристать к кому-либо и решился учиться один в деревне; но наконец и это учение стало мне тяжело без наставника. В мои годы трудно найти учителя; я нашел его в Париже и должен его держаться. Я знаю, что, сбившись с пути теперь, уже не найду его; знаю, что в России пока ничего не сделаю; художество мое охладится, я окоченею, а тогда... уверен, что ты первый не захотел бы видеть меня в таком жалком положении. Старого не вернешь! Надо было мне учиться в детстве тому, чему учусь теперь. Грустно тебе, грустно и мне, но что делать! а не учиться не могу. На что и жизнь, если нельзя жить духовно. Теперь отдыхает мое сердце и оживает мой дух. Надо работать, работать, а завтра будет то, что бог даст!

---

* Письмо это по смерти отца в 1865 году было найдено в его бумагах.

Итак, я убежден, что поступаю, как следует, и, следовательно, с твоего благословения; этим я себя успокаиваю, и это придает мне твердость. Верь, что занятия не забава, мне уже тридцать лет; жизнь уносит меня и вниз и вверх; а я все не выпускаю карандаша из рук и не встаю со школьной скамьи. Иногда так станет пасмурно кругом, так скучно и так безнадежно заволакивает горизонт, что опускаются руки...

Но, прочь эти грустные впечатления! за работу! ты мне пример: работать и подчинять себя правде и долгу, с этим да с крестом — вперед! [...]

В настоящее время я все работаю у Глеза. Одна из моих картин приближается к концу, другая почти на половине, третья — небольшая — тоже скоро будет окончена. Все три думаю выставить здесь, это будет мне хорошая наука. [...]

Прощай, целую тебя и молю бога о твоем здоровье.

Твой сын Лев

Я посылал через тебя письмо Алеше Толстому — отправлено ли ему?

Париж. 1 января/20 декабря 1859 г.

Любезный друг Папинька, от всей души желаю тебе, с Новым годом, лучшего счастья, спокойствия духа и здоровья.

Дни мои по-прежнему идут — как часы; что сегодня — то завтра, что завтра — то послезавтра. Пока все благополучно; работы двигаются вперед, занятиями я доволен и делаю успехи, это меня утешает и обнадеживает. Быть может, лет пять еще усиленной работы, и я встану на ноги — пора! Тогда я буду в состоянии высказывать в живописи свои мысли и чувства, от которых иногда, нет покоя. А быть может, и то... время уйдет — я опоздал здесь, как везде и останется один грустный и безотрадный труд. Я в Париже пока живу не без пользы; и даже с большей пользой, чем ты полагаешь. Проживая в болотном и туманном Питере, я прозябал, и ожил, выехав в малороссийские степи, дохнув воздухом Черного моря, слившись с жизнью народа, запев с ними одну песню! Все это пробудило во мне человеческие стороны, душа рвется высказаться, творить!.. До этого у меня не было сил, я едва ходил, я был ребенком, не умевшим объяснить того, что желал. Академия мне силы дать не могла, сгнивая сама на своем ветхом основании. Заграничное воспитание мне было необходимо. Случайно и счастливо я попал к Глезу, который, как оператор, открыл мне глаза, снял наросшие бельма. Теперь я счастлив, особенно еще тем, что день в неделю отделяю на занятия у Лагорио. Меня радует, что мало-помалу наши художники съезжаются в Париж, где их спесь спадает невольно. Становясь на одну доску с тысячами художников, они начинают видеть свое ничтожество и

работают с большим разбором. В настоящее время я кончил «Малороссиянку», «Ночь» (фантазия), один «пейзаж» и пишу еще два пейзажа — «Поход стрелкового полка» и «Рождество Христово». Желаю одного — продолжать свои занятия и работать с полным спокойствием.

Брат Владимир не знаю где, а потому пересылаю ему письмо через тебя. Иосиф Васильевич и жена его здоровы и передают тебе от души желание всякого счастья и здоровья.

Теперь скажу тебе, хотя это и скучно и неприятно, что мне нужны деньги. Со временем надеюсь жить иначе, а пока... без твоей помощи существовать не могу. При получении денег я всегда порчу себе кровь; меня берет досада, что не только я обираю мужиков, но еще при этом наживают банкиры, которые и без того сыты по горло и утопают в довольстве.

Итак, любезный друг Папинька, остаюсь в надежде, что ты пришлешь мне денег и известие о себе. Целую тебя крепко и еще раз желаю всякого счастья. До другого письма.

Твой сын Лев

Средства мои были скудны. Кроме восьмисот рублей, получаемых от отца в год, других средств у меня в жизни не было. По курсу восемьсот рублей составляли 2700 франков.* Из них я платил за квартиру в год 900 франков. Глезу 60 франков в месяц, за уроки Ольги 20, няньке 30 франков; да еще приходилось тратить около 150 франков в год на натурщиков, натурщиц, краски, кисти и холсты — итого 1890 франков. Таким образом, из 2700 франков у меня оставалось 810 франков на еду, отопление, освещение, прачку, докторов, одежду и пр., то есть 240 рублей. Пища наша была самая скудная; иногда бульон, суп из хлеба с кореньями, картофель, дюжина устриц (10 су), артишоки, а вместо чаю шоколад по утрам на воде с молоком.

Последствием такого питания оказалось, мало-помалу, отсутствие аппетита, чего ни я, ни Ольга не замечали и мирились с этою жизнью. Но священник Иосиф Васильевич и доктор находили необходимым, чтобы мы переменили наш образ жизни и для восстановления сил и отдыха отправились к морю на лето; к тому же доктор и предсказывал плохой исход. Приходилось покориться и последовать их совету.

Художники французы указали мне небольшой, тихий городок Veules [Вель] в Нормандии на берегу моря и недорогой

---

* В это время наш рубль упал в цене и франк стоил не 25, а 30 копеек.

для жизни, так как, по их словам, туда съезжались на морские купанья люди не прихотливые и не богатые; актеры и художники. [...]

Париж. 5 июня 1859 г.

Вместо 2 мая, когда я собирался отвечать тебе, любезный друг Папинька, я отвечаю почти месяцем позже. Извини меня! [...] Подробный разбор твоего письма и братьев кончился бы неприятно для нас, и вышло бы не письмо, а целая брошюра. Поэтому выпускаю все подробности, все ваши обвинения и приведу только некоторые доказательства, из которых вы и видите, что я поступил правильно [...]

Отвечу еще на один вопрос: Вы не признаете меня художником, говорите, что пора понять, что из меня ничего важного не будет, что пора бросить это и прекратить напрасную трату денег. Но позвольте спросить Вас: вправе ли вы произнести такой приговор?.. Я полагаю, что нет. Не из самолюбия говорю это — нет! у меня его очень немного, благодаря бога, но поистине думаю, что вы не правы. В этом деле надо было бы спросить мнение художников. Вы убедились в неспособности моей на том основании, что до тридцати лет я не прославился, не удивляю и не восхищаю публику. Но я начал поздно; и где и как начал? Можно говорить о живописи, можно сказать, что такой-то мне нравится или не нравится, но произнести приговор над художником, оторвать его от работы, нарушить спокойствие духа и все существо его — слишком большая смелость. Вы просто испугались моей бедности и хотели меня взять на хлеба — но, отгоняю от себя я это искушение и словами Христа отвечу: «Не хлебом единым живет человек». Положим, что я никогда не достигну славы, что мои занятия бесполезны, и я, покупая холст, отнимаю кусок мяса у моего семейства; но иначе я не могу жить. Я работаю не для славы, не для барыша — это потребность моего духа, моя жизнь! Как отнять это у себя; как изгнать эту жгучую жажду? Разве тот, кто пишет — пишет для славы. Разве цель его быть звездою, греметь в свете и т. п.

Я того убеждения, что натуры не переделаешь. Можно замедлить ход событий, можно намеренно погубить себя угаром или иным способом; но переделать себя — невозможно; из Льва Жемчужникова не сделаюсь Бурачком или Бланком.* Я жажду занятий, живу в духовной работе над собой, стремлюсь идти вперед и развиваться. Хочу развить эту духовную потребность и в Ольге, и в детях... И всего этого т е п е р ь надеюсь достигнуть; но только здесь, а не в Мглинском хуторе.** Я знаю, что ожидает меня в хуторе. Пять, шесть свиданий в год с близкими моему сердцу не излечат меня; этого противоядия будет недостаточно против

* Две несимпатичные для меня личности, которые я встречал у отца.

** Хутор, доставшийся нам по наследству от матери.

чумного зараженного воздуха русской провинции; и этот воздух меня удушит без пользы кому бы то ни было! Нет! я туда ехать *теперь* — не могу, моя натура этого не вынесет. Еще раз прошу вас, мои друзья, помогите мне, а не топите в омуте; я уже захлебываюсь при одной мысли об этом.

Наконец, любезный друг, помогай мне деньгами, сколько можешь, хотя совсем не помогай, но я еще хочу и жить, и дышать духовно, и учиться. Год жизни здесь равен трем годам в Петербурге, если не больше, а о прозябании в хуторе и говорить нечего. Идти на службу — я еще менее могу; к этому я просто имею отвращение и задыхаюсь, думая об этом.

Теперь отступлю от этого вопроса и скажу, что в настоящее время я и семья в Нормандии, у берега моря, где пользуемся хорошей дешевой пищей и воздухом. Я нанял дом с садиком на три года. Здоровье мое лучше, но часто чувствую полный упадок сил; надеюсь, что морское купанье поправит меня. Целую тебя и прошу не забывать нас в твоих добрых молитвах.

Твой сын Лев [...]

[...]

23/11 июля 1859 г.

Теперь, любезный друг Папинька, буду отвечать тебе на твои вопросы, на которые еще не отвечал. Две мои картины, первая — «Малороссийская девушка, входящая в сени», вторая — «Рождество Христово» — обе были на выставке. Об успехе их нечего сказать. Они так незначительны, что привлекать внимание публики не могли, тем более что картин было три тысячи. В одном маленьком журнале меня даже хвалили. Картины были приняты без просьбы, без всякого знакомства; это также для меня не пустяки, тем более что шесть тысяч картин было не принято, то есть забраковано. Я сам чувствую свой успех, занимаясь у Глеза, и не хочу пока бросать его; еще рано. Не забудь, что я, как молодое растение (хоть и не молодое), пересаженное на другую почву в совершенно другие условия; и Глез мне необходим как подпора, без которой растение может вырасти кривое. У меня покупали одну картину, но я не продал: во-первых, чтобы продать ее дороже (и для этого отправляю ее в Россию); во-вторых, мне хотелось бы, чтобы ты, братья и Толстой увидели ее. Вы вспомните меня, глядя на мои картины, и мысленно поговорите со мной. Я действительно перестал работать в церкви восковою живописью, так как исполнил все, что требовалось от меня; и, кроме того, простудился в сырости и слег было в постель да кашлял с неделю [...]

Твой Лев [...]

Любезный друг Папинька, прости, что не писал тебе так долго. Я могу писать, когда покоен, а это время я был сильно встревожен болезнью Ольги; и, кроме того, отвлекали меня занятия, отъезд брата Николая, Алеши Толстого, Софьи Андреевны * и приезд великой княгини Марии Николаевны, у которой стоят теперь мои картины [...]

Мне и Ольге так хочется быть среди вас; так мы чувствуем эту потребность; к тому так малы наши средства для продолжения моей жизни за границей, что мы порешили будущей весной ехать в Россию и поселиться хотя бы в Павловке с братьями Владимиром и Алексеем или где и как придется. Думал вырастить детей на свободе и накопить денег на их воспитание и уплату долгов. Но это неисполнимая мечта. Собраться вдруг мы также не в состоянии, так как обзавелись уже хозяйством, которое следует распродать, хотя бы дешево, а также хочется еще поучиться и для этого провести зиму в Париже. Если будет возможно, то напишу картины к будущему апрелю для здешней выставки, и, устроив все дела, думаем весной перебраться в Россию. У меня мебель недурна, быть может, ты посоветуешь ее отправить в любезное отечество, как делают многие. У меня есть еще книги и эстампы, которые боюсь везти с собой, чтобы не иметь дела с таможней, квартальными и пр. Не прислать ли все это тебе.

Прошу тебя поцеловать за нас обоих — брата Алексея и жену его, и передай им нашу благодарность за письмо и любовь их.

В настоящее время я занялся гравированием на меди крепкой водкой, и результаты удовлетворительны; при случае перешлю тебе мои опыты. Прощай, любезный друг, целую тебя. Ольга целует тебя тоже от всей души и молит бога, чтобы продлил тебе жизнь.

Твой сын Лев

[...]

Итак, любезный друг Папинька, я еду к Вам. Денег у меня нет. Уваров еще не выслал,[37] а которые были, прожиты. [...] Как только ты вышлешь деньги, то через две недели буду в дороге,— это самое позднее, и, пожалуй, встретимся в Питере; потом еду в Калугу ** и Павловку. Обо всем этом ты мне напишешь как можно точнее. Извини, что тревожу тебя деньгами; знаю, что в деревне тебе самому нужно, но как быть? рассчитаемся, когда свидимся, и, быть может, занимать денег более не буду, при дешевизне деревенской жизни. Что касается великой княгини Марии Николаевны, то, по слухам, она должна скоро приехать сюда;

* Софья Андреевна Миллер, будущая жена А. Толстого.

** Где Виктор Антонович Арцимович, женатый на моей сестре, был в то время губернатором.

впрочем, нельзя сказать наверное; они меняют маршрут по фантазии, и дорога им везде свободна.

Не предполагая, что будет такое небывалое лето, я очень жалею, что не выехал весною; тогда мог бы провести лето с вами. Я давно писал тебе, что рассчитывал пробыть за границей еще много лет, обстоятельно заняться живописью в Париже, Дюссельдорфе, Лондоне, затем проехать в Бельгию, Берлин, Мюнхен, Италию и Испанию и тогда только возвратиться в Россию со спокойной совестью. Думал я, что средств моих и уменья хватило бы на все это; но я ошибся, а оставаться один лишний год в Париже нет смысла. Все равно курса не кончу, а только расстрою себя; придется опять переносить всякие лишения без большой пользы.

Теперь дай бог устроить нам жизнь в достатке и покое. Буду работать в тишине для семьи; и это поддержит мои силы в будущей, предстоящей мне жизни. Жду, любезный друг, твоего совета. Целуем тебя и братьев. Где Володенька? Что он делает? Детки мои здоровы. Ольга крепко тебя целует.

Прощай, обнимаю тебя еще раз.

Твой сын Лев

[. . .]

Через сорок лет.

I

Да, прошло сорок лет со времени моего возвращения в Россию. Я сижу у себя в кабинете в Погорельцах, смотрю на портреты, свои эскизы и живо вспоминаю родных, друзей, свое прошлое. Особенно приятно вспоминается жизнь в Швейцарии, Париже и Нормандии, среди чужого, простого и доброго народа. И в Швейцарии, и Нормандии со слезами нас провожали простые люди, и слезы невольно текли у нас [. . .]

II

Говоря о Нормандии и времени моего там пребывания, я невольно вспоминаю многое, что касается этой жизни. Перед отъездом в 1859 году из Парижа я отправил две мои картины на выставку с дворником дома и, сделав это распоряжение, уехал в Нормандию, где получил газету от Глеза, в которой меня хвалили и было сказано, что «из работ моих, особенно из картины «Рождество Христово», видно, что я внимательно изучал Рембрандта. Такой отзыв мне был приятен,

потому что тогда действительно усиленно изучал Рембрандта. В это же время я получил письмо из той же редакции, в котором предложили мне выслать ей 200 франков, и что за эту сумму с обеих моих картин будут сделаны гравюры и помещены во французском и немецком журналах. Я был возмущен таким предложением и бросил письмо в камин, не отвечая на него; так покупается слава, похвала и популярность некоторыми художниками.

Меня поразило, что в числе 6000 картин, забракованных жюри, были картины русских художников, удостоенных нашей Академией первой золотой медали и отправленных ею на казенный счет за границу. Это обстоятельство заставило меня ближе всматриваться в технику русских художников, которая действительно отличалась своею рутиною от энергичной и свободной техники иностранных художников.

Я приезжал на выставку из Нормандии три раза, и посещения эти принесли мне большую пользу. Видеть свою работу у себя в комнате или в мастерской далеко не то, что видеть себя перед публикой, среди трех тысяч художников разного направления и с различными приемами для выражения своей мысли или чувства. Никакая критика не научит художника так ясно и вразумительно, как критика собственных глаз, анализ своей собственной работы, в которую он вложил душу, все свое умение. Ему важно также видеть свою работу среди массы различных мыслителей, художников и поэтов. [...]

III

...Да, прошло уже сорок лет с тех пор, как я возвратился в Россию. Вспоминаю это время и объясняю свое тогдашнее душевное состояние событиями, которые перевернули всю мою жизнь. Переписка моя с отцом, хотя и вполне искренняя, не передает того нравственного брожения, какое происходило во мне. Есть такие стороны у человека, которые он скрывает от другого, уважая его личность, не желая оскорбить его или огорчить без всякой пользы для себя. Но когда эта уважаемая и любимая личность совершенно иных взглядов и убеждений, то не может быть полной откровенности; и вы избегаете разговоров, которые могут быть неприятны ей и причинить страдание.

Таково было мое положение в Париже, после возвращения с Востока. До поездки своей на Восток я был вполне верующим. Но в своих мыслях, бродивших во время путешествия,

я уже замечал их несостоятельность и боялся критики разума.

Однажды, по возвращении в Париж, я сидел и читал статью Герцена, честный и логический образ мыслей которого я уважал. В статье своей Герцен коснулся сотворения мира.[33] Не помню, где была напечатана эта статья, краткая и сильная; читая ее, я несколько раз останавливался, вдумывался и, стараясь опровергнуть автора, тайно соглашался с ним. Мне казалось нечестным и я считал трусостью уклоняться от анализа; и этот анализ привел меня к тому, что я беспощадно отбросил то, чему верил с детства; но точки опоры у меня не было, и почвы под собою я не чувствовал. Неизвестность моего бытия, всего меня окружающего — охватила меня непроницаемым туманом и долго томила меня.

Я перестал верить в божественное происхождение Христа и святую троицу, в божественность Библии и Евангелия, в божественное создание Саваофом мира в шесть дней и отдых его в седьмой от труда и т. д. ...словом, отрешился совершенно от всего того, что с рождения внушено было мне верою родителей, окружающими и законоучителями. Но мало-помалу я почувствовал себя хорошо, трезво взглянул на все, и так продолжаю себя чувствовать до сих пор и люблю природу не менее прежнего.

Относительно учения Христа я не знаю и не могу себе представить ничего лучшего и более высокого; желал бы исполнять его заповеди и желаю это другим. Я люблю личность Христа, верю в бессмертие духа и тела. Все дурное, как и хорошее, развивается — пускает корни, меняется, но не исчезает бесследно. Тоже и с телом нашим; и тело и дух бессмертны, вечно были, есть и будут.

Придя к такому убеждению, я не мог и не считал себя вправе внушать детям своим отброшенные верования и навязывать что-либо. Я желал предоставить им самим развить свой взгляд и свою философию, по мере их развития.

Приехав с Востока, я с полною верою облил иорданскою водою Юрочку, Ольгу и Лену, но вскоре после рождения Лены я перестал верить; поэтому так долго не крестил детей в церкви. Я крестил их, уступив настояниям брата Владимира, Иосифа Васильевича и других близких мне людей.*

---

* Юрочка крещен в нашей церкви, когда ему был год и пять месяцев; Лена пяти месяцев; оба двенадцатого декабря 1858 года. Юрочка голенький бегал по церкви.

Я считал рутиной и отсутствием здравого смысла поддерживать взгляд общества на религию и потому считал своим долгом указывать жене тот вред, который происходит от навязывания детям принятых понятий, парализующих разум и свободу мышления. Я не мог действовать в своем семействе против своих убеждений и гнать детей в круг верующих людей, из которого выделился. Против меня были брат Владимир и Иосиф Васильевич и горячо обвиняли меня в насилии над детьми, в навязывании им своих личных понятий. Но какое значение могло иметь мое единичное влияние против влияния целого общества, целой массы людей, целых государств с их церквами, соборами, крестными ходами, монастырями, книгами и пр.

Ни Юрию, ни Леночке я не указывал на образа, которых у нас не было; ни на боженьку, создавшего все и дающего нам хлеб; и, отвергая рутинные объяснения, не давал сам ничего, сознавая, что и дать ничего не могу; и считал честным сознаться в этом. Я считал своим долгом не делать другому того, чего себе не желаешь, помогать каждому, чем и как умеешь, и трудиться по мере сил; и старался внушить все это моей семье.

Другая драма происходила в моей душе по случаю вызова меня отцом в Россию. Отец, указывая на свою старость, положительно отказывался управлять хозяйством после легкого удара, случившегося с ним в Павловке.

У меня на весах, с одной стороны, лежала задача быть художником во что бы то ни стало, хотя бы ценой всяких лишений, которые пришлось бы выносить не только мне, но жене и детям. С другой стороны, обязанность, долг чести, принцип нравственный заставляли меня оберегать детей ни в чем не повинных и обеспечить их будущность. Конечно, обязанности перед детьми взяли верх над эгоизмом, и я, не докончив начатые картины,* бросил их в один день и час, решившись оставить художество и сделаться свинопасом, запе-

---

* Картины были следующие: «Летящая ночь», «Нормандская торговка рыбой», «Явление ангелов пастухам», «Умирающий бедняк смотрит на несущуюся перед ним жизнь», «Поход стрелков», «Покинутая», «Путешествие в степи Египта», «Бандурист на могиле» и пр. Выставка была уже близка. Глез, Жером, Амон и др. советовали кончить, оставалось сделать несколько ударов в «Бандуристе» и «Летящей ночи» но я уже был не в силах приняться за кисть.

реть себя от духовного соблазна в деревню, чтобы сколачивать средства для жизни жене и детям.

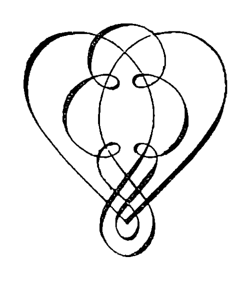
В душе была страшная драма. Я почти не ел и не пил, молчал несколько дней, бродя по городу; давили грудь мою подступившие рыдания; и я решил как можно скорее выехать из Парижа.

На границе нас бесцеремонно осмотрела русская таможня. Тут же мы увидели знакомую картину — арестантов в кандалах, тут же ободранные нищие просили милостыню, евреи налетели с предложениями услуг и пр. Таможенные чиновники, с официальными, холодными и пошлыми лицами, и жандармы дополняли общую картину; все это произвело на нас до того угнетающее впечатление, что, вступив на границу своего отечества, оба мы, сидя в дилижансе, молчали, и неудержимые слезы текли из глаз. Тяжело было возвращаться в родной край; такую резкую черту провела жизнь за границей между нами и Россией.

— Папа, мама,— отозвались наши дети,— о чем вы плачете?

— Так, мои милые друзья... от радости, что скоро приедем к себе.

Ехавший в другом отделении дилижанса француз, переехав границу, почувствовал себя развязнее. Это был гувернер, везущий мальчика из-за границы; недовольный медленной ездой, он обратился к кондуктору: «M-r le conducteur! M-r le conducteur! [Господин кондуктор!] прикажите скорей, проформей лошади, а не то я буду вас по зубах! Вы слышит? а не то по зубах!» [. . .]





ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Появление журнала „Основа“.
Воспоминание о Тарасе Григорьевиче Шевченко,
его смерть и погребение.

Приехал я из Парижа в Петербург осенью 1860 года с женою и детьми и остановился с ними на Васильевском острове, в 19 линии близ набережной Большой Невы. Из близких знакомых, знавших историю моей женитьбы, находился тогда в городе один П. А. Кулиш, посетивший меня в Париже, к которому я и отправился на другой день по приезде. Он же сообщил мне тогда о пробуждении духовной жизни между выдающимися и горячими украинскими патриотами, во главе которых стояли: Н. И. Костомаров, вернувшийся из ссылки Т. Г. Шевченко, В. М. Белозерский и др.

Сочувствующих этому движению было немало и в самой Малороссии, что послужило поводом к изданию малороссийского журнала «Основа». Нашлись и великороссы, желавшие помочь этой затее не только трудом, но и капиталом, как богатый костромской помещик Н. И. Катенин, дядя Н. А. Белозерской (жены В. М. Белозерского).[1] К участию в «Основе» привлекли и меня, причислив к малороссам, как искреннего поклонника милого края. Кулиш обещал меня перезнакомить со всеми, начиная с Шевченко; но Шевченко предупредил Кулиша и, узнав мой адрес, сам поспешил навестить меня. Его простая, добрая и детская натура была до того чувствительна к пустой, когда-то оказанной ему услуге[2] и чуткость его была так безошибочна, что он, не дожидаясь моего посещения, явился к нам и познакомился. Знакомство это было до того своеобразно, что считаю нелишним рассказать о нем тем, которые не читали этого в марте месяце в «Основе» 1861 года. Если же кто и прочел, то, вероятно, не прочь будет прочесть и

опять, чтобы еще раз вспомнить этот ясный, светлый и святой образ мученика-бандуриста, этого гения малороссийского слова.

Меня не было дома, а жена, уложив детей спать, так как было уже 11 часов вечера, разделась и тоже легла в постель. В это время послышался тихий стук в дверь, раз, другой, третий. Жена, уверенная, что это я, вскочила с постели, набросила на себя шубку и отворила дверь. Перед нею стоял Шевченко, в своей бараньей шапке и овчиной шубе, каким его знала не только она, но и дети мои, по имеющемуся у нас в Париже портрету.* Жена моя, такая же поклонница произведений Шевченко, как и я, и также скорбевшая о его мучениях в неволе, встретилась с ним радостно, как с родным,— они обнялись и расцеловались. Когда я возвратился домой, то застал их сидящими в креслах рядом и занятых дружеской беседой. Конечно, и со мною встреча этого прекрасного человека была братская; мы смотрели друг на друга, и слезы радости и горя были у нас на глазах.

Со мною познакомился заочно Т[арас] Г[ригорьевич] в ссылке своей, из рассказов М. М. Лазаревского, и по статье Кулиша, прочитанной им во втором томе «Записок о Южной Руси», изданной в 1857 году. Читая эту статью, Шевченко в дневнике своем 10 ноября 1857 года написал: «Какой милый оригинал должен быть этот Л. Жемчужников. Как бы я счастлив был увидеть человека, который так искренне, нелицемерно полюбил мой родной язык и мою прекрасную, бедную родину».** Вслед за тем в письме своем к Кулишу от 5 декабря он пишет: «Що се за дивний, чудний чолов'яга Л. Жемчужніков! Поцілуй його за мене, як побачиш».*** Как это лестно было мне прочесть и как Шевченко отгадал душою, что я действительно глубоко полюбил и милый язык его родной, и бедную его родину. Жаль, что не знал он тогда, как сердце мое болело годами за него и как я упивался его правдивым горячим и музыкальным словом.

---

* По просьбе Кулиша, мною были заказаны первому в Париже литографу Муильрону с фотографий портреты: Кулиша, Костомарова и Шевченко, прекрасно выполненные, которые ныне составляют чрезвычайную редкость.

** «Основа» [1862], март, стр. 33.

*** «Основа, 1862 [май, стр. 10].

Вскоре после моего первого свидания с Т[арасом] Г[ригорьевичем] я переехал в 11 линию Васильевского острова, чтобы жить ближе к отцу; кроме того, отсюда мне удобно было посещать Шевченко в Академии художеств, Лазаревского, поселившегося против Академии, и Костомарова, в его квартире на 9 линии.

У Костомарова каждый вторник собирались гости, и я каждый раз заставал там Шевченко, который большую часть вечера просиживал с милой и умной старушкой, матерью Костомарова. По понедельникам мы встречались с Шевченко у В. М. Белозерского, тогда уже редактора зародившегося журнала «Основа». У Белозерского собиралось очень многочисленное и весьма разнообразное общество, которое соединял интерес появления нового журнала, его направление и силы. Из посетителей я могу назвать,— кроме Шевченко, Кулиша и Костомарова,— Кухаренко,* Симонова,** Чернышевского, Катенина, Лазаревского, Тургенева, Тиблена, Анненкова, Кавелина и пр. и пр.[3] При этом всегда бывало много молодежи. Образованная хозяйка Надежда Александровна и муж ее вели дело с тонким тактом, и этим давали возможность каждому найти себе соответствующий кружок и чувствовать себя свободным, как у себя дома.

Нередко посещал и меня Шевченко и интересовался моими художественными работами; а из гравюр серьезно и с большой похвалой отнесся к моей «Покинутой».

Он подробно расспрашивал меня о гравировальных лаках и с удовольствием принял их несколько кусков от меня в подарок;[4] но, к сожалению, не успел воспользоваться ими.

Не раз говорил он мне о своем желании поселиться на крутом берегу Днепра; чертил план задуманного им поселка и предлагал мне устроить покупку куска земли рядом с ним.

В это время также его сильно занимал вопрос о грамотности народа, книжках для него, и он написал прекрасно составленный букварь.[5]

Шевченко любил напевать малороссийские песни, пел с большим чувством, все более и более углубляясь в смысл;

---

* Приятель Шевченко, писатель и командир черноморских казаков, убитый горцами... См.: «Основа», 186 [2 сентябрь, стр. 1—6].

** Писавший под именем Номиса и по смерти завещавший значительный капитал на училище в городе Нежине. [...]

от него же я слышал сложившуюся в народе пародию на акафисты, в которой осмеяны пороки и лицемерие представителей духовного сана. Шевченко, всегда чистый и правдивый, на мой вопрос, откуда эта пародия, отвечал, что слышал ее еще в детстве своем и что тут нет ни одного слова им вставленного.

Не раз слышал я порицания Шевченко за его пьянство, и мне приходилось отвечать то же, что сказал Н. И. Костомаров: «Я никогда не видел его в нетрезвом виде».

Знакомство мое с Т[арасом] Г[ригорьевичем] было, к моему глубокому сожалению, непродолжительно, так как я приехал в Петербург в октябре 1860 года, а в феврале 1861-го его уже не стало. Судьбою он лишен был отрады дожить до Манифеста об освобождении крестьян. До Манифеста он не дожил нескольких дней.

Умер Шевченко 26 февраля.* Хотя мы знали о неминуемой для него скорой смерти, но известие электрической искрой пробежало во всех, и невыразимая грусть охватила сердца наши. Я утешал себя тем, что видел и знал Шевченко, что видели и знали его моя жена и дети.

Похороны Шевченко выходили из ряда обыкновенных. Отпевание происходило в церкви Академии художеств, и по окончании панихиды вышел впереди и стал лицом к покойнику П. А. Кулиш и сказал речь на малороссийском языке о значении поэта; за ним говорил Н. И. Костомаров и на польском языке — Хорошевский.**

Редакция «Основы» пригласила меня написать, для следующего номера журнала, о смерти и погребении поэта. Статья эта была послана мною в редакцию, но помещена была несколько охлажденная цензором, и потому нелишним считаю возобновить ее теперь в первоначальном виде, по рукописи того времени, сохранившейся у меня.

---

* Не дождавшись нескольких дней до обнародования Манифеста 19 февраля.[6]

** Желающие познакомиться с этими речами и речами, говоренными на кладбище, могут прочесть их в мартовской книге «Основы» за 1861 год.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕВЧЕНКО, ЕГО СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ

Ох, і рад же б я, дитя́ моє
До тебе встати, тобі порядок дати,—
Та сира могила двері залегла,
Око́нечка заклепи́ла.

(Свадебная сиротская песня)

...Не стало Шевченко...умер наш батько. Смерть разлучила нас навсегда... Прибавилась еще одна несчастная жертва, преждевременно погибшая от безобразного склада нашей жизни...

Минулися моі сльози;
Не рветься, не плаче
Поточене старе серце;
И очі не бачать...[7]

Тарас Шевченко родился посреди степей Днепровских, и там с молоком матери всосал любовь к родине, ее предания, ее поэтические песни. Грустная песнь носилась в убогой хате; качалась убогая колиска; мать прерывала пение... и горячие, сердечные слезы капали на его лицо; мать брала на руки, повитого в лохмотья, и плелась с ним на панщину в зной и ненастье.

Подрастая, он слушал уже казацкие песни и рассказы старого деда,— современника, а быть может, сподвижника, гайдамака,— который выводил перед его глазами кровавые сцены, полные ужаса и отваги.

Все закаливало эту душу. Жизнь его, от рождения, была наполнена то горем, то драмой, то поэзией. Житейские бедствия были для него не слухом, а действительностью; нищета и жалкая доля преследовали по пятам и его и все, что было ему близко. Поэтическая и действительная жизнь народа нераздельно отпечатлевалась на его душе.

Светлая и беспорочная душа поэта возбудила к себе полное сочувствие; но любовь и дружба к нему жестоко были прерваны... Оторванный от родины и семейства, заброшенный далеко от друзей, он одиноко изнывал в глуши безотрадной пустыни, не имея духу взглянуть на свою страшную долю. Так протекло десять длинных, бесконечных лет; десять лет жизни поэта!.. Эти десять лет были заживо могилой, со всею разлагающею своею силой.

Шевченко никогда не говорил о своих страданиях. Иногда, высказывая какой-либо смешной эпизод из своей тогдашней жизни, он был жалок; лицо его омрачалось гнусными воспоминаниями, которые оскорбляли человека и ставили его, в минуты падения, ниже животного.

Гробовая сырость, мрак и духота могилы в тех годах его мученичества.

Не достает мужества читать его дневник. Ужаснее, глуше, безотраднее — нельзя себе ничего представить. Какое надо иметь доброе, чистое сердце, чтобы не упасть и выдержать до конца! Как не умер он в этой убийственной пытке, долгой, равнодушной?! Мучения его, своею продолжительностью, были ужаснее и возмутительнее всех мучений, которым подвергались герои Украины. В продолжение десяти лет его умерщвляли, душили; он захлебывался в грязи.

...Читатели известного письма Шевченко * чувствовали только малую долю безотрадного его существования, едва могли понять, почему он не может рассказать о себе; но, взяв в руки дневник страдальца, они поймут причину его молчания.** Болит грудь, щемит сердце при чтении каждого слова, запекшегося кровью, и я прерывал чтение этих безотрадных страниц. Строки дневника вызывают стон, вздохи; требуется перерыв, отдых сердцу, спирает в горле дыхание... И это еще наиболее отрадные дни Шевченковой ссылки, когда надежда избавления от пытки уже озарила казарменную могилу. Что ж было прежде, когда теперь страница за страницей, строка за строкой — только глухой стон, идущее из глубины сердца безотрадное горе... Нигде и тени малейшей радости!.. все та же могила!.. слово за словом — только терзание; нет воздуха, одно и безжалостное людское мучение...

Возмутительна, грустна, безотрадна была жизнь Шевченко в ссылке. Избавление радовало его, но как мучительно оно доставалось ему. Какие тоскливые месяцы протекали день за днем, час за часом, пока пришла официальная бумага об его прощении. Бессонница гнала его вокруг укрепления; он метался, мучимый и терзаемый нетерпением. Куда деваться от окружающего его смрада, пошлости, мерзости и бесчувственности... Письма друга растравляли его нетерпе-

---

* В «Народном чтении», 18[60].[8]

** По смерти Шевченко дневник был передан мне М. М. Лазаревским для прочтения первому; до меня его не читал никто, но интересовались все, и потому мне было желательно дать читателям «Основы» некоторое о нем понятие.[9]

нием;[10] он собирал в котомку сухари, приготовлялся в дорогу, а его, уже прощенного, все еще гоняли то на работу, то на строевую службу или смотр рьяного батальонного командира. Он плакал, слушая песню несчастного земляка-сослуживца, пел сам, просиживал с рассвета до полудня на скале, выглядывая на горизонте пароход с почтой! .. Увы... ничего не было! — убитый, изнеможденный, падал он под любимую вербу,— но и сон его не успокаивал. Ему грезилось — то родина, то друзья, он просыпался... солдатская шинель была на нем, в виду — казарма. Нередко во сне его душил кошмар — снились смотры, безнравственные офицеры, товарищи, сосланные за душегубство... След дикаря киргиза на песке, чириканье воробьев и прилетающих ласточек да медный друг — чайник отвлекали от снедающей тоски; вызывали призрак жизни, облегчали в этой песчаной пустыне. Уединение было для него величайшею отрадою и милостью, дозволенной ему только в последний месяц; тогда он чувствовал себя счастливее, не видя гнусного грязного человечества. Но не потревожим его свежего праха еще горшими воспоминаниями.

«Невсепуще горе» не изменило его; он остался чист сердцем, он был вполне человек — во всем значении этого слова. Поэт, гражданин, живописец, гравер, певец — он везде шел честно и разумно.

Эти дарования совместились в нем столько же на отраду и отдых в тяжелой жизни, сколько и на горчайшее сознание своего безотрадного существования. У другого в жизни можно сосчитать дни горя, у него — счастливые дни.

Для Шевченко настали светлые минуты, когда после десятилетней разлуки, он свиделся с друзьями, с родными, с родиной.

Нежная, теплая душа его была благодарна каждому, любящему его. Благодарность за участие не покидала его никогда. Обвиняемый некоторыми в неблагодарности, он был глубоко огорчен этой клеветой. В оправдание свое он писал: «...пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключение приговора сказано: «Строжайше запретить писать и рисовать».[11]

За мою заочную любовь к нему Шевченко прислал мне благодарность в Париж через Лазаревского и Кулиша и выслал свой портрет. По возвращении моем в Петербург он пришел ко мне с братскими объятиями, бывало нередко ласкал детей, приходил ночью и без церемонии будил, желая насмотреться. «Как я рад, что вижу вас и ваше семейство»,— говорил он. Дети мои, которых он прежде никогда не видел, трогали его до слез, называя по имени с первого свиданья: они знали его по портрету, висевшему у меня на стене в Париже. Мы с первых же слов были с ним одна семья.

Не время сближает людей, а взаимное сочувствие. Пользуясь этим, я позволил себе высказать Тарасу Григорьевичу все мое опасение за дальнейшую судьбу его и развернул перед ним его будущее, еще мрачнейшие дни.[12] Слезы навернулись на его глазах, он утер их и тихо проговорил: «Правда...О, крий боже! крий боже!..»

Шевченко чувствовал на себе влияние долгого отчуждения от живой жизни, уносившейся вперед по пути прогресса. Он сильно чувствовал свою искалеченность.[13]

Шевченко был схоронен как жених, по родному обычаю. Любимая шапка с стежкой лежала под головой. Гроб его был покрыт, по казацкому обычаю, широким красным покрывалом. Бесконечная масса публики провожала его. Могила Шевченко была на Смоленском кладбище, на том самом месте, где иногда сиживал и задумывался покойник. Он даже рисовал это место.

Прощай, мой дорогой! Как теперь, вижу тебя — с опущенною вниз головою, руки в кармане, глаза всегда грустные...

Выпущенный на волю, Шевченко потерял терпение; не дожидаясь парохода, в наемной лодке переехал Каспийское море и не смыкал глаз до Астрахани, где отдохнул в какой-то конуре. Отсюда он отправился на пароходе по Волге и был успокоен дружеским, человеческим приемом публики, от которого давно отвык. В своем дневнике он писал: «Все так дружески просты; так внимательны, что я от избытка восторга не знаю, что с собою делать, я, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник, вырвавшийся из школы.

Теперь только я сознаю отвратительное влияние десяти лет, и такой быстрый и неожиданный контраст мне не дает

еще войти в себя. Простое человеческое обращение со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным».

Душа его была сильно встревожена: знакомые мотивы, малейшее чувство потрясали его до глубины души. Три ночи на пароходе вольноотпущенный буфетчик играл на дурной скрипке, и Шевченко заслушивался его скорбных, вопиющих звуков и писал: «Три ночи этот вольноотпущенный чудотворец безвозмездно возносит мою душу к творцу вечной красоты пленительными звуками своей скрыпицы. Из этого инструмента он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен. Благодарю тебя, крепостного Паганини. Благодарю тебя, мой спутник, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и изливаются в один потерянный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего уха, наш праведный, неумолимый боже!»[14]

...Не удалось Тарасу дождаться того радостного дня, когда цепи рабства распались, когда все эти миллионы вздохнули свободнее.

Что прибавить ко всему сказанному? Не одни малороссы, но и великороссы, поляки и другие славяне оплакивали Шевченко. Оценка частью сделана, но полная, всесторонняя оценка великого поэта-художника — дело будущего и требует серьезного и долгого труда.

...Шевченко был живая песнь... живая скорбь и плач. Он босыми ногами прошел по колючему терну; весь гнет века пал на его голову и в нем проявился; покоя не было этому вдовиному сыну.* Вся жизнь его была тяжелою цепью, поносным ярмом: не ударом обуха раздавили его, а тупая деревянная пила ежечасно терзала его. Но и тогда он возносился духом, пробуждал, поддерживал и укреплял в каждом — то песнью, то словом, то собственною жизнью — правду и безграничную любовь к сiроме.

Выйдя из простого народа, он не отворачивался от нищеты и сермяги — нет, напротив,— он и нас повернул лицом к народу и заставил полюбить его и сочувствовать его скорби. Своим примером он указывал нам чистоту слова, чистоту

---

* То есть сыну Малороссии, осиротевшей вдовы.

мысли и чистоту жизни; укреплял в нас твердость духа и веру в непоколебимость вечной правды.

...Как художник (в прямом смысле) он заслужил себе доброе и честное имя. И на этой дороге он был один из первых, обратившихся к народным мотивам. Я напомню его давний труд: «Живописная Украина»,— потом множество других рисунков и особенно — «Блудный сын». В народном искусстве никто не высказался так серьезно. В то время как другие художники искали идиллических сюжетов, изображали мирный уголок, свадьбу, ярмарку и т. п., его дух волновался, страдал и выливался горькими слезами; и в нем проявилось беспокойное негодование, залитое желчью.*

Некоторые упрекают Шевченко как поэта в однообразии. Упрек этот несправедлив и легкомыслен. Его поэзия — отголосок жизни и скорби народа, однообразный настолько, насколько была однообразна его печальная жизнь. Он слишком был близок этой бездольной голо́те. Горе и стон народа всегда отзывались в нем. Душа его, разодранная, смятая железной рукой, нашла себе одно созвучие, одно подобие — народ... Мог ли он, глядя на землю, где «Правдою торгують, где людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають», где он «мов окаянний день і ніч плакав на розпуттях велелюдних, невидимий и незнаємий»[16] — мог ли он петь что-либо другое. Слова его замирали на устах — вырывались одни рыдания.

...Я не бачу щасливого:
Всё плаче, все гине.
І рад би я сховатися,
Але де — не знаю.
Скрізь неправда; де не гляну...
Скрізь господа лають.
Серце вьяне, засихає,
Замерзають сльози...
І втомивсь я, одинокий,
На самій дорозі.
О таке то! не здивуйте,
Що вороном крячу:
Хмара сонце заступила,—
Я світа не бачу.[17]

---

* К сожалению, его работы для «Живописной Украины», сцены из малороссийской жизни, казарменная жизнь и «Блудный сын», до сего времени публике неизвестны.[15]

Жизнь Шевченко, вся от начала до конца, есть песня печальная, великохудожественная. Вырванный из народа, он представляет собою самый поэтический его отголосок.

Добрый до наивности, простодушный, любящий, он был при этом тверд, силен духом — как идеал его народа. Самые предсмертные муки не вырвали у него ни единого стона из груди. И тогда, когда он подавлял в самом себе мучительные физические и нравственные боли, в нем достало власти над собой, чтобы с улыбкой выговорить «спасибі» — тем, которые вспомнили об нем вдали, на родине, прислав ему телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Жизнь свою Шевченко отдал народу всецело, до смерти стоял у него на страже. Он стремился избавить народ от нелепого тупоумия, ратовал против грозящего ему письменного извращенного с умыслом просвещения и отдавал ему свою трудовую копейку. Он был сила, сплавившая нас с народом. С какой радостью он встретил первую Граматку Кулиша. «Этот первый свободный луч света, могузій проникнуть в сдавленную крепостную голову! . .» [18]

Замолкли уста... Смерть холодом легла на разумное широкое чело. Несчастие тешилось над ним. Развитие его послужило ему для горшего уразумения своего печального положения.

Разрушенный силою — он отнят от нас. Кто наследует его чудную песнь?.. Молчание и пустота... Засыпана могила. Занесена снегом.

Вокруг тебя все могилы и две детские могилки подле... бедные, без венков, без крестов...

Прощай, Тарас, прощай, добрый и неповинный мученик.

1862

Мы дорожили каждым словом поэта при жизни; теперь — это святой долг каждого. Пусть каждый припомнит что-нибудь — все теперь дорого. Пусть каждый послужит для его венка. Теперь время собирать его многозначащее жизнеописание. От него мы уже ничего не услышим. Он с собой унес многое, чего не доставало у него силы рассказать.

> ...Заховаю змію люту
> Коло свого серця,
> Щоб вороги не бачили,
> Як лихо сміється...[19]

Нема ворогив у могилы... Нет и не должно их быть. Не от кого скрывать печальных дней Шевченко. Не к издеванию они послужат, а к славе и чести человека.

После смерти Шевченко в «Основе» печатались его стихи и дневник. По поводу стихотворения «Невольник» я тогда же написал в виде письма редактору статью следующего содержания, которая почему-то не была напечатана и которую считаю нелишним поместить здесь.[20]

Письмо к редактору «Основы»

Поэма Т. Г. Шевченко «Невольник», помещенная в четвертой книге «Основы», мне давно известна. За сохранение в целом виде «Невольника» должны принести благодарность А. И. Лизогубу, а равно и многих других произведений Шевченко, замечательных по глубоко грустной и задушевной, вылившейся в них тоски, как, например: «Чого мені тяжко, чого мені нудно», «Наймичка», «Псалми», «Чигирин» и пр.

В просвещенном и радушном семействе Лизогубов не раз находил себе приют горемычный странствующий кобзарь Тарас Григорьевич. «Невольник» был написан бессмертным поэтом в 1845 году, в селе Марьинском и подписан 16-м октябрем. Поэма эта ходила по рукам два года; быть может, приготовленная к печати и оставшаяся у автора для последнего внимательного просмотра автором, и была известна тогда под названием «Сліпий». Но дал ли это название сам Шевченко или так прозвана поэма читающей публикой — не знаю.

Убийственная участь, постигшая Т[араса] Г[ригорьевича], была причиною того, что многие его начатые и конченные произведения, по-видимому, пропадали бесследно. Правда, рукописи тщательно собирались людьми сочувствующими Т[арасу] Г[ригорьевичу] и его поэзии, но едва ли собрано все. Шевченко сам, в жизненном хаосе, забыл многое из того, что писал. Я думаю, это потому, что одно из лучших его произведений — «Пустка», сохраненная его друзьями, была им совершенно забыта. Я слышал от М. С. Щепкина, который рассказывал мне, что когда он говорил с Шевченко про «Пустку», то автор решительно не помнил ее.

Судьба, жестоко скомкавшая Т[араса] Г[ригорьевича], оставила на нем след своей нецеремонной лапы. От ударов судьбы Т[арас] Г[ригорьевич] превратился в развалину. Это была развалина прекрасной самобытной личности; красота и гений, разрушенные тупоумием и злобой. Эта развалина была грозной уликой безграничной и бессмысленной силы. Развалина в сорок восемь лет!..[21]

Человек развивается под влиянием атмосферы и почвы. Стойкость воли, ясность разума, чуткость — слабеют постепенно и исчезают под гнетом тяжелой судьбы; человеком овладевает отчаяние, и, чтобы

забыться, он ищет исхода в вине и самоубийстве. Шевченко начал сомневаться в достоинстве своих работ; измученный и битый в течение десяти лет, он состарился и начал, как Тициан на склоне жизни, поправлять свои произведения, забывая аксиому, что произведение, вылившееся искренно в известный момент, не повторится, как первая любовь. Вообще такого рода поправки по прошествии целого периода жизни, да еше после таких потрясений, которые ослабили, состарили и расшатали все существо человека, не могут быть плодотворны для произведения, вылившегося у человека здорового, полного сил, в минуты вдохновения и творчества. Сердце уже источено, рука нетверда, нет огня. Так певец берет инструмент и поет вновь давно знакомую и любимую песню... но пение уже не то!.. Нет смелости, закатилось солнце, осень, волосы седы, «зуби в нема», как сказал мой друг бандурист Остап, вспомнив свое пение в молодых годах.

По моему разумению, поэма «Невольник» (или «Сліпий», как звали прежде) спета вновь поэтом. Песня та же, да другой ее тон; от первой песни до ее повторенья прошла целая жизнь, которая отразилась в стихах, как в голосе певца. Некоторые находили, что разница не велика, что поправки небольшие — может быть и так; но нет уже прежней свежести. В «Невольнике» Т[арас] Г[ригорьевич] рисует, а в «Сліпом» события сами выступают перед глазами и увлекают вас; вы участвуете в действии, не замечая рассказа.

Я знаю «Сліпого» в том виде, в каком я получил его от А. И. Лизогуба. Для психологии и художественного анализа поучительно вникнуть в разницу этих двух поэм. В «Сліпом» я вижу молодость, кипучую кровь, вдохновение воспламенило душу поэта, и безыскусственный рассказ выливается горячими словами и передает живыми красками события. В «Невольнике» нередко факты переданы в повествовательной форме и от них веет холодом.

«Все іде, все минає»

...Так минуло и то время. Прошло более сорока лет со смерти Тар[аса] Григ[орьевича] Шевченко. Недолго умерший поэт ждал исполнения своего завещания. Он был вынут из могилы столичного болотного кладбища и торжественно перевезен в Украину. В Киеве, с речами и проповедями, был встречен гроб народом, доставлен с почетом на гористый берег Днепра; на то самое место, где поэт мечтал поселиться. Не чужим песком засыпали его очи, а родной землей, которую народ — старый и малый, парни и дивчата носили шапками, сподницами и пригоршнями на могилу и насыпали над батьком Тарасом громадный курган, который и теперь говорит проезжающим по Днепру, что здесь покоится прах любимого поэта. На кургане возвышается громадный чугун-

ный крест, и около кургана построена хата для сторожа, наблюдающего за этой одинокой могилой. Так исполнилось завещание поэта:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Днипро, і кручі
Були видні, було чути,
Як реве ревучий... [22]

О Тарасе Григорьевиче Шевченко, со времени его смерти, много было писано в различных газетах, журналах, брошюрах и книгах — как в Малороссии, Галиции, так и в России. Самое полное и правдивое о нем сказание написано А. Я. Конисским на малороссийском языке, изданное во Львове.* [23] Все писавшие о поэте отдали дань удивления его поэтическому таланту и выразили сочувствие его злополучной жизни.

Прошло более сорока лет со дня смерти Шевченко, и образовавшаяся в память его тогда «Громада» превратилась в Общество его имени для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, получающим образование в высших учебных заведениях Петербурга. Общество разрешено правительством и имеет свой устав. В Галиции также существует научно-литературное Общество имени Шевченко. Так исчезают предрассудки и чистый воздух освежает тяжелую затхлую атмосферу.

Я не сомневаюсь, что недалеко то время, когда в котором-либо из украинских городов поставят памятник Шевченко,[24] этому поэту — мученику и человеку, у которого не было «зерна неправди за собою».[25] Хотелось бы мне, чтобы поэт был изображен в народной рубахе и шароварах; шапка и кобеняк лежат подле, а в руках его бандура, и пусть она будет сделана так, чтобы при движении воздуха струны издавали звуки. [...]

1903

---

* Кроме его женитьбы; правдивый рассказ о женитьбе помещен сыном Н. Я. Макарова.

III

Редакция „Основы“.
Веяние Манифеста об освобождении крестьян.
Знакомство с Малоканом. Выезд из Петербурга в деревню.

Собрания в редакции «Основа» продолжались по понедельникам и становились все многолюднее. Журнал обратил на себя внимание своею честностью, самостоятельностью и сочувствием к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Явилось сознание, что знакомство с народом необходимо, и сближение было искренно. Редакция кипела жизнию, и ей слали сочувствие со всей Малороссии, с Кавказа, от потомков запорожцев, из Галиции, Болгарии и Польши.

В ожидании Манифеста и затем при его появлении ясно обнаружились три характерных взгляда, рисующих отношение к делу русской публики.[26] Одни высказывали неудовольствие на несправедливое лишение помещиков их прав на земли и личность крепостных, прав, дарованных им и освященных веками законом и церковью. При этом ссылались на десятую заповедь, которою сам господь узаконил права владельцев, воспретив посягательство на жену ближнего, на его село, на его рабов, рабынь и прочий скот, сравняв рабов и рабынь со скотом. Это были крепостники до мозга костей.

Другие помещики были того мнения, что им остается только примириться с распоряжением правительства. Они сознавали, что освобождение крестьян должно было совершиться, так как ничто не вечно на земле.

Третьи шли навстречу предстоящей реформе вполне сознательно, убежденные в необходимости изменить положение крестьян, и готовы были для блага государства жертвовать состоянием, покоем и взять на себя тяжкий труд. Это были люди образованные, честные и с широким государственным взглядом.

Наконец, были и такие люди, старые и молодые, которые и до этого и теперь не мирились со своим положением рабовладельцев. Они с радостью встретили Манифест об освобождении и, где только могли, ратовали против крепостного рабства. Отрадно было видеть их чистые души, которые не только охотно мирились с лишением части своей собствен-

ности, но если бы потребовалось, то охотно принесли бы в жертву все, что имели, лишь бы позорное рабство было уничтожено. Таких людей было конечно меньшинство, но это меньшинство было предано новому делу до фанатизма; это была сила и сила серьезная.

С появлением Манифеста об освобождении крестьян ожидали народных беспорядков в Петербурге и повсюду, упуская из виду, что ничтожное количество помещиков не в состоянии сделать что-либо, и рабы, при своем освобождении, не станут отстаивать старых порядков и бунтами накликать на себя новых бед. С уничтожением крепостного права было уничтожено главное колесо, которое приводило в движение остальной механизм государства, и неминуемо должен был измениться весь строй сложной машины. Так и случилось; пахнуло свежестью на жизнь, преобразования следовали одно за другим, и в литературе появилась некоторая льгота; сочувствие к крестьянам дошло до несправедливого к ним снисхождения и до враждебности к дворянству.

Даровитые сотрудники «Основы» знакомили читающую публику с историей, бытом, поэзией и музыкой южнорусского народа. Тогда же явилось предложение[27] об основании Южнорусского музея.*

До этого разъединение наше с народом было полное; явилось сознание, что знакомство с ним необходимо, и сближение было искренно. С новым течением начала рушиться старая рутина, и наступила пора освобождения умов и фантазии в мире искусства. Бывшая в пренебрежении народная песня получила свои права, добросовестно и разумно изученная Серовым. Заговорили о народной архитектуре; авторитет Академии художеств был поколеблен в умах молодых ее питомцев напечатанной в феврале 1861 года статьей «По поводу выставки в Академии».** Сотня оттисков этой статьи была бесплатно роздана ученикам Академии адъюнкт-профессором А. Е. Бейдеманом и художником (бывшим правоведом) князем Черкасским.

Однажды я сижу у себя дома и завтракаю с женою и детками. Входит незнакомый человек. Я приглашаю его

---

* См.: «Основа», 1862, январь. «Объяснение к рисункам «Живописной Украины» (стр. 2).

** «Основа», февраль. «Несколько замечаний по поводу последней выставки в С.-Петербург[ской] Академии художеств».[28]

сесть с нами покушать; он садится, не ест, и в свою очередь предлагает мне написать для «Современника» статью о Шевченко. Не чувствуя себя в силах исполнить эту серьезную задачу, я отказываюсь, отговариваюсь тем, что работаю для «Основы», которая также просила меня об этом, и которой хотя я отказа не дал, но просил дать мне время подумать. Просидев у нас и поговорив еще, посетитель простился и ушел. В следующий понедельник вечером, когда я по обычаю пришел в редакцию «Основы», меня спросили с удивлением о причине моего отказа от предложения, сделанного мне Чернышевским; и тогда выяснилось, что посетивший меня человек был Чернышевский. После этого я встречался с ним в редакции «Основы».

Вскоре после того посетил я вечером брата моего Владимира, жившего в квартире отца; и отец сказал нам, что Чернышевскому предстоит опасность ареста. На другой день утром я отправился к Чернышевскому, чтобы предупредить его о грозившей ему опасности. Чернышевский, засмеявшись своим оригинальным нервным смехом, сказал, что благодарит за заботу о нем, но что он всегда готов к такому посещению, что у него совершенно ничего предосудительного нет.

По прошествии весьма значительного времени, когда я переселился в Пензенскую деревню, до меня дошли слухи, что Чернышевский взят, а затем приговорен к каторжной работе в Сибирь на шесть лет.[29] После того прошло много времени, и я лично слышал от причастного к делу Плещеева, что он был осужден по документу подложному и тем не менее прострадал чуть ли не двадцать лет жизни в Сибири за попытку бегства[30] и затем умер в Саратове в ссылке, без дозволения въезда в Петербург.

Я продолжал усиленно работать для «Основы» на своей квартире в 11 линии Васильевского острова, гравируя и печатая гравюры с моим слугою Никитой. Работа была не легкая, требовала немало времени и значительного физического труда. Дети подрастали, их нередко посещал Н. И. Костомаров, шутил и разговаривал с ними. В это же время посещал меня слабенький, с тонкими чертами лица гардемарин, который возбуждал к себе участие как во мне, так и в учителе своем, моем друге А. Е. Бейдемане. Этот гардемарин впоследствии оказался художником большой величины В. В. Верещагиным. Встречаясь с ним впоследствии, он вспоминал моего умершего сынишку Юрочку.

Занимаясь своими делами, мы все были убеждены, что, с уничтожением крепостного права, народ покоен; но оказалось, что во многих местах возникли серьезные беспорядки, которые начались вместе с объявлением народу Манифеста, и в доказательство сказанного привожу письмо отца моего к сестре моей от 15 апреля 1861 года.

Здесь начали получаться неприятные известия о частных беспорядках в некоторых губерниях; самое большое было в Пензенской губернии графа Уварова. По телеграмме тамошнего губернатора видно, что несколько тысяч крестьян графа Уварова совершенно вышли из повиновения и оказали явно неуважение местным властям. Для вразумления их была послана рота солдат, которую крестьяне прогнали и при этом взяли в плен исправника, стряпчего, одного юнкера и двух солдат, которых держат под караулом, а на исправника надели кандалы. Эта победа, одержанная уваровскими крестьянами, привлекала к ним и крестьян соседственных имений. Вследствие чего флигель-адъютант, который привез Манифест, отправился на театр войны с двумя батальонами, и открыта пальба! Губернатор тоже при войске. Чем и как кончилась эта свалка, еще неизвестно. Меня очень огорчает это событие, да и беспокоит, ведь Аршуковка в близком соседстве с имением Уварова. Управляющий Аршуковки на четвертый день после обнародования Манифеста писал мне, что крестьяне спокойны, но недовольны положением, потому что были убеждены получить разом и полную свободу и всю землю своих помещиков. Неблагонамеренные люди уверили их, что вся земля будет отдана в их владение, а помещики останутся на жалованье.

После этого глупого убеждения очень понятно, что им не нравится настоящее положение, и особенно обязательный труд еще на два года.

Вскоре после этого письма отец мой вновь писал сестре 4 мая 1861 года.

В Пензенской губернии посредством ружейного огня усмирили смуты. Убитых и раненых довольно много, но самозванец Константин Павлович скрылся.[31] Из моих крестьян нет ни убитых, ни раненых, но двух захватили на месте свалки и шестерых требуют к следствию. Чембарского уезда исправник и еще два чиновника протерпели различного рода истязания и были уже предназначены к виселице, но рано утром, в назначенный для этой казни день подоспело войско и начался бой. Только это спасло несчастных. Хотели тоже повесить и отлично доброго священника моего прихода. Из официальных сведений видно, что начали появляться самозванцы. В Казанской губернии царь Антон Ульрих, которого расстреляли; в Черниговской посажен в острог великий князь Михаил Николаевич; в Тверской бродит великий князь Константин

Николаевич, а в Саратовской и Александр II с бородою, в красной рубахе и голубая лента через плечо. Очень жаль, что еще не нашли Константина Павловича, который так много набуянил в Чембарском уезде.

Я могу достоверно сказать о факте, происходившем как в этой самой Аршуковке, так и в окрестностях ее, куда я приехал весною 1862 года, следовательно, через год после происходившего там бунта.

Началось дело, как передавал мне приходский священник села Покровского (Чембарского уезда, Пензенской губернии), с того, что благочинный, получив венчики, возлагаемые покойникам на головы, отправил их по церквам; посланный, заглянув в сверток и увидя там листы, разукрашенные золотом, вообразил, что это ему даны золотые грамоты о воле, которые он должен разнести священникам для объявления их народу. Этот слух облетел окрестные села и деревни, и народ требовал прочтения не того непонятного для них и написанного официальным языком Манифеста, который был им прочтен в церквах, а той настоящей золотой грамоты, разосланной царем и которую попы, в соглашении с помещиками, утаивают. Смута началась с села Высокого, лежащего двенадцать верст от нашей деревни Аршуковки, охватила эту деревню, затем разлилась по соседству в селах Покровском, Алексеевке, Ершове, деревне Соседке и в огромном имении графа Уварова — Чернышове, с его селами и деревнями, так что поднялось все население на пространстве более чем 100 000 десятин. Крестьяне повсеместно разъезжали со значками, везде расставлены были их караулы и пикеты. Становой и исправник едва спаслись от народа бегством; попы, управляющие и приказчики бежали в Моршанск и Чембар. В селе Высоком появились самозванцы — великий князь Константин и граф Орлов, которые распоряжались движением. Сильная военная команда с генералом Дренякиным во главе явилась для усмирения, но крестьяне не верили, называя самого Дренякина самозванцем, пока не было сделано несколько уже не холостых выстрелов, а выстрелов действительных, уложивших ближайших смельчаков, и за которыми следовали экзекуции и ссылка несчастных.* Народ был усмирен, утих, но все-таки продолжал верить, что настоящую волю, которую им

* По заступничеству отца моего шесть человек нашей деревни, наказанные в числе выдающихся деятелей, не были сосланы в Сибирь и оставлены в Аршуковке.

дал царь, оповестив *золотой грамотой*, им не прочли и скрыли. Я спросил одного старосту, очень умного, родом из упомянутого мною села Высокого, как он и народ верит, что с детства им известные повар и кучер помещика Кожина могут быть один великий князь Константин, а другой граф Орлов, уполномоченные государем? Староста мне ответил: «Знать-то мы их знаем с детства, это правда, но кто же их знает, кто они действительно: один говорит — *я князь Константин*, а другой — *я грап Орлов*».

Не напоминает ли это Пугачева, которого, без сомнения, знали близкие ему люди. Пугачев был пойман и предан жестокой казни, а эти князья Константин и *грап* Орлов были тайно вывезены из Высокого в возах сена и скрылись неведомо куда. Не следует упускать из виду, что в Пензенской губернии имена Пугачева и даже Стеньки Разина сохранились в памяти народной.

Вера в действительное существование золотой грамоты, дарующей широкую волю и равномерный надел крестьянам с помещиками, долго таилась в умах крестьян. Я был рад, что люди из народа со мной об этом говорили, и я мог доказывать, насколько они заблуждались, и внушить недоверие к тем темным личностям, которые уже в бытность мою в деревне, разъезжая по селам и деревням, разбрасывали фальшивые манифесты, смущая народ и подводя его под страшную ответственность, сами подло скрывались.[32]

С наступлением весны 1861 года я с семейством переехал в Старый Петергоф, наняв там дачу вместе с Н. А. Белозерской. Туда же был перевезен мой гравировальный пресс, и работа моя с тем же добрым и педантически честным Никитой (бывшим крепостным дворовым отца Н. А. Белозерской) неусыпно шла ежедневно.

Здесь я сблизился с живущим по соседству семейством А. Ф. Погосского и Влад[имиром] Вас[ильевичем] Стасовым. Почти ежедневно мы ходили вместе купаться через Нижний сад на военную пристань и много говорили со Стасовым. о народном орнаменте и искусстве. Погосский нередко гулял со мною в Английском саду и там декламировал переведенные им стихи Мицкевича своим художественным и жизненным языком. Случалось мне кое-что читать Погосскому из «Моих записок» и слушать им писанное. Петергофская жизнь оставила во мне приятное воспоминание и грустное сознание, что нет уже этого умного, веселого и даровитого писателя.

Отец мой, живя в Петербурге, нередко навещал нас в Петергофе и всегда заставал меня без верхнего платья с засученными рукавами рубашки, в парусинном фартуке, порядочно измаранным в типографических чернилах, ворочающим с Никитой пресс или травящим рисунки на меди. Я был совершенно счастлив, как своей семейной жизнью, так своей обстановкой и нашей дружбой с полюбившей нас Надеждой Александровной, несмотря на то что ее первенец Коля каждую ночь беспокоил нас своими капризами.

Осенью мы переехали в столицу на Васильевский остров, где набережную украшали «Сии огромные сфинксы, привезенные из древних Фив в Египте во град св. Петра». Поселились мы в новой квартире, но работа моя была та же, старая. Я гравировал по-старому для «Основы», писал и печатал с Никитой, который иногда страдал до крика от мучившей его болезни, и мне приходилось оставлять работы и за ним ухаживать. [. . .]

В этом периоде моей жизни в Петербурге проявилось движение в Польше, вызвавшее открытые манифестации. Однажды собралась большая толпа народа на Невском проспекте в католической церкви для слушания панихиды по убиенным в Варшаве; затеялась также панихида по казненным в 1862 году декабристам;[33] поднялись студенты, недовольные введением новых для них правил.[34] Движение в Польше вырастало и приняло размеры серьезного восстания, которое было подавлено пушками, палачом М. Н. Муравьевым и суровыми мерами князя Черкасского и К°.

Панихида по декабристам кончилась ничем, так как собралось в Исаакиевский собор всего несколько человек. Студенческая история, как известно, кончилась более серьезно. Забранные студенты, в количестве четырехсот человек, отправлены были в Кронштадтскую и Петропавловскую крепости. Там их кормили и держали без особых стеснений. Они собрались в казематах, говорили речи и для развлечения сочинили оперу, которую разыгрывали с увлечением и в ней со смехом пели о свободе. Эту увлекающуюся молодежь сожалели все.[35]

В числе вольных слушателей университета, заключенных в Петропавловскую крепость и замешанных в истории, был Вл. Ив. Чуйко, молодой человек, с которым мы познакомились в Париже, который хотел остаться там хотя бы фонарщиком, лишь бы дослушать курс своего учения, но которого обстоятельства вынудили возвратиться в Петербург. Чуйко

нам объяснил свое безвыходное положение и просил содействовать его освобождению, ссылаясь на то, что некоторых освободили по распоряжению генерал-губернатора. Я отправился к князю Суворову, рассчитывая на его доброе сердце, хорошее отношение к юному поколению и с затаенной надеждой на успех, по случаю его знакомства с моим отцом.[36]

Явясь в приемную залу генерал-губернатора и спрошенный дежурным, что мне надо, я отвечал, что желаю лично сообщить о том князю. Значительное и разнородное количество просителей выстроилось вдоль стен, и я среди них. В ожидании выхода, настала совершенная тишина, отворилась дверь, и светлейший князь италийский, граф Суворов-Рымникский вышел в сопровождении адъютанта. Обходя просителей, как доктор пришедших за помощью в больницу, он высказывал свое решение, которое адъютант, как фельдшер, записывал. «Что вам угодно?»— обратился ко мне. Я объяснил, что желал бы взять на поруки вольнослушателя Чуйко и просил о разрешении видеть студента Гена. «Вы кто такой?» Я назвал себя по фамилии. «Вы сын Михаила Николаевича?» — «Да».— «Вас самих надо отдать вашему батюшке на поруки»... При этом внук бессмертного героя улыбнулся, сказал, чтоб я не уходил, и пошел далее, решая и судьбу простых смертных.

Покончив со всеми, Суворов, окинув взглядом мой пиджак, галстук, штаны и баранью шапку, которую я держал в руках, пригласил меня за собою в свой кабинет, добро и любезно посадил меня и, выслушав опять, в чем заключалась моя просьба, выдал записку с дозволением посетить в крепости Гена и о выдаче на поруки Чуйко. Чуйко поселился у нас на квартире, где прожил до выезда нашего из Петербурга в деревню. Впоследствии мы встречались с Чуйко раза два-три в конце шестидесятых годов, когда я, приехав в Петербург, посетил его в устраиваемой им с женой детской школе. Дальнейшая его судьба мне неизвестна; знаю, что он составил себе имя критика, переводчика, писателя и скончался, не дожив старости, в бедности.

Покончив для «Основы», что следовало на 1862 год, я сдал редактору всю работу и весною выехал с семейством на житье в Пензенскую деревню Аршуковку, доставшуюся мне и брату Александру. Имея почти отвращение к хозяйству, я, однако же, не хотел приехать туда полным невеждой и подготовил себя теоретически, прочитав все, что мог достать

по сельскому хозяйству. Отец мой отправлял свой дормез в Москву, и я, поставив его на платформу железной дороги, уселся в нем с женою и детками. Таким дешевым способом торжественно отправились мы из молодой столицы в старую белокаменную Москву, где поэтично носятся «стаи галок на крестах», а в действительности разыскивают пищу в зловонии помойных ям, так как не думаю, чтобы они летали стаями над Москвой, наслаждаясь только видом. В этой столице,— не в сердце, а в брюхе России,— был русский дух, тут Русью пахло; пирогами, капустой, постным маслом.[37] Но и тут шестидесятые годы пробудили жизнь.

Был прекрасный солнечный день, когда мы подъезжали к меже нашего имения и были встречены старостой и полевым на деревенских лошадках, и они сопровождали нас до скромной усадьбы, где на крыльце ожидал нас управляющий-немец.

Тут мы поселились надолго и тут началась другая жизнь, которая тоже относится к воспоминаниям шестидесятых годов, но жизнь далеко не художественная. Я погрузился тут в жизнь хлебопашца, жизнь провинциальной глуши, жизнь русского дворянства и земства.

V

Болезнь детей и смерть сына. Выезд из деревни в Пензу. Арест моего пресса.

Мало-помалу имение мое приводилось в порядок. Я отделил усадьбу от дороги и крестьян глубокими и широкими канавами, которые засадил живою изгородью; родники были расчищены, где возможно, количество колодцев увеличено; вместо одного прудка явилось три пруда и один для крестьян; и в пруды пущена рыба. К домику сделана пристройка, поставлен особый флигель, выстроена кирпичная кухня с баней и прачечной, увеличены амбары; конюшня, охотный двор и сарай; сделана изба с сараем для птицы и пр.; к крестьянскому наделу прирезана земля церковная, взамен бывшей среди господской пашни. Молодой разбитый нами сад радовал своею свежей зеленью, запели в нем птички, образовалась в саду искусственная речка с ключевой водой и устроено купанье.

По-видимому, все предвещало нам тихую жизнь и покой; но судьба распорядилась иначе. Явились в окрестности горловые болезни, и наши дети, сын и дочь, заболели одновременно дифтеритом горла. Помощь доктора, которого я вызвал из Моршанска, оказалась бессильною, и сын наш Юрий скончался. Схоронив малютку, мы ожидали кончины дочери. Свет стал не мил нам; но дочь была спасена, и мы решили с наступлением зимнего пути, отправиться в Пензу, где жил брат мой и где были доктора, чтобы окончательно восстановить здоровье дочери и удалить жену от постоянного напоминания постигшего ее удара, где каждый шаг напоминал Юрочку; его игрушки, скучающая без него собачка, ночной сторож, затворяющий ставни в непогоду, которого так пожалел умирающий ребенок, глядя на темную звездную ночь.

Настал день выезда. Усадив жену с дочерью в возок, я сел на козлы, чтобы избавить их от ухабов, и для понукания ямщиков. Проехав двести верст, мы через сутки благополучно прибыли в Пензу. Смерть любимого, милого ребенка нанесла мне первый удар в сердце; и я думаю, что тот, кто не испытал такой потери, не знает настоящего горя. Так думал я в ту пору и чувствовал ежедневно — не один год. Я старался искусственно отвлечь себя от постоянно ноющего во мне чувства занятиями, чтением, беседами и даже театром. Но и во время развлечения горе всплывало, и я сам становился гадок, особенно тогда, когда привозил в театр жену, почти обезумевшую от потери сына. Однако время, эта неотразимая сила, взяло свое. Горе стало утихать, его затянул жизненный омут, и только иногда являются грустные воспоминания, как пузыри над болотом, и исчезают.

Какой поддержкой был бы теперь сын нам, старикам, а иногда приходит на мысль и то, что, увлеченный безумным движением молодежи, быть может, и он попал бы в число тех честных горячих юношей, жизнь которых покончилась в ссылке или на виселице и которых оплакивают семейства.

В Пензе я прожил не больше месяца. Благодаря перемене воздуха и постоянному наблюдению доктора здоровье моей дочери настолько поправилось, что, оставив ее и жену на попечении брата и его домашних, я вернулся в Аршуковку, чтобы окончить молотьбу и заняться продажей хлеба. [. . .]

Вообще в Аршуковке всякого дела было у меня достаточно; кроме того, приходилось часто ездить то в Моршанск за семьдесят пять верст для продажи хлеба, то в Пензу для

свидания с семейством. Иногда являлось желание рисовать или гравировать острой водкой; запас материала был достаточный, пресс установлен, и я ждал только окончания неотложных дел, чтобы на досуге заняться работой,— но этого я был неожиданно лишен. По распоряжению губернатора Александровского, явился ко мне становой и запечатал пресс двумя печатями, взяв с меня подписку о ненарушении этого запрещения, под угрозой страшной ответственности. Первое время я отнесся к этому распоряжению равнодушно; но, когда приходила охота заняться гравированием, брала досада и было обидно такое нелепое вмешательство полиции в мою частную жизнь.

1904 г.

VI

Воспоминания об основателе школ живописи в Саранске и Пензе, художнике Кузьме Александровиче Макарове и сыне его Иване Кузьмиче, академике.

В Пензе в 1862 году я неожиданно встретил знакомого мне художника Ивана Кузьмича Макарова, которого обстоятельства заставили пробыть тут несколько месяцев. Пользуясь случаем, я заказал ему написать с фотографической карточки портрет недавно умершего сына и с натуры портрет моей дочери.

Во время этой работы, сидя у Ивана Кузьмича, я стал расспрашивать его о возникновении художественной школы в Пензе, основанной его отцом, которой он руководил в данное время.

Рассказ его был настолько интересен, что каждый раз, по возвращении домой, я выписывал его. Записка эта сохранилась, и я считаю не лишним сообщить ее публике, чтобы имя Макаровых как достойнейших людей и художников не было забыто.

Рассказ мой начну издалека, так как нельзя говорить о плодах, не сказав о дереве, о почве и семени, из которого оно выросло.

Иван Кузьмич Макаров не помнил, в каком году родился его отец К[узьма] А[лександрович]; но по его расчету, вероятно, в 1778 году. Дед его Александр Давыдович Макаров

был крепостным крестьянином помещика Горихвостова, исполнял должность старосты и умер, оставив четырехлетнего сына Кузьму, который вскоре после того лишился матери.

Оставшись круглым сиротой, Кузьма Александрович (отец Ив[ана] К[узьмича]) очутился среди чужих людей и был заброшен всеми. Если помнили о нем, то насколько можно было пользоваться его бессилием. Он служил на посылках у каждого, получал щелчки и удары, спал свернувшись под скамьей, грязный, как щенок, и от всех зависящий.

Таким образом, Кузьма Александрович с раннего детства испытал всю тяжесть сиротской жизни. Необразованные люди, помня строгость взыскательного старосты (его отца), вымещали свое неудовольствие на малом ребенке. Они посылали его за водкой в кабак, версты за четыре, несмотря на ребяческий возраст, на недостаток теплой одежды. Надвинув ему на глаза чью-нибудь шапку, дадут штоф в руки и шлют ребенка за сивухой, и ребенок не смеет ослушаться. Бежит он нехотя, зябнет, бросит, бывало, на полпути с головы чужую шапку, положит ее на снег и сядет, положив на нее свои ноги, чтобы согреть. Посидит бедняга, встанет, опять наденет шапку на голову, возьмет мерзлый штоф в руки — и снова бежит босой, в одной рубахе в кабак, в дом разврата и обмана.

...Так рос Кузьма Александрович с четырех до девяти лет, в зависимости от каждого бородача, от каждой бабы; и в целой крестьянской общине не нашлось ни единой души, которая бы сжалилась над несчастным положением сироты. Ребенок бедствовал пять лет, и тут только улыбнулась ему судьба; нашлась добрая женщина с чувством человеческим, которая сумела пригреть всеми брошенного сироту. Это была крестьянка соседнего села «Леплейки». Она одела его, приголубила, брала к себе в избу, и ребенок вздохнул легче. Кузьма Александрович всегда вспоминал эту добрую крестьянку и с любовью и глубокою признательностью рассказывал о ней своим детям. ...Все это было в давно прошедшее время, когда дикость и невежество русского общества под гнетом самовластия тяжело отзывались в жизни каждого.

...Мальчик подрос и окреп, благодаря заботам о нем крестьянки села «Леплейки», и обратился в смышленого подростка.

Его заметил помещик и решил извлечь из него себе пользу. Он позвал к себе подростка и отдал к маляру учиться красить крыши, полы на квадраты под паркет, мебель, стены.

Но тут приходится прервать рассказ, чтобы сказать несколько слов о маляре, который был первым учителем К. А. Макарова и который в свою очередь испытал весь гнет крепостного права, всю тягость и несчастие нашей дикой не сложившейся жизни.

Маляр этот был Василий Александрович Смирнов, ученик профессора Г. И. Козлова,* которого даже имя забыто у нас. Человек он был с большими художественными задатками и талантом. Воспитывался он в Академии художеств и, между прочим, написал с Доминикино «Иоанна Богослова». Копия эта имеет много достоинств и свидетельствует о выдающихся способностях к живописи Смирнова. Я видел эту копию в 1868 году, при моем посещении Пензенского училища Макарова, и она произвела глубокое впечатление. Она должна напоминать учащимся здесь молодым художникам о превратностях судьбы и гибели талантливого человека, раздавленного невежеством.

В. А. Смирнов, по окончании курса в Академии художеств, должен был вернуться в Пензенскую губернию в село Кучки, к своему помещику Горихвостову, где от его мудрых заказов, приказаний забылись мечты и надежды, потух святой огонь художника, обращенного в маляра. Он спился и умер...

Но дух святой бессмертен. Художественный огонь учителя был передан поступившему к нему подростку. Восприимчивый ученик принял его как святыню, полюбил искусство, геройски служил ему всю жизнь в назидание последующим художникам, которые продолжают его дело и в свою очередь передают его другим поколениям.

В. А. Смирнов маляр-художник спился и умер, а ученик его Макаров продолжал раскрашивать полы, стены и крыши села Кучки, но тут неожиданно получил он приказание помещика раскрашивать церковь и колокольню, и при этом едва не лишился жизни. Во время работы доски под маляром обломились; товарищ его слетел вниз головой, К. А. Макаров как-то уцепился за доску, повис на ней и был спасен.

...Скоро помещик умер, а наследник его вздумал завести у себя в имении театр, оркестр и певцов. Макаров сделался,

---

* Родился в 1738 году — [умер в] 1791 году.

по его приказанию, декоратором и при своей талантливости скоро понял законы перспективы и освоился с новым для него делом.

Устройство театров частными лицами похвально и полезно, но вопрос в том, для кого устраивается зрелище, с какою целью и на какие средства; кто такие маляры, актеры и актрисы!.. Во время крепостничества — царства тьмы и насилия — на сцене домашних театров выступали дворовые; и творились дела, от которых содрогается душа на расстоянии многих десятков лет.

Предки Макаровых были люди вольные, обитатели степей — татары. Они были обращены в христианство, и Горихвостовы завладели ими без всякого на то права. Что значило в то время завладеть целыми семьями и прикрепить к земле, когда делались и не такие своеволия. Макаровы переходили из рода в род, от одного владельца к другому в семье Горихвостовых. Стал умирать последний владелец, покаялся в грехах, и из боязни, что не сдобровать ему на том свете, отпустил на волю маляра К. А. Макарова с его братом Петром.

Кузьма Александрович, сделавшись свободным, отправился в Арзамас и нанялся там к живописцу, у которого писал миниатюры.

В это время в Арзамасе находился художник Ступин, из крестьян, который сам пробил дорогу силою воли и, будучи женатым, ушел (в 1799 году)[38] из Арзамаса в Петербург, оставив жену, детей и дом. В 1802 году он вернулся домой, получив из Академии художеств медаль за рисунок с натуры, а в 1809 году удостоен звания академика. Ступин устроил школу в принадлежащем ему доме, и к нему поступило много учеников.

Увидя работу К. А. Макарова, Ступин пожелал принять его к себе и назначил жалованье по 200 рублей ассигнациями в год. Скоро Ступин стал другом Кузьмы Александровича и взял вместе с ним заказ: расписать собор в Нижнем Новгороде; и вместо 200 рублей положил ему жалованье 400 рублей.

Через два года К. А. Макаров за свои работы, отправленные в Академию художеств (вид Арзамаса и портрет), получил 1-ю серебряную медаль.

К[узьма] А[лександрович] прожил у Ступина семь лет, заведуя его школою и получая по 800 рублей жалованья. Академия вызвала К[узьму] А[лександровича] в Петербург

для дальнейшего образования; но плохое здоровье, семья, недостаток средств не позволили ему воспользоваться этим. Желая обеспечить себя и семью, он подал прошение в Академию о том, чтобы дали ему звание учителя. Получив звание, он оставил Ступина и по его соседству отправился в город Саранск, где сам открыл школу; но получил с нее только двести рублей ассигнациями.

К[узьма] А[лександрович] прожил с 1828 по 1852 год в Саранске, где родился и вырос сын его Иван Кузьмич, способный юноша, талант которого к живописи ясно выразился с ранних лет. Отец желал дать ему лучших учителей, чем он сам; и, возлагая на него большие надежды, рассчитывал со временем передать свою школу в его руки. Он написал просьбу в Академию художеств и отправил ее 25 декабря 1841 года.

Просьба эта написана таким искренним, простодушным тоном, и в ней так рельефно выразилась любовь художника к искусству, к семье и своему делу, что я помещаю ее здесь без малейших изменений.

В императорскую российскую Академию наук и художеств

От живописца Макарова

Всепокорнейшее прошение

Удостоенный милостивого внимания Академии в 1825 году, наградившей меня 1-го достоинства серебряною медалью, и посвятив живописи всю жизнь мою, я принес в жертву ту горячую волю, ту истинную любовь к художеству, которые прежде из состояния рабства влекли меня к искусству неодолимой силою.

Выпущенный из Арзамасской школы г. Ступина и награжденный от него свидетельством, которое при сем в подлиннике представляю, я, желая быть полезным моим соотечественникам и любезной родине, определился учителем рисования в Саранское уездное училище 1828 года мая 1-го, где и награжден чином губернского секретаря 1831 года мая 1-го дня.

Обремененный большим семейством, тревожимый крайностью и чувствуя, что, кроме обязанности службы, есть другие обязанности, святейшие, могущественнейшие, я оставил службу, трудами снискивая пропитание себе и семейству, занимаясь преимущественно иконописанием. Смею сказать, что более пяти уездов, к Саранску прилегающих, в храмах мною украшенных, приносят подателю всех благ теплые мольбы свои. Но и тут, лишенный всех средств, разъединенный с художественным миром тяготою обстоятельств, я должен был поочередно быть архитектором и плотником,

и маляром; творить новые разнообразные образцы, всюду являться новым и изящным, для того, чтобы с простыми работниками дать храмам то великолепие, ту красоту, с какими должен возноситься до бога живого.

Не буду лгать, ежели скажу, что среди этих тревог разъездной жизни, отрывающей меня от того, что любил всею силою сердца и воли, среди этой размалеванной нищеты, я жил день за днем, отыскивающий себе насущную пищу, для того чтобы дать пропитание больной жене и восьми малолеткам,— бог чудно помогал мне, вливая мне в искусство свою святую помощь: крепость и силу необъяснимую условиями человеческими. Я жил искусством и для искусства, и широко разметывалась потребность души моей в горячо исполняемых созданиях; и во всех их я думал или по крайней мере хотел осуществить тот высший луч света, который проникал в мою душу и который, может быть, увы! только освещал и согревал ее одну, не изливаясь в произведениях руки моей.

Но, гордый искусством, которого я был жрецом, сколько раз в тишине храмов мною созданных, молил я его, своего творца, о неоставлении детей своих, пусть бы избрал он меня очистительною жертвою их счастья, и тот, для кого с такой теплой любовью, с такой искреннею молитвою воздвигал я домы, тот внял жаркой мольбе моей — послал мне в старшем сыне помощника и надежду.

По примеру знаменитого моего учителя, я в Саранске учредил небольшую школу живописи. Не один, а многие из мальчиков, ко мне отданных, вынесли из мастерской моей ежели не полное искусство, но по крайней мере крайнюю любовь к нему, жажду знания и тот дух трудолюбия и истины, которые, ежели смею так выразиться, есть удел художников.

И тут, среди красок и полотен возрос мой сын, моя надежда, упование семейства, которому он должен заменить меня, ежели всевышнему угодно будет отозвать меня к своему горнему престолу. С истинною отеческою любовью смотрел я, как в юноше росло и крепло стремление к знанию, любовь к искусству, ко всему, что есть благо и прекрасно. Опытностью моею и, можно сказать, горькою опытностью лет и труда я старался умерять порывы юношеской души его, запрещая ему изливания в юношеских фантазиях, беспрестанно повторяя, что верность рисунка, верность своей идее, строгость вымысла — есть первое условие художника. Юноша сердился, но исполнял мою волю безропотно.

Теперь, когда ему девятнадцать лет и свободная мысль так часто уносит меня вместе с ним к берегам Невы, чтоб там в стенах здания, Вами, г. г. члены Академии, обитаемого, ознакомиться с вековыми созданиями искусства, впитать в себе воду живу тех благотворных источников, которые с таким обилием изливаются в произведениях великих мастеров и учителей, но куда пути заграждали и заграждают ему и мне недостаток способов. Теперь, говорю, поддерживаемый той нездешней силою,

о которой я говорил выше, и сверх того отеческою любовью, я решился представить на суд Академии труды моего сына. В этих картинах судьба моя, его, всего моего семейства. Да осенит свыше Вас, г. г. члены Академии, тот дух любви и милосердия, какие проповедал божественный учитель, и да внушит Вам мысль тех страданий, которые я перенес как художник и как человек и которые ожидают и моего сына, ежели труды его не увенчаются желанным успехом.

Все, что для него смею просить я, так это звание свободного художника. Поддерживаемый этим лестным названием, он усугубит свои силы, чтобы оправдать его, сделаться достойным Вашего милостивого внимания, достойным тех трудов и той святой обязанности, которая переходит на него в лице его семейства. Но так как он записан в податном состоянии в Саранском мещанстве, то и этой милости смею надеяться от великодушия Академии.[39]

Исполнившему свою обязанность, как отцу и человеку, мне остается просить еще Академию, как художнику, не отвергнуть моления моего сына, из которого, как я твердо надеюсь, должен выйти хороший живописец. Не думаю, чтобы меня столько обманывали родительские чувства, чтоб я не мог видеть вовсе начал развивающегося таланта и той любви к искусству, в которой таится зерно всякого знания.

Теперь я сказал все, что хотел сказать. Пусть просьба моя длинна, ее писали руки под голос сердца. Картина перед Вами, г. г. члены Академии; Вам вверяю мою участь.[40]

На это прошение не последовало ответа из Академии художеств. В следующем, 1842 году И. К. Макаров работал с отцом в церкви помещика Григория Александровича Потулова, у которого в это время проживал Дюразуа, иностранец, случайно занесенный в Академию художеств, а оттуда в Пензенскую губернию; Дюразуа увидел в Ив[ане] Кузьм[иче] талант и советовал Потулову позаботиться о молодом человеке и отправить с сыном Потулова в Петербург. И вот судьба неожиданно облегчила участь Макаровых. Старик отец, снарядив в дорогу своего первенца, отдал ему 400 рублей ас[сигнациями], подаренные его братом Петром Алек[сандровичем]* на воспитание племянника, хотя у него самого тогда оставалось в столе всего 1 рубль 11 копеек на продолжение дела школы и на жизнь с семьей.

---

* Брат К. А. Макарова Петр Александрович, вместе с ним выпущенный на волю, был несколько лет управляющим у богатого помещика Лубяновского; но при своей честности состояния не нажил, а из получаемого жалованья помогал семье брата и скопил 400 рублей ас[сигнациями] на воспитание племянника.

В Академии Иван Кузьмич Макаров скоро обратил на себя внимание Совета, и в первый же год своего пребывания в академических классах получил благодарность за рисунок и медаль за этюд.[41] Профессор А. Т. Марков, принимая во внимание положение своего ученика, выхлопотал денежную субсидию его семейству, а за хорошую подготовку юноши, за успехи и прилежание его в Академии Совет подарил ему гипсовые головы и статуи для школы в Саранске.

При этом никому из членов Совета не пришло в голову, что бедному человеку, едва существующему своим трудом, не достанет средств отправить полученный подарок по назначению! В те времена внутри России не было железных дорог, и такую громоздкую тяжесть, как статуи и гипсы, приходилось отправлять за тысячу верст на лошадях. Много было хлопот И[вану] К[узьмичу] и много пришлось трудиться, чтобы заработать деньги на эту отправку.

Тем временем Макаров-отец трудом до изнеможения, всякими лишениями заработал себе деньги и с помощью своего брата Петра Александровича, управляющего помещика Лубяновского,* купил в Саранске для основанной им школы поместительный дом. Школа была снабжена гипсами, эстампами и картинами; занятия шли правильно, но в это самое время К[узьму] А[лександровича] постигло несчастье. Летние жары засушили хлеба и травы, совершались молебны и крестные ходы о ниспослании дождя. И вот в эту засуху крестьянин отправился в погреб с трубкой, из нее выпала искра, никем не замеченная, и зажгла сухую траву и перешла в поле на солому. Быстро дошел огонь до гумен; пламя сразу охватило соседние убогие жилища и добралось до города. Поднявшаяся буря кидала головни и горящие клоки сена и соломы из улицы в улицу. К. А. Макаров выслал всех своих учеников тушить огонь на помощь жителям, несмотря на опасность, грозившую его собственному жилищу, так как сгорели соседняя баня и сенной сарай, прилегающий к забору сада. Головня упала в сад, обгорел угол скамьи, и головня потухла. Но вдруг где-то вблизи лопнули бочки со спиртом, и горящий спирт плеснул на раскалившийся дом К. А. Макарова. Дом вспыхнул... и через полчаса это была груда кирпичей и угля.[42] К[узьма] А[лександрович] так рас-

---

* Лубяновский, владелец села Голицына (близ города Ломова), был несколько лет губернатором в Пензе, где оставил по себе нелестную память.

терялся, что жена едва успела вывести его из дома. Спасли только портфели с рисунками и увезли их в поле.

Старик Макаров с невыразимым сокрушением смотрел на пепелище. К счастью, нашлись добрые знакомые — Н. М. Глебов и жена его, которые приютили у себя все семейство Макаровых и его самого; и он мог продолжать работу в Саранской церкви.

Окончивших учение и вышедших из школы Макарова было человек сорок; узнав об его несчастье, прислали ему посильную помощь деньгами. В числе таковых был В. Кислов, бывший крепостной, выславший деньги из Костромы.

Едва старик Макаров успел опомниться от постигшего его несчастья, как пришла новая беда. У старика сделалась водяная, и он, лишившись всяких средств к жизни, написал сыну И[вану] К[узьмичу] в Петербург и просил выслать ему денег. Иван Кузьмич в это время был в Академии на отличном счету; два его рисунка с натуры были взяты в оригиналы и, по правилам Академии, ему следовало выдать за них наградные деньги. Но при тогдашних порядках деньги эти часто оставались в руках Академии, так как в большинстве случаев бедняки, которым они принадлежали, не смели упоминать о них. Однако Иван Кузьмич все-таки решил выхлопотать следуемые ему деньги и для этого обратился к профессору А. Т. Маркову. Заметив волнение ученика, Марков расспросил о причине и, кроме наградных денег за рисунки, выхлопотал для него значительную помощь у Совета Академии. К великой радости Ивана Кузьмича, ему выдали сто рублей, которые он тотчас же от казначея отнес на почту и отправил больному отцу. Вслед за денежной помощью в том же 1848 году[43] судьба послала семье Макаровых новое благополучие. Доктор, лечивший старика каким-то новым средством, исцелил его от водяной, и Кузьма Александрович снова принялся за работу и набрал учеников.

В 1840 году[44] К[узьму] А[лександровича] вызвали в Пензу расписывать собор. Он подрядился за две тысячи рублей и для этого вызвал сына из Петербурга. Заказ был принят в июне, а работа началась в сентябре. Кроме Макаровых отца и сына, на штукатурных лесах вместе с ними трудились пятнадцать учеников из Саранской школы.

Работа была тяжелая, мороз в зиму 1849/50 года доходил до 30 градусов, а в соборе, при усиленной топке, не было менее 17 градусов. Кроме того, нельзя было видеть общего и разглядеть фигуры; освещение было с двух сторон, так что

тень от пишущего художника падала на его работу, застилая его. Однако, несмотря на это, работа была кончена 23 февраля 1850 года, то есть почти в шесть месяцев. На материал было потрачено 1700 рублей, и в остатке за труд было выручено 300 рублей, благодаря помощи молодого и талантливого художника. Старик отец был рад, что не только не понес убытка, но еще остался в барыше.

Таким образом, Кузьма Александрович Макаров собственным трудом и с помощью сына вновь начал наживать копейку и стал заботиться о более прочном устройстве своей школы. Иван Кузьмич советовал отцу переехать из Саранска в Пензу, где от школы можно было ожидать лучшего успеха. Помещик Потулов помог Макаровым деньгами, на которые был куплен дом, приобретены для вновь учрежденной школы гипсовые статуи, головы, медальоны, звери, различные эстампы. Иван Кузьмич дал свои эстампы и рисунки и пожертвовал заработанные им 3800 рублей на устройство библиотеки при школе и разных мастерских, так как он хотел внести художественный элемент в технику. Но переехать к отцу в Пензу Иван Кузьмич не мог, так как был связан заказами в Петербурге, а в 1856 году уехал за границу,[45] помнится, по желанию великой княгини Марии Николаевны и на средства Общества поощрения художников. Вернувшись в Россию, он получил звание академика.

В 1859 году в Пензе случился большой пожар, уничтоживший значительную часть города и в том числе дом К. А. Макарова, который вторично лишился крова и значительной части имущества. Из ста сорока художественных предметов, бывших в школе, осталось только шестьдесят.

Во время пожара в Пензе временно находился протопоп села Кевды, отец Степан, усиленными трудами собравший деньги на постройку церкви, для которой заказал образ К. А. Макарову. Узнав об опасности, грозившей ему, он поспешил на помощь, как был дома в камилавке, спасал вещи из огня, сам взял за оглобли сани, нагруженные имуществом К[узьмы] А[лександровича], и отвез в безопасное место. Присутствующая толпа зрителей не только не помогала ему, а еще многие смеялись над ним. При этом, как всегда бывает во время пожаров, значительная часть вещей была расхищена. Но что всего любопытнее — отец Степан жестоко поплатился за свое самоотвержение, его почему-то признали за сектанта и отправили из села, несмотря на просьбы прихожан. Деревня шла за ним несколько верст, и крестьяне

зарубили знак на березках, у которых простились с любимым священником.

В 1862 году старик Макаров в последний раз вызвал своего старшего любимого сына из Петербурга, и это было накануне его смерти; 25 ноября он умер восьмидесяти четырех лет, на глазах своей семьи и учеников. Работал Кузьма Александрович почти до самой смерти, завещал художникам честный труд, безграничную любовь к искусству и связанную с ним нищету, и созданную им школу, которой посвятил почти всю жизнь.

Вероятно, читатель спросит, в каком положении в настоящее время школа, основанная Макаровым. На это ответить я не могу, потому что не был в ней с 1866 года, но тогда дом и школа существовали, хотя и в довольно печальном виде. На глухой улице Пензы, близ церкви Рождества Христова, стоял деревянный, довольно просторный дом, наполненный гипсами, картинами и образами. В нем училось несколько молодых людей; академическая лампа освещала по вечерам гипсы; днем ученики копировали с картин; к их услугам были папки, наполненные эстампами числом до трех тысяч.

Комнатные растения, так любимые покойным К. А. Макаровым, стояли по углам и окнам в порядке; плющ оплел всю стену, пустив далеко свои бесконечные плети, повис над окнами и дверьми. Школа едва существовала по недостаточности средств. Созданная таким трудом, лишеньями и любовью в течение десятков лет, она должна была рушиться. Так мало было участия к полезному делу в обществе богатых дворян и купцов, которые проедали, пропивали, проигрывали и растрачивали деньги на свою беззаботную жизнь, не заботясь об общественных интересах. Правительство, со своей стороны, не нашло нужным в те времена поддержать школу живописи, основанную на частные средства.

В 1897 году я посетил Ивана Кузьмича Макарова в Петербурге; он был нездоров, видимо слабел и в это время трудился над картиной с фигурами в рост человека «Христос благословляет детей». Он спешил пожертвовать свой труд в Первый кадетский корпус, в благодарность за помещение в это заведение его сына покойным императором Александром III.

Иван Кузьмич после нашего свидания вскоре скончался семидесяти шести лет, без средств, оставив большую семью и жену (бывшую его ученицу) в неутешном горе.

От души радуюсь, что мне удалось собрать некоторые биографические сведения о Макаровых, отце и сыне, и что я могу создать хвалу покойным борцам с гнетущей человечество темнотою.

Вспомнив кстати Ступина, рано погибшего Смирнова и целую вереницу людей, подобно им боровшихся с невзгодами и нуждой, которые также родились в бедноте, всю жизнь страдали и не изменили своему высокому призванию к духовной жизни. Как в битве, в глазах их гибли товарищи, и они оставались на своем посту. Не свистели пули и ядра кругом их, не разрывались бомбы над их головами в течение часов, суток и месяцев, но они выдерживали битву в течение всей своей жизни с младенчества до глубокой старости — ежечасно, без отдыха. Гибли бесследно, без венков и наград, торжествуя над житейскими волнениями, над корыстью и соблазнами, сохраняя святой огонь для передачи его потомству. Это люди и герои! [...]

13 января 1903 г.

[VIII]

1863/64 год.
Возвращение в Аршуковку.
Приведение в порядок хозяйства.

[...] Отношения мои с аршуковскими крестьянами были хорошие, и я пользовался их доверием. Никогда я не обращался с жалобами на них к начальству, и дело разрешалось обоюдным соглашением. Крестьяне нашей деревни не были староверы, но никто из них табаку не курил и не было кабаков. Когда соседний управляющий Столыпин предложил им построить за его счет кабак на их земле для торговли водкой, уплачивая им за это 600 рублей в год, то они пришли ко мне посоветоваться и отказали ему, не поддавшись соблазну. Когда же один из них завел у себя тайную продажу водки, то они высекли его, разлили по земле водку и пригрозили более серьезной расправой, в случае повторения его попыток. Во время посева ржи нанявшийся у меня мужик из села Соломенки украл семена. Я предложил ему на выбор: идти в суд или исполнить то, что я прикажу. Он предпочел последнее и честно исполнил наложенный мною штраф — вспахал вновь десятину, засеяв ее своими семенами, и, кроме того, бесплатно вспахал и засеял моими семенами десять десятин.

Конечно, не мог я мириться с воровством крестьян, но удивился, насколько эти случаи бывали редки, и что целая община миром отказалась от пьянства и курения и самовольно расправлялась с озорниками. У нас в России сотни лет никто не заботится о нравственном образовании крестьян. Кругом их царит обман и взяточничество. Управляющий обкрадывает помещика, богатый купец, с помощью шайки вышколенных приказчиков, обмеривает и обвешивает землевладельцев и крестьян при покупке у них хлебов; старшины и писаря обкрадывают своего брата-крестьянина; всесильная полиция грабит всех и каждого и потворствует преступникам. Нередко предводители дворянства вместе с губернатором укрывают преступления, получая дань с исправником. Чиновничество безгласно, в полной зависимости от местных властей и даже пройдохи купца, от которого при случае получают подачки [...]

X

Освобождение моего пресса из-под ареста. [...]

Настала осень, короткие дни и бесконечные вечера, овинная молотьба, вечерние завывания волков и длинные, темные ночи... хотелось отдохнуть от хозяйственных забот и труда и пожить в другом мире, в мире духовном, порисовать, заняться гравировкой, а пресс стоит во флигеле, запечатанный двумя печатями!.. Как глупо! Как освободить моего ни в чем не повинного друга?.. Я написал письмо отцу, описал подробно историю с прессом и просил его переговорить с министром внутренних дел. Отец не замедлил ответом, но заявил, что не желает разговаривать с Валуевым и иметь с ним какие-либо сношения.

Пришлось действовать самому. Желание работать побуждало меня предпринять что-либо; тем более что я был глубоко возмущен бессмысленным распоряжением. Мне пришло в голову обратиться к князю Г. Г. Гагарину, который хорошо знал меня и в то время был вице-президентом Академии художеств. Я написал ему письмо и сослался на разговор в Париже с великой княгиней Марией Николаевной, которая была президентом Академии, видела мои гравюры и выразила желание, чтобы я продолжал гравирование офортов, так как этот способ был заброшен Академией. Кроме

того, я написал письмо Марии Николаевне, этой замечательно умной и простой в обращении великой княгине, и представил в надлежащем виде глупость местной администрации, которая причислила мой гравировальный пресс к типографским станкам и запечатала его, предполагая возможность печатания на нем возмутительных листовок и фальшивых манифестов, рассылаемых в то время повсюду. При этом я упомянул, что если бы даже возможно было печатать на прессе подобные листки, то я, считая такой поступок подлым, никогда бы этого не сделал.

С первой же почтой князь Гагарин ответил мне, что доложил великой княгине о моем деле и получил от ее высочества ответ, что она вечером увидит на дворцовом балу Валуева и сама с ним переговорит.

Со следующей почтой получил я опять письмо от князя Гагарина, которым он извещает, что Валуев отвечал великой княгине, будто такого распоряжения не давал, и что нашему пензенскому губернатору Александровскому послано распоряжение о снятии запрещения с моего пресса с замечанием, чтобы впредь он не смешивал политику с искусством.

Вскоре после того князь Гагарин прислал мне копию с ответа пензенского губернатора, который писал Валуеву, что никакого распоряжения о воспрещении мне пользоваться прессом не было! Выходило из всего этого, что я солгал. Тогда я отрезал одну печать от пресса и отправил ее князю Гагарину, чтобы он показал ее великой княгине как вещественное доказательство правоты моих слов и нахальной лжи губернатора.

Вскоре прибыли ко мне в мундирах исправник и становой пристав, чтобы освободить из-под ареста мой пресс, но оказалось, что недостает одной печати, —я объявил им, что снял ее и отправил при письме в Петербург [. . .]

XII

1864—1866 годы.
[. . .] Воспоминания о художнике Е. А. Лансере [. . .]

Мирно шла наша деревенская жизнь, старшая дочь Лена начала учиться и радовала нас своими успехами. О том, что делается в Петербурге и Варшаве, мы узнавали из писем, но

такие факты, как покушение Каракозова и производство мещанина Комиссарова в офицеры лейб-гвардии Гусарского полка, а равно и поднесение ему в подарок московским купечеством громадного дома, мы могли знать из газет, а простой народ ничего не слыхал об этом.[46] У нас также не было известно и о казни Каракозова. Один из молодых, наиболее талантливых и подающих надежды художников сделал эскиз казни Каракозова, о чем писал мне друг мой А. Е. Бейдеман, но выслать эскиз для моей коллекции не решился. К сожалению, я забыл фамилию этого художника, тем более что эскиз, сделанный под живым впечатлением виденной им сцены, кроме художественного достоинства, имел интерес исторический.[47] [...]

Моя девятилетняя дочь Лена нередко сопровождала меня верхом в моих прогулках по полям и смело прыгала через препятствия. С этого времени в ней зародилась любовь к благородному животному, и она сделалась неутомимой наездницей.

С каким удовольствием, бывало, ездили мы — я и Е. А. Лансере — на донских скакунах. Как он внимательно их изучал на всех аллюрах.

Невольно вспоминаю, когда приехал в Моршанск, я увидел маленькую лошадку из воска, работы гимназиста Лансере, которую дедушка его берег и с гордостью всем показывал. В работе был ясно виден большой талант. Года через три случилось так, что этот самый юноша, уже студент, приехал к нам со своими двумя сестрами и привез вылепленную им восковую группу, изображавшую Руслана, везущего на коне уснувшую Людмилу. Группа была хороша. Лансере, предполагая выставить ее в Академии, желал знать о ней мое мнение. Она простояла у меня в кабинете целый день, и, кроме похвалы, Лансере от меня ничего не слышал. Но он видел, что я с ним не совсем откровенен и просил, чтобы я, не стесняясь, высказывал свои замечания. Жаль было юного художника; я боялся, что, согласившись с указанными недостатками, он может охладеть к работе, а переделать ее не было времени, так как срок представления в Академию был очень мал. Наконец, я уступил желанию Лансере и указал на некоторую неловкость положения Людмилы и на то, что обе фигуры недостаточно выяснены и что можно принять Руслана за простого воина, везущего спящую девушку. К этому я добавил, что вообще художник должен выразить задуманный сюжет настолько определенно, чтобы каждый

его понял, не прибегая к догадкам о том, что изображено. Юный художник выслушал меня внимательно, согласился с моими замечаниями, решил сломать работу и обещал завтра же все исправить, но задумался над тем, как выразить, чтобы для всех было очевидно, что группа представляет собою Руслана и Людмилу. Я посоветовал ему прежде всего поставить группу на пьедестал, который должен быть непременно в русском вкусе, по сторонам пьедестала сделать плоские рельефы с изображениями сцен из той же сказки. Рисунок пьедестала и его орнамент я обещал составить, после чего мы разошлись на ночлег.

На другой день Е[вгений] А[лександрович] сидел у себя с утра и работал; я сочинил пьедестал, который сестры Лансере (Евгения и Элеонора) перечертили начисто. К вечеру Е[вгений] А[лександрович] принес прекрасно исполненную работу, а дня через два он выехал в Петербург для окончательной отделки группы на выставку. Группа была принята Академиею и одобрена. С этого момента имя Лансере стало известно публике,[48] тем более что великий князь Константин Николаевич купил группу, и она была доставлена во дворец. Но, к сожалению, она исчезла оттуда, и я через несколько лет увидел ее на рынке Апраксина двора.

В следующее лето Лансере прислал мне со своими сестрами в подарок прекрасную восковую группу, изображающую возвращение крестьянина с пахоты, сидящего на лошади.*

Упомяну кстати, что Лансере, пользуясь тем, что у меня жили тогда приглашенные татары для делания нам кумыса, вылепил кобылицу с татарином. Впоследствии я сделал ему заказ группы, довольно значительной величины, которая изображала «Запорожца, отнявшего у турка лошадь». Группа была отлита для меня в четырех экземплярах, собственноручной чеканки Лансере.

Неожиданная весть о преждевременной кончине образованного, талантливого и милого человека глубоко опечалила меня [. . .]

---

* К сожалению, группа эта при пожаре сгорела.

XIII

1865/66 год. М. А. Быкова. Позднее раскаянье.

В 1865 году дочери нашей Лене минул седьмой год, и следовало подумать об ее учении. Я пригласил рекомендуемую мне Марью Арсеньевну Быкову, как оказалось, одну из тех, которые во время студенческих волнений 1861 года на сходке в университетском дворе (в Петербурге) говорила зажигательную речь. С тех пор она вышла замуж, успела овдоветь и осталась с крошечным ребенком без средств.

Взялась Быкова за дело умело; девочка полюбила занятия и делала успехи. Но занятия продолжались только год с небольшим и были прерваны внезапно по следующему случаю: Быкова вздумала предложить нам отдать ей на воспитание ее ученицу в полное распоряжение и оставить при ней, куда бы она ни уехала; иными словами, предложила нам отказаться от собственной дочери. Такое неуместное и безумное предложение не имело оправдания и могло быть объяснено только крайним самомнением Быковой и желанием создать из девочки нашими средствами так называемую нигилистку. После этого мы расстались немедленно с учительницей.

Но стоит ли об этом говорить. Полагаю, что стоит, так как этот факт доказывает, до какой степени тогда уже было сильно увлечение скрытой пропагандой с целью создать новое поколение, которое стремилось бы к разрушению сложившихся тысячелетиями понятий умственных, нравственных и общественных.

В августе 1865 года, во время уборки хлебов, я получил письмо брата Владимира из Петербурга, который сообщал о безнадежной болезни отца. Я немедленно выехал, но приехал в Петербург слишком поздно — в день похорон, когда братья вернулись с кладбища.*

Невольно вспоминаю последнее время жизни отца и отношение его ко мне, которое было не понято мною, и я хуже всех его детей относился к нему при жизни. Я не сознавал силы того дурного аракчеевского влияния, под гнетом которого чуть не с детства рос, воспитывался и вступил в жизнь отец. У меня никогда не было ни душевной, ни умственной

* Болезнь, смерть и погребение отца прекрасно описаны в дневнике брата Владимира, который хранится в моем архиве.

близости с ним. Никто из братьев так не обидел его, как я, чуть не швырнув ему записку с отказом за себя, жену и детей от передаваемого мне наследства. Как это было грубо и обидно, и что же? Он написал в ответ, что со временем, он уверен, я пойму его... и мы помирились. Столкновение произошло по поводу различия наших взглядов на религию и, разумеется, мы оба остались при своих убеждениях.

Всю жизнь свою отец честно трудился для отечества; с редкой твердостью заботился о нас — шестерых сыновьях и дочери; несмотря на то что остался вдовцом в возрасте сорока четырех лет, остался верен памяти умершей жены. Надо много работать над собой, иметь чистоту духовную и силу воли, чтобы устоять от всяких соблазнов до глубокой старости. Он ежедневно отдавал себе отчет в проведенном дне перед сном в своей спальне и молился то погруженный в себя, то глядя на изображение головы Христа в терновом венке или на изображение Спасителя, готового воскреснуть, мною подаренные.

Из сохранившихся у меня писем отца последних лет видно, сколько в них неподдельного, теплого и разумного участия ко мне, жене и детям, участия, доходившего до материнского снисхождения и заботы. Все это он выработал в себе самом, отбросив властолюбие и дворянскую спесь.

Сколько проявил он примирения и любви ко мне, ко всем нам, а я, не взвешивая его возраст, беспокоил его своими поручениями и просьбами — от крупных денежных до мелочей и он... исполнял в точности все. Но при этом отец кротко пенял на мою небрежность, так как из писем не было видно, откуда они писаны, которого года, месяца и числа, или за то, что он не получает уведомления о получении высланного и ответа на вопросы. Трудно представить себе более снисходительных требований и той любви, которая выражалась не только в его словах, но и в действиях. Он был строг к себе, и за ошибку свою в денежных расчетах со мною на три тысячи рублей не только внес их немедленно, но сверх того наложил на себя штраф в 1000 рублей. У него не было разлада слова с делом. Как было жаль, что его не стало, когда через год после его смерти наступило время моей общественной деятельности в лице предводителя дворянства, председателя съезда мировых посредников, мировых судей, председателя народившегося земства и пр. Сколько пользы принесли бы мне его советы. Увы! прошлого не вернешь...

1903 г.

XVI

1865/66 год.
Выбор крестьянами меня учетчиком волости.
Выбор меня уездным предводителем дворянства.
Знакомство с дворянством и губернатором.[. . .]

Деревенская жизнь наша шла однообразно изо дня в день и неожиданно была нарушена следующим эпизодом. Приехал из соседней Покровской волости отставной солдат Коблов, уполномоченный крестьянами, чтобы передать мне их приговор об избрании меня учетчиком сумм, вносимых ими на уплату различных повинностей, так как их расчеты не сходились с записями волостного правления.

Я согласился взять на себя обязанности учетчика и приказал Коблову доставить мне все счета и документы. В счетах оказалась большая путаница, а при дальнейшем расследовании я встретил тайное от меня противодействие со стороны местного мирового посредника Алыбина и уездного предводителя дворянства князя Н. Н. Енгалычева. Не обращая внимания на их неудовольствие, я продолжал заниматься принятым на себя делом, и оказалось, что крестьянами уплачивалось вдвое, а иногда втрое больше следуемого по вине сборщиков (двух бывших старшин), писарей, полиции, а также мирового посредника и предводителя дворянства.

Слух о производимом мною учете распространился среди местного населения, и ко мне явились уполномоченные от казенных крестьян Тамбовской губернии, а именно соседних сел Глуховки и Воробьевки — тех самых сел, с жителями которых я имел раньше столкновение по поводу захвата ими у меня земли, потрав и истории с нашим доктором.[49] Теперь наши отношения стали вполне хорошие, и я согласился на их просьбу, но, начав учет, вскоре должен был его прекратить по недостатку времени, так как получил уведомление об избрании меня в предводители дворянства вместо князя Н. Н. Енгалычева. За учетом нашей Покровской волости я продолжал следить.

Известие об избрании меня в предводители дворянства дошло до меня совершенно неожиданно при странной обстановке.

Я отправился на ярмарку за сорок верст в большое и богатое раскольничье село Поим. В ясный морозный день, в полушубке и бараньей шапке с палкой в руках я бродил

в толпе. Ко мне подошел какой-то человек, почтительно поклонился и спросил, не я ли Лев Михайлович Жемчужников.

— Да, это я.

Он отрекомендовался и сообщил, что дворяне решили на предстоящих выборах избрать меня в предводители. Ничего не ответив, я был удивлен таким странным желанием дворян, так как, живя в деревне четыре года, вел беседу только с одним чембарским дворянином, мировым посредником Алыбиным, и то весьма непродолжительную, по случаю заявления крестьян о желании их выйти на выкуп. Не придавая значения сообщенному мне известию, я приехал домой.

Спустя несколько дней, Алыбин заехал ко мне и официально заявил о намерении дворян избрать меня предводителем. Удивительно было такое неосмысленное желание выбрать человека, которого никто никогда не видел и не знает. Казалось невозможным допустить такую нелепость, но невозможное оказалось возможным, и в Пензе я был действительно выбран предводителем Чембарского уезда; повод был следующий.

В это время брат мой Александр был в Пензе вице-губернатором, и губернский предводитель Арапов,[50] не ладивший с губернатором,[51] пожелал склонить на свою сторону вице-губернатора. Уездные предводители и дворяне заодно с Араповым порешили сделать любезность вице-губернатору избранием меня в предводители.

Узнав об этом, я отправил телеграмму брату, что я не желаю быть избранным и что я не местный дворянин. Несмотря на это, Арапов снесся с Орловским депутатским собранием, я был внесен в список дворян Пензенской губернии и избран предводителем.

В ответ на мою телеграмму брат прислал ко мне нарочного с письмом, упрашивая не отказываться от предводительства, чтобы не обидеть дворян, обещал помогать мне в работе и выражал надежду, что принесем пользу своей службой.

Вслед за тем меня известили о выехавшей депутации чембарского дворянства с судьею во главе, которая должна была вручить мне бумагу за подписью дворян с просьбой принять на себя звание предводителя. Депутация действительно приехала; и я скрепя сердце принял на себя должность, которая имела большое значение в моей жизни.

Я начал с того, что немедленно отправился в Чембар, где был принят дворянами с распростертыми объятиями. По за-

веденному обычаю, дворянство дало мне обед, где пили за мое здоровье и будущую мою службу на пользу дворянства. Я предложил, в свою очередь, тост за здоровье дворян и просил помогать мне в исполнении моих обязанностей. На другой день съехались дворяне из имений, и повторился такой же обед с речами, пожатием рук и обещаниями помогать мне во всем. Не будучи охотником до таких пиршеств и не желая их повторений, я на этом же обеде попросил у господ присутствующих извинения, что буду говорить сидя и прошу их делать всегда то же, так как это гораздо удобнее, а также пить за здоровье не вставая с мест и не подходя друг к другу, чтобы не разливать полных бокалов на пол и платье. В заключение, поблагодарив за радушие и хлебосольство, за оказанную мне честь и доверие, которое постараюсь заслужить, я обратился к присутствующим дворянам с покорнейшей просьбой прекратить впредь такие торжества, чтобы не ставить меня в необходимость делать то же, так как такие пиршества мне не по карману и к тому же отнимают время. Если я на себя принял должность предводителя, то с единственною целью принести посильную пользу уезду.

Так прекратились обеды и таков был первый шаг моего знакомства с чембарскими дворянами, который не был ими одобрен.

В тот же день вечером я выехал в Пензу и прибыл туда на следующий день.

В Пензе, переговорив с братом и заручившись его словесным обещанием оказывать мне во всем возможное содействие, я отправился к губернатору Александровскому. Губернатор принял меня очень любезно, познакомил со своей женою и пригласил в тот же день отобедать у него вместе с братом моим и его женою, которым уже послал приглашение. При этом он с упреком заметил, что я напрасно писал великой княгине об его распоряжении относительно пресса. Зачем было беспокоить августейшую особу. Объяснили бы мне и я велел бы снять печати.

Характеристика местных дворян, сделанная Александровским, была настолько нелестная для них, что привела меня в уныние.

От губернатора я поехал к архиерею, чтобы познакомиться с ним и не обидеть особы, привыкшей к почету, а от него к губернскому предводителю Александру Николаевичу Арапову. Это был когда-то командир уланского гвардейского

полка, теперь отставной генерал с мундиром, богатый помещик, при этом винокур, овцевод, коневод, промышленник, казнокрад и развратник. Насколько нравственные его понятия были невысоки, можно видеть из того, что, будучи предводителем дворянства целой губернии, он при дневном свете открыто посещал старого дворянина У., сидящего в тюрьме за изнасилование девятилетней девочки, и всячески старался избавить его от наказания. Всем было известно, что Арапов заодно со своим приятелем, бывшим губернатором Панчулидзевым, с женою которого он открыто жил, покрывал все беззакония, распутство и грабеж дворян и полиции и, дожив до старости, пользовался уважением дворян, которые постоянно выбирали его губернским предводителем.

Брат его Андрей Николаевич, отставной конногвардеец, был уездным предводителем. Это была личность темная, и о нем были упорные слухи, что он для завладения большим состоянием своей первой жены запер ее в доме и сжег вместе с домом. Он был развратник, убежденный, что нет женщины, которая была бы в состоянии устоять против соблазна денег, а если она не соглашается отдаться за сотенную ассигнацию, надо прибавить другую, третью и т. д., пока дойдет до той суммы, перед которой не устоит ни одна женщина...

[...] Андрей Николаевич был едва ли не богаче своего брата. Оба брата каждые три годы были избираемы дворянством в предводители на новое трехлетие.

Что я мог ожидать от нашего уездного дворянства, видя таких субъектов и слушая их разговоры. Разве оно могло быть исключением из общего уровня нравственных понятий. Я вспомнил свою беседу с Александровским в его кабинете и должен сознаться, что он сделал правильную оценку дворянства [...].

XX

Дело князя Н. Н. Енгалычева.

Мудрено писать вполне последовательно и в хронологическом порядке свои воспоминания. Я упоминал о бывшем предводителе... (моем предшественнике) князе Н. Н. Енгалычеве, но говорил о нем урывками. Теперь припоминаю коечто характеризующее его личность: князь Н. Н. Енгалычев,

по выходе своем в отставку из лейб-гвардии уланского полка, поселился в деревне еще молодым человеком. Благодаря его богатству и титулу, у него явилось много угодников, и он был втянут в провинциальную жизнь, увлекся картежной игрой и кутежами, наделал долгов. Выбранный предводителем, окруженный лестью, он мало-помалу почувствовал себя хозяином уезда, своевольничал, должая, путался и погружался в омут по уши. Но он с блеском держал знамя дворянства, школы росли во время его шестилетнего предводительства, ему даже была выражена благодарность за распространение народного образования. Наряду с этим, он бил волостных старшин по голове счетами и чем попало, в случае их возражений, кончал рекрутские наборы в три дня, получая от начальства благодарности и ордена. Он проводил дороги, плотины и гати в своем имении, по наряду волостей на эти работы, которые исполнялись в точности, но которые, по закону, не лежали на обязанности крестьян.

Все это узнал я, когда сделался предводителем. Ко мне явились уполномоченные от крестьян, с жалобою на беззаконные действия бывшего предводителя князя Н. Н. Енгалычева, который высылал их, отрывая от полевых работ, на устройство в своем имении дорог и огромной плотины, и никакого вознаграждения за труды они не получали.

Убедившись в справедливости жалобы, я предложил князю Енгалычеву уплатить крестьянам за работы и тем покончить дело. Но князь высокомерно отверг мое предложение.

В это время губернатор Александровский был переведен в Петербург, и на его место был назначен Николай Дмитриевич Селиверстов. Мне, как предводителю, следовало ехать в Пензу, чтобы с ним познакомиться.

Н. Д. Селиверстов — отставной лейб-гусар, товарищ некоторых моих товарищей по Пажескому корпусу — принял меня очень любезно. После завтрака мы отправились осмотреть его хозяйственные постройки и затем сели в садике на скамью отдохнуть в тени дерев. Я сообщил, что имею надобность переговорить о неприятном деле. Селиверстов расправил усы и, вопросительно взглянув на меня, спросил: «Что же это такое?»

— Дело относительно злоупотребления своею властью моего предместника, князя Н. Н. Енгалычева в бытность его предводителем. Вот мое заявление, — добавил я, вынув бумагу из бокового кармана пиджака, подал ему.

Селиверстов пробежал глазами по строкам от начала до конца и сказал: «Я только что вступил в должность, и начинать такое щекотливое дело мне бы не хотелось. С этим делом придется встать в неприязненные отношения с дворянством. Оставьте это».

— Не могу, — сказал я. — Как могу я оставить начатое дело, когда убедился в ряде беззаконных действий князя Енгалычева и обещал крестьянам свою помощь. С каким ответом я явлюсь к ним и что они подумают о вас?

Селиверстов молчал и красивыми движениями пальцев схорашивал свои усы и бакенбарды. Он пристально взглянул на меня и сказал: «Итак, вы хотите, чтобы я дал дальнейший ход этой бумаге?»

— Конечно,— отвечал я, глядя ему в глаза.

— А знаете ли, что я сделаю с этим заявлением? .. Я положу его под сукно...

— В таком случае я буду ждать результата три дня и, если ответа не будет, подам жалобу на вас в сенат.

— Так вот вы какой! ..

— Да, такой. И будьте уверены, что я из Пензы не выеду трое суток, в ожидании вашего решения.

— Ну полноте, полноте. Мы еще поговорим с вами. Приходите ко мне обедать завтра.

На другой день, после обеда, мы перешли в кабинет и возобновили вчерашний разговор: «Итак, Лев Михайлович, вы желаете передать дело суду. Нельзя ли покончить иначе?»

— Я уже говорил вам, что предложение мое князю Енгалычеву об уплате крестьянам вознаграждения отвергнуто им.

— Что же вы думаете сделать?

— Я предлагаю устроить домашний суд из уездных предводителей под председательством губернского предводителя и в присутствии князя Енгалычева. В заседании я изложу дело, и, как решат судьи, так и поступить.

Дня через два собрались у А[лександра] Н[иколаевича] Арапова три уездных предводителя и приехал вызванный из своего имения Енгалычев. Заседание открылось, и я, изложив дело, обратился к сидящему около меня князю Енгалычеву с вопросом, верно ли переданы мною факты. Енгалычев подтвердил точность сказанного мною.

Арапов и предводители обратились ко мне с вопросом, как я поступил бы в данном случае, если бы от меня зависело решение дела?

— Я предложил бы на выбор два решения: 1) дать дальнейший законный ход делу или же 2) предоставить решение лично мне и подчиниться ему вполне.

— Мне кажется, князь,— сказал Арапов,— лучше принять второе решение. Не правда ли, господа? —Предводители согласились с этим предложением.

— Согласны ли вы, князь, — спросил я Енгалычева, — и готовы ли подчиниться моему решению?

Князь Енгалычев согласился.

Незавидно было его положение; побледнев, с поникшей головой он сидел неподвижно.

— Я предлагаю, князь, — продолжал я, — уплатить крестьянам стоимость вынужденных работ по устройству плотины в его имении и тем покончить.

— Прекрасно, прекрасно! — сказали Арапов и прочие предводители. Я еще раз спросил князя Енгалычева, согласен ли он принять такое решение? Склонив голову, он вторично выразил согласие, и наше заседание закончилось.

В назначенный день я приехал в имение князя Енгалычева и потребовал от него немедленной уплаты следуемых с него денег. Князь, к стыду своему, просил меня и крестьян скинуть со счета сотню, другую рублей, на что я не согласился. Я остался у него ночевать, в ожидании денег, которые на другой день полностью были им внесены и переданы мною уполномоченным крестьянского общества под расписку.

Все, что я знал о князе Н. Н. Енгалычеве, было не в его пользу, но он много и много был лучше своего однофамильца князя В[алериана] И[вановича]. Этот был умнее, подлее и хитрее его. Князь Николай разбивал счеты на головах старшин при малейшем противоречии, а князь Валериан никого не бил и бород не рвал, но поступал еще хуже. Беседуя с старшиной, он приговаривал: «Вот теперь, ты говоришь, бить не позволяют, я и не бью, а плюю на тебя». И он действительно плевал ему в лицо и бороду; и затем разорял и стирал в порошок. Он так ловко действовал, что мне ни разу не удалось его поймать и скрутить тем или другим способом.[52]

1903 г.

XXI

Введение земства в Чембарском уезде в 1864 году. Первый мой дебют в земском собрании в качестве председателя его в 1866 году.

Новый закон о введении земства, дающий право голоса всем сословиям, был встречен дворянством недружелюбно. Это нововведение, казалось им, было новым шагом, умаляющим их достоинство. Дворянство не замедлило принять меры, чтобы парализовать права других сословий. Вступление в их среду каждого нового лица пугало их, хотя бы это лицо было одного с ними сословия, но им не известное. Для удаления такого лица употреблялись разные «невинные» средства, напр[имер], они поздно или даже совсем не извещались о предстоящем съезде. Такая участь постигла и меня. Не посещая никаких дворянских собраний, куда меня и не приглашали, я оставлял это без внимания, но не мог быть равнодушен, когда не был приглашен на первое земское собрание, так как оно представляло для меня живой интерес. [...]

Имея дело с крестьянами по учету нашей волости, я должен был вести борьбу против недобросовестности некоторых мировых посредников, и особенно моего участка Алыбина, который действовал заодно с предводителем. В этом я вполне убедился, когда меня выбрали предводителем дворянства и мне пришлось председательствовать в съездах мировых посредников и в уездном земском собрании.

В первом земском собрании, открывшемся под моим председательством, я обратил внимание на господствующее в нем влияние дворян при решении вопросов, на молчаливость прочих сословий и особенную угнетенность гласных из крестьян.

Вследствие этого, при каждом возникшем вопросе, я напоминал собранию, что закон дал всем право высказывать свое личное мнение, которое при общем обсуждении может быть весьма полезно.

Я всегда начинал собирать голоса с крестьян, переходил к мещанам, затем купцам и после всех обращался к дворянам как особому высшему сословию.

Такой прием не нравился дворянству; и это выражалось пожиманием плеч, вопросительными и удивительными взглядами их, обращенными друг к другу или ко мне.

Я не обращал на это внимания и повторял при каждом удобном случае, что здесь, в земском собрании, голоса всех равны и должны быть принимаемы в соображение при решении вопроса.

Крестьяне были довольны моим добрым отношением к ним, и мало-помалу у них явилось сознание своих прав. [...]

1903 г.

XXII

1868/69 год.
Выбор меня в председатели уездной земской управы.
Деятельность моя в управе [...]

13 сентября 1868 года я приехал из Аршуковки в Чембар для открытия земского собрания и предстоящего выбора членов управы по истечении срока их службы.

Едва успел я войти к себе в квартиру и оправиться с дороги (65 верст), как явился мой секретарь и сообщил, что меня хотят бить при появлении в собрание. Затем приехал мой кандидат Бугреев и судебный следователь Морев, и они подтвердили полученное известие, добавив, что расправу взял на себя Григорьев (бывший становой, приближенный князя В. Енгалычева) с двумя соучастниками. Во время этих разговоров приехал П. А. Рихтер, глубоко возмущенный гнусным замыслом, и заявил, что поедет вместе со мною в собрание и с помощью некоторых гласных будет меня охранять. Услышав это, Бугреев, чтобы не отстать от других, с безучастным выражением в лице и голосе объявил: «И я тоже».

Я поблагодарил Бугреева и горячо пожал руку едва тогда знакомому мне Рихтеру за его сердечное участие.

— Успокойтесь, господа, — сказал я моим доброжелателям. — Я не из трусов и могу постоять за себя. Григорьев и его приятели, все трое, подлецы, а подлецы не бывают храбры; к тому же, у меня есть надежный друг! — При этом я показал заряженный револьвер, который положил себе в карман.

Войдя в помещение собрания, я глазами отыскал Григорьева с сообщниками, которые стояли в углу. Подойдя к ним, я поздоровался с ними, кивнув слегка головой и держа руку с револьвером в кармане. Они вежливо раскланялись.

— Что вы тут, господа, приютились, о чем говорите? Нам пора идти в залу собрания и приняться за дела!..

Мои слова оправдались. Подлецы струсили и молча отправились за мною в залу, где я открыл заседание.

Злоба на меня кипела за обличение Алыбина, за преследование Каткова[53] и пр. Многие чувствовали себя в опасности. Подпольная ядовитая злоба шипела, недовольных было много, но немало находилось и людей вполне порядочных и мне сочувствовавших. Возгоревшая борьба, со вступления моего в предводительство, разрасталась, и предстоящее собрание имело серьезное значение для уезда. Для всех было ясно, что преследование мое за взяточничество, растрату мирских денег и самоуправство одного из волостных старшин коснулось председателя управы, принявшего живое участие в защиту своего сообщника, обвинение которого было только началом обличений его самого в ряде беззаконий.

Председатель управы (князь В. И. Енгалычев) перед выбором принял все меры, чтобы склонить гласных на свою сторону: одних приглашал к обеду, других за карточный стол, кого обещал пристроить к месту с содержанием, а крестьянам щедро раздавал шапки, пироги, калачи и водку.

Была произведена закрытая баллотировка, по проверке которой оказались выбранными: в председатели управы — я, а членами управы избрали крестьян Мельникова и Павлова, бывших старшин в участке того же князя В. И. Енгалычева.

Расчет князя Енгалычева был таков: если выберут его вновь, то выберут и членов управы ему угодных, если меня, то в члены будут выбраны мужики. Такой выбор покажет уезду и всей губернии явное нежелание дворян служить со мною и, как полагал Енгалычев, этим способом я буду вынужден сам отказаться от председательства. Последует затем новая баллотировка, при которой он надеется быть избранным.

Но расчет оказался ошибочным. Я поблагодарил собрание за оказанное мне доверие и был вполне доволен, что в товарищи мне избраны толковые крестьяне, а не белоручки дворяне, безучастные к делу, на работу которых я рассчитывать не мог.

Занявшись делом, я, как всегда, увлекся им и решил изучить его во всех подробностях. Я радовался, что пришлось работать с умными грамотными крестьянами, которые относились с доверием к моим распоряжениям и требованиям. Дороги, мосты, общественные хлебные амбары — все было мною добросовестно осмотрено; я знал в точности, где и

сколько свай и досок следовало переменить на мостах; знал, где, в каком количестве и какого качества было зерно в запасных магазинах. Я убедился, что в магазинах беспорядок, что крестьяне привыкли к тому и самовольно брали из магазинов зерно. Мы завели книги, за скрепою управы, для вписывания прихода и расхода хлеба. При первой же ревизии магазинов оказалось, что один магазин, который значился по спискам, вовсе не существует; только из двух магазинов было засыпано зерно в полном, установленном законом количестве, а в магазинах двух волостей не было ни одного зерна в запасе.

Вследствие такого внимательного осмотра амбаров и своевременного снабжения их зерном, при наступившем недороде, наш уезд отказался от ссуды, которую испрашивало губернское земство у правительства на продовольствие и обсеменение полей.

Земское дело росло и становилось все более и более сложным. В связи с этим увеличилась и работа в управе. С введением нового судопроизводства, потребовались новые расходы. Но были сделаны и некоторые сокращения бюджета. Так, например, дорожная повинность, вместо 29 рублей на версту, обошлась только в 6 рублей, то есть менее в пять раз, при этом дороги стали не хуже прежних.

Ввиду быстрого распространения сифилиса и беспомощности населения мною были приняты меры к устройству санитарной части. Городская чембарская больница из старого и сырого дома была переведена в сухое и более просторное помещение с садом для больных; вместо одного доктора, занятого службою на весь уезд, приглашены еще два доктора и открыт амбулаторный прием при трех больницах. [...]

1903 г.

XXIII

1868/69 год.

[...] Недолго председательствовал я в мировом съезде, так как предводительству моему наступал скоро конец, и я переселился в Петербург.

После моего отъезда начались интриги дворян из-за мест и должностей, и они грызлись друг с другом, как собаки из-за кости. Ко мне обращались письменно и вызывали в Чем-

бар; между прочим, один из деятелей писал мне так: «Из сожаления к уезду, ни в чем неповинному бедному люду помогите нам, не дайте осуществиться надеждам всех этих господ, которых вы хорошо знаете. Предстоящий выбор нового председателя в наш съезд настоятельно требует вашего присутствия, уважаемый Лев Михайлович, и я вполне уверен, что вы приедете к нам во что бы то ни стало ради подкрепления вашим голосом нашей стороны против выбора в председатели Бугреева или князя В. Енгалычева. Сообщив вам все, что я знаю наверное, мне остается сказать вам, что у вас восемьдесят процентов из ста быть выбранным в председатели, и в тот день, когда вы сделаетесь им, я буду истинно счастлив и посмотрю на наш съезд так, как никогда не смотрел, то есть с гордостью и уважением. Березин».

Несмотря на такие горячие слова и обращения ко мне земцев с просьбой вернуться к ним, я не принимал больше участия в делах Чембарского уезда. Чувствуя себя сильно утомленным, я не мог рассчитывать на успешный исход борьбы с темными силами уезда, губернии и администрации, которые теперь все сплотились против меня.

1903 г.

XXV

Переселение мое в Петербург. Встреча брата моего Николая с Селиверстовым.

Вспоминаю теперь (в 1904 году) мою тогдашнюю деятельность в Чембаре, удивляюсь своей энергии и вере в торжество правды. В течение трех лет я очищал уезд от вредных людей, постоянно вел борьбу, победил многих, но не всех. Борьба была трудная; и в Чембаре, как везде, были люди, готовые служить честно, но мало было таких, которые выдержали до конца. Во всяком случае, многие были удалены со сцены. Катков, Алыбин, князь Н. Н. Енгалычев, судья, следователь Герман, доктор Керский, стряпчий, волостные старшины-грабители Козьмин и Мокрев.[54] В земском собрании я развязал языки крестьянам, вытеснил из земской управы князя В. Енгалычева с его помощниками; и он был уже окружен облавой, как зверь; но, как самый опытный, умный и ядовитый негодяй, он еще держался и пока не был уничтожен.

По совести могу сказать, что я работал по мере сил и возможности на пользу общества. Я не считал ни дел, ни дней, ни чисел, шел напролом, не останавливаясь перед какими бы то ни было препятствиями. Не давал я себе покоя и отдыхал урывками только в те часы, когда уезжал в деревню к жене и детям.

Немало писал я писем губернаторам: Александровскому и Селиверстову, которые были переполнены указаниями и жалобами на беззакония, воровство, плутовство, взяточничество, лень и безнравственность лиц, захвативших всякими происками силу в уезде и губернии.

В свою очередь, и я получил немало дерзких и вызывающих писем, которые оставлял без ответа. Сыпались на меня один за другим доносы губернатору, в присутственные места, посылались министрам, в III Отделение и сенат. Удивляюсь, как они не съели меня... Отца моего, сенатора, уже не было на свете; а также мало-помалу прекратилось влияние моих родных в «высших сферах»* с их смертью. Но я остался победителем — торжествовала сила правды, добра и любви над злом, пронырством и подлостью; и я верил тогда, как верю и теперь, что правда рано или поздно восторжествует над темными силами.

Вспоминая свою тогдашнюю деятельность, я невольно удивляюсь и радуюсь тем результатам, какие были достигнуты мною в течение всего двух лет и девяти месяцев. Но с моим удалением опять мало-помалу восторжествовали темные силы. Влияние мое держалось после меня года два-три, потом стало слабеть, глохнуть и покрылось провинциальной плесенью. Лет через семь я продал имение и, вероятно, теперь даже стипендии моего имени, учрежденные моими почитателями, исчезли вместе с капиталом жертвователей на них. [...]

Живя в Петербурге, я узнал, что за личность Селиверстов. Оказалось, что его превосходительство «один из питомцев III Отделения», как он выразился однажды про себя в интимном кружке.[55] Припоминая его письмо о моей заметке по поводу газеты «Весть», его разговор со мной по этому поводу,[56] а также последнее наше свидание с ним в Пензе, я удивляюсь, как мог я доверять ему, хотя временно чувствовать к нему расположение. По прошествии нескольких

---

* Как выразился мне Селиверстов.

лет, когда я уже покончил свою деятельность в Чембаре, — в этом омуте всяких злоупотреблений и грязи, — и жил в Москве, мы опять увиделись с Николаем Дмитриевичем. Я сидел с семейством в ложе московского театра и встретился глазами с Селиверстовым, который, стоя в партере, разглядывал публику. В антракте он постучал к нам в дверь, я вышел в коридор, не впуская его в ложу, — он любезно пожал мне руку, и, поговорив о пустяках, мы разошлись.

Давнишний мой приятель Юрий Толстой,* приехав в Москву, по обыкновению, известил меня о своем приезде. Я отправился к нему, и он, приятельски поздоровавшись со мной, сразу заявил:

— Ну, Л[ев] М[ихайлович], что за чудак ваш брат Николай Михайлович! Представьте себе в какое неприятное положение он меня поставил. Приходит ко мне, а у меня сидит Селиверстов, и я их знакомлю. Селиверстов подает руку Николаю Михайловичу, а он, как будто не замечая этого, сморкается и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, это вы тот самый Селиверстов, который был в Пензе губернатором и с которым служили мои братья Александр и Лев?» — «Да, это я!..» Брат ваш заложил руки за спину и говорит: «Как я рад, что они уже с вами не служат!» — Затем отвернулся и сел. Селиверстов тотчас ушел...

Несмотря на такое явное пренебрежение, оказанное моим братом, Селиверстов приезжал ко мне не один раз во время моей службы в Правлении Московско-Рязанской железной дороги и с любезным лицом просил меня устроить ему покойный проезд в отдельном помещении вагона. Я исполнял его просьбу, которую выслушивал в дверях передней моей квартиры, и прощался с ним, не впуская в комнаты.

Последнее наше свидание было таково: летом, рано утром, я услышал скромный звонок и вышел, полураздетый, отворить дверь. Это был опять Селиверстов, в белом военном кителе и опять с просьбой относительно вагона. Не впуская его в переднюю, я обещал устроить ему удобный проезд за границу и простился. Вскоре я прочитал в газетах о таинственном убийстве Селиверстова в Париже.[57]

Это был человек светски образованный, обладая миллионным состоянием, знал хорошо языки: немецкий, французский,

---

* Юрий Толстой — [товарищ] обер-прокурора синода, которым в то время был его однофамилец граф Дм[итрий] Андр[еевич] Толстой.

английский и итальянский. Он оставил капитал на учреждение в Пензе художественной школы, за что заслужил благодарность.[58] Со своей стороны, несмотря на мою ссору с ним, я вспоминаю с благодарностью о том внимании и содействии, которое он оказывал мне в первое время моей службы предводителем.

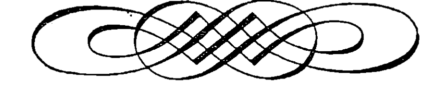
> «Сей повестью плачевной заключу
> Я летопись свою».

Писана она (то есть повесть) много лет спустя, после всего описанного здесь, но удостоверяю, что все было так в действительности. В этом каждый может убедиться по документам.

Утешаю себя тем, что рассказ мой будет не бесполезен тому, кто пожелает ознакомиться с тем переходным временем, когда уже было уничтожено крепостное право, но отрава его еще гнездилась в общественном организме.

Л. Ж.

Ялта. 1904 г.



ПРИМЕЧАНИЯ

Часть первая

[1] «Записки В. М. Жемчужникова (из посмертных бумаг)» были опубликованы Л. М. Жемчужниковым в «Вестнике Европы» (1899, февраль, стр. 634—664). «Личных воспоминаний нет в «Записках В. М. Жемчужникова», он не дошел до них»,— писал автор публикации.

[2] Михаил Николаевич Жемчужников окончил тот же Первый кадетский корпус, в котором позднее учились и его сыновья: Лев, Владимир и Михаил. Начал он службу адъютантом Аракчеева, но пробыл им недолго, так как, по словам В. М. Жемчужникова, «навлек на себя гнев Аракчеева».

Во время Отечественной войны М. Н. Жемчужников был в действующей армии, командовал батареей. Впоследствии он дослужился до генеральского чина, был сенатором, одно время — петербургским губернатором.

Занимая высокие посты в николаевской России, он, очевидно, был исполнительным, осторожным и достаточно ловким человеком. Вместе с тем Жемчужников был человеком порядочным, с чувством собственного достоинства и известной широтой взглядов.

[3] В конце 1830 года в Польше вспыхнуло восстание, начавшееся под знаменем борьбы за независимость. Николай I двинул туда 120-тысячную армию. При штабе главнокомандующего находился М. Н. Жемчужников.

[4] Речь идет об Александровском малолетнем царскосельском кадетском корпусе, закрытом военном учебном заведении для мальчиков восьми-десяти лет. Здесь их готовили для поступления в кадетские корпуса.

Воспоминания Жемчужникова об Александровском корпусе тем интереснее, что в том же заведении несколько позже, с 1850 по 1853 год, находился будущий известный баталист В. В. Верещагин.

[5] Некоторые дети (в том числе и оба брата Жемчужниковы) попадали в корпус в возрасте пяти-шести лет. Их записывали в особое «малолетнее» отделение, где с ними занимались классные дамы.

М. И. Бониот, к которой попал Л. М. Жемчужников, по воспоминаниям одного из бывших питомцев корпуса, «обладала в высшей степени добрым сердцем и любовью к детям».

[6] *В. А. Эртель* — известный педагог 1830—1840-х годов. Его методика преподавания иностранных языков предусматривала разучивание хором отдельных слов и предложений.

[7] *Андрей Петрович Сапожников* — живописец, член Общества поощрения художников, был главным наставником-наблюдателем черчения и рисования в военно-учебных заведениях. Система обучения, которую насаждал Сапожников, была передовой для своего времени, во многом близкой системе А. Г. Венецианова. У обоих художников главное содержание курса обучения рисованию состояло в пристальном изучении натуры. В качестве наглядных пособий Сапожников рекомендовал использовать специально сконструированные сооружения — модели, которые давали возможность понять суть перспективных сокращений. Об этих моделях и пишет Л. М. Жемчужников.

[8] О Кокореве, учителе не только Л. М. Жемчужникова, но и В. В. Верещагина, последний писал: «Кокорев занимался с нами очень исправно,

все время переходил от одного ученика к другому, исправляя рисунки...» («Детство и отрочество художника В. В. Верещагина», т. I. М., 1895, стр. 92—93).

[9] Удивительной оказалась судьба этого мальчика, который после окончания Пажеского корпуса мог, казалось бы, сделать блестящую карьеру. Иосиф (Юзеф) Гауке в 1863 году перешел на сторону восставшей Польши, воевал под псевдонимом Босак, командовал повстанческими войсками в Сандомирском, Краковском и Калишском воеводствах.

[10] Характеристика Николая I отвечает детским впечатлениям Жемчужникова. Позднее он относился к царю резко отрицательно. Однако мнение взрослого человека не заслонило иллюзий ребенка. Жемчужников честно говорит о той привязанности, которую испытывали к Николаю дети. Об этом же пишут многие мемуаристы 1840-х годов. Николай, как двуликий Янус, поворачивался лучшим своим лицом к тем, кому он хотел нравиться. И разобраться сразу в его сущности было нелегко. Не случайно даже А. С. Пушкин какое-то время верил в искренность и великодушие царя. И разве мог мальчик Л. Жемчужников увидеть двуличие того человека, который устраивал для них, детей, такие веселые игры?

Можно предположить, что для подобного «отеческого» отношения Николая I к кадетам были свои, особые причины. Ведь кадеты — будущие офицеры — опора армии, а армия для Николая — это самое любимое его детище. «Развлечения государя со своими войсками», по словам А. Х. Бенкендорфа, составляли «единственное и истинное для него наслаждение». Характерно при этом, что Николай I занимался с кадетами одними лишь физическими упражнениями. Известно, что он не любил мыслящих офицеров. Физически хорошо развитый и исполнительный служака — вот его идеал. Вольно или невольно, но к утверждению этого идеала сводилась вся «политика» Николая I по отношению к кадетским корпусам.

[11] Неранжированная рота предназначалась для младших кадет десяти-двенадцати лет.

[12] Л. М. Жемчужников иронически называет Клингера философом. В воспоминаниях В. М. Жемчужникова содержится очень четкая характеристика Клингера, «известного немца философа», на словах либерального, а на деле тирана-деспота, «который, чтобы пересоздать вверенных ему воспитанников в образовавшийся в уме его философский тип людей, сек их беспощадно, содержал сурово и грубо, наказывал несправедливо» («Записки В. М. Жемчужникова». «Вестник Европы», 1899, февраль, стр. 640).

[13] Имеются в виду романы М. Н. Загоскина «Кузьма Рощин» и В. Гюго «Ган Исландец», а также повесть А. С. Пушкина «Дубровский».

[14] Писать стихотворения А. М. Жемчужников начал еще в ученические годы (в училище правоведения). Пьесы для домашнего театра, о которых упоминает автор мемуаров, не сохранились.

[15] Фактическая неточность. Автор книги — И. Н. Захарьин.

[16] Кантонисты, как правило,— сыновья солдат и военных поселян, которых после обучения в специальных школах и военных частях направляли в армию солдатами. Л. Жемчужников, хоть он и учился скверно, в кантонисты все же не попал.

[17] Жемчужников пишет о романе «Вечный жид» («Агасфер». 1844—1845). Это сочинение, с ярко выраженной антиклерикальной направлен-

ностью и социальными мотивами, должно быть, поразило его воображение. В свое время в России и в Европе роман имел большой резонанс.

[18] Пажеский корпус занимал особое место среди военных учебных заведений царской России. «В этом привилегированном учебном заведении, соединявшем характер военной школы на особенных правах и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора, воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большей частью дети придворной знати. После четырех- или пятилетнего пребывания в корпусе окончившие курс выпускались офицерами в любой, по выбору, гвардейский или армейский полк... Кроме того, первые шестнадцать учеников старшего класса назначались каждый год камер-пажами к различным членам императорской фамилии... Таким образом, они могли сделать блестящую карьеру» (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.—Л., 1933, стр. 53).

[19] Пажеский корпус составлял одну из рот батальона, объединявшего еще два военных учебных заведения. Таким образом, ротному командиру в корпусе принадлежала значительная роль.

[20] Внешняя обходительность Жирардота, видимо, помешала Жемчужникову составить верное представление о ротном командире. Жирардот был типичным служакой николаевского времени: ограниченным, властным с подчиненными, почтительным с начальством, насаждавшим среди пажей сеть взаимного шпионства, проявлявшим интерес лишь к внешней стороне военного обучения. Резко отрицательную характеристику Жирардоту дал П. А. Кропоткин, поступивший в Пажеский корпус в 1857 году (там же, стр. 54—59).

[21] Здесь и далее характеристика, даваемая Жемчужниковым Ортенбергу, по-видимому, субъективна: отзывы других воспитанников корпуса говорят о нем как о необразованном, неприятном, лживом человеке.

[22] Старшим классом считался 1-й, младшим — 6-й. Существовал еще 7-й класс — начальный, для малолетних детей.

[23] П. К. Клодт в 1841 году сделал две группы «Укрощение коня». Их, а также два их повторения в бронзе, предполагалось поставить на Аничковом мосту в Петербурге. Однако тогда же две группы были посланы Николаем I в подарок прусскому королю в Берлин, а на мосту поставили две бронзовые и две алебастровые группы. Когда Клодт сделал новые отливки этих же групп, взамен алебастровых, то и они снова в 1846 году были посланы в подарок. На этот раз — в Неаполь. Клодту предложили сделать еще две бронзовые отливки по тем же образцам. Вместо этого скульптор создал два новых варианта «Укрощения коня», которые и были установлены на мосту в 1850 году.

Очевидно, работу над последними двумя группами и видел Л. М. Жемчужников в 1846—1847 годах.

[24] В собрании С. Г. Строганова находились замечательная коллекция древнерусских икон, скульптуры и очень ценная картинная галерея. Здесь можно было видеть полотна кисти Тинторетто, Рубенса, Пуссена, из русских художников — А. Матвеева, К. Брюллова и др. Картинная галерея, помещавшаяся в Строгановском дворце (на углу Невского проспекта и реки Мойки), была, с разрешения хозяина, доступна любителям живописи и художникам.

[25] П. К. Клодт, военный по образованию, и в годы учебы в артиллерийском училище и позднее, будучи офицером в конной артиллерии, много

рисовал и лепил лошадей. Позднее, уже завоевав некоторую известность как анималист, он поступил вольнослушателем в Академию художеств, но пробыл в ней недолго. Здесь он, естественно, должен был познакомиться с анатомией человека. Однако в целом К. П. Брюллов был прав: Клодт действительно многим обязан своей работе с натуры над изучением лошадей.

[26] Венгерская война — интервенция в революционную Венгрию, восставшую против австрийского ига, входила в число мер по удушению революции 1848 года в Европе, которые осуществлял «жандарм Европы» Николай I. Венгерская война началась в 1849 году.

[27] Брат царя великий князь Михаил Павлович — начальник военно-учебных заведений и главнокомандующий гвардейским и гренадерским корпусами, по словам одного из современников, считал, «что не нужны ни ученые, ни художники, а нужны только офицеры» (Ф. Ф. Львов. Из воспоминаний. «Русская старина», 1881, № 8, стр. 135).

[28] Автопортрет К. П. Брюллова (1848) в то время, когда Л. М. Жемчужников писал свои воспоминания, находился в Румянцевском музее в Москве. Ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Версия о том, что портрет создан в 3/4 часа, неубедительна. Совершенно очевидно, что Брюллов потратил на него гораздо больше времени. Об этом же пишет и ученик его Железнов: «Брюллов сел в вольтеровское кресло, стоявшее в его спальнях против трюмо, потребовал мольберт, картон, наметил на картоне асфальтом свою голову и просил Корецкому приготовить к следующему утру палитру... Впоследствии я узнал от самого Брюллова, что он употребил на использование своего портрета два часа» (цит. по кн.: Э. Ацаркина. К. П. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963, стр. 243).

[29] *«La Dame blanche» (франц.)* — «Белая дама» — романтическая опера известного французского композитора Буальдье.

[30] А. А. Комаров был близок кругу передовых русских писателей и, по-видимому, являлся весьма незаурядным человеком.

И. И. Панаев, вспоминая о В. Г. Белинском, пишет: «Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя и глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочим: П. В. Анненков, К. Д. Кавелин (приехавший в Петербург), А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и позже — Ф. М. Достоевский и Гончаров» («В. Г. Белинский в воспоминаниях современников». М., 1962, стр. 274).

Читая эстетику и русскую литературу в кадетских корпусах и других военно-учебных заведениях, Комаров резко выделялся из среды преподавателей этих заведений. Он приучал кадет думать, говорил с ними не только о литературе, но «о человеке, о его назначении, об обязанностях его как гражданина» («Военный сборник», 1862, № 3—4, стр. 430).

[31] Слово «фронт» употребляется в значении слова «строй». «Вон из фронта!» — «вон из строя». «Уйти за фронт» означает «выйти из строя».

[32] «Николай бдительно следил за тем, чтобы все сыновья дворян, кроме хворых, избирали военную карьеру»,— пишет П. А. Кропоткин, вспоминая эту эпоху (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.—Л., 1933, стр. 22).

Часть вторая

[1] Художественный отдел бывшего музея Александра III — ныне Государственный Русский музей. Таким образом, здесь и в дальнейшем всегда, когда Жемчужников пишет, что картины и скульптуры находятся в музее Александра III, следует иметь в виду, что теперь они хранятся в Русском музее.

[2] Полное название картины «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году».

[3] Жемчужников использует игру слов, образно раскрывающих содержание картины. По-латыни: «Rex» —царь, «ex» — частица, означающая «бывший», «Polonia» — Польша.

[4] Позднее восхищение этой картиной сменит трезвая оценка ее. Жемчужников поймет, что традиции академической, условно классицистической живописи, от которых не мог избавиться Брюллов, вступили в противоречие с его стремлением к реальности и исторической достоверности. «Внимательное изучение предмета, ум и добросовестность привели К. Брюллова к смертному приговору над самим собою, к сознанию своей слабости, бесхарактерности фигур в его картине «Осада Пскова» и недостатка в них народного типа», так резюмировал Жемчужников свои впечатления в 1861 году в статье «Несколько замечаний по поводу последней выставки в С.-Петербургской Академии художеств» («Основа», 1861, февраль, стр. 12).

[5] *Мумия* — коричневая краска.

[6] Первые выступления А. М. Жемчужникова в печати относятся к 1850 году, когда в «Современнике» появилась его одноактная комедия «Странная ночь». В следующем году там же увидело свет стихотворение «Притча о сеятеле и семенах». В 1852 году в том же журнале была помещена комедия в стихах «Сумасшедший». Таким образом, можно предположить, что Л. М. Жемчужников пишет об этих работах своего брата.

Впрочем, возможно, что речь идет и о первых опытах коллективного творчества будущего Козьмы Пруткова. В том же 1850 году была написана А. М. Жемчужниковым и А. К. Толстым, а в январе 1851 года поставлена в Александринском театре комедия-шутка «Фантазия». Писали ее каждый из авторов поактно, и, по словам первого из них, они тогда еще не знали, каким псевдонимом подписать эту общую пьесу. Комедия увидела свет как произведение «Y» и «Z». «Фантазия» не понравилась Николаю I и была запрещена.

[7] «Горячие молодые разговоры» вели Алексей, Александр и Владимир Жемчужниковы. Вспоминая ту атмосферу, в которой возникали сначала просто шутки, а позднее и афоризмы Козьмы Пруткова, А. М. Жемчужников писал: «Все мы тогда были молоды, и «настроение кружка», при котором возникали творения Пруткова, было веселым, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни» (Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1959, стр. 353).

[8] Поэма «Бродяга» создавалась с 1846 по 1850 год. Герой ее — беглый крестьянин. Впервые отрывки из поэмы были опубликованы в 1852 году в «Московском сборнике». Но еще задолго до этого «Бродяга» был известен публике. И. С. Аксаков читал поэму своим знакомым. Ее распространяли в списках.

[9] Жемчужников не совсем точно передает историю отставки Егорова. Образа, написанные Егоровым для недавно построенного Троицко-Измайловского собора, не понравились Николаю I, и художнику был объявлен выговор. Это случилось в 1835 году, а отставка Егорова последовала позже, в 1840 году, после того, как Николай I забраковал образа, созданные Егоровым для церкви св. Екатерины в Царском Селе. При этом царь потребовал, чтобы Академия художеств высказалась, достоин ли Егоров звания профессора. Совет Академии (инициатива принадлежала К. П. Брюллову) попытался выручить попавшего в немилость «в устарелые лета» художника и просил о том, чтобы Егоров был оставлен преподавателем. Николай ни с кем не посчитался. «В пример других уволить его вовсе от службы»,— таково было «повеление» царя (П. Н. Петров. Сборник материалов для истории императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования, т. II. Спб., 1864, стр. 404).

[10] Неясно, на какую именно «августейшую особу» намекает Л. М. Жемчужников. Известно лишь, что для получения звания профессора С. К. Зарянко, по решению Совета Академии художеств, должен был написать картину «Смерть св. Павла Фивейского» с тем (как значилось в решении Совета), «чтобы фигуры были в рост» (П. Н. Петров. Сборник материалов... т. II, стр. 132). Однако в том же году, вопреки этому постановлению, Зарянко получил звание профессора за портреты. Очевидно, здесь и вмешалась та самая «особа», о которой писал Л. М. Жемчужников.

[11] В Академию художеств в XVIII веке принимали мальчиков пяти-шести лет. Егоров прибыл туда из Московского воспитательного дома, куда его сдали после того, как подобрали в разграбленном калмыцком ауле.

[12] Действительно, в 1812 году звание профессора было присуждено Егорову, однако не за эту картину, а как бы «в долг». Картину же «Истязание Спасителя», подтверждавшую право Егорова на это звание, он окончил лишь в 1814 году.

[13] Большая часть собрания И. Н. Терещенко после революции перешла в собственность Русского музея. Позднее некоторые листы были переданы в Харьковский государственный музей изобразительных искусств. Местонахождение многих листов из терещенковского собрания ныне неизвестно.

[14] Эпизод с предложением избрать в «почетные любители» кучера царя произошел с А. Ф. Лабзиным, бывшим вице-президентом Академии художеств. В наказание Лабзин был сослан в Симбирскую губернию.

[15] Беляев работал в Исаакиевском соборе в 1853—1861 годах под руководством П. И. Витали. Возможно, часть скульптур выполнена Беляевым самостоятельно. Однако этот вопрос не исследован, так как творчество Беляева совершенно не изучено, его произведения не учтены. Известно только, что он работал главным образом как портретист, был автором ряда надгробий, сделанных для Петербурга, Москвы и провинции.

[16] В некрологе, посвященном Беляеву, Рамазанов с большой теплотой говорит о его человеческих качествах: «Не один молодой художник в крайние минуты жизни испытывал доброту сердца Александра Николаевича как нравственно, так и материально» (ГПБ, секция рукописей, ф. 708. ед. хр. 203, л. 20).

[17] Владыкин был земляком и хорошим знакомым В. Г. Белинского. Возможно, данное обстоятельство явилось причиной знакомства знаменитого критика с талантливым мальчиком из крепостных — К. А. Горбуновым. Белинский принял горячее участие в одаренном юноше и до конца жизни заботливо опекал его.

[18] Очевидно, этот эпизод связан с рассказом И. С. Тургенева «Певцы», хотя герои его — Яков Турок и Рядчик — никак не «списаны» с Л. М. Жемчужникова и К. А. Горбунова, да и исполняют в рассказе только русские песни. И все же существует определенная связь между соревнованием в петербургской квартире Тургенева и в бедной притынной корчме. Яков Турок (в «Певцах») и Горбунов поют одну и ту же песню — «Не одна во поле дороженька пролегала». И именно эта песня приносит победу ее исполнителю. Поэтому в литературе, посвященной Тургеневу, было высказано предположение, что соревнование между Горбуновым и Жемчужниковым имело место тогда, когда Тургенев (уже после опубликования «Певцов») решил заменить песню «При долинушке стояла», которую в первоначальном варианте рассказа исполнял Яков Турок, на более грустную «Не одна во поле дороженька пролегала». Может быть, чтобы проверить ее действие на слушателей, и было затеяно это состязание.

[19] По-видимому, не без участия Белинского Горбунов поступил в Художественный класс (так в то время называлось Училище) и был освобожден от крепостной зависимости. Находясь в постоянном общении с Белинским, Герценом и близкими им людьми, Горбунов достигает в конце 1830—1840-х годах наивысшего расцвета своего таланта. Он создает серию реалистических портретов выдающихся современников: В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, А. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева и др.

[20] После смерти Белинского, лишившись живительной для себя среды, Горбунов больше не достигает творческих высот. Обремененный семьей, он преподает в учебных заведениях, делает церковные росписи (в частности, в конце 1870-х годов работает в храме Христа Спасителя в Москве).

[21] Из рассказа Жемчужникова следует, что Бернардский не имел понятия об учении социалистов и даже не слышал слова «коммунист». В действительности вряд ли было так, а наивность и полное неведение, которые Бернардский продемонстрировал перед судом, были не более, чем удачным дипломатическим ходом.

Бернардский не мог не слышать об учении социалистов, хотя бы потому, что об этом много говорили на квартире у Петрашевского, где он неоднократно бывал. Кроме того, один из петрашевцев, Баласогло, который сам себя (в официальных показаниях!) называл коммунистом и фурьеристом, указал на Бернардского как на человека, духовно близкого ему.

Можно предположить также, что Бернардский должен был бы сыграть значительную роль, если бы осуществились планы петрашевцев — создание собственной типографии «с литографией и другими принадлежностями». Очевидно, на Бернардского можно было бы рассчитывать, так как он был причастен ко всему самому передовому, что делалось в 40-е годы в русской графике (иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя, издание «Иллюстрированного альманаха» Некрасовым и др.).

[22] Очевидная описка автора: «Ветхий завет в картинках» вышел в свет в 1846 году.

[23] «Днем Агин занимался со мной рисованием,— вспоминал М. П. Клодт,— вечером, когда зажигалась лампа, отец садился за работу, иногда лепил мелкие группы из воска или чинил хомут, мать шила или вязала; а Агин делал рисунки к «Мертвым душам» или эскизы к ним» (цит. по кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников второй половины XIX века, т. 1. М., 1962, стр. 358).

[24] М. В. Алтаева-Ямщикова в книге «Памятные встречи», в главе «Рисовальный учитель», приводит несколько другие сведения о последних годах жизни своего крестного отца А. А. Агина. Она пишет, что А. А. Агин служил не помощником начальника станции, а чертежником, и что умер он в имении Тарновских Качановке (Ал. Алтаев. Памятные встречи. М., 1957, стр. 11—58).

[25] Нижеприведенное письмо А. А. Марина в общебиографической части представляет собой почти дословное повторение краткой биографии П. А. Федотова, помещенной в книге Ф. Ростковского «История лейб-гвардии Финляндского полка» (Спб., 1881, приложение № 5, отдел II и III), и, в свою очередь, составленной из выдержек книги А. И. Сомова «П. А. Федотов» (Спб., 1878).

[26] Портреты Михаила Павловича Федотов делал для заработка. Подобные портреты имеются в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

[27] Генерал-майор Михаил Александрович Офросимов (командир Финляндского полка в 1833—1839 годах) был человеком просвещенным. Он писал стихи и известен как автор двух романсов, положенных на музыку Н. Титовым. Офросимов благожелательно относился к художественным занятиям Федотова.

[28] Жемчужников ссылается на книгу: П. Н. Петров. Сборник материалов..., ч. III, стр. 12.

[29] Выйдя в отставку, Федотов как офицер, прослуживший в армии десять лет, сохранил право ношения мундира.

[30] Федотов был признан «назначенным», то есть приобрел право на получение дальнейшего звания — академика.

[31] Ни одного «зрелого» эскиза к картине Федотова «Сватовство майора» в настоящее время не известно. Возможно, имеется в виду повторение картины, находящееся в Русском музее и в ряде случаев упоминавшееся в печати как первый вариант воплощения этой темы.

[32] Непосредственное отношение к картине «Сватовство майора» имела написанная Федотовым и читавшаяся им на выставке «рацея», начинающаяся со слов «Честные господа, пожалуйте сюда». Кроме этого, Федотов написал поэму «Майор» (или «Поправка обстоятельств женитьбой»), являющуюся как бы предисловием к картине и имеющую яркий сатирический характер. Поэма не была опубликована, но разошлась по России в многочисленных списках. В «Русской старине» за 1872 год (т. V, стр. 727 и т. VI, стр. 208) поэма и рацея впервые были напечатаны почти полностью со всеми известными в то время вариантами.

[33] Несколько рисунков с изображением А. С. Вяткина (в письме Марина ошибочно — А. А. Вяткина) находилось в коллекциях А. И. Сомова и самого Л. М. Жемчужникова (ныне хранятся в Русском музее).

Ф. С. Пашенный же обладал большим числом рисунков так называемой «нравственно-критической серии», которые сейчас также принадлежат Русскому музею.

[34] Федотов был знаком с тремя братьями Дружиниными — Григорием, Андреем и Александром Васильевичами, в разное время служившими вместе с Федотовым в Финляндском полку. Младший из них, Александр Васильевич, был с ним особенно дружен. В 1847 году Дружинин опубликовал свою первую повесть «Полинька Сакс», в которой выступил как писатель-демократ. Позднее, в 1850-е годы, он становится ярым проповедником теории чистого искусства и резко выступает против гоголевского направления в литературе.

После смерти Федотова Дружинин напечатал воспоминания о нем, отличающиеся большой теплотой и интересным биографическим материалом. Однако не случайно в этих воспоминаниях совершенно игнорируется социальная направленность федотовского творчества и фактическая причина гибели художника.

[35] Причина гибели Федотова сильно упрощена. (Ср. с мнением Л. Жемчужникова — стр. 111 настоящих воспоминаний).

[36] Нижеприведенный текст в несколько более литературной форме повторяет записку А. Н. Марина 1872 года, находящуюся в Институте литературы АН СССР (Пушкинский дом) (архив журнала «Русская старина», ф. 265, оп. 2, № 2977). Краткость и некоторая наивность записки, видимо, объясняются возрастом ее автора, которому в 1872 году было восемьдесят два года.

[37] Песня «На дубу кукушечка куковала» опубликована Ф. И. Булгаковым в книге «П. А. Федотов и его произведения...» (Спб., 1893, стр. 46). Текст, приводимый Мариным, значительно отличается от булгаковского — прежде всего совершенно другим заключительным куплетом, который здесь мало связан с предыдущим текстом.

[38] Выставка в Академии художеств, о которой идет здесь речь, состоялась в 1849 году.

[39] Басня «Пчела и цветок» написана Федотовым в 1849 году. Л. Жемчужников приводит отрывок из нее в том варианте, в каком басня была опубликована в книге Ф. И. Булгакова «П. А. Федотов и его произведения...» (стр. 42). По-видимому, более точная редакция стихотворения помещена в «Русской старине» за 1889 год (январь — март, стр. 170), где дается ссылка на автограф басни, принадлежавший Н. П. Вернер (урожд. Жданович).

[40] Картина не была написана. Эскиз к ней — «Николай I среди институток»» (1850—1851) — находится в Государственном Историческом музее в Москве.

[41] Опечатка. Следует читать — 1852.

[42] В мае — сентябре 1852 года Федотов находился в частной лечебнице венского профессора-психиатра Лейдесдорфа, расположенной близ Таврического сада.

[43] В течение двух месяцев содержание и лечение Федотова в больнице оплачивал его друг П. И. Рейслер. После ходатайства Академии художеств перед Министерством императорского двора для лечения Федотова было отпущено 500 рублей. О каком-либо участии наследника в судьбе больного Федотова сведений не имеется.

[44] «Гитарой» называли дрожки.

[45] Первоначальные эскизы сцены посещения Федотова, сделанные Бейдеманом и Жемчужниковым, хранятся в Русском музее. Местонахождение рисунка, выполненного ими сообща, не установлено. Представление о нем дает рисунок П. Ф. Маркова, гравированный Р. А. Утгоф для «Иллюстрированной газеты» за 1871 год (№ 1). Надпись под этим рисунком («с сепии А. Бейдемана рис. П. Марков 1853») дает основание предположить, что Марков использовал в качестве оригинала упомянутую копию Адамова, пройденную Бейдеманом. Оставаясь у Бейдемана, эта копия после смерти художника, видимо, была причислена к его собственным работам 1853 года, что и отразилось в надписи. Что касается Маркова, то этот рисунок (так же как натурное изображение домика Федотова для той же газеты) он сделал летом 1870 года.

[46] Федотов был перевезен в больницу «Всех скорбящих» на Петергофской дороге в конце сентября 1852 года. Об этом хлопотала его сводная сестра А. И. Калашникова.

В официальной переписке Академии художеств в качестве причин перемещения Федотова в эту больницу указано, что здесь «больше средств и приспособлений для пособия подобным больным». Однако, вероятнее всего, это было сделано потому, что лечение в казенной больнице должно было обходиться значительно дешевле.

[47] Лист с рисунками Федотова, сделанными в больнице, находится в Русском музее. Наибольший интерес из них представляет собой набросок: Николай I через лупу смотрит на Федотова.

Именно его имеет в виду Жемчужников, говоря о большом сходстве лиц. Несомненно, этот набросок не случаен в период последних проблесков сознания художника. Иносказание, символичность детали очень характерны для творчества Федотова (недаром в его поэзии большое место принадлежит басне). Увеличительное стекло, через которое на художника пристально смотрит царь, — слишком недвусмысленный символ особого «внимания», обращенного на Федотова. В этом наброске — трезвая оценка художником трагичности своей судьбы.

[48] Описка автора. Следует читать — 1852.

[49] А. И. Сомов. П. А. Федотов. Спб., 1878, вклейка между стр. 8 и 9. В настоящее время этот автопортрет находится в Русском музее.

[50] Автор ошибается — Левицкого звали Сергей Львович.

Часть третья

[1] Первые два абзаца были включены в текст «Моих воспоминаний» С. В. Бахрушиным, который взял их из воспоминаний, опубликованных при жизни автора в «Вестнике Европы» (1900, № 12, стр. 515).

[2] Акварели И. И. Подчасского выполнены на вполне профессиональном уровне. Несколько его работ хранится в настоящее время в Государственном музее Т. Г. Шевченко в Киеве и в Калининской областной картинной галерее.

[3] В эти годы (и позднее) Солдатенков покупал для своей коллекции произведения живописи и скульптуры русской школы. Начал это он еще

в 1840-е годы. Свое собрание он рассматривал как национальное достояние и после смерти завещал Московскому Румянцевскому музею, откуда после революции, в 1925 году, вещи эти перешли в Третьяковскую галерею.

[4] «Вдовушка», находившаяся в собрании К. Солдатенкова, теперь в Ивановском областном художественном музее.

Следует однако иметь в виду, что летом или осенью 1852 года картина не могла быть куплена у Федотова, так как он с мая этого года находился в больнице.

[5] Очевидно, замысел автора не был осуществлен. Записки оканчиваются на событиях 1870 года.

[6] П. А. Кулиш (украинский писатель, этнограф, историк, идеолог буржуазного национализма) в молодости был близок к либерально настроенной украинской интеллигенции, входил в Кирилло-Мефодиевское братство, занимая в нем крайне правые позиции.

В начале пятидесятых годов, когда Жемчужников познакомился с Кулишом, тот был увлечен собиранием народных песен и преданий для готовящейся книги «Записки о Южной Руси». Эта сторона деятельности Кулиша привлекла к нему симпатии Жемчужникова. На протяжении всех пятидесятых годов он был дружен с Кулишом, считал его искренним другом Т. Г. Шевченко и не догадывался, что, по сути дела, Кулиш, буржуазный националист, и Шевченко, революционер-демократ, стали идейными противниками.

Расхождения их, начавшиеся еще при жизни поэта, открылись со всею очевидностью после его смерти, когда Кулиш с позиций воинствующего реакционера-националиста отрицательно отзывался о поэзии Шевченко. Жемчужникова это поразило, и он резко оборвал прежние дружеские отношения с Кулишом. «Я был глубоко возмущен и огорчен, — писал Жемчужников, — недостойным поступком П[антелеймона] А[лександровича], который осмелился назвать Шевченко «пьяной музой». Я был в таком негодовании, что просил передать П[антелеймону] А[лександровичу], чтобы он ко мне не приезжал, что я ему при встрече не подам руки и что между мною и им полный разрыв» (ГРМ, секция рукописей, ф. 48, ед. хр. 6, стр. 23). Впоследствии Жемчужников пытался уяснить причину поступка Кулиша, но так и не понял социальной сущности, довольно наивно полагая, что все дело в одних его личных качествах: «Он был человек способный, но не талантливый; он чувствовал это, и затаенная зависть к таланту грызла его; он подкапывал репутацию таланта; хотел затмить Шевченко своими стихами, возомнив себя выше его» (там же, стр. 24).

[7] А. Е. Бейдеман участвовал в конкурсе на малую золотую медаль; для будущей картины была утверждена тема «Бегство в Египет».

[8] В нескольких штрихах Жемчужников дает образное представление об антипатичной личности Афанасьева-Чужбинского. Аналогичные высказывания мы встречаем и у Т. Г. Шевченко, который охарактеризовал Афанасьева, как нечестного в денежных расчетах человека, непомерно многословного, а главное — «подличающего» поэта.

Следует, однако, отметить, что Афанасьев оставил весьма ценные по фактическому материалу воспоминания о Шевченко. Положительной стороной деятельности Афанасьева явилось также изучение фольклора и этнографии Украины.

[9] Племянницей Г. С. Тарновского, вышедшей замуж за гусара Смирнова, была Юлия Тарновская, увлечение которой принесло П. А. Федотову горькое разочарование.

[10] М. И. Глинка гостил у Г. С. Тарновского летом 1838 года, когда в качестве капельмейстера придворной певческой капеллы совершил поездку по Украине с целью набора певчих. Здесь Глинка продолжал начатую в Петербурге работу над оперой «Руслан и Людмила», написал балладу Финна (рукопись партитуры имеет авторскую пометку: «Качановка 25 июня»). Одновременно с Глинкой в Качановке гостили его товарищ Н. А. Маркевич и художник В. И. Штернберг. В 1840-х годах неоднократно бывал в Качановке и Т. Г. Шевченко.

[11] Как известно, в Качановке в исполнении домашнего оркестра Тарновского впервые прозвучали написанные к тому времени части «Руслана и Людмилы».

[12] Один из младших представителей семьи Тарновских — В. М. Тарновский — пишет, что в Качановке было «много чудной бронзы и превосходных картин... Теньер, Деннер, Ван-Дик и др., а из русских — Воробьева, Штернберга, Брюллова, Иванова, Михайлова, Кипренского, Айвазовского и др. Было также много выдающихся копий, писанных очень хорошими художниками и представлявшими большой художественный интерес» («Столица и усадьба», 1915, № 40—41, стр. 7—8).

[13] Рассказ об Остапе Вересае опубликован в «Основе», 1861, август, стр. 23 и октябрь, стр. 77—99. Портрет помещен в «Живописной Украине», 1861, № XIII.

[14] Главой Академии считался ее президент, в это время — дочь Николая I великая княгиня Мария Николаевна. Но одновременно Академия художеств подчинялась Министерству императорского двора, в сущности — непосредственно Николаю I. В 1852 году, после смерти министра двора П. М. Волконского, его функции в части, относящейся к Академии художеств, взял на себя Л. А. Перовский, которого царь назначил «министром уделов, управляющим собственной его величества канцелярией, Академией художеств и всеми археологическими в России изысканиями».

[15] Упоминание о П. А. Федотове ошибочно: он умер в ноябре 1852 года.

[16] Жемчужников намекает на то, что Бейдеману не присудили награду, дающую право на поездку за границу,— большую золотую медаль, несмотря на то, что он дважды, в 1854 и 1855 годах, участвовал в конкурсах.

[17] Неприязнь, с которой Жемчужников говорит о Муравьеве, вице-председателе императорского Русского географического общества, вполне закономерна. Это тот самый Муравьев, один из реакционнейших деятелей самодержавия, которого за жестокость при подавлении польского восстания 1863 года современники прозвали «вешателем».

[18] *Будущая жена А. К. Толстого* — Софья Андреевна Миллер, та самая незнакомка, которой посвящено стихотворение «Средь шумного бала». Когда с ней познакомился Толстой, она была женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. С. А. Миллер известна как очень умная, образованная женщина. Она знала четырнадцать языков, переписывалась с Достоевским, Гончаровым, Фетом и другими писателями.

При всей любви к ней Толстого, она стала его законной женой только в 1858 году, после смерти матери поэта — А. А. Толстой. Графиня была против этого брака и вообще относилась враждебно к Софье Андреевне.

[19] П. А. Кулиш, так же как и Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомаров и В. М. Белозерский, был арестован по делу о Кирилло-Мефодиевском братстве, главной целью которого, как известно, было создание федерации славян и отмена крепостного права.

[20] Картина находится в Киевском государственном музее украинского искусства.

[21] С. А. Миллер и И. С. Тургенев познакомились примерно в 1851 году. Судя по дошедшим до нас письмам Тургенева к ней, она относилась к нему с симпатией, он же восхищался ее умом, добротой и вкусом. Все письма носят чисто дружеский характер, однако намек, брошенный Аксаковым, заставляет предположить, что какие-то слухи относительно С. А. Миллер и И. С. Тургенева ходили в обществе.

О том, что ее имя, имя жены, оставившей мужа, было предметом частых сплетен, писал ей и сам И. С. Тургенев: «Про Вас мне точно сказали много зла...» (И. С. Тургенев — С. А. Миллер, 6/18 марта 1853 года. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II. М.— Л., 1961, стр. 182). Вероятно, один из таких слухов и привез с собой И. С. Аксаков.

Это известие тем сильнее повлияло на Жемчужникова, что в то же самое время А. К. Толстой хлопотал о том, чтобы помочь Тургеневу, высланному в 1852 году в свое имение Спасское, и оба они, А. К. Толстой и И. С. Тургенев, относились друг к другу с неизменной симпатией.

[22] «Здесь Жемчужников, молодой художник с большим талантом, страстно любящий Малороссию, уже три года ее посещающий. Он рисует масляными красками, но genre (жанр.— *А. В.*) его несколько другой, чем у Трутовского» (И. С. Аксаков в его письмах, т. III. М., 1892, стр. 42).

И. С. Аксаков очень тонко подметил различие двух художников, интересующихся Украиной. По его мнению, Трутовский мало знаком с историей края и равнодушен к его прошлому. Жемчужников, напротив, привлек Аксакова своим искренним и серьезным увлечением Украиной.

[23] Жемчужников не знал, что Д. А. Лизогуб не только «давал деньги нигилистам», но что он был одним из активнейших участников народнического движения. Обладая большим состоянием, он, по словам С. Степняка-Кравчинского, «поддерживал целых полтора года почти все русское революционное движение» (С. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. М., 1960, стр. 78). В отношении себя Д. А. Лизогуб был очень экономен, жил в крайней бедности, дабы «не тратить ни копейки из денег, которые могли пригодиться на дело» (там же, стр. 76).

[24] Теплые слова, с которыми неизменно обращается Жемчужников, вспоминая семейство Лизогубов, и в частности Андрея Ивановича, соответствует тому благодарному, почти восторженному чувству, которое обнаруживает в письмах к А. И. Лизогубу ссыльный Шевченко. Человек, по отзыву Жемчужникова, «чрезвычайно добрый и простой» и вместе с тем образованный, А. И. Лизогуб с большой чуткостью отнесся к участи поэта. Он не только поддерживал Шевченко морально, но систематически посылал ему деньги, книги, бумагу, рисовальные принадлежности. Несмотря на то, что Лизогуб вел переписку с Шевченко через третьих лиц,

он попал под наблюдение III Отделения и по суровому предписанию последнего был вынужден в 1850 году прекратить всякие сношения с поэтом.

[25] В. А. Перовский, бывший в 1851—1857 годах оренбургским генерал-губернатором,— противоречивая, хотя и характерная фигура николаевской эпохи.

Будучи широко образованным человеком, он проявлял неизменный интерес к литературе и искусству, имел дружеские связи со многими выдающимися деятелями своего времени — А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, Н. М. Карамзиным, П. А. Вяземским. Известны случаи бескорыстной помощи Перовского талантливым людям. Однако, наряду с этим, он оставался верным царским слугой, отличавшимся самодурством и жестокостью. Эта двойственность в полной мере обнаружилась в деле Шевченко и отразилась в высказываниях современников, весьма по-разному оценивавших отношение генерал-губернатора Перовского к судьбе ссыльного поэта. Под напором друзей и знакомых Перовский обратился к управляющему III Отделением Л. В. Дубельту с просьбой уведомить его: «Можно ли что-либо... предпринять в облегчение участи Шевченко?» (Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962, стр. 417). Ответ Дубельта был отрицательным. После этого Перовский не стал заниматься судьбой поэта.

[26] А. К. Толстой был близок ко двору, императрица принимала его в узком избранном кругу. При этом А. К. Толстой всегда отказывался от придворной карьеры. Он стремился лишь, по его словам, «показывать монарху все вещи в их подлинном свете...» (А. К. Толстой. Собр. соч., т. IV. М., 1963, стр. 141). Верный этой своей миссии, А. К. Толстой защищал во дворце опальных русских писателей: в пятидесятые годы — ссыльного Т. Г. Шевченко и отправленного в деревню И. С. Тургенева, позднее — И. С. Аксакова и того же И. С. Тургенева за связи с «лондонскими пропагандистами» (Герценом и Огаревым). Особенно смелым со стороны Толстого было вмешательство в историю с Чернышевским. В 1864 году на вопрос царя о литературных новостях Толстой ответил, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». Александр II не дал ему договорить: «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском» (там же, т. 1, стр. 10—11).

При всем том, что А. К. Толстой мог сказать царю больше, чем многие придворные, о «плодотворном влиянии» А. К. Толстого вряд ли можно говорить. Царь относился к поэту доброжелательно, однако вряд ли полагался на него, не видя в нем покорного исполнителя своей воли.

[27] *«Зализными яблуками и кавунами»* (*укр.*) — железными яблоками и арбузами, то есть пушечными ядрами.

[28] Н. А. Маркевич сделал определенный вклад в изучение истории, быта и фольклора Украины. Его известная в свое время пятитомная «История Малороссии» (М., 1842—1843) вызвала к себе интерес современников благодаря опубликованным в ней документальным приложениям.

[29] Слово «неуважение» не совсем точно характеризует отношение А. Иванова к К. Брюллову, и его нельзя связать с Брюлловым-художником. Иванов понимал величину его таланта, однако его чисто личные качества не нравились Иванову. «Его разговор умен и занимателен,— писал Иванов о Брюллове,— но сердце все то же, все так же испорчено» (цит. по кн.: М. Алпатов. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество, т. II. М., 1956, стр. 197).

[30] Увлекшись идеями славянофильства и сблизившись с крупнейшим его представителем А. С. Хомяковым, Чижов задумал издание славянского журнала, в связи с чем в 1846 году выехал за границу, в южнославянские земли, находившиеся в то время под властью Австрии. Одновременно с пропагандой своих идей, ему, как пишут биографы, «случайно удалось помочь далматинцам выгрузить оружие» (Русский биогр. словарь, издаваемый под наблюдением А. А. Половцева, том «Чаадаев — Швитков». Спб., 1905, стр. 378). Это послужило поводом к тому, что следившие за деятельностью Чижова австрийцы пожаловались на него русскому правительству и при возвращении в Россию в 1847 году он был арестован. В своих показаниях III Отделению Чижов обнаружил характерную для славянофилов преданность царю и идее «соединения всех славян в одну монархию под скипетром России» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 1, 1955, стр. 305). Но, несмотря на столь верноподданническую мысль, царь запретил Чижову жить в обеих столицах. Этим объясняется длительное — вплоть до смерти Николая I — пребывание Чижова в украинской деревне.

[31] Нельзя объяснить одним только душевным надрывом и начинающимся психическим расстройством Гоголя появление «болезненных писем к друзьям» («Избранных мест из переписки с друзьями»), как это делает Л. М. Жемчужников. Крутой поворот Н. В. Гоголя к религиозному смирению и покорности есть итог мучительных для него поисков пути к справедливости в жизни. «Самодержавие вкупе и влюбе со всем русским бытом, которого оно было порождением и причиной, наступило на мозг и сердце Гоголя: потому он и корчится теперь, как червь, не смеет протестовать или протестует не против того» (А. Луначарский. Силуэты. Гоголь. Серия «Жизнь замечательных людей». М., 1965, стр. 195).

[32] Седневский дом Лизогубов в 1883 году сгорел, при этом погибли большая библиотека, собрание старинных документов и рисунки Т. Г. Шевченко.

[33] Шевченко познакомился и сблизился с Я. П. де Бальменом в 1843 году в период пребывания на Украине. А в следующем году, совместно с Башиловым, де Бальмен стал первым иллюстратором произведений поэта, сделав рисунки к рукописному «Кобзарю» (ныне хранящемуся в Институте литературы АН УССР). Де Бальмену Шевченко посвятил одно из самых революционных своих стихотворений — «Кавказ» (1845).

[34] Жемчужников неточен. По делу Петрашевского был арестован и осужден не Головин, а Василий Андреевич Головинский.

[35] История эта случилась не в Линовицах, а на вечере у помещицы Пирятинского уезда Вальховской, тетки С. П. де Бальмена. «Отставной поручик Михайла Закревский провозгласил тост «Да здравствует французская республика!» А родной брат его, отставной ротмистр Виктор Закревский, закричал — ура!» Так описан этот эпизод в деле Особого отделения канцелярии харьковского генерал-губернатора 1848 г., посвященном Закревским (Сб. «За сто літ». Под ред. Мих. Грушевського, кн. 2. Київ, 1928, стр. 103—104).

Присутствовавший на вечере и также навлекший на себя подозрение С. П. де Бальмен вместе с Закревскими был привлечен к ответственности: всех троих в сопровождении командированного из Петербурга полковника доставили в III Отделение. Через несколько дней их отпустили домой, но им вслед было направлено секретное предписание, «дабы местное началь-

ство усугубило меры, принятые для надзора за означенными офицерами» (там же, стр. 105).

Документы этого дела сообщают также, что С. де Бальмен «в видах большого сближения с народом носит бороду и вместе со всеми вышеупомянутыми Закревскими находится в тесных связях с известным Шевченком, который долго проживал у него и у Закревских» (Труды полтавской ученой архивной комиссии, вып. 9. Полтава, 1912, стр. 27).

Вольнодумство де Бальмена было недолгим, а его покровительство Шевченко — поверхностным. Этим, наверное, объясняется то, что во всей мемуарной литературе, посвященной современникам поэта, имя С. П. де Бальмена не упоминается.

[36] Пять братьев Закревских жили в том же Пирятинском уезде, где находилось и имение де Бальменов. К сожалению, Жемчужников не был знаком с третьим участником дела о тосте за французскую республику — В. А. Закревским, близким приятелем Шевченко, умным, истинно свободомыслящим человеком.

[37] Награда, которую получил Башилов «по живописи домашних сцен», была очень невелика: всего лишь малая серебряная медаль. Вряд ли она могла улучшить его положение как художника. Башилов создал себе имя не в жанровой живописи, а в графике. Широко известны его иллюстрации к комедии Грибоедова «Горе от ума» (1862). Особого внимания заслуживает работа Башилова над иллюстрированием «Войны и мира» (1866—1867) Л. Н. Толстого. Он сам поручил художнику эту работу; оба они обсуждали рисунки, советовались друг с другом.

[38] Башилов пришел в училище в 1860 году (тогда оно называлось еще Московским училищем живописи и ваяния). Он весьма энергично боролся против узкого профессионализма в образовании будущих художников, стремился превратить их в широкообразованных, думающих людей.

[39] Л. Н. Толстой утверждал, что эта песня есть результат коллективного творчества. Начало ее, очевидно, написано не им самим. Сохранилось несколько списков этой песни. Наиболее полный напечатан в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого» (т. 4, М.— Л., 1932). Отрывки из песни, приведенные Л. М. Жемчужниковым, несколько отличаются от известных вариантов как отдельными словами (см., например, прим. 42 к данной части), так и тем, что прибавляют к известному списку еще два четверостишия (о Сакене, читающем акафисты, и о Затлере).

[40] Слово «умный» имеет иронический оттенок. Меньшиков был, по словам знаменитого советского историка Е. В. Тарле, «и генерал-адъютантом его величества, и адмиралом, и морским министром, и одновременно главнокомандующим крымскими сухопутными и морскими силами, и кавалером разнообразнейших орденов, но никогда не был ни настоящим моряком, ни настоящим армейским военным. Он подшучивал всю свою жизнь над кем угодно и над чем угодно, но только не над своей полнейшей неспособностью понять свою малую компетентность в военном деле...» (Е. В. Тарле. Соч., т. IX. М., 1959, стр. 103).

[41] *«Незабвенный»* здесь и в дальнейшем — ироническое прозвище царя Николая I.

[42] В других известных вариантах песни строфа эта имеет несколько другой оттенок: вместо слова «отрада» стоит «награда». Здесь содержится

намек на новую генеральскую форму — шаровары красного сукна с золотым галуном, утвержденную Александром II.

[43] Л. М. Жемчужников дает слишком снисходительную характеристику М. Д. Горчакову. «Ветхий, рассеянный, путающийся в словах и в мыслях старец, носивший это громкое звание, был менее всего похож на главнокомандующего» (т а м ж е, стр. 255).

[44] Русская армия уходила с южной на северную сторону Севастополя не в ночь с 25 на 26, как пишет Л. М. Жемчужников, а с 7 вечера 27 августа до 8 утра 28-го.

[45] Неудачное нападение русских под командованием Хрулева на Евпаторию было в феврале 1855 года. Жемчужников не пишет об операции, задуманной в сентябре, после падения Севастополя, когда в Крыму ни русские, ни их противники не предпринимали никаких серьезных действий. Вероятно, в русской армии шли разговоры о предполагавшихся военных действиях около Евпатории, поскольку там сосредоточились большие силы союзников.

[46] *Allons, ma brave cavalerie!* (*франц.*) — Вперед, храбрая моя кавалерия!

[47] Намек на расстрел Николаем I декабристов (в начале его царствования) и на Крымскую войну (в конце правления).

[48] Небольшая неточность: восстание в Польше было подавлено не в 1830, а в 1831 году. Разгромленная Польша лишилась той, весьма ограниченной, конституции, которая существовала прежде.

[49] Летом 1831 года по России прокатились так называемые «холерные бунты». В Петербурге особенно крупным был бунт на Сенной площади (где находилась центральная холерная больница). Войска окружили площадь, и вот тогда-то и явился Николай I, при виде которого толпа пала ниц. Почти такая же мелодраматическая сцена была разыграна и во взбунтовавшихся военных поселениях. В сущности, царь был под надежной защитой, но в официальных кругах долго держалась версия, которую царь сам же и высказал, будто бы ему «удалось унять народ своими словами без выстрела» (цит. по кн.: С. Г е с с е н. Холерные бунты. М., 1932, стр. 28).

[50] Мнение Жемчужникова об Александровской колонне истинно лишь в той части, где он связывает ее возникновение с намерением царя увековечить память Александра I. Об этом говорят и рельефы на постаменте, и надпись там же: «Александру I благодарная Россия». Однако автор скульптуры, венчающей колонну, Орловский Б. И., сделал больше, чем требовали от него Николай I и главный архитектор А. А. Монферран. Скульптор связал свою группу с окружающим ансамблем и создал не столько памятник Александру, сколько, как писал сам Орловский, «аллегорию», прославляющую «событие необыкновенное, великое» — победу 1812—1813 годов. Жемчужников не совсем прав, когда утверждает, что группа на вершине столба смотрится только из дворца. Она хорошо видна и с других точек зрения.

[51] Петергофское болото, о котором пишет Жемчужников (до 1837 года — Охотничье болото), было осушено и превращено в так называемый Колонистский парк. Парки протянулись вплоть до «Бабьего гона», то есть до Бабигонских высот. Здесь был построен дворец Бельведер,

в Колонистском парке на искусственных островах — павильоны-дворцы «в итальянском стиле». Автор их — архитектор Штакеншнейдер.

[52] Этот «трогательный» (с тем оттенком иронии, с каким употребляет это слово Жемчужников) случай действительно имел место и очень характерен для Николая I, который любил подобные сентиментальные семейные сюрпризы. Для полноты сцены сам дом был построен в ложнорусском, якобы народном, стиле.

[53] Смысл этого противопоставления и всей фразы не совсем ясен. Вряд ли Жемчужников мог считать пожалование Пушкину звания камер-юнкера признаком истинной милости Николая, отлично зная подлинную цену этого звания. Можно предположить, что автор мемуаров, противопоставляя царские «милости» в адрес Пушкина и Полежаева, говорит с той иронией, которой придерживается во всей главе «Отголоски прошлого».

[54] В начале 1849 года вышло в свет сочиненное Ростовцевым «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений».

Упоминая Ростовцева в связи с декабристами, Жемчужников имеет в виду его предательство. Принятый незадолго до восстания в члены тайного общества, Ростовцев сообщил будущему императору Николаю о намеченном плане выступления. Совершив этот верноподданнический жест, Ростовцев вместе с тем стремился избежать репутации доносчика: он распространил среди друзей и знакомых специально составленную им записку, в которой оправдывал свои действия благородными побуждениями и тем, что он якобы скрыл от Николая имена организаторов восстания, а декабриста Е. П. Оболенского уведомил о совершенном поступке. Все это и служит Жемчужникову поводом для иронического упоминания о «невинной роли» Ростовцева.

[55] Речь идет о расправе с членами кружка М. В. Петрашевского в 1849 году. Л. М. Жемчужников неточно указал число приговоренных к смертной казни. Из двадцати трех обвиняемых, преданных военному суду, к расстрелу (с последующей заменой каторгой, арестантскими ротами и ссылкой на вечное поселение) были приговорены двадцать один человек. Среди них М. В. Петрашевский, Н. А. Спешнев, Н. А. Момбелли, Ф. М. Достоевский и др.

[56] Жемчужников использует игру слов: П. А. Клейнмихель был немцем, а по-немецки klein — означает маленький.

[57] С 1851 года, после того как Луи-Наполеон совершил государственный переворот и уничтожил республику, перед Николаем I, как и перед другими правительствами, встал вопрос о признании Наполеона. Николай I, казалось бы, в союзе с Пруссией и Австрией, а в сущности, лишь спровоцированный ими, отказался именовать Наполеона «дорогим братом». Австрия, Пруссия и Англия не сделали этого, и Николай остался в одиночестве. Наполеон был жестоко оскорблен.

Впрочем, не этот инцидент стал истинной причиной войны со стороны Франции. «Многим... в окружении Луи-Наполеона казалось, что загнанная в подполье «революционная партия», как тогда принято было называть всех возмущенных государственным переворотом, непременно в ближайшем будущем еще даст сражение новому режиму. Война, и только война могла бы не только длительно охладить революционные настроения, но и окончательно привязать командный... состав армии, покрыть блеском новую империю и надолго упрочить династию...» — писал о подлинной

причине войны выдающийся историк Е. В. Тарле (Е. В. Тарле. Соч., т. VIII, стр. 131).

[58] Имеется в виду стихотворение «На нынешнюю войну» неизвестного автора. По указанию царя оно было напечатано в «Северной пчеле» (1854, № 37).

[59] Речь идет о поражении Франции во франко-прусской войне 1870—1871 годов, во время которой царская дипломатия поддерживала хорошие отношения с Пруссией.

[60] Намек на террористическую деятельность народников.

[61] «*Оберегая жизнь народа и деньги*» — при Александре III не было войн, однако обуславливалось это отнюдь не миролюбием царя или заботой о народе, а его инстинктивным страхом перед какими бы то ни было переменами.

[62] Полк стрелков императорской фамилии был особым, привилегированным. Его создали в конце Крымской войны, как полк «царской семьи». Шефом полка числился сам император, в списках полка значились великие князья. При всем этом среди офицеров были люди, искренне стремившиеся попасть на фронт. Это поэты А. К. Толстой и В. М. Жемчужников, их приятель А. П. Бобринский и др.

Патриотические речи, шумиха вокруг нового полка, национальные его одежды и бравый вид солдат — все это начальная его история. За ней последовала другая — бессмысленная гибель большой части полка не на поле боя, а под Одессой от эпидемии тифа (см. дальнейшие воспоминания Л. М. Жемчужникова), гибель оттого, что полк разместили в зараженных помещениях. Пока сработала неповоротливая военная машина и вышел приказ о переводе остатков полка в другие места, умерло 1000 человек

[63] Та лень Агина, о которой пишет Жемчужников, была не ленью, а глубокой апатией, результатом большой внутренней трагедии, пережитой А. А. Агиным.

Он никогда не был ленив, и это знал Жемчужников, который на страницах тех же «Воспоминаний» писал, что Агин был очень работоспособен и требователен к себе. В конце 1840-х годов наступившая в России реакция выбила почву из-под ног Агина. Были запрещены его лучшие работы, распался круг друзей и единомышленников. Нужда заставила Агина хвататься за любые работы, она же толкнула его уехать из Петербурга. Бесконечные уроки рисования в Кадетском корпусе, частные уроки в богатых семьях — все это отнимало время, иссушало душу, мешало творчеству.

[64] Страшная эпидемия косила полк. Из 3200 человек, пришедших в Одессу, через месяц в строю осталось около 800. «Везде тиф, диссентерия, у нас нет докторов... у нас нет госпиталя, больные размещены по избам — один на другом, умирают лицом к лицу; места совсем нет»,— писал А. К. Толстой С. А. Миллер 26 декабря 1855 года (А. К. Толстой. Собр. соч., т. IV, М., 1964, стр. 80).

Часть четвертая

[1] Роман А. К. Толстого «Князь Серебряный», начатый еще в 1840-е годы, очевидно, был знаком Жемчужникову в рукописи. Роман был напечатан в начале 1860-х годов.

[2] Брюллов был художником, вокруг имени которого вскоре после смерти начались горячие споры его почитателей и противников. Последние, часто ошибочно отождествляя его произведения с тем, что насаждала реакционная Академия художеств, ниспровергали вместе с нею и наследие К. П. Брюллова. К их числу относятся В. В. Стасов, И. С. Тургенев и др.

Вопрос об оценке Брюллова приобрел особую остроту в конце XIX — начале XX века (когда и были созданы воспоминания Л. М. Жемчужникова), в связи со столетним юбилеем со дня рождения Брюллова. Отмечалось это событие довольно широко. На торжественном собрании в Академии с речью, прославляющей юбиляра, выступил И. Е. Репин. В противовес ему деятели лагеря «Мира искусства», и прежде всех А. Н. Бенуа, подвергли Брюллова резкой критике.

[3] Описка автора: М. Л. Невахович издавал журнал «Ералаш».

[4] К. А. Трутовский намекает на то, что он был вольноприходящим учеником Академии художеств.

[5] Far niente (*итал.*) — праздность, нега.

[6] Речь идет о так называемом русско-византийском стиле, о направлении в архитектуре и живописи 1840—1850-х годов. Его сторонники стремились возродить традиции национальной архитектуры, соединить элементы древнего русского домонгольского и византийского зодчества. Течение это нашло поддержку в официальных правительственных кругах: в нем увидели воплощение националистических идей «православия и народности».

Оценивая ныне русско-византийский стиль в целом, следует подойти к нему диалектически, указать не только на его эклектический характер и связь с идеями «официальной народности», но и на то положительное, что таилось в нем: поиски древних национальных корней в искусстве. Самые талантливые представители этого течения в живописи — Г. Г. Гагарин и А. Е. Бейдеман. В росписях храмов и в иконописи пытались они сочетать свойственные древнему искусству лаконизм, эмоциональную сдержанность с психологической напряженностью, характерной для романтического искусства первой половины XIX века.

[7] Слово «программа» употреблено в том значении, какое оно имело в кругу художников XIX века. Программа — картина, написанная по утвержденному Советом профессоров эскизу, для получения малой или большой золотой медали.

[8] П. С. Сорокин действительно был очень юн, когда в 1851 году Совет профессоров Академии художеств утвердил тему для его программной картины «Первые христианские мученики при св. Владимире». По одним сведениям, ему было пятнадцать лет (Ф. И. Булгаков. Наши художники... т. II. Спб., 1890, стр. 182), по другим — всего лишь двенадцать (С. Н. Кондаков. Юбилейный справочник Академии художеств. 1764—1914... ч. II. Пг., 1914, стр. 187). Медали ему не присудили. Через год он снова, и опять неудачно, участвовал в конкурсе, то же повторилось и в 1853 году. И лишь в 1854 году он получил наконец большую золотую медаль за картину «Вулкан и четыре главные циклопа вырабатывают стрелы для Юпитера». Вместе с медалью Сорокин приобрел право поездки за границу на шесть лет, куда и отправился в 1855 году.

[9] Творчество Делакруа вызывало горячие споры не только среди русских, но и среди французских художников. Новаторское творчество Делак-

руа-романтика резко противоречило принципам искусства позднего классицизма. Люди, прошедшие через школу последнего, привыкнув к условному, с рационалистически плавными линиями рисунку, упрекали Делакруа за «небрежность и неоконченность». Не оценив эмоциональность и истинно артистическую легкость его рисунков, они не поняли и его живописи.

[10] Подтверждением этих слов может служить письмо В. В. Верещагина В. В. Стасову: «Бейдеман первый, рядом примеров признанных тупиц, удостоенных в свое время всевозможных академических наград, поколебал мою веру в необходимость штриха, чистоты и опрятности рисунка... глупость условных форм и рамок стала ясна. Со времени знакомства с Бейдеманом я очень много рисовал на улице и прямо с натуры и еще более на память все виденное и замеченное; как тут было не опошлеть в моих глазах академическому псевдоклассицизму» (В. В. Верещагин — В. В. Стасову, 20 сентября/2 октября 1882 г. Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова, т. II. М., 1951, стр. 133).

[11] Опечатка. Следует читать — 1869.

[12] Рисовальная школа для вольноприходящих находилась в ведении Общества поощрения художников. Ее называли школой на Бирже, так как классы помещались в здании Таможенного цейхгауза недалеко от Биржи на Стрелке Васильевского острова (ныне помещение Зоологического музея АН СССР).

[13] Рисунок в память Манифеста 19 февраля «Апофеоз освобождения крестьян» воспроизведен в кн.: Ф. И. Булгаков. Наши художники... т. I, стр. 33

[14] Речь идет о С.-Петербургской артели художников, которую организовала группа бывших учеников Академии художеств во главе с И. Н. Крамским, демонстративно порвавших с Академией художеств в 1863 году.

[15] Явная авторская опечатка. Следует читать — 1869.

[16] Современное название картины (не наброска!) «Гомеопатия, взирающая на ужасы аллопатии».

[17] Л. М. Жемчужников здесь неточен. 14 «протестантов», ушедших из Академии художеств в 1863 году, позже составили не Общество передвижников, а С.-Петербургскую артель художников. Некоторые из членов Артели (И. Н. Крамской) поддержали идею организации Товарищества передвижных художественных выставок и вошли в него, но все же в новом объединении преобладали не члены Артели, а группа петербургских и московских художников (Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, И. И. Шишкин, В. Е. Маковский, В. Г. Перов и др.).

Часть пятая

[1] Имеется в виду «Сикстинская мадонна» (1515—1519) Рафаэля. То, что Жемчужников относился с предубеждением к Рафаэлю, не есть его личное качество, а черта, свойственная многим его современникам. «Ниспровержение» Рафаэля особенно характерно для той части художественной молодежи, которая резко отрицательно относилась к искусству, насаждаемому Академией художеств. Для них Рафаэль, поднятый на щит

и объявленный эталоном для подражания сторонниками академизма, был символом этого реакционного во второй половине XIX века течения. И в борьбе за новое реалистическое искусство был сброшен с пьедестала вместе с академизмом и Рафаэль. Показательно, например, что И. Е. Репин и В. В. Стасов, по словам последнего, «взапуски ругали «Сикстинскую мадонну» Рафаэля (идол всего света!)» (В. В. Стасов — А. В. Стасову, 5/17 мая 1883 г. В. В. Стасов. Письма к родным, т. II. М., 1958, стр. 132).

[2] В этой главе Жемчужников, называя города и фамилии своих знакомых, часто пишет их на двух языках: по-французски и по-русски. В тех случаях, когда он забыл это сделать, русские названия помещены в квадратных скобках.

[3] *Аспидная плита* — плита из сланца черного цвета (аспида).

[4] Во времена Л. М. Жемчужникова Шильонский замок служил государственной тюрьмой. «Только теперь уже не в подземелье, а в верхних этажах замка устроены были камеры для преступников с железными решетками на окнах. А подземелье и герцогский дворец показывают иностранцам» (В. М. Бонч-Бруевич (Величкина). Швейцария. М., 1923, стр. 154).

[5] Через несколько лет Жемчужников напишет еще более резкие слова в адрес Калама и его почитателей в России, прямо противопоставит холодный классицистический романтизм его полотен эмоциональной насыщенности картин современных французских художников. «К. Брюллов превознес Калама,— и все сняли шапки, все поклонились Каламу, и чуть не молятся на него; едут к нему учиться и не признают никого выше Калама. Все, что не Калам, то худо; и боже избави сказать, что Калам сух! Зато Е. Делакруа, Густ. Доре — даже не художники,— в них нет ничего, что мы привыкли уважать; они не выполняют никаких академических требований, для которых мы пожертвовали всем, и до которых дошли искалеченные. Для нас Тройон, Барри, Добиньи, Эбер не имеют никакой цены,— они не кончают! Что же называется окончанием?.. Сознаемся лучше, что мы просто не способны понимать их; они живут жизнью, а мы существуем рутиной!» (Л. М. Жемчужников. Несколько замечаний по поводу последней выставки в С.-Петербургской Академии художеств. «Основа», 1861, февраль, стр. 152).

[6] Мнение Жемчужникова об Айвазовском достаточно субъективно, хотя кое в чем он, пожалуй, прав, так как среди нескольких тысяч полотен, созданных прославленным маринистом, есть вещи шаблонные, повторяющие прежние его работы. Но было бы неверным утверждать, что Айвазовский остановился в своем развитии, перестал изучать натуру. Ведь именно его последние вещи (например, «Черное море», «Волна» и др.) относятся к лучшему, что он создал.

[7] Намек на смерть Наполеона I: «Орел» — Наполеон, «остров среди океана» — остров Св. Елены.

[8] Личность Васильева в изображении автора мемуаров обрисована только с одной стороны. Существовала еще и другая, но о ней он, разумеется, ничего не знал. Васильев был агентом III Отделения, и одна из его провокаций связана с именами русских художников. В 1859 году в конфиденциальном письме на имя посла в Париже группа художников протестовала против шпионской слежки за ними некоего А. А. Васильчи-

кова. Письмо подписали А. П. Боголюбов, Г. Я. Будковский, И. В. Штром, А. Ф. Чернышев, А. Е. Бейдеман, Л. Ф. Лагорио и др. Письмо стало известно Герцену (очевидно, его передал ему кто-либо из художников) и было опубликовано в «Колоколе». Васильев же распустил слух, будто бы Герцен выдал это письмо «одной парижской газете». «Клевете попа», по словам Герцена, художники не поверили (А. И. Герцен — Г. Я. Будковскому, 23 декабря 1859 г. Литературное наследство, т. 61, М., 1953, стр. 255).

[9] Картина хранится в Государственном Эрмитаже.

[10] Жемчужников неправ, характеризуя Брюллова таким образом. Все было сложнее и трагичнее. Брюллов не только не «отдыхал на своей славе», но, напротив того, мучительно искал пути для дальнейшего движения вперед, пытался найти их в «Осаде Пскова» и потерпел неудачу. Неудовлетворенность собой и творчеством еще более усугублялась мрачной общественной атмосферой, царившей при Николае I.

И при всем этом, в самые трудные для Брюллова 1840-е годы талант помог ему не «стать на вторую ступень» (в чем обвиняет его автор мемуаров), а удержаться на первой и даже сделать дальнейший шаг вперед. Речь идет о замечательных, истинно реалистических портретах Брюллова.

[11] Выбор первых учителей Жемчужниковым весьма характерен для него, еще совсем недавно искренне восхищавшегося романтическим историзмом Брюллова. Естественно, что Жемчужникова интересовал и Деларош, и Орас Верне, с их драматически эффектными картинами, отличавшимися историческим правдоподобием антуража. «Мы... требуем от других того, чему н а с учили, и не хотим брать то, что нам дают; считаем Г о р а с а В е р н е живописцем, благоговеем перед Д е л а р о ш е м и т. д. — так позднее напишет Жемчужников, вспоминая свое увлечение этими художниками.— Еще два-три художника — и вот весь наш мир, все наши сведения... Как оскорбляются, например, многие, если сказать, что венец нашего художественного мира — Деларош нравится нам потому только, что он ближе к нашим понятиям, а наконец и потому, что большинство из нас его не знает. По личному нашему убеждению, Деларош есть продолжение академизма, он несколько видел недостаток Академии, желал оторваться от нее и — не мог; силы его были слабы; природа не дала ему творчества» (Л. М. Ж е м ч у ж н и к о в. Несколько замечаний по поводу последней выставки в С.-Петербургской Академии художеств. «Основа», 1861, февраль, стр. 149). Последние слова относятся к 1861 году, когда Жемчужников многое переосмыслил и решительно порвал и с классицизмом Егорова, и с романтическим академизмом Брюллова.

[12] *Un pilori* (*франц.*) — позорный столб.

[13] Жемчужников цитирует песню Беранже «Безумцы»:

Мы преследуем, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев...
(Перевод В. Курочкина)

[14] В 1858 году В. А. Арцимович был назначен губернатором в Калугу.

[15] В ноябре 1857 года В. М. Жемчужников оставил военную службу. В этом же году он принял участие в организации Русского общества пароходства и торговли. Черное море, а может быть и Средиземное,— вот

предполагаемая сфера деятельности Общества. Для изучения условий и возможностей действий русского торгового флота в этих местах отправились за границу В. М. Жемчужников и директор-распорядитель Н. А. Новосельский.

[16] В воспоминаниях Е. Ф. Бейдеман, жены художника, раскрыта цель прибытия В. М. Жемчужникова в Париж: «Нарочно приезжал из Петерб[урга], чтобы расстроить союз своего брата по желанию старика отца» (ГРМ, секция рукописей, ф. 66, ед. хр. 1, стр. 50). Для этого В. М. Жемчужников должен был вместе с братом отправиться в путешествие, а за время его отсутствия предполагалось уговорить Ольгу «или выйти замуж, или совершенно перестать надеяться на продолжение сожительства со Львом [. . .], отец положительно требует, чтобы она оставила Льва.— Что дети ее будут обеспечены.— Все эти переговоры вел, кажется, батюшка (Васильев.— *А. В.*) как уполномоченный» (там же).

[17] *Vive l'Empereur!* (*франц.*) — Да здравствует император!

[18] Очевидно, Л. М. Жемчужников опирается на слухи, ходившие среди русских за границей. В действительности же чины в России не были отменены.

[19] С конца 1857 года в России началась деятельная подготовка будущей крестьянской реформы. С одобрения царя стали возникать губернские дворянские комитеты. Общее руководство подготовкой реформы осуществлял Главный комитет по крестьянскому делу.

[20] Жемчужников говорит о своей жизни в деревне Саксон, в кантоне Валлис, летом 1857 года.

[21] *Bal d'Opéra* (*бал Оперы*). Жемчужников пишет об общественных балах-маскарадах в Опере (Grand Opera), которые обычно устраивались во время масленицы и в середине поста. Начиналось веселье в полночь и продолжалось до утра. Такие же публичные балы происходили в разные дни и в других местах (Bal Mobile — передвижной бал; Chateau de fleurs — замок цветов).

[22] С конца XVIII века Венеция находилась под властью Австрии, это окончательно было закреплено решением Венского конгресса (1814—1815 гг.).

[23] «Славные и позорные дни» связаны с борьбой Венеции за независимость. 17 марта 1848 года (сразу же после начала революции в Вене) в Венеции вспыхнуло народное восстание. Была провозглашена республика. Австрийцы подвергли город осаде (следы ее видел Жемчужников), с мая по август 1849 года горожане мужественно защищались. 22 августа город капитулировал и вновь признал власть австрийской династии.

[24] La bella (*итал.*) — красавица.

[25] Скульптор П. П. Забелло, почти одновременно с Жемчужниковым бывший в Академии, оказался за границей не в качестве пенсионера ее, а также за свой счет. Встреча с Забелло могла напомнить Жемчужникову времена его учебы в Петербурге, а кроме того, поскольку Забелло знал украинских знакомых Жемчужникова, также и Украину.

[26] Жемчужников намекает на то, что царская дипломатия каждый раз, когда поднимался Балканский вопрос, должна была считаться с интересами Великобритании, Австрии и Пруссии.

[27] Автор ошибается: отчество архитектора С. Иванова — Андреевич.

[28] *Драгоман (араб.)* — переводчик.

[29] В начале XVI века Сирия и Палестина были захвачены турками и стали территорией Османской империи.

Боязнь консула Мухина увидеть русских, путешествующих по Сирии и Палестине, связана с тем, что еще совсем недавно Турция в союзе с Францией и Англией воевала против России. Консул боялся осложнений с Францией, поскольку Турция находилась в политической и экономической зависимости от своего «союзника».

[30] На пароходе по пути в Александрию Жемчужниковы встретили двенадцатилетнего мальчика — грека, скромного и робкого, которого родители отправили одного с острова Лемнос в Египет искать работу. Панаиотти, так звали мальчика, был приглашен Жемчужниковым в качестве слуги. Впоследствии В. М. Жемчужников «взял на свое попечение Панаиотти, который обучался в Одессе и, кажется, впоследствии сделался купцом» (Л. М. Жемчужников. Мои воспоминания из прошлого, ч. V. ГРМ, секция рукописей, ф. 48, ед. хр. 5, стр. 103) .

[31] В словах Жемчужникова «о споре разных наций» заключен намек на препирательство из-за «палестинских святынь», официальный предлог, послуживший к развязыванию Крымской войны. Позднее, при заключении мирного договора, вопрос о «святых местах» отступил на задний план.

[32] Аб-дель-Кадер (правильно Абд-эль-Кадир) с 1832 по 1847 год возглавлял борьбу алжирцев против французских завоевателей. В 1847 году был взят в плен; умер в изгнании в Дамаске.

[33] *Давид* — полулегендарный древнееврейский царь, поэт и певец. Псалмы Давида включены в Библию.

[34] Судя по воспоминаниям Е. Ф. Бейдеман, Жемчужников сделал это весьма своевременно.

Дело в том, что Ольга, не получая от него писем, восприняла это как признак скорого разрыва: «Значит, он и уехал потому, чтобы удобнее было расстаться. Она стала тосковать. Матушка попадья занялась подыскинем жениха и подыскала. Ей (Ольге. — *А. В.*) было предложено выйти замуж, но она категорически отказалась, а просила дать ей средства вернуться на родину. Вдруг нежданно-негаданно вернулся Жемчужников [...] и, не откладывая в долгий ящик, женился на ней» (ГРМ, секция рукописей, ф. 666, ед. хр. 1, стр. 50). На свадьбе были А. К. Толстой, А. Е. и Е. Ф. Бейдеман и И. В. Штром.

[35] *Et bien, M-r le Suisse n'est il pas encore mort?* (*франц.*) — Ну как, не умер ли еще этот швейцарец?

[36] *Le monsieur russe a tué sa femme* (*франц.*) — Русский убил свою жену!

[37] Граф Уваров купил картину Л. М. Жемчужникова «Рождество Христово» за 1000 франков. За столько же приобрела его работу «Малороссийская девушка» и великая княгиня Мария Николаевна.

[38] Вероятно, Жемчужников имеет в виду статью «Опыт беседы с молодыми людьми», напечатанную в «Полярной звезде» (1858, кн. IV). Четко, убедительно, популярно изложена в этой статье самая передовая для XIX века космогоническая теория Канта — Лапласа.

Часть шестая

[1] Н. А. Белозерская стала впоследствии редактором «Моих воспоминаний» Л. М. Жемчужникова. «Я вышлю все, что написано,— сообщал он ей,— с той целью, чтобы все проредактировать для печати опять-таки, не обращая никакого внимания на цензуру. Отдавать в печать я буду такую рукопись, в которой мы сами вычеркнем все, что следует» (Письмо Л. М. Жемчужникова от 2 января 1904 г. ЦГАЛИ, ф. 58, оп. 1, ед. хр. 33).

[2] Очевидно, речь идет о том, что в декабре 1857 года Л. М. Жемчужников через М. М. Лазаревского переслал Т. Г. Шевченко 150 рублей, собранных среди знакомых.

[3] Жемчужников довольно точно определяет, что «интерес появления нового журнала, его направление и силы» явились причиной объединения вокруг его редакции «весьма разнообразного общества».

Явившись первым литературным и общественно-политическим украинским журналом, «Основа» сыграла прогрессивную роль своей борьбой за право самостоятельного существования украинского языка и литературы. Несмотря на идейную противоречивость журнала, на его страницах печатались произведения Шевченко и Марко Вовчок, были опубликованы интересные материалы по истории и этнографии Украины.

Эти положительные тенденции «Основы» получили активную поддержку прогрессивной печати — прежде всего «Современника» и его идейного руководителя Н. Г. Чернышевского. Вместе с тем «Современник» серьезно критиковал редакцию «Основы» за националистический характер некоторых ее выступлений, за идеализацию крестьянской реформы 1861 года и другие заблуждения.

[4] Шевченко сам начал заниматься гравюрой еще в 1840-х годах. Вернувшись в 1858 году в Петербург, Шевченко целиком посвятил себя этой области искусства и достиг выдающихся успехов.

[5] «Букварь Южнорусскій. 1861 року, Санктпетербургъ. Въ печатни Гогенфельдена и К°. Составилъ Тарасъ Шевченко». Букварь успел выйти при жизни Шевченко. Небольшая книжечка букваря (24 стр.) написана на украинском языке. В ней помещены азбука, «склады» (тексты, разделенные на слоги), таблица умножения, несколько коротких молитв, две украинские народные думы и народные пословицы.

[6] Манифест об отмене крепостного права был подписан царем 19 февраля, но опубликован только 5 марта.

[7] Отрывок из поэмы «Сліпий» («Невольник») 1845 года.

[8] Речь идет о краткой автобиографии поэта, помещенной в журнале «Народное чтение» (1860, № 2) под названием «Письмо Шевченко к редактору». Письмо опубликовано в обработке П. А. Кулиша, который существенно переделал его, мотивируя это требованиями цензуры. Так, он исключил из него конкретные факты, связанные с арестом и ссылкой Шевченко, а также упоминание о цензурных преследованиях стихов поэта.

[9] Рукопись «Дневника», который Шевченко вел с 12 июня 1857 года по 13 июля 1858 года, была им подарена М. М. Лазаревскому. Л. Жемчужников подготовил дневник к печати и опубликовал его в «Основе» в 1861 году, однако с вынужденными цензурными сокращениями. Полный его текст напечатан лишь в советское время.

Приводимые далее отрывки из «Дневника» цитируются Жемчужниковым по публикации в «Основе» и уточняются нами лишь в случаях существенного их расхождения с подлинным текстом.

[10] Имеется в виду М. Лазаревский. Он первым сообщил Шевченко в письме от 2 мая 1857 года, что командиру Оренбургского корпуса послана бумага, в соответствии с которой поэт должен получить «отставку, с представлением избрать род и место жизни».

[11] Цитата из дневниковой записи Шевченко от 19 июня 1857 года (Т. Шевченко. Собр. соч. в пяти томах, т. 5. М., 1965, стр. 19).

Жемчужников неточно комментирует слова Шевченко, когда говорит о его стремлении оправдаться: поэт возмущался ложными обвинениями в свой адрес.

Как известно, Шевченко был выкуплен у помещика Энгельгардта на сумму 2500 рублей, вырученную от розыгрыша в частной лотерее портрета В. А. Жуковского работы К. П. Брюллова (апрель 1838 года). Участвовавшие в лотерее члены императорской фамилии приобрели билеты на 1000 рублей, и выиграла портрет императрица. В связи с этим и возникло мнение, что Шевченко освобожден из неволи на средства царской семьи.

Что касается обвинения в создании карикатур на высочайших особ, то оно сфабриковано в III Отделении и послужило основанием для запрещения Шевченко рисовать.

[12] Жемчужников боялся нового ареста поэта.

[13] Шевченко-художник с большой горечью сознавал, что многолетняя ссылка лишила его профессионального мастерства. «О живописи мне теперь и думать нечего,— писал он в дневнике.— Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаечника» (Тарас Шевченко. Собр. соч., т. 5, стр. 28).

[14] Цитата из дневниковой записи Шевченко от 27 августа 1857 года. Последняя фраза в подлиннике такова: «Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?» (там же, стр. 106).

[15] Под первыми двумя названиями Жемчужников имеет в виду задуманную Шевченко серию офортов «Живописная Украина», посвященных настоящему и прошлому украинского народа. В 1844 году вышел в свет единственный выпуск серии, состоящий из шести листов. «Блудный сын» — цикл из девяти рисунков на темы казарменной солдатской жизни.

[16] Жемчужников цитирует отдельные строки из стихотворения 1845 года «И мертвым, и живым».

[17] Отрывок из поэмы Т. Г. Шевченко «Невольник» (другое ее название — «Сліпий»).

[18] *«Грамотка» П. А. Кулиша* (Спб., 1857) — букварь для крестьян, включавший краткие сведения по арифметике, истории и географии.

[19] Отрывок из стихотворения Т. Г. Шевченко «Думи, думи мої. . .» (1839).

[20] Поэма Шевченко «Невольник» («Сліпий») впервые опубликована в журнале «Основа» (1861, кн. IV и 1862, кн. VI) в редакции, сделанной поэтом после возвращения из ссылки, когда он существенно переработал поэму, чтобы иметь возможность ее напечатать.

С 1925 года в качестве основного принят первоначальный вариант «Невольника» (1845), отобранный у Шевченко в 1847 году при аресте и найденный советскими исследователями в архиве III Отделения.

[21] Жемчужников имеет в виду тяжелое состояние здоровья Шевченко после пребывания в ссылке. В медицинском свидетельстве о смерти Шевченко говорится, что он «давно уже одержим органическим расстройством печени и сердца» и что в последнее время у него «развилась водяная болезнь..., от которой он и умер» (М. Коломійченко, В. Горленко. В боротьбі за життя генія. Київ, 1964, стр. 9).

[22] Отрывок из стихотворения Т. Г. Шевченко 1845 года «Заповіт» («Завещание»).

[23] Имеется в виду монография А. Я. Конисского «Тарас Шевченко. Хроника його життя» (т. 1, Львів, 1898; т. 2, Львів, 1901).

[24] При жизни Жемчужникова, в 1902 году, были поставлены два скульптурных изображения Шевченко в Екатерингофе. В 1911—1914 годах несколько памятников поэту появилось в селах Львовщины и в самом Львове.

[25] Строка из стихотворения Т. Г. Шевченко «Доля» (1858).

[26] Характеризуя взгляды «русской публики», Жемчужников видит, в сущности, лишь противоречия в лагере владельцев крепостных душ и не замечает того, что «пресловутая борьба крепостников и либералов... была борьбой *внутри* господствующих классов, большей частью *внутри помещиков,* борьбой *исключительно* из-за меры и формы уступок» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 174). Основная же борьба вокруг проведения крестьянской реформы развернулась не между крепостниками и либералами, а между помещиками и крестьянами, интересы которых отстаивали революционеры-демократы во главе с Н. Г. Чернышевским.

[27] Предложение было сделано самим Л. М. Жемчужниковым.

[28] Автор статьи Л. М. Жемчужников. Подробно о ней см. во вступительной статье.

[29] Сведения Л. М. Жемчужникова не совсем точны. Н. Г. Чернышевский был приговорен к четырнадцати годам каторжных работ с вечным поселением в Сибири. При утверждении приговора царем срок каторги был сокращен наполовину.

[30] «Попытки к бегству» Чернышевский не совершил. Это был лишь предлог, которым воспользовались царские власти для того, чтобы «упрятать» Чернышевского в еще более отдаленное место заключения — в Вилюйск.

[31] Человек, выдававший себя за великого князя Константина Павловича, умершего еще в 1831 году, был беглым крестьянином, крепостным помещика Кожина, Егорцевым. Как видно из «Отчета о действиях III Отделения... за 1861 год», Егорцев успел скрыться и «впоследствии умер» (по кн.: Крестьянское движение 1827—1869. Подготовлено к печати Е. А. Мороховец. Вып. 2. М.— Л., 1931, стр. 8).

[32] Лица, о которых пишет Жемчужников, могли быть самыми различными людьми. Из материалов, относящихся к крестьянскому движению,

видно, что «подстрекателями» были и крестьяне, и отставные солдаты, и бродяги-странники, и даже приходские священники. Однако возможно, что «разбрасывавшие фальшивые манифесты» были связаны с «Землей и волей». Известно, что Пензенская губерния была в сфере революционной агитации участников казанского студенческого революционного кружка. Члены его предполагали организовать в Поволжье большое крестьянское восстание. Они надеялись, что тем самым смогут помешать царизму расправиться с восставшей Польшей. Польские революционеры за границей отпечатали поддельный царский манифест, призывавший крестьян к захвату помещичьих земель.

[33] Очевидная авторская опечатка: следует читать — 1826. Панихида была назначена на 14 декабря 1861 года. А. А. Суворов говорил, что «он успел убедить профессоров Сухомлинова и Костомарова и студента Гена в «несвоевременности» этой демонстрации, что они всю ночь провели в разъездах по своим «знакомым» и что вследствие их увещаний демонстрация не состоялась» (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В двух томах, т. 1. М., 1961, стр. 133).

[34] *«Новые правила»* — целый ряд мер, которые должны были, по мысли правительства, ликвидировать относительную самостоятельность университетов и помешать малоимущим студентам-разночинцам получать высшее образование. Возмущенное студенчество отказалось признать эти правила. Правительство закрыло Петербургский университет. Студенты ответили демонстрацией на улицах Петербурга. В ответ правительство провело волну арестов.

[35] «Дело как бы приняло характер общеучебного и еще более расширяло симпатии к студентам, —вспоминал Н. В. Шелгунов.— Молодежь (неучащаяся), в особенности офицеры военных академий, тоже приняла горячее участие в студентах. Говорили даже, что и воспитанники военно-учебных заведений собираются на сходки и замышляют демонстрации» (Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания. В двух томах, т. 1. М., 1967, стр. 151). Студентам сочувствовали передовые профессора университета: Кавелин, Стасюлевич, Пыпин, Спасович, Утин и др. Сила общественного мнения была столь велика, что правительство пошло на некоторые уступки и ввело новый устав, несколько более либеральный, чем прежние «правила».

[36] Для таких надежд Л. М. Жемчужников имел основания. А. А. Суворов проявил себя во время своего губернаторства в Прибалтике как деятель либерального толка. Позднее, будучи петербургским военным губернатором, Суворов способствовал смягчению наказания, которому подвергли тверских мировых посредников (оппозицию либерального тверского дворянства, несогласного с реформой 1861 года). Известно, наконец, что Суворов разрешил арестованному Н. Г. Чернышевскому заниматься в крепости литературой.

[37] Характеристика Москвы, данная Жемчужниковым, получилась образной, но она неверна по существу. Не только в шестидесятые годы, но и много раньше Москва была центром передовой общественной мысли.

[38] А. В. Ступин в своих воспоминаниях называет иную дату — март 1800 года (Собственноручные записи о жизни академика А. В. Ступина. «Щукинский сборник», вып. III. М., 1904, стр. 382).

[39] К «податному состоянию» относились крестьяне, мещане, ремесленники, торговцы, права которых, по сравнению с лицами неподатного состояния (например, чиновниками), были ущемлены. Диплом Академии художеств давал право на освобождение от податного состояния и получение соответствующих привилегий.

[40] Речь идет о картине И. Макарова «Две мордовки». Современник Макаровых, помещик Пензенской губернии И. А. Салов, в имении которого отец и сын Макаровы расписывали церковь, свидетельствует, что эта картина была создана специально для представления в Академию, в связи с ходатайством К. А. Макарова о присвоении сыну звания художника («Русская мысль», 1897, № 7, стр. 8). И хотя, как пишет далее Жемчужников, на прошение К. А. Макарова не было ответа, все же Академия художеств не оставила просьбу без внимания. И. К. Макарову было присвоено звание неклассного художника в 1842 году.

[41] И. Макаров поступил в Академию художеств в 1845 году. В том же году он получил серебряную медаль второго достоинства за картину «Девушки на гулянье в русских костюмах» и за портрет.

[42] Большой пожар в Саранске произошел в июне 1852 года. В сохранившихся архивных списках погорельцев указан и губернский секретарь Кузьма Александрович Макаров (И. Воронин. Саранская живописная школа. «Советская Мордовия», 1957, 21 июля).

[43] По-видимому, год указан неточно (ср. с предыдущим примечанием).

[44] Опечатка автора. Следует читать: в 1849 году.

[45] И. К. Макаров был за границей в 1853—1855 годах.

[46] Речь идет о покушении на Александра II 4 апреля 1866 года. Стрелял в царя Д. В. Каракозов. О. И. Комиссаров-Костромской считался «спасителем» царя. Находясь в толпе, Комиссаров будто бы ударил Каракозова по руке, и таким образом пуля миновала царя.

[47] Может быть, имеется в виду И. Е. Репин. Он был очевидцем казни Каракозова, нарисовал его портрет. Местонахождение рисунка неизвестно.

[48] Е. А. Лансере известен как крупный русский скульптор-анималист второй половины XIX века. В 1869 году он получил от Академии художеств звание художника. Мелкая пластика Лансере была очень распространена в России и принесла ее автору популярность в довольно широких кругах.

[49] Крестьяне соседних с Аршуковкой сел много лет пользовались «по невниманию управляющего» (как считал Л. М. Жемчужников) землями, входившими в его имение. После приезда в деревню Жемчужников восстановил прежнюю границу. Однако «набеги табунами и пастьба скота» на земле, принадлежавшей Жемчужникову, были весьма часты. В ответ он задержал крестьянский скот и вернул его хозяевам лишь после уплаты штрафа. На эти деньги он вырыл широкую пограничную канаву, а остаток денег вернул крестьянам села Воробьевки.

Тогда-то и случилась та «история с нашим доктором», о которой упоминает Жемчужников. Доктора Лимберга, жившего у Жемчужникова, крестьяне приняли за самого помещика и наговорили ему грубости.

[50] Через несколько лет Жемчужников дал следующую характеристику губернского предводителя дворянства А. Н. Арапова: «Все, что было вред-

ного для местного населения, все находило себе приют в сердце **необходимого** для пензенских дворян Арапова» (ГРМ, секция рукописей, ф. 48, ед. хр. 6, стр. 221). Слова эти взяты из письма Л. М. Жемчужникова Н. Д. Селиверстову, написанного в конце 1869 года и перепечатанного автором в VI части «Моих воспоминаний», в главе XXV, ныне публикуемой с сокращениями.

[51] Губернатором в Пензе был Н. А. Александровский. «Сначала прикрывались все беззакония Арапова и дворянства, потом начались изобличения, которые поставили самого Александровского в ложное положение»,— писал Л. М. Жемчужников о конфликте между губернатором и предводителем дворянства (там же, стр. 222).

М. Е. Салтыков-Щедрин, который в 1865 году служил в Пензе, дал Александровскому резко отрицательную характеристику:

«Губернатор здешний вот каков: происхождение из польской шляхты, попал на службу к кн[язю] Воронцову, был у него чем-то вроде метрдотеля и, имея значительный рост и атлетические формы, приглянулся княгине и удостоился разделить ее ложе. Вследствие сего приобрел силу и у Воронцова, когда тот наместничал на Кавказе, и получил самые лакомые дела. Между прочим на долю его выпало следствие о греке Посполитаки, известном откупщике, который не гнушался и приготовлением фальшивых денег. Уличив Посполитаки как следует, Александровский (это губернатор-то и есть) предложил ему дилемму: или идти в Сибирь, или прекратить дело и отдать за него, Александровского, дочь с 6 мил[лионами] приданого. Выбран был последний путь,... Вот вам глава Пензенской губернии; остальное на него похоже, если не хуже...» (М. Е. Салтыков-Щедрин — П. В. Анненкову, 2 марта 1865 года. Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. XVIII. М., 1937, стр. 195—196).

[52] В. И. Енгалычев сменил Л. М. Жемчужникова на посту уездного предводителя дворянства.

[53] П. М. Катков, бывший предводитель дворянства Чембарского уезда, расхищал имение своих пасынков и истязал собственного сына. У Каткова были могущественные покровители, особенно его родственник, жандармский генерал барон Фредерикс. По решительному настоянию Л. М. Жемчужникова, вопреки противодействию покровителей Каткова, последний был арестован и дело его передано в сенат. После долгих проволочек Катков понес наказание: его лишили прав дворянства.

Алыбин — мировой посредник в Чембарском уезде, с чьей недобросовестностью Жемчужников сталкивался много раз. Открытый конфликт между ними произошел тогда, когда Алыбин избил одного крестьянского старшину и вырвал у него кусок бороды. Тот пожаловался Жемчужникову, который пристращал и одернул зарвавшегося мирового посредника.

[54] История с судьей (Н. Я. Тепловым) и стряпчим (помощником прокурора) связана с деятельностью Жемчужникова в Дворянской опеке. Здесь он пытался наладить отчетность и контроль над деятельностью опекунов, ущемив тем самым судью и стряпчего, имевших от «Опеки» немалые выгоды. Жемчужников добился того, что судью лишили опекунства. Впоследствии он как соучастник Каткова (см. прим. 53) был уволен со службы; административное наказание понес также и помощник прокурора.

Доктор Н. В. Керский, о котором пишет Жемчужников, спекулировал справками о нездоровье, которые он выдавал за определенную мзду будущим рекрутам. Жемчужников пригрозил Керскому строгой ревизией и заставил его прекратить производство ложных документов.

Волостные старшины Козьмин и Мокрев, очевидно, те взяточники и растратчики, которым покровительствовал уездный предводитель дворянства Н. Н. Енгалычев. Дела их Жемчужников разоблачил, когда стал учетчиком сумм, вносимых крестьянами.

[55] Селиверстов был связан с III Отделением достаточно крепко, так что в 1878 году некоторое время возглавлял его как шеф жандармов и начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии.

[56] С ведома и при покровительстве III Отделения издавалась официозная, крайне реакционная газета «Весть». Большая часть ее рассылалась бесплатно, в том числе всем предводителям дворянства. Жемчужников получил в начале 1869 года это издание. В ответ он написал протестующее письмо (в «С.-Петербургские ведомости»), в котором резко отмежевался от читателей «Вести». Аналогичные письма появились и в других газетах. Все это привело к закрытию «Вести» и к недовольству поступком Жемчужникова в «правительственных сферах», как выразился Н. Д. Селиверстов («Мои воспоминания из прошлого». ГРМ, секция рукописей, ф. 48, ед. хр. 6, стр. 202).

[57] Н. Д. Селиверстов в начале восьмидесятых годов вошел в тайную монархическую организацию «Священная дружина», целью которой была борьба с революционным движением. Доносы, шпионаж, подкуп — вот ее средства. Очевидно, в качестве тайного агента «Дружины» и доверенного лица III Отделения Селиверстов «в конце восьмидесятых годов был командирован с особо секретными полицейскими целями за границу, где — в Париже — был и убит в 1890 году эмигрантом Подлевским» (М. Е. Федорова. Московский отдел Священной дружины. «Голос минувшего», 1918, № 1—2, стр.162).

[58] Н. Д. Селиверстов завещал деньги на создание в Пензе рисовальной школы и художественно-промышленного музея. Пензенское художественное училище имени Н. Д. Селиверстова было открыто в начале 1898 года.

В истории его возникновения очень велика роль распорядителя завещания П. П. Семенова-Тян-Шанского, знаменитого ученого, путешественника, коллекционера, члена Академии художеств. Еще большее значение имела деятельность первого директора училища, по сути — его создателя, К. А. Савицкого, известного художника-передвижника. Он добился того, что в училище установилась прогрессивная система обучения, восторжествовали демократические начала. Ныне Пензенское художественное училище носит имя К. А. Савицкого.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Р. Утгоф. По рисунку П. Ф. Маркова, с сепии А. Е. Бейдемана и Л. М. Жемчужникова (?). Свидание А. Е. Бейдемана, Л. М. Жемчужникова с П. А. Федотовым в больнице. Гравюра на дереве. ГРМ.

П. А. Федотов. Автопортрет. Конец 40-х гг. Рисунок. ГРМ.

П. А. Федотов. Лист набросков, сделанных в больнице. Фрагмент. Федотов и Николай I. 1852. Рисунок. ГРМ.

Между стр. 368—369.

А. Е. Бейдеман. Портрет Л. М. Жемчужникова. 1850-е гг. Рисунок. ГРМ.

Л. М. Жемчужников, Л. Ф. Лагорио, А. Е. Бейдеман. Портрет Козьмы Пруткова. 1853. Рисунок. ГРМ.

Дворец в Сокиренцах. Фотография.

В. И. Штернберг. В Качановке, имении Г. С. Тарновского. 1838. Масло. ГРМ.

А. Я. Волосков. За чайным столом. В имении Г. С. Тарновского. Качановка, 1851. Масло. ГРМ.

А. Е. Бейдеман. Портрет Л. Ф. Лагорио. Рисунок. ГРМ.

Я. П. де Бальмен. Комната в доме Т. Г. Вальховской. Рисунок. ГРМ.

Т. Г. Шевченко. Портрет А. И. Лизогуба. 1846. Рисунок. Гос. музей Т. Г. Шевченко. Киев.

Т. Г. Шевченко. В Седневе. 1846. Сепия. Гос. музей Т. Г. Шевченко. Киев.

А. Е. Бейдеман. Автопортрет. 1850-е гг. Масло. ГРМ.

К. П. Брюллов. Портрет А. К. Толстого. 1836. Масло. ГРМ.

А. Е. Бейдеман. Портрет Е. Ф. Бейдеман, жены художника. 1850-е гг. Масло. ГРМ.

А. Е. Бейдеман. Портрет А. И. Герцена. 1850-е гг. Рисунок. ГРМ.

Л. М. Жемчужников. Портрет Н. А. Маркевича. Альбом «Живописная Украина». 1861. Офорт. ГРМ.

Т. Г. Шевченко. Автопортрет. 1860. Офорт. Гос. музей Т. Г. Шевченко. Киев.

Я. П. де Бальмен. Заставка к V главе рукописного «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. 1844. Рисунок. Институт литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР.

М. С. Башилов. Катерина. Иллюстрация к рукописному «Кобзарю» Т. Г. Шевченко. 1844. Рисунок. Институт литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР.

Т. Г. Шевченко. Портрет Ф. П. Толстого. 1860. Офорт. Гос. музей Т. Г. Шевченко. Киев.

Л. М. Жемчужников. Портрет О. С. Жемчужниковой (?). Рисунок. ГРМ

Л. М. Жемчужников. Остап Вересай. Альбом «Живописная Украина». 1861. Офорт. ГРМ.

В. В. Верещагин. С рисунка А. Е. Бейдемана «Старцы-нищие». 1862. Офорт. ГРМ.

Л. М. Жемчужников. Покинутая. 1860. Офорт. ГРМ.

Л. М. Жемчужников. Альбом «Живописная Украина». Фронтиспис. 1861. Офорт. ГРМ.

Л. М. Жемчужников. Старинные деревянные ворота. Седнев. Альбом «Живописная Украина». 1861. Офорт. ГРМ.

И. К. Макаров. Две девушки мордовки Рязанской губернии. 1843. Масло. ГРМ.

Л. М. Жемчужников. За штатом. 1862. Офорт. ГРМ.

К. А. Трутовский. Земское собрание в провинции. 1860-е гг. Местонахождение неизвестно.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

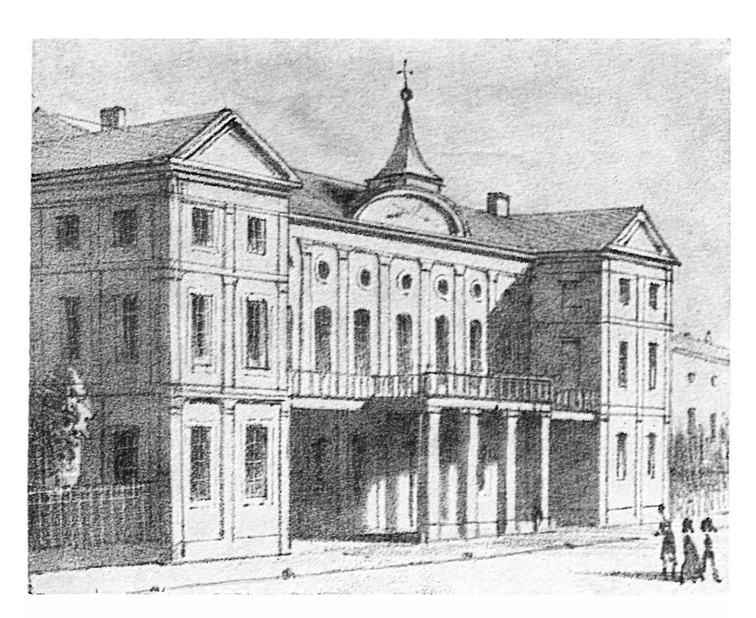
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

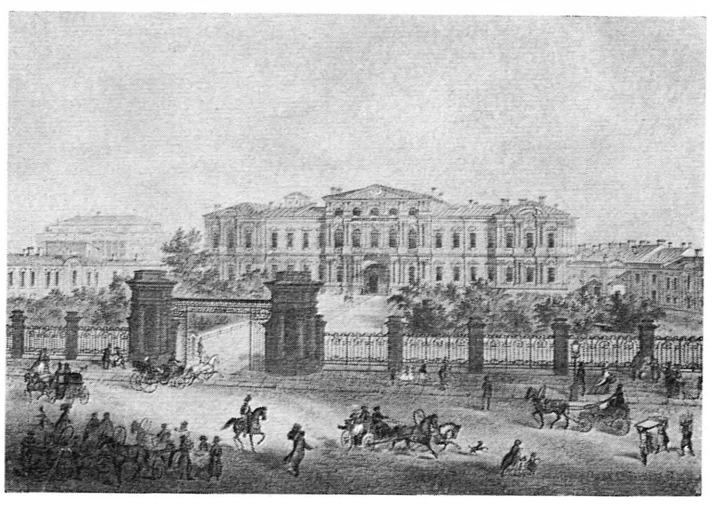
Лев Михайлович Жемчужников

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Редактор М. Дмитренко.
Художник В. Веселков.
Художественный редактор Я. Окунь.
Технический редактор И. Тихонова.
Корректор А. Решетова.

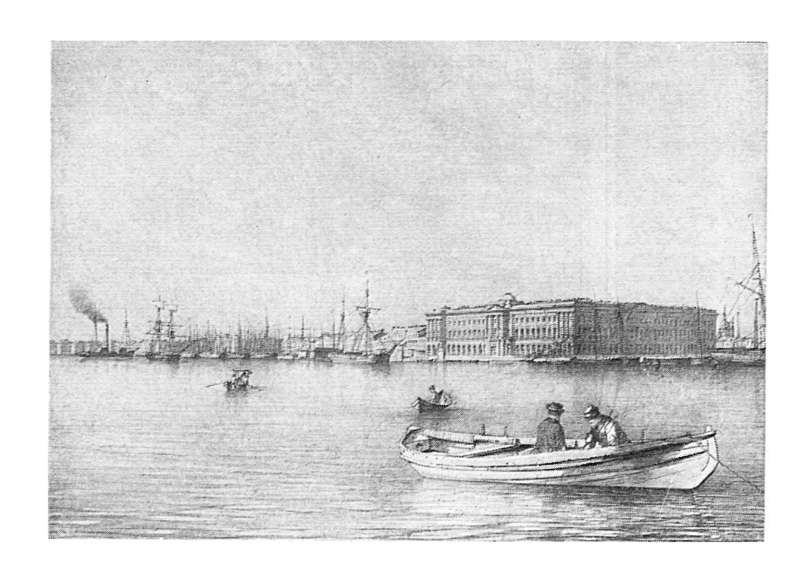
Сдано в набор 25/VI 1970 г. Подписано к печати 21/X 1970 г. Бумага для глуб. печати Неманская. Для иллюстр. мелов. Усл. печ. л. 28,02. Уч.-изд. л. 26,42. Тираж 30 000 экз. М-31732. Изд. № 1478. Зак. тип. № 1506. Издательство «Искусство». Ленинград, Невский, 28. Ленинградская типография № 4 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Социалистическая, 14. Цена 2 р. 14 к.

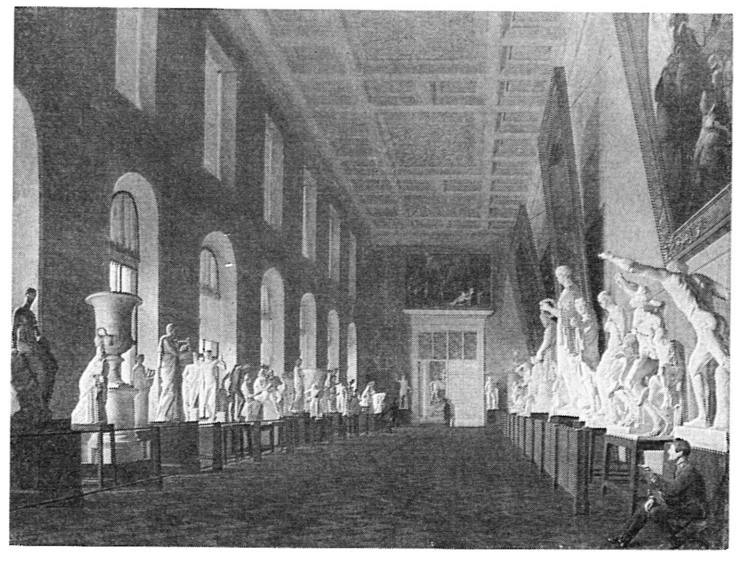




В. Ф. Тимм. Меншиковский дворец. Первый кадетский корпус

А. Н. Авнатамов, Н. Брезе. Литография с рисунка И. И. Шарлеманя. Здание Пажеского корпуса. 1859





Неизвестный литограф, с рисунка Ф. Перро. Академия художеств

Г. К. Михайлов. Вторая античная галерея в Академии художеств



Л. М. Жемчужников. Награжденный талант (А. Е. Егоров)

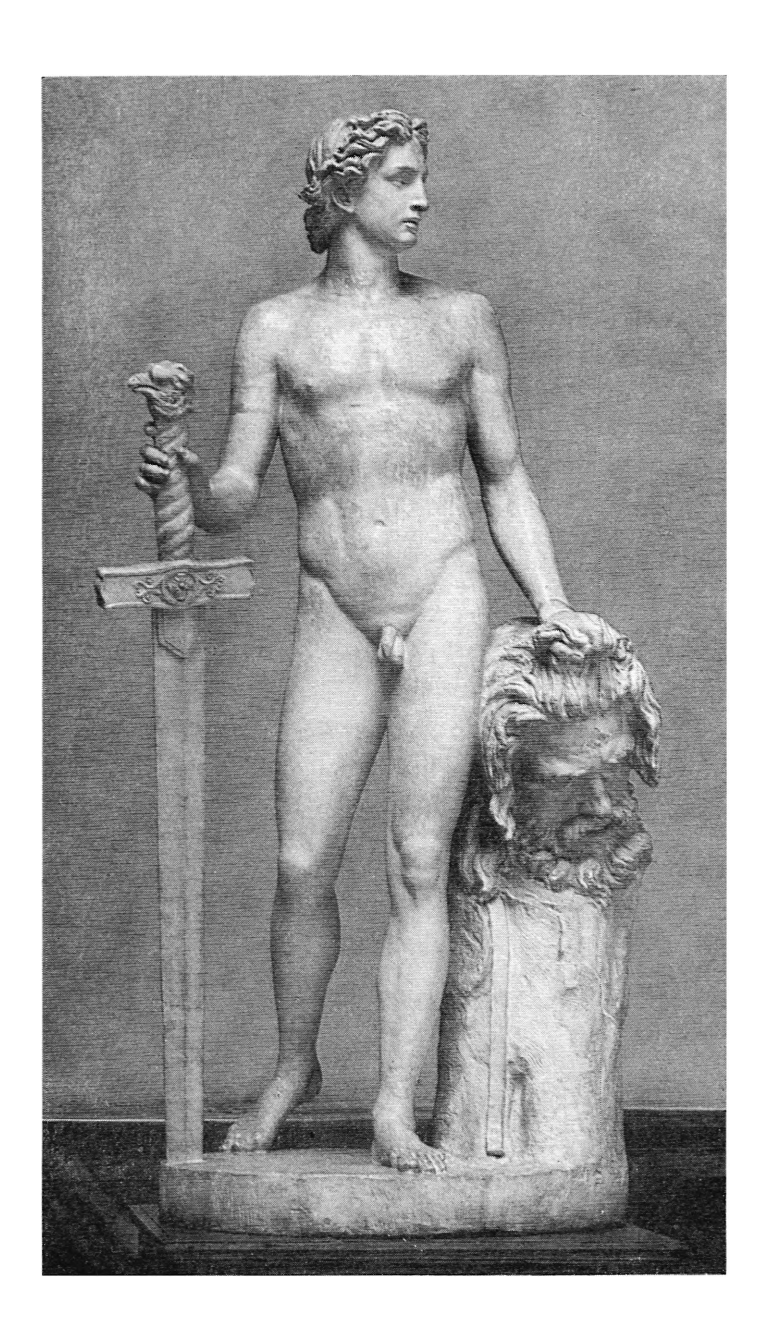




А. Е. Егоров. Автопортрет

К. П. Брюллов. Автопортрет. 1848

А. Н. Беляев. Давид-юноша — победитель Голиафа. 1849





А. М. Жемчужников. Фотография. 1859

К. П. Брюллов. Портрет В. А. Перовского. 1837

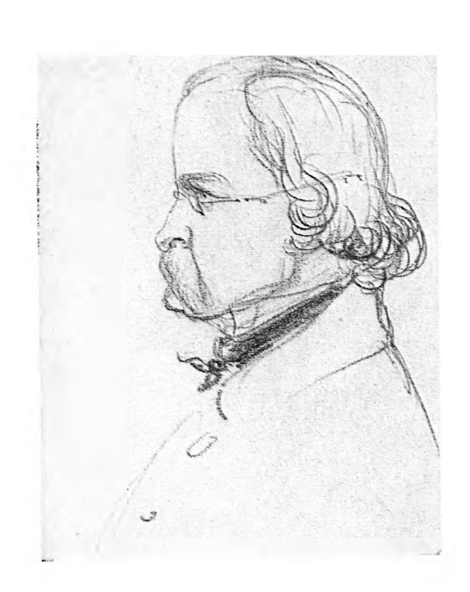


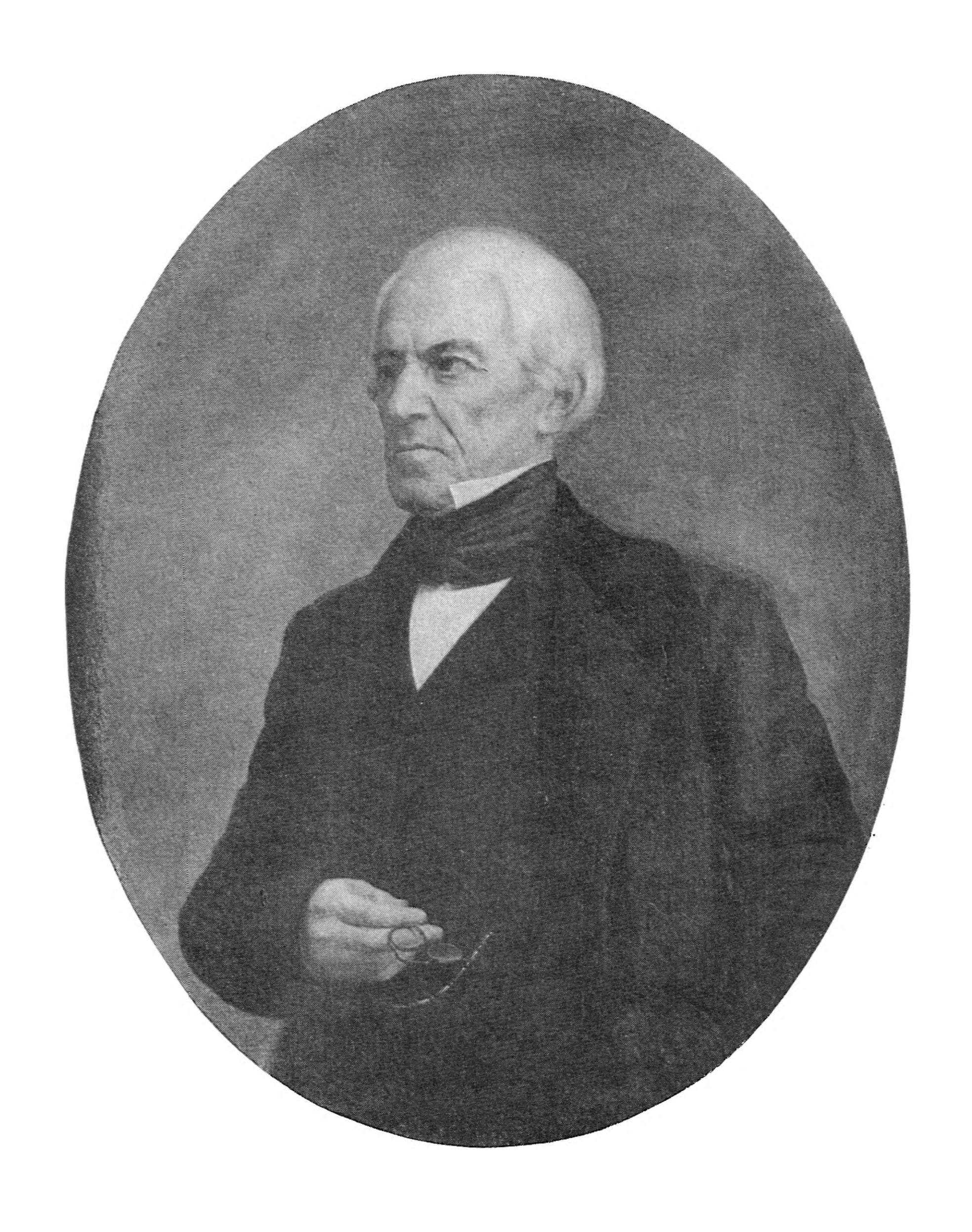


К. А. Горбунов. Портрет В. Г. Белинского. 1843

А. Е. Бейдеман. Портрет А. А. Агина

М. П. Клодт. У скульптора А. Н. Беляева





К. А. Горбунов. Портрет М. Н. Жемчужникова. 1865



К. А. Горбунов. Портрет В. М. Жемчужникова. 1854



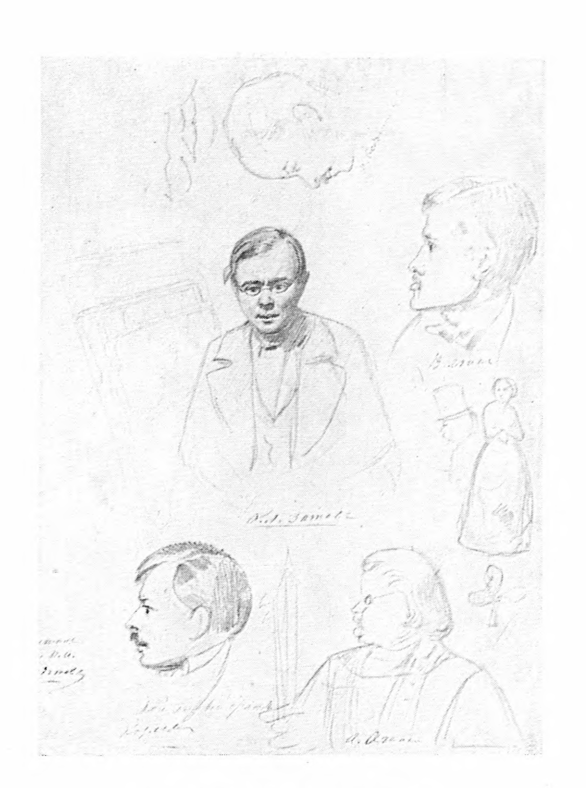


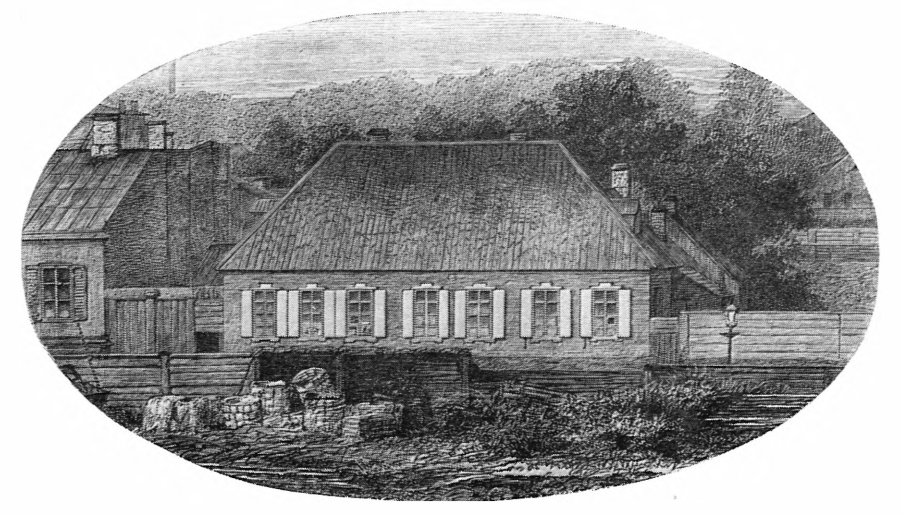
А. А. Агин. Чичиков и Манилов. Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»

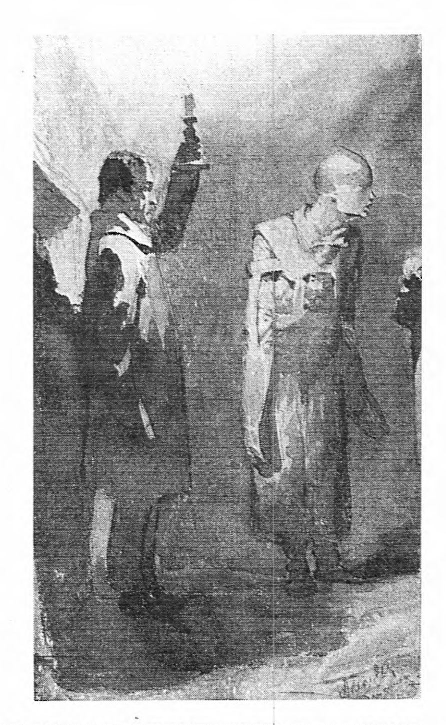
А. А. Агин, Е. В. Бернардский. Детство Чичикова. Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»

П. А. Федотов. Лист набросков с портретами П. А. Федотова, А. А. Агина, В. А. Агина и др. 1846—1848

Р. Утгоф. Гравюра на дереве с рисунка П. Ф. Маркова. Дом на 21-й линии Васильевского острова, в котором жил П. А. Федотов. 1870











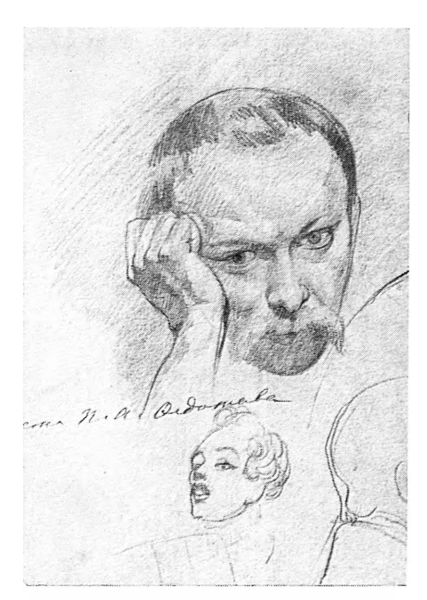
А. Е. Бейдеман. Свидание с П. А. Федотовым в больнице. 1852

Л. М. Жемчужников. Свидание с П. А. Федотовым в больнице. 1852

Р. Утгоф. Гравюра на дереве по рисунку П. Ф. Маркова, с сепии А. Е. Бейдемана и Л. М. Жемчужникова (?). Свидание А. Е. Бейдемана, Л. М. Жемчужникова с П. А. Федотовым в больнице.

П. А. Федотов. Автопортрет. Конец 40-х гг.

П. А. Федотов. Лист набросков, сделанных в больнице. Фрагмент. Федотов и Николай I. 1852

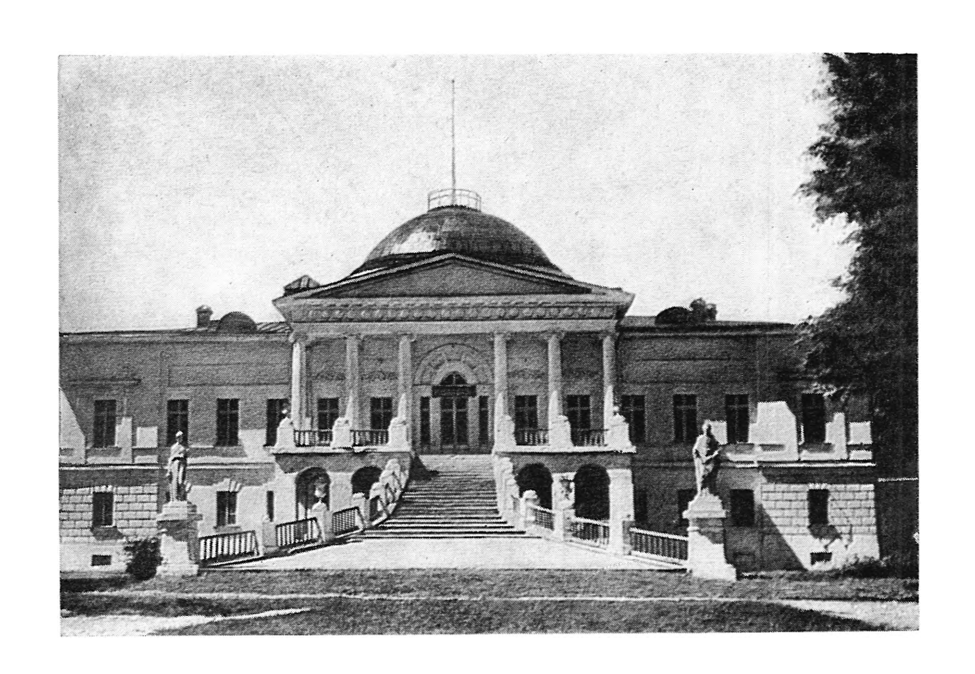






А. Е. Бейдеман. Портрет Л. М. Жемчужникова. 1850-е гг.

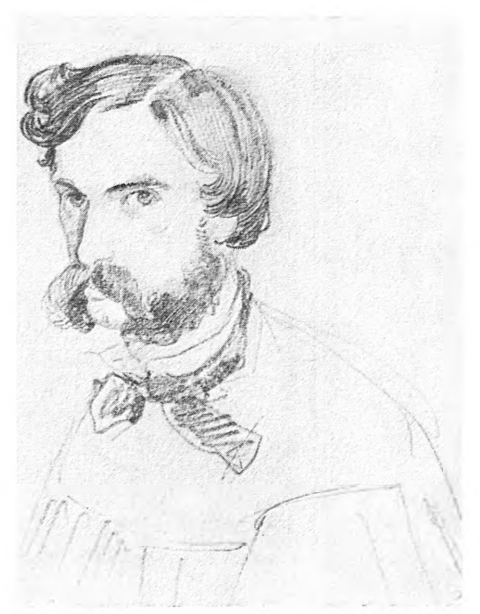
Л. М. Жемчужников, Л. Ф. Лагорио, А. Е. Бейдеман. Портрет Козьмы Пруткова. 1853



Дворец в Сокиренцах.

В. И. Штернберг. В Качановке, имении Г. С. Тарновского. Изображены: М. И. Глинка, В. И. Штернберг, Г. С. Тарновский, Н. А. Маркевич. 1838

А. Я. Волосков. За чайным столом. В имении Г. С. Тарновского Качановка. 1851



А. Е. Бейдеман. Портрет
Л. Ф. Лагорио

Я. П. де Бальмен. Комната
в доме Т. Г. Вальховской

Т. Г. Шевченко. Портрет А. И. Лизогуба. 1846

Т. Г. Шевченко. В Седневе. 1846





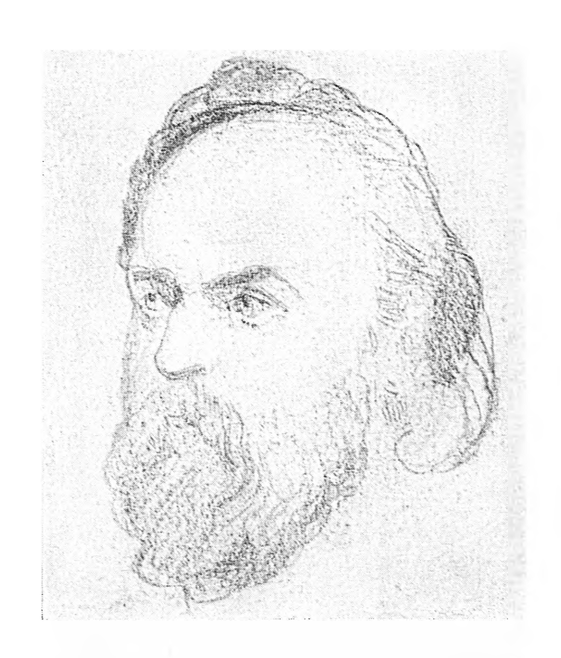


А. Е. Бейдеман. Автопортрет. 1850-е гг.

К. П. Брюллов. Портрет А. К. Толстого. 1836



А. Е. Бейдеман. Портрет Е. Ф. Бейдеман, жены художника. 1850-е гг.

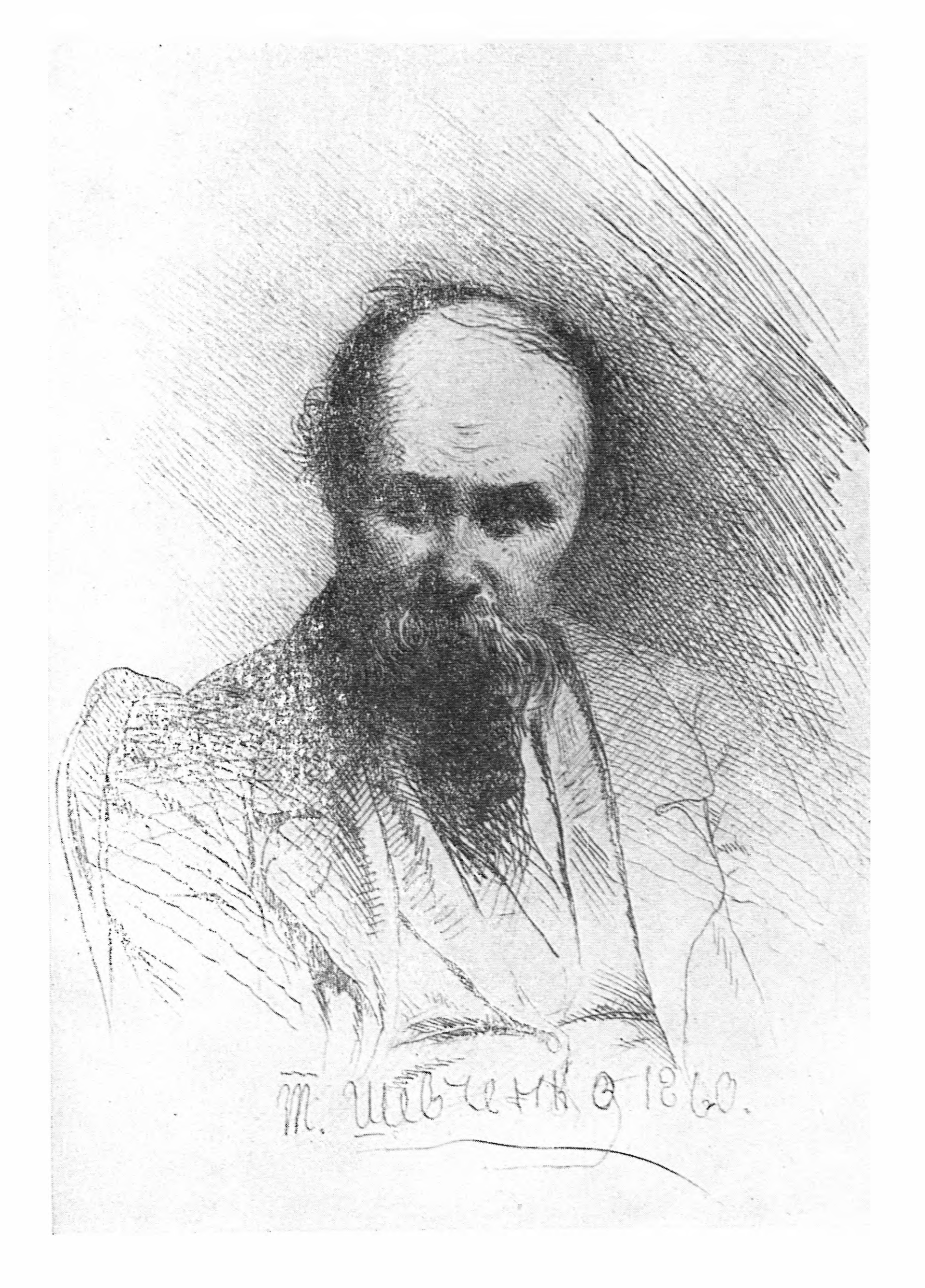




А. Е. Бейдеман. Портрет А. И. Герцена. 1850-е гг.

Л. М. Жемчужников. Портрет Н. А. Маркевича. Альбом «Живописная Украина». 1861

Т. Г. Шевченко. Автопортрет. 1860


Т. Шевченко 1860.





Я. П. де Бальмен. Заставка к V главе рукописного «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. 1844

М. С. Башилов. Катерина. Иллюстрация к рукописному «Кобзарю» Т. Г. Шевченко. 1844

Т. Г. Шевченко. Портрет Ф. П. Толстого. 1860



Л. М. Жемчужников. Портрет О. С. Жемчужниковой (?)



Л. М. Жемчужников. Остап Вересай. Альбом «Живописная Украина». 1861

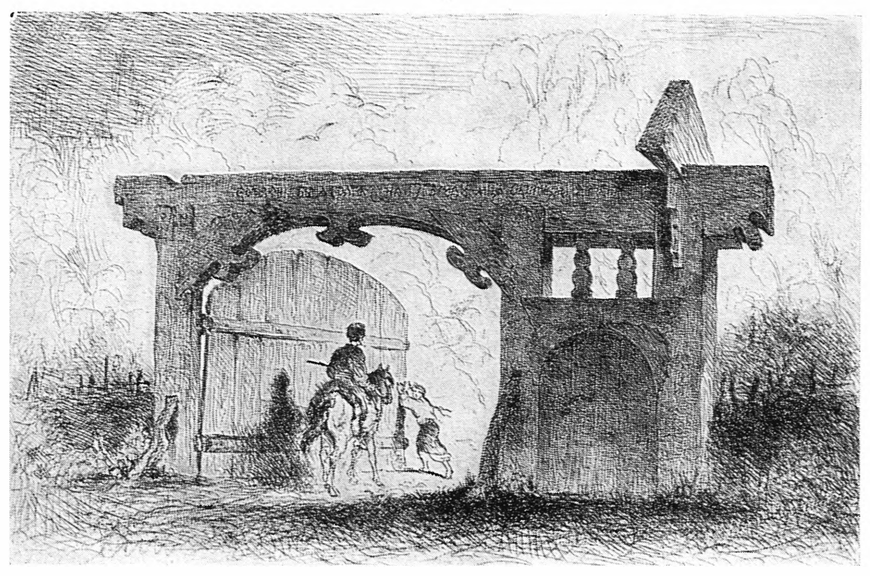




В. В. Верещагин. Офорт с рисунка А. Е. Бейдемана «Старцы-нищие». 1862

Л. М. Жемчужников. Покинутая. 1860


1861
Живописна
Украина





Л. М. Жемчужников. Альбом «Живописная Украина». Фронтиспис. 1861

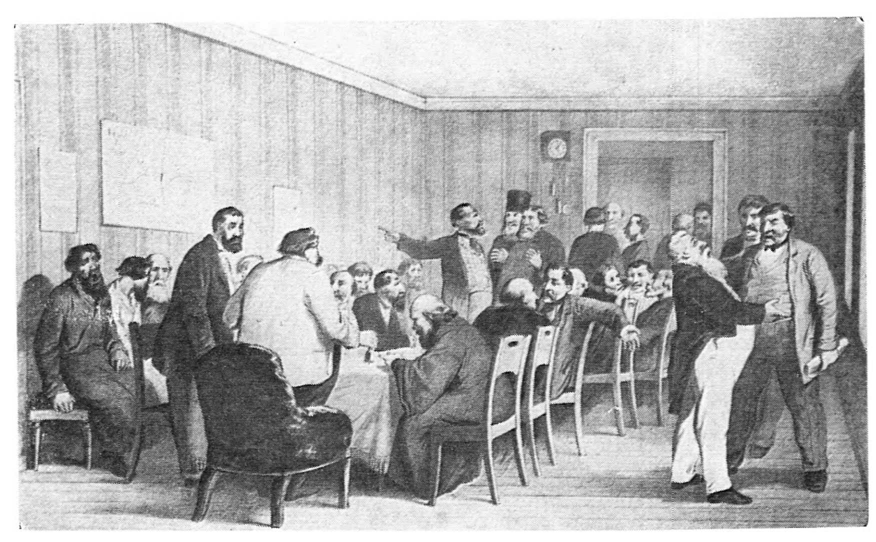
Л. М. Жемчужников. Старинные деревянные ворота. Седнев. Альбом «Живописная Украина». 1861

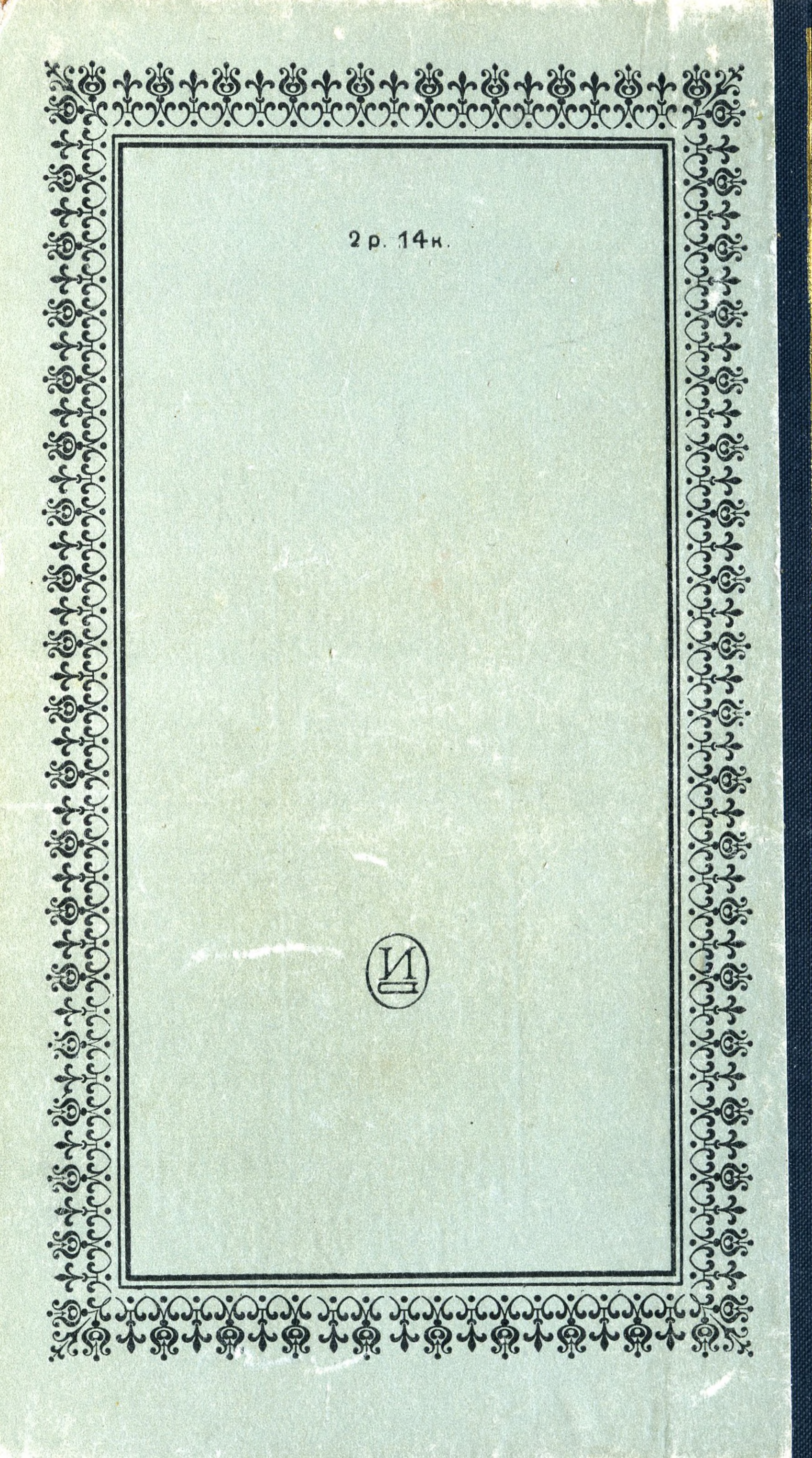
И. К. Макаров. Две девушки мордовки Рязанской губернии. 1843

Л. М. Жемчужников.
За штатом. 1862

К. А. Трутовский. Земское собрание в провинции.
1860-е гг.






2 р. 14 к.